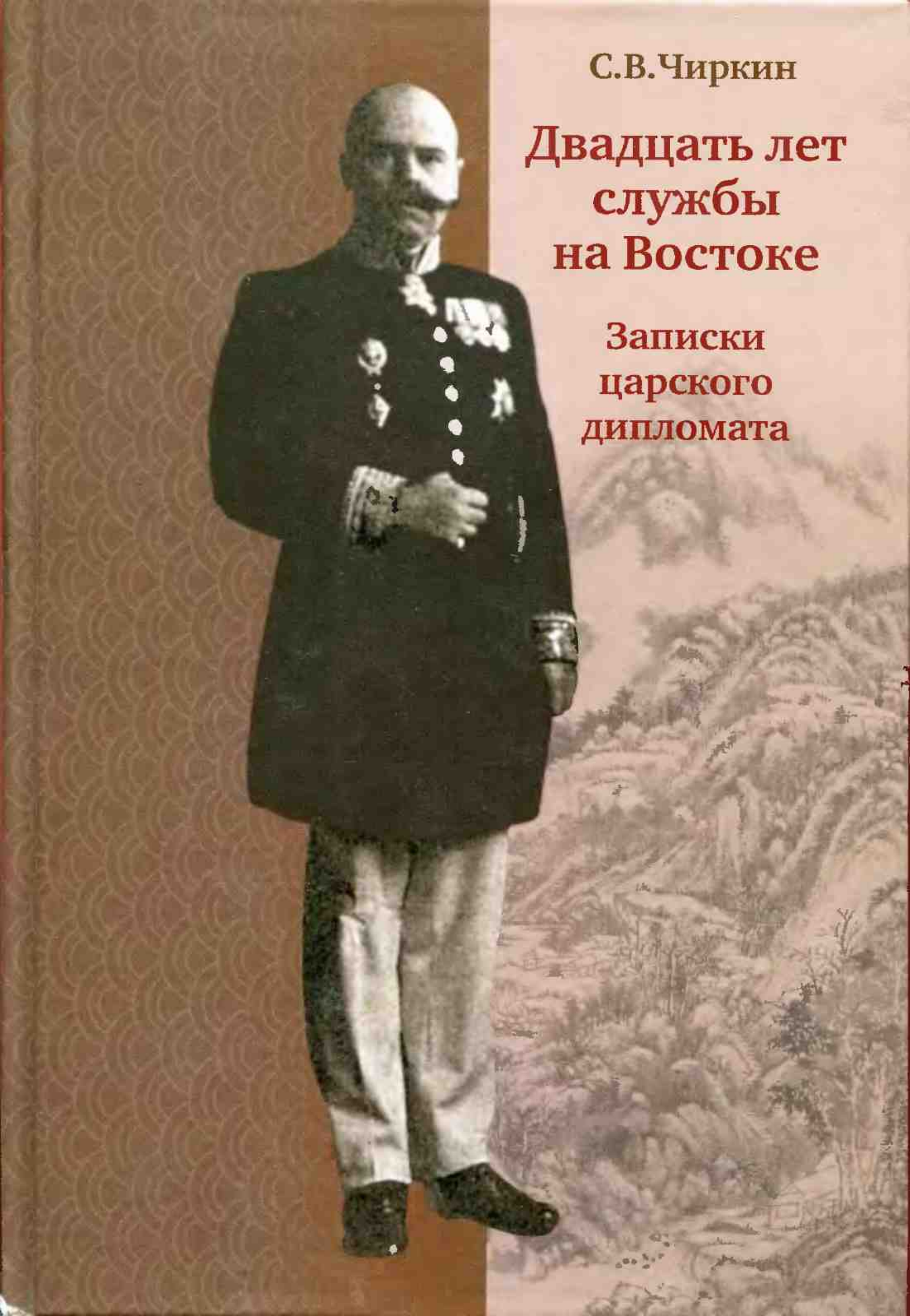
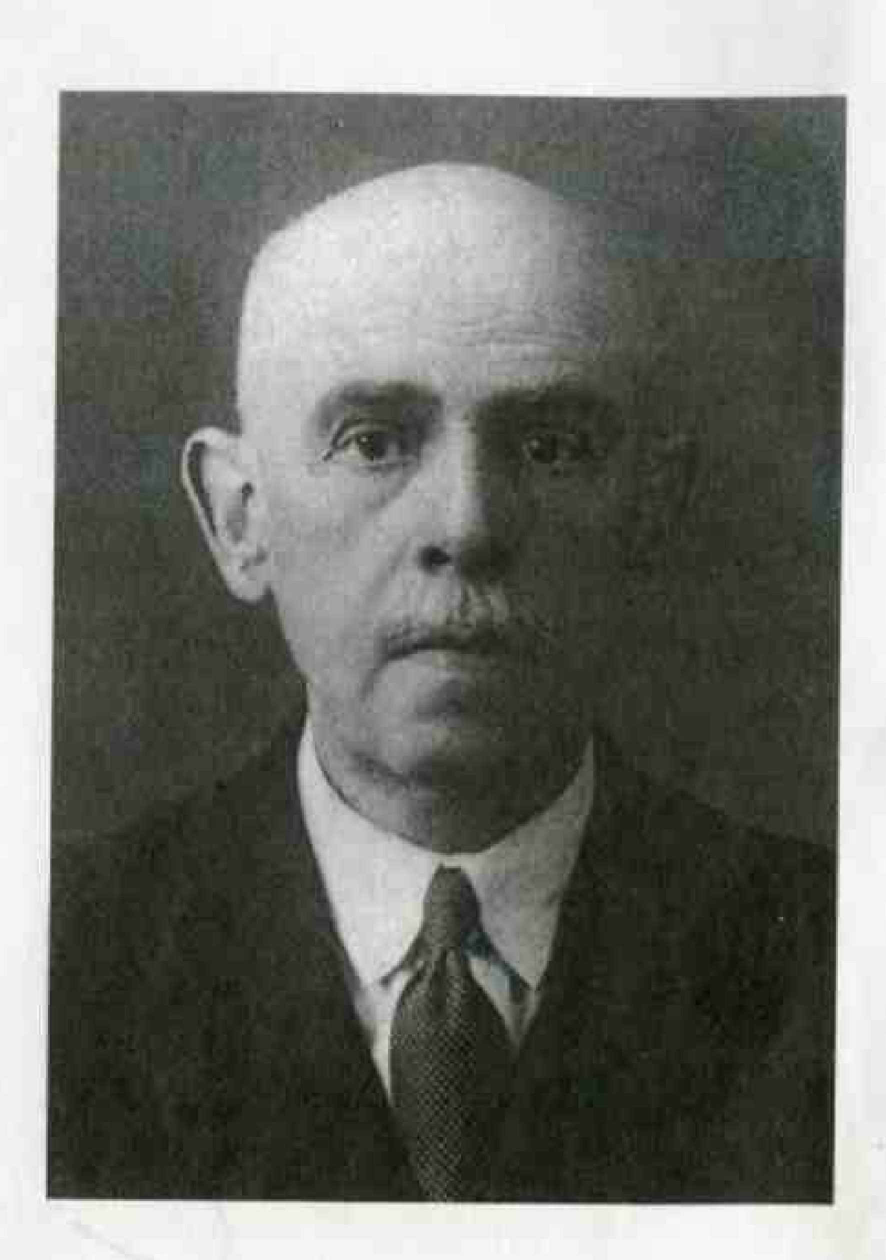

С.В.Чиркин
Двадцать лет
службы
на Востоке
Записки
царского
дипломата

Санкт-Петербург, начало XX века.
Выпускник Восточного отделения университета без связей и протекции добивается своей цели — становится консульским сотрудником МИД Российской империи в странах Востока. Увлеченно служит в Персии, Индии, Корее, много путешествует, встречается с яркими людьми — дипломатами, султанами, наместниками, губернаторами, разведчиками, учеными, миссионерами, писателями. После пребывания в Туркестане надеется вернуться в Индию на более высокий дипломатический пост. Однако революция в России заставляет его бежать на Восток, где начинается новая жизнь — жизнь беженца, русского эмигранта, одного из многих тысяч наших соотечественников, и в изгнании сохранивших свое достоинство...
Спустя 60 лет после смерти автора в Корее его мемуары, бережно сохраненные сыном, впервые издаются на Родине.



С.В. Чиркин

Двадцать лет службы на Востоке

Записки царского дипломата

Русский путь
Москва
2006

ББК 63.3(2)51
Ч 651

ISBN 5-85887-231-X

Ответственный редактор
Т.М. Симбирцева

Комментарии
С.В. Волкова

Художник серии
К.Е. Журавлев

Чиркин С.В.

Ч 651 Двадцать лет службы на Востоке: Записки царского дипломата. — М.: Русский путь, 2006. — 368 с., ил.

ISBN 5-85887-231-X

Впервые публикуются воспоминания С.В. Чиркина (1875–1943) — дипломата Министерства иностранных дел Российской империи, служившего в странах Востока (Персии, Индии, Корее). Роль и влияние России в этих странах в начале XX века, революционные события в Туркестане, бегство автора из страны в 1920 году и жизнь его семьи в эмиграции в Корее — все это нашло яркое и образное отражение в записках, предоставленных для публикации сыном автора.

ББК 63.3(2)51

Об этой книге

Все для меня полно значенья,
И отголоски давних дней
Держу, как ценные каменья
В ладонях памяти моей.
Как дорога мне горстка эта —
Минувшего нетленный след,
Источник несказанный света,
Душа невозвратимых лет.

Е.В.[1]

Предлагаемые вниманию российского читателя настоящие дневники принадлежат перу моего отца — дипломата Министерства иностранных дел Российской империи Сергея Виссарионовича Чиркина (1875–1943) — и освещают 13-летний период его службы: в Иране — стажер миссии в Тегеране (1903), секретарь консульства (1904), генеральный консул (1905) в Исфагане, секретарь генерального консульства в Бендер-Бушире (1904), в Индии — управляющий генеральным консульством в Бомбее (1907–1910) и Корее — секретарь генерального консульства в Сеуле (1911–1914). В последние годы своей службы (1915–1920) отец являлся дипломатическим представителем Российской империи при региональном правительстве Туркестана и жил в Ташкенте. Революционные события в России оборвали его карьеру. В 1920 году, опасаясь за свою жизнь, вместе с женой Натальей Николаевной, урожденной Ефремовой, он бежал в Иран и после скитаний, в 1921-м, оказался в Сеуле, по-японски — Кэйдзё. Здесь отец прожил до своей смерти в 1943 году и был похоронен на иностранном кладбище в Янхваджине.

Жизнь в изгнании была очень нелегкой — как в бытовом, так и материальном смысле. Чтобы содержать семью, отцу приходилось много работать: он преподавал русский язык в местном университете, разбирал иностранную корреспонденцию на английском и французском языках в Туристическом бюро при японском правительстве, давал частные уроки

английского языка японским и корейским школьникам. Но как бы он ни был занят, он старался обязательно выкроить время для работы над своими дневниками: редактировал и перепечатывал записи, что скопились у него за годы деятельности на дипломатическом поприще. Отец, несомненно, хотел их издать, но полностью успел завершить и отпечатать на машинке только разделы о Персии и Индии. Вторая часть мемуаров осталась в рукописи, написанной столь неразборчивым почерком, что, казалось, она никогда не сможет найти своего читателя. Но свершилось чудо. Нашлись люди, которые не только расшифровали текст, но и подготовили его к печати. Благодаря их усилиям сбылась моя многолетняя мечта опубликовать записки отца.

Я выражаю глубокую благодарность доктору исторических наук Сергею Владимировичу Волкову, который расшифровал заключительную часть мемуаров отца, начиная от его службы в Туркестане, и снабдил ее ценными комментариями. Активное участие в подготовке настоящей книги приняли две русские женщины, которым я также выражаю глубокую благодарность. Одна из них — историк Татьяна Михайловна Симбирцева, которая заинтересовалась дневниками моего отца в процессе своей работы над историей русской эмиграции в Корее и нашла меня с помощью писателя из Владимира Валерия Юрьевича Янковского, с которым мы были знакомы еще в 1930-х годах в Корее и поддерживаем связь до сих пор. Татьяна Михайловна опубликовала мои воспоминания о жизни нашей семьи в Корее в 1921–1949 годах в Москве в альманахе «Российское корееведение»[2], а затем выступила как редактор настоящего издания, подготовив текст к публикации. Другая участница — юная Марина Гришаева, студентка Института стран Азии и Африки при МГУ, которая по совету Татьяны Михайловны занялась расшифровкой той части рукописи отца, которая касалась Кореи. Это было труднейшее занятие. Тем не менее Марина упорно работала и за полгода расшифровала более 50 страниц. Затем она снабдила их комментариями и успешно защитила по ним дипломную работу в 2002 году. Стараниями этих людей записки С.В. Чиркина обрели новую жизнь на родине. Я также благодарен индологу, кандидату исторических наук Евгении Юрьевне Ваниной (Институт востоковедения РАН, Москва) и японисту, доктору исторических наук Александру Викторовичу Филиппову (СПбГУ) за те пояснения, которые они сделали к разделам настоящих мемуаров, относящимся к Индии и Японии.

Несколько слов о себе и маме. Я — гражданин США, проживаю в Хейворде (Калифорния). Родился в 1924 году в Сеуле, в 1942–1947 годах учился в Шанхае в русском Техническом центре, затем вернулся в Корею и оттуда в 1948-м эмигрировал с мамой и братом в Америку. В 1951 году окончил Калифорнийский университет в Беркли, с дипломом инженера-электрика поступил на работу в местную электрическую компанию, вышел на пенсию в 1986-м. Моя мама Наталия Николаевна родилась в 1894 году в Ростове-на-Дону или Новочеркасске в семье Николая Васильевича Ефремова, который в дальнейшем был управляющим канцелярией Туркестанского генерал-губернатора в Ташкенте. Мама училась в Смольном институте в Петербурге, в 1920 году вышла замуж за отца и разделила с ним все трудности эмигрантской жизни. В Сеуле она шила платья иностранным дамам, а когда заработка стало не хватать, продала свое единственное бриллиантовое кольцо и поехала в Шанхай, где выучилась на модного парикмахера. Мама умерла в Хейворде в 1989 году. Она была бы рада узнать, что мемуары отца увидели свет в России.

Надеюсь, что записки дипломата МИД Российской империи Сергея Виссарионовича Чиркина привлекут внимание российских любителей истории.

Кирилл Чиркин
Хейворд, Калифорния
Февраль 2004

Это издание я посвящаю
драгоценной памяти
моих родителей,
которые и в изгнании
сохранили свое достоинство

К.С. Чиркин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1
Учебное отделение восточных языков

Осенью 1900 года нас оказалось шесть человек молодых востоковедов, желавших попасть на службу в Министерство иностранных дел по Ближнему и Среднему Востоку, доступ в которое вообще был крайне ограничен и труден. Обычно кадры Министерства пополнялись получившими соответственное образование детьми и родственниками людей, служивших по этому ведомству или располагавших сильной поддержкой в больших чиновных или аристократических кругах. Для новичков же свободный доступ был предоставлен питомцам Императорского Александровского лицея и Императорского Училища правоведения как сыновьям лиц, занимавших большое положение в военном и бюрократическом мире. Тем не менее Министерство иностранных дел всегда испытывало необходимость в людях, специально подготовленных для службы в восточных странах, и небольшое число таких специалистов, независимо от их происхождения и связей, ежегодно принималось на службу по бывшему Азиатскому, впоследствии — Первому департаменту, в дальнейшем Первому, Второму и Третьему политическим отделам Министерства, по рекомендации выпускавших их учебных заведений, то есть факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета и Лазаревского института восточных языков в Москве.

Поступление на службу так называемых китаистов было сравнительно легко, и окончившему курс Петербургского университета по китайскому отделению и, позднее, владивостокского Восточного Института обычно прием на службу в Министерство иностранных дел обеспечивался. Не так просто обстояло дело с поступлением на службу так называемых арабистов, изучавших языки Ближнего и Среднего Востока. Спрос на них не был так

велик, как на первых, ввиду того что в Турции, где можно было часто обходиться знанием французского языка, немало вакантных мест замещалось не специалистами-востоковедами, а кроме того, случаи непосредственного приема на службу в Министерство иностранных дел арабистов были исключительны, и нормальным путем для арабиста, желавшего посвятить себя консульской службе, было вступление в число слушателей Учебного отделения восточных языков при Министерстве иностранных дел[3], помещавшегося в доме Министерства на Большой Морской, № 20.

Это было единственное в своем роде учебное заведение, слушатели которого получали от Министерства жалованье в размере 33 рублей 33 копеек в месяц и казенную комнату в том же доме с отоплением и освещением. Последнее, видимо, было пережитком глубокой старины, так как слушателям выдавалось на руки по нескольку фунтов стеариновых свечей в месяц в то время, когда электрическое освещение было уже очень распространено в Петербурге. Не помню, существовало ли тогда электрическое освещение в зданиях Министерства иностранных дел, но в помещении Учебного отделения был проведен газ. Тем не менее, ни директору Учебного отделения, ни управляющему домами Министерства не приходило в голову снабдить комнаты слушателей газопроводными трубами и рожками, и студенты работали по вечерам при собственных керосиновых лампах или жгли выдаваемые им свечи. Лишь в коридоре, вдоль которого помещались семь комнат слушателей, и в кухне тускло мерцали газовые рожки. Комнаты были довольно большие, высокие, выходившие окнами на двор, но попасть в них можно было и через главный парадный ход, выводивший через боковую дверь на черную лестницу, ведшую в студенческие помещения во втором этаже. Комнаты не были меблированы, и скудная их обстановка или переходила от одного владельца к другому, или менялась с новыми обитателями.

Я думаю, мало кто слышал о существовании Учебного отделения восточных языков. Странное это было учреждение, существовавшее по инерции и совершенно ненужное для молодых людей с хорошей теоретической подготовкой по языкам Ближнего и Среднего Востока, что доказывалось приемом в Министерство китаистов непосредственно по окончании университетского курса. В прошлом открытие его оправдывалось подготовкой молодых людей со средним образованием к драгоманской работе при дипломатических и консульских представительствах в Турции и Персии, ввиду чего Учебное отделение иногда неофициально именовалось Институтом драгоманов, но в позднейшее же время единственным резоном продолжения его деятельности было нахождение при нем трехлетних курсов восточных языков для офицеров сухопутной армии всех родов оружия, поступавших в учебное отделение по конкурсному экзамену на 8–10 вакансий[4]. Все окончившие полный курс получали право на ношение особого серебряного нагрудного знака общеакадемической формы с арматурой в виде золотого восходящего солнца под государственным гербом, причем пансионеры Министерства иностранных дел немедленно определялись на службу по министерству с зачислением в действительную службу времени пребывания в Учебном отделении. Офицеры же не получали каких-либо служебных привилегий, возвращаясь в свои части или переводясь на военно-административные должности в Туркестане. Некоторые офицеры описываемого времени поступали инструкторами в только что учрежденную македонскую жандармерию, и очень немногим, выходившим в запас, удавалось устроиться на службу в Министерстве иностранных дел.

При Учебном отделении восточных языков была ценная ориентальная библиотека на разных языках, содержавшая немало редких манускриптов и изданий.

В зависимости от потребностей Министерства слушатели-пансионеры оставались в Учебном отделении от одного года до двух лет, причем выпуски бывали очень неровные: обычно 2–3 или 5 человек, соответственно ежегодно чередовавшемуся числу принятых. В удачный для студентов год бывало пять вакансий, а в следующий только две, затем опять пять и т.д. Кроме семи штатных, получавших комнату и жалованье студентов, на моей памяти в число слушателей принимался один сверхштатный, зачислявшийся в штат немедленно по освобождении вакансии. Не давая никаких новых знаний студентам-пансионерам, кроме разве некоторых практических сведений в турецком и новогреческом языках, Учебное отделение было известно среди слушателей под кличкой «лавочки», поступления в которую, однако, упорно добивались, как почти единственного пути в Министерство иностранных дел для рядового арабиста.

Директором этого учреждения в мое время был драгоман IV класса Министерства иностранных дел, бывший первый драгоман нашего посольства в Константинополе, тайный советник Иван Александрович Иванов[5] — весьма почтенная и добродуш-

ная личность, не обремененная, однако, большими заботами, кроме разве хозяйственных, по Учебному отделению.

Преподавание на отдельных курсах для пансионеров и офицеров, начинавших с «азов», велось тем же самым персоналом, в состав которого входили: С.И. Нофаль — арабский язык и мусульманское право, Мирза Казем Бек Абединов[6] — персидский язык, К.Г. Вамваки — турецкий и новогреческий языки (последний не входил в программу офицерского курса), Ахун Атаулла Баязитов — татарский язык, вице-директор Департамента личного состава и хозяйственных дел М.И. Муромцев — международное право. Все преподаватели языков одновременно состояли на службе по Министерству иностранных дел в качестве переводчиков.

Араб Нофаль был старый и больной человек, относившийся к преподаванию арабского языка совершенно индифферентно, что было в полном соответствии с отсутствием у студентов, хорошо знавших классический арабский язык, интереса к разговорному арабскому языку, без которого можно было отлично обходиться на службе. Будь на месте Нофаля учитель вроде грека Вамваки, студентам пришлось бы работать, при Нофале же уроки сводились к болтовне на французском языке на разнообразные, большею частью фривольные темы, до которых и сам Нофаль, человек остроумный, много видавший на своем веку, был большой охотник. Изредка, в особенности в дни посещения класса И.А. Ивановым, о чем студенты знали заранее, брались за чтение арабской газеты. Квартира Нофаля находилась в доме Учебного отделения, и он по болезненному состоянию (у него был не то хронический ревматизм, не то несросшийся перелом ноги), кажется, никуда не выходил. Он был единственным авторитетом Министерства по арабскому языку, но в тех редких случаях, когда требовалось перевести какой-либо документ с арабского, работал у себя на дому.

Отсутствие знатоков арабского языка и интереса к нему студентов ярко сказалось при посещении Петербурга, кажется, в 1901 году чрезвычайным абиссинским посольством во главе с высшим представителем абиссинской церкви Абуна. Я был тогда слушателем Учебного отделения и помню разговоры о тех затруднениях, которые испытывало Министерство, не имея под рукою надежного переводчика, не говоря уже об абиссинском, никому не известном диалекте арабского языка, так как старый Нофаль был болен, да если бы и был здоров, по немощам своим совершенно не был бы пригоден для этой живой роли. Спасителем положения оказался причисленный к Первому департаменту Чемерзин — бывший гвардейский офицер, прослушавший курс Учебного отделения, который взялся за обязанности переводчика при Абуне. Исходя из тех соображений, что он был учеником того же Нофаля, непонятно, откуда он мог приобрести достаточные знания разговорного арабского языка; тем не менее говорили, что он, имея некоторое знакомство с разговорным арабским языком, благодаря частной поездке на Восток, со своей задачей справился. Возможно, впрочем, что у Абуны был переводчик, знавший по-французски, что, конечно, давало выход из затруднения. Чемерзин же играл роль, главным образом, представителя при посольстве. Репутация арабиста за ним все же, видимо, осталась, и лет 10 спустя он был поверенным в делах в Аддис-Абебе, где с ним сотрудничал в качестве секретаря один из немногих перешедших на сторону большевиков после октябрьской революции Н.З. Бравин, убитый при темных обстоятельствах в 1920 году в Афганистане, как я слышал, находясь беженцем в Индии.

Грек Вамваки, довольно высокий пожилой человек с уже седой шевелюрой и крючковатым неправильным носом, был настоящим требовательным учителем и школил нас вовсю, задавая уроки, проверяя их и, вероятно, ставя отметки. Это был очень подвижной человек, говоривший голосом крайне высокого тембра, доходившим в минуты возбуждения до визга. Как и Нофаль, он вел преподавание на французском языке и во время урока постоянно подбодрял нас выкрикиваньем тонким, высоким голоском. Студенты не любили Вамваки, зная его близость к семье Ивановых (И.А. Иванов был женат на гречанке) и подозревая в наушничаньи. Как бы то ни было, у него занимались серьезно и получали хорошую подготовку по обоим языкам его специальности.

Преподаватель персидского языка Мирза Казем Бек Абединов не был настоящим коренным персом. Если не ошибаюсь, он был уроженец Северной Персии, сродни нашим бакинским татарам. Это был уже пожилой, грузный человек, интересовавшийся, главным образом, состоянием биржи, готовый всегда дать справку о котировках тех или иных бумаг. Усовершенствование наше в персидском языке, самом легком и красивом из арабской группы, состояло в чтении и переводе на русский жалких тегеранской и тавризской[7] еженедельных литографированных газет, провозглашавших благополучие и процветание нищенской и косной в то время Персии под мудрым правительством Каджарской династии. Учить нас Абединову было нечему, и он ограничивался лишь критикой нашего про-

изношения. Я всегда восхищался простотой и красотой персидской речи и полным отсутствием грамматических трудностей, являющихся большим расхолаживающим началом в изучении, хотя бы, русского языка, что я имел и имею случай наблюдать, ведя в течение нескольких лет курс русского языка в университете в Кейдзо[ii] (Сеул). Изобретатели международных языков, к сожалению, видимо, не подозревали стройной грамматической простоты персидского языка, создавая свои искусственные системы.

Ахун Атаулла Баязитов был очень почтенный татарин, духовный представитель петербургской мусульманской общины. Говорил он типичным татарским говором, пересыпая речь словечками: «ничаво», «бачка», «шабаш»... Знали мы его, впрочем, очень мало, так как читали с ним татарские газеты только один час в неделю. Он очень курьезно выглядел в министерском форменном вицмундире, представлявшем из себя по покрою фрак, надевавшийся в торжественных случаях, который он носил застегнутым на все три металлические пуговицы.

М.И. Муромцев читал несколько распространенный курс международного права, уделяя особое внимание истории и содержанию международных трактатов, основательное знакомство с которыми составляло сущность дипломатического экзамена для чинов Министерства иностранных дел.

Международное и мусульманское право пансионеры слушали совместно с офицерами.

Было еще одно лицо, имевшее отношение к Учебному отделению, — это секретарь его, чиновник министерства А.С. Клименко, слывший среди слушателей под именем просто Клима. В чем заключались его обязанности, никто не знал, и, кажется, они были исключительно номинальные. Иногда он появлялся с нравоучением от И.А. Иванова после студенческих оргий, происходивших, к чести студентов сказать, не часто. Сам Иван Александрович стеснялся посещать нас по утрам и говорить на щекотливые темы. Да и Клименко, встречаемый шутками студентов, быстро терял серьезный вид, тем более что иногда, по приглашению студентов, навещал их «празднества».

Прислуживал студентам за особую с их стороны небольшую плату сторож классов Учебного отделения Павел, мрачный, неопрятный и нерадивый тип, от услуг которого студенты отказались в мое время, наняв собственного слугу — глупого, но услужливого и старательного пензенского парня Филиппа, по рекомендации его

земляка, нашего коллеги С.П. Олферьева. Павел после своего «падения» получил кличку «мазуль» — по-арабски «отставной», которая так за ним в общежитии и осталась, будучи одним из двух арабизмов Учебного отделения. Другим арабизмом был «мудир» — «директор», под которым был известен И.А. Иванов. За ним был еще другой, совсем не восточный, эпитет — «Генерал Тапы-тапы»: из-за маленького роста он носил обувь на высоких каблуках, которыми стучал, быстро проходя по комнатам Учебного отделения.

Итак, нас было шестеро, жаждавших применения своих лингвистических знаний на службе по Министерству иностранных дел и не имевших возможности попасть на нее помимо Учебного отделения. Условия же поступления в том году были, как назло, неблагоприятны: имелось всего две вакансии и можно было еще рассчитывать на одного сверхштатного. Из шестерых подавших И.А. Иванову прошения о приеме с университетским дипломом были трое: мои товарищи по выпуску Н.П. Якимов и А.Г. Бусуек и я; трое других: А.П. Дмитриев, Крылов и Матвеев — были лазаревцы. Из нашей тройки Якимов более других имел шанс на успех; из лазаревцев же первым кандидатом был Дмитриев, который пробыл в университете с нами в течение двух лет, не заняв сколько-нибудь заметного места по успехам среди студентов. По средней школе он был семинарист, происходя из духовного звания; по внешнему виду отличался крайней невзрачностью и неуклюжестью — с большим туловищем на коротких кривых ногах. Среди студентов в возрасте 18–20 лет он казался значительно старше, нося малоопрятную бородку клинышком, придававшую ему солидность. Это была очень симпатичная личность, добродушно относившаяся к шуточкам над ним студентов. Он оказался человеком большого практического смысла: убедившись, что шансы его на поступление в Учебное отделение невелики, он перешел в Лазаревский институт, где упорной работой занял первое место среди студентов своего курса.

Я чувствовал, что первые кандидаты займут два штатных места в Учебном отделении, и лелеял мечту о поступлении сверхштатным, считая прочих кандидатов неопасными. Как я ошибся в расчете!

И.А. Иванов готовил нам сюрприз: он решил подвергнуть всех кандидатов конкурсному экзамену и, получив на это санкцию Министерства, предложил нам явиться в Учебное отделение в определенный день на экзамен. Для чего понадобилась эта формальная, не менявшая дела по существу, не имевшая себе прецедента и

никогда не повторившаяся процедура, неясно, и для меня было несомненно, что, каковы бы ни были случайности экзамена, будут приняты, прежде всего, первые кандидаты обеих школ. Экзамен состоял из устных переводов с арабского, персидского и турецкого языков, и предложенные тексты были нетрудны, особенно для университантов, которые были более сильны теоретически, чем практики-лазаревцы. Вышло, как я и предполагал: первые места в экзаменационном списке заняли Якимов и Дмитриев. Я стоял на третьем месте; последним по отметкам был Матвеев.

Я ликовал, так как третье место по экзамену давало мне преимущественное право на поступление в Учебное отделение сверх штата, что подтвердил мне сам И.А. Иванов, посоветовав обратиться в Первый департамент Министерства с соответственным прошением. Мне, застенчивому студенту, совершенно не знакомому с департаментской рутиной, было бы более на руку, если бы он сам возбудил в министерстве вопрос о моем поступлении в Учебное отделение сверх штата, и только гораздо позже мне стало ясно, почему он не взял на себя переговоров по этому делу и устроил, казалось бы, ненужный экзамен. Возможно, что целью этого экзамена было определить достоинства кандидатуры уже намеченного высшим начальством сверхштатного. Это был Матвеев, которому покровительствовал не кто иной, как сам товарищ министра иностранных дел князь Оболенский-Нелединский-Мелецкий. Почему, в силу каких связей или рекомендаций, никто не знал и не понимал, так как поддерживать Матвеева можно было только или по принуждению, или по недоразумению. Это был среднего роста, слабого телосложения блондин, ходивший развинченной скользящей походкой. Редкие волосы он зачесывал назад, открывая покатый лоб; обрамленное редкой белесоватой бородкой лицо выявляло бесцветные глаза, тонкий с легкой горбинкой нос и выдающиеся скулы. Говорил он, если тема была для него интересна, сюсюкая и захлебываясь, обрызгивая собеседника. Товарищи терпеть его не могли и иначе не называли, и в глаза и за глаза, как полупрезрительно «Матвешей», на какую кличку он легко и безобидно отзывался. Черты дегенеративности, при самом беглом знакомстве с ним, резко били в глаза. Интересовался он мистикой, сверхъестественным, демонологией и, особенно, эротикой; последняя была любимой темой его разговоров. Это был, несомненно, патологический тип.

Так или иначе, я, полный надежд, полетел в Первый департамент и обратился к заслуженному, увешанному медалями курьеру

Богданову с просьбой доложить обо мне вице-директору Н.Г. Гартвигу. Обратился я к последнему, а не к директору Базили, просто потому, что вице-директор казался мне достаточно высоким и вполне компетентным лицом для решения моей просьбы, а кроме того, из-за ходивших среди кандидатов слухов о большей доступности и обходительности Гартвига. Так как у меня не было еще тогда соответственного штатского платья, я надел свой студенческий сюртук, прицепив к нему, ввиду важности визита, шпагу. Ожидая в приемной своей очереди, я с завистью смотрел на китаиста моего же выпуска Л.Г. Бродянского, уже причисленного к департаменту просто по диплому университета. Через несколько времени Богданов сообщил мне, что «Его Превосходительство просят пожаловать», и я с замиранием сердечным вступил в кабинет вице-директора. Николай Генрихович Гартвиг был тучный человек с простым, открытым, симпатичным лицом, украшенным окладистой рыжеватой бородой. Он сидя ответил на мой поклон и предложил мне сесть на стоявшее сбоку у стола, за которым он сидел, кресло, на краешек которого я и примостился. Я изложил ему в кратких словах мою просьбу, и он взял со стола документ, оказавшийся экзаменационным списком. «Два первых кандидата уже зачислены на имевшиеся вакансии, вы являетесь лучшим третьим, и я не вижу препятствий к вашему поступлению в Учебное отделение сверх штата», — сказал Николай Генрихович. «Ступайте к И.А. Иванову, — продолжал он, — и передайте ему, что вы можете быть зачислены сверхштатным слушателем Учебного отделения». Не ожидавший такого скорого и простого решения моей судьбы, я был на седьмом небе и, откланявшись, немедленно отправился в министерский кабинет Иванова, который ежедневно посещал департамент в качестве начальника драгоманата. Захлебываясь от радости и нетерпения, я передал ему о результате моего посещения Н.Г. Гартвига. Маленький, кругленький Иван Александрович привскочил на своем кресле. «Причем тут г. Гартвиг? — вскричал он. — Ведь директор департамента — г. Базили, согласием которого вам и надлежало заручиться. Надо сейчас же выяснить это недоразумение. Пойдемте». У меня под сердце подкатилось. Я инстинктивно чувствовал, что дело рушится, так как я, еще до посещения Николая Генриховича, мельком видел директора департамента Базили и он показался мне холодным, недоступным человеком. У кабинета Базили И.А. Иванов предложил мне обождать, а сам прошел в кабинет, откуда очень скоро вышел с бумагой в руках, оказавшейся докладом об экзаменовавшихся для поступления в Учеб-

ное отделение. «Ничего не вышло, — сказал мне Иванов. — Смотрите: резолюция г. Базили». Я взглянул на бумагу и увидел надпись четким почерком: «принять Якимова и Дмитриева, сверхштатных не принимать». Все было кончено. Ничего не осталось от недавнего подъема. Я стоял как в воду опущенный. «Не унывайте, — слышу я голос Иванова. — В будущем году будут лучшие условия приема и вам будет гораздо легче попасть в Учебное отделение».

ГЛАВА 2
На железнодорожных изысканиях в Северной Персии

Крайне удрученный, покинул я Министерство иностранных дел. Успех казался таким близким и, вдруг, «сорвалось». Целый год неопределенных ожиданий, возможная и даже вероятная неудача и в будущем году при многочисленных новых кандидатах, имевших преимущество свежей рекомендации, год без службы, при заработке частными уроками, так как мысль о поступлении на государственную службу не по специальности меня ужасала, ведь это значило бы поставить крест на четырехлетнем изучении восточных языков... Плачевно. В таком минорном настроении, дабы несколько рассеяться, я пошел навестить моего старого товарища по гимназии В.К. Кетрица, с семьей которого меня связывала тесная дружба с первого года гимназической скамьи. Кетриц была известная в Петербурге инженерная семья, из которой два брата занимали видное положение в ведомстве путей сообщения. Мой товарищ, сын одного из них, Константина Эрнестовича, сам минувшею весною получил диплом инженера путей сообщения.

Доплетясь в миноре от «здания у Певческого моста» до Летнего Сада, я у Цепного моста сел на маленький пароходик Финляндского общества, который в 20 минут доставил меня почти к самому подъезду дома на Фонтанке близ Александровского рынка, где проживали мои друзья. Кетрицы сразу же после приветствий мне дали понять, что я пришел очень кстати и что мне уже собирались писать по делу, которое может меня заинтересовать. Я рассказал о своей неудаче. «Нет худа без добра, — сказала мне мать моего товарища. — Вы можете усовершенствоваться в персидском языке и попасть в Министерство иностранных дел без затруднений». — «Каким образом?» — «В.А. Саханский назначен начальником железнодорожных изысканий в Закавказье и готов взять вас на служ-

бу для подходящей работы в одну из партий, предназначающихся для изысканий в Персии. Если эта комбинация вас устраивает, вы можете сговориться с ним о подробностях». Предложение это в тот момент, когда я был крайне удручен своей неудачей и не знал, что делать, рисовалось мне заманчивым. Во-первых, поездка через всю Россию на Кавказ в Тифлис, где был сборный пункт изысканий, меня очень привлекала, поскольку я не видел ничего, кроме Петербурга, его окрестностей и Финляндии, не далее Выборга, а с Москвой был знаком лишь мельком при поездке в Троице-Сергиевскую Лавру еще во времена студенчества. Затем, самый характер работ на открытом воздухе манил своей новизною. Наконец, открывалась возможность практического ознакомления с персидским языком и, кто знает, создания, таким образом, лучших возможностей для поступления в Министерство иностранных дел.

Инженера Саханского я немного знал, встречаясь с ним изредка у Кетрицев. Снабженный рекомендациями, я на другой же день посетил его в его временной конторе и немедленно был принят на службу с жалованьем 100 рублей в месяц на должность так называемого пикетажиста. Тут же я получил 100 рублей в подъёмные на дорожные расходы. Такой суммы денег у меня никогда не бывало одновременно, да и жалованье казалось мне большим. Саханский был очень любезен. Он познакомил меня кое с кем из бывших в конторе лиц и сказал, что назначает меня в партию инженера Черполихова, на которого было возложено производство изысканий от пограничного пункта Астары до Решта. Втайне я лелеял мечту, что Саханский возьмет меня в свою личную партию, в задачу коей входила быстрая железнодорожная разведка через всю Персию от Каспийского моря до Персидского залива без изысканий, намеченных только в Северной Персии. Для самого начальника изысканий я, однако, был бы мало пригоден: при нем были лишь специалисты для разносторонних наблюдений. Был также, насколько я помню, и представитель военного ведомства — молодой офицер Риттих[9]. Я же не мог в то время быть даже словесным переводчиком.

Как я уже упоминал, официально изыскания назывались «закавказскими», вероятно, во избежание дипломатических запросов, объяснений и т.п., тогда как в Закавказье работала только одна партия.

В конторе изысканий я познакомился с моим ближайшим сослуживцем по партии техником Владимиром Васильевичем Ивановым. Это был маленький, сильно близорукий человечек в неиз-

менных очках. Он был приглашен на должность младшего инженера, но был лишь практиком без специального технического образования, подобно многим железнодорожным техникам. Он хорошо знал В.А. Чернолихова, которому в один из ближайших дней мы и нанесли вместе визит на его квартире по Николаевской улице, где жена его имела модную мастерскую. Чернолихов был донской казак, питомец С.-Петербургского института инженеров путей сообщения и, как я слышал у Кетрицев, имел репутацию хорошего инженера-строителя, без, однако, большого опыта по изысканиям. Он произвел на меня очень симпатичное впечатление: живой брюнет лет сорока с небольшим, без тени присущего большинству русских инженеров путей сообщения, аристократов инженерной профессии, снобизма.

Мы быстро столковались. Он растолковал мне мои будущие обязанности, о которых я уже имел понятие, беседуя с техником Ивановым. Скажу два слова о пикетаже — вероятно, пустом звуке для непосвященных. Для несения обязанностей пикетажиста не требуется каких-либо технических знаний, и обычно пикетажем ведает старший рабочий-десятник. Главным инструментом в его или, вернее, в руках двух рабочих, его помощников, является стальная мерная лента длиной в десять сажен с соответственными на ней делениями; третий рабочий вооружен топором и мешком с кольями в один фут длиной — пикетами. Техника изыскательской работы не сложна. Ведущий предполагаемую железнодорожную линию инженер дает ей направление, тщательно устанавливая ее вехами, покрытыми красными и белыми полосами, и отмечая углы кривых. После этого сразу начинается работа пикетажиста: он промеряет лентой провешенную линию, забивая пикеты на подъемах и спусках, отмечая пикетами же речки и, путем опросов, горизонт их высоких вод, ручьи, овраги и пр. Свою линию в плане пикетажист заносит в особую книжку с делениями, отмечая в ней каждый пикет, делая, если нужно, заметки. За пикетажистом следуют два инженера или техника с нивелирами, устанавливая по пикетам профиль линии и проверяя друг друга по своим записям и книжке пикетажиста, что обычно делается вечером по возвращении с работ. Обыкновенно предварительные изыскания проходят быстрым темпом без остановок перед естественными препятствиями, вроде крупных деревьев и камней, которые не удаляют, а обходят при помощи инструментов. В этом отношении отсутствие изыскательского опыта у Чернолихова было большой помехой в нашей партии, как будет видно из дальнейшего.

В.А. Чернолихов рекомендовал мне и технику Иванову выехать на сборный пункт в Тифлис по возможности скорее. Нас ничто не задерживало, и мы условились выехать вместе приблизительно через неделю, которая прошла у меня в заготовке необходимого для пути и прощальных визитах. Мой приятель В.К. Кетриц дал мне указания относительно необходимых для изысканий вещей и снабдил от себя теплой суконной курткой и романовским полушубком, так что мне осталось лишь приобрести брюки потеплее, смазные сапоги, кое-что из белья и часы. Последние, большого размера, я купил в магазине П. Буре на Невском за 15 рублей, и они мне служили многие годы, пока я не отдал их своему слуге персу Мирза-Махмуду Мехдиханову. Он служил мне много лет со времени, когда я был студентом миссии в Тегеране, и вынужден был покинуть меня уже после революции, поступив ради заработка, пайка и прочих благ на службу в почтовую контору Старого Ташкента.

В конторе изысканий мы получили бесплатные проездные билеты второго класса до Тифлиса и в конце октября выехали из Петербурга. Не помню, существовало ли уже тогда экспрессное сообщение с плацкартами, спальными вагонами и вагонами-ресторанами. Во всяком случае мы этими удобствами сравнительно недавнего времени не пользовались, стараясь занять спокойное место без соседей по дивану, чтобы иметь возможность спать ночью. Последнее все время удавалось, так как диваны вагонов были снабжены подъемными спинками, которыми пассажиры и пользовались как бесплатными спальными местами. Станционные буфеты везде были хороши и дешевы. Тарелка отличных щей или борща с куском мяса и неограниченным количеством черного хлеба стоила 20 копеек и была солидным завтраком по сравнению, скажем, с японским «бенто» (холодный вареный рис с небольшими кусочками холодных же рыбы, особого рода яичницы, овощей и квашеной редьки), продающимся на всех больших станциях японских железных дорог в аккуратных ящичках из тонко струганного дерева по 35–40 иен за ящик. При ограниченности средств можно было быть сытым за 60–70 копеек в день, но и более изысканный стол был недорог. Например, за 60 копеек подавали большую телячью отбивную котлету с гарниром. Стакан чаю с сахаром и лимоном или молоком стоил 10 копеек, французская или сладкая булка — 5 копеек. Остановки на больших станциях, особенно при пересадках, были довольно продолжительны, давая более чем достаточно времени на утоление голода и прогулку по платформе.

Проезд до Владикавказа произошел без всяких приключений, и на меня, петербуржца, главным образом, производило впечатление тепло юга, так как места вдоль железнодорожного полотна не отличались какими-либо исключительными особенностями, кроме не виданных мною доселе ветряных мельниц.

Техник Иванов оказался приятным спутником. Он рассказывал о своем изыскательском опыте в разных местах России. Человек он был, несомненно, интеллигентный, из хорошей средней семьи. По его словам, он имел законченное среднее образование реального училища, пытался получить высшее техническое образование, но не имел успеха на конкурсных экзаменах. Впоследствии инженеры говорили мне, что подобное объяснение — обычный прием техников, в большинстве случаев — недоучек-неудачников, но в словах моего спутника, как по его манерам, так и внутреннему облику, я не имел никаких оснований сомневаться.

В то время железнодорожного сообщения между Владикавказом и Тифлисом еще не было, хотя работы по связи этих крупных центров нашего юга уже шли полным ходом. Я, однако, и не думал о железной дороге. Меня манила поездка по Военно-Грузинской дороге, о красоте которой так много приходилось читать и слышать. Прибыв во Владикавказ, мы сразу же с поезда направились на почтовую станцию заказывать экипаж до Тифлиса. Там мы встретились с одной пожилой дамой, которая искала попутчиков до Тифлиса, дабы не брать отдельного экипажа одной. Дама оказалась большой говоруньей и сразу же не понравилась несколько нелюдимому Иванову, предпочитавшему ехать со мной вдвоем. Мне, наоборот, ради сокращения расходов, спутница казалась желательной. Все же Иванову, не имевшему солидных оснований для отказа, пришлось уступить, но он во все время пути хранил враждебное отношение к спутнице, которая платила ему тем же, а после того как узнала, что я держал экзамен в государственной комиссии в год университетских забастовок, обструкции и репрессий, стала пофыркивать на нас обоих, как на отсталых, не заслуживающих никакого внимания людей. В конце концов, и я жалел, что мы взяли ее с собою, так как Иванов не согласился на ночную остановку на полпути только ради того, чтобы ей досадить, между тем как спуск в тифлисскую долину заслуживал денного проезда не менее, чем подъем от Владикавказа.

Будучи северянином, я получил неизгладимые впечатления от горных красот дороги. До сих пор передо мною вершина Казбека

и бурлящий в ущельях Терек. Не могу я забыть и первой остановки в Балте, известной своими ветрами. Отсюда же началась кавказская кухня, которой на остановках мы отдавали должное. Тут я впервые познакомился с овечьим сыром, который кавказцы едят с какой-то ароматной травкой, как, впрочем, и персы, у которых сыр составляет существенную часть ежедневного меню. Как мне хотелось переночевать в Мцхетах, отдохнуть и прибыть в Тифлис не физически разбитым бессонной ночью, а вечером засветло, но Иванов в своем упрямстве был непреклонен, оговариваясь рискованностью малейшей задержки, ввиду, якобы, крайней спешности предстоящих работ. Пришлось покориться и провести всю ночь в коляске, несущейся стремглав под гору. На рассвете мы проехали Мцхеты и рано утром добрались до Тифлиса, где у Северной гостиницы расстались, к обоюдному удовольствию, с нашей спутницей. Уже из-за нее одной Иванов не остановился бы в доступных «Северных Номерах». Кроме того, он оказался несколько избалованным человеком, так как работал уже не впервые на хорошо оплачиваемых изысканиях. Дешевые гостиницы его не удовлетворяли, и он сразу же приказал вознице везти нас в наиболее тогда дорогой и комфортабельный «Лондон». На мой слабый протест он предложил мне остановиться в одной большой комнате и нести расходы пополам. Я согласился и, откровенно говоря, раскаиваться не пришлось: «Лондон» оказался небольшой, но очень чистенькой гостиницей на берегу Куры, где за большую комнату с кроватью и тахтой, на которой расположился я, с нас взяли только 2 рубля 50 коп. в сутки, что составляло 1 рубль 25 коп. на человека, т.е. только на 25 коп. дороже по сравнению с мрачными, типично провинциальными, рублевыми «Северными Номерами». Единственно, что в «Лондоне» было дорого, а мне и совсем не по карману, — это ресторан, не имевший table d'hôte* и где можно было продовольствоваться только à la carte**. Пообедав там раз, мы более уже себе этого удовольствия в «Лондоне» не позволяли, тем более что в городе было немало доступных мелких ресторанов для небогатого служилого люда, а в «Боярской Гостинице» можно было получить за 1 рубль обед из четырех блюд с 1/2-бутылкой Кахетинского.

---

* Табльдот (*фр.*) — общий обеденный стол в пансионах, курортных столовых и ресторанах. (*Перевод иноязычных слов и выражений — примечания издателя.*)

** По карточке (*фр.*). Заказ блюд в ресторане по усмотрению заказчика.

Отдохнув и осмотревшись, мы увидели, что совсем напрасно торопились. В Тифлисе из наших изыскателей почти никого еще не было, и приходилось проживаться, ничего не делая, слоняясь по городу и проводя вечера в так называемом Банковском саду на Дворцовой улице, где при скромном ресторане была эстрада, на которой подвизались куплетисты, жонглеры и другие увеселители публики.

Прошло недели две, прежде чем партии сорганизовались и были готовы к отъезду. Наша партия во главе с инженером В.А. Чернолиховым состояла из семи человек. Ближайшим помощником Чернолихова был инженер Кленов, заносчивый и смотревший свысока на всех, не имевших инженерного значка. Со мной, как с университетским, он еще кое-как считался, с техниками же был подчас пренебрежительно груб. За ним следовал В.В. Иванов, вторым техником был некто Н.К. Мельвиль — уже пожилой человек, без большой школы, но вполне интеллигентный, мягкого характера. Третьим техником был славный юноша поляк Ц.С. Грейм с образованием технического железнодорожного училища. Наконец, последней фигурой, не считая меня, о которой надо, однако, сказать несколько слов, был переводчик и заведовавший хозяйством партии Сапаров. Это был, по меньшей мере, шестифутовый детина, могучего сложения, с бритой головой и ассирийской бородой. Он был армянин, но почему-то выдавал себя за грузина. Его нанял в Тифлисе сам Б.А. Чернолихов на роль переводчика и телохранителя при персоне начальника партии, что, по его мнению, должно было сильно импонировать в Персии. На Сапарова, как на менее занятого человека, не имевшего прямого отношения к изыскательским работам, были возложены и хозяйственные дела вместе с обозом.

Сапаров совершенно не знал персидского языка, но свободно говорил на татарско-азербайджанском диалекте, понимаемом повсюду в Северной Персии. Даже при поверхностном знакомстве он производил впечатление малоинтеллигентного, скорее тупого человека; выдающегося в нем была только крупная фигура, облаченная в официальных случаях в коричневую черкеску, а повседневно — в бешмет. Никому в партии он не нравился, и я думаю, что Чернолихов нанял его только по недоразумению из-за «представительности». Во время нашей лагерной жизни мы узнали, что он прибыл в партию с маленьким узелком, составлявшим весь его багаж — одна перемена белья. Сапаров оказался неопрятным, ленивым существом и безуспешно заискивал перед каждым. Особенно его не терпел и донимал инженер Кленов.

Пробыв в Тифлисе не менее двух недель, мы, наконец, двинулись далее и по железной дороге добрались до серокаменного, пропитанного нефтяным запахом Баку, где пришлось провести день до посадки на пароход. За чаем в гостинице я обратил внимание слуги на соленый вкус напитка и к удивлению своему узнал, что это нормальный вкус лучшей воды в городе, получаемой из морской воды, пропущенной через городской опреснитель. Кто-то из слышавших мой разговор со слугой пояснил мне, что бакинская почва безводна и настолько насыщена нефтью, что для устройства жалкого городского сквера с чахлой растительностью пришлось доставлять пароходами землю в мешках из Ленкорани, что есть проект проведения воды из Тифлиса, ожидающий осуществления. Кажется, водопровод Тифлис — Баку был сооружен еще до Великой войны.

Отчетливо у меня остался в памяти ночной переход в одной каюте с инженером Кленовым от Баку до Астары. Это был мой первый морской опыт, но обычно бурный Каспий был так тих, что я моря не чувствовал. В Астаре партия устроилась в большом пустующем доме местного зажиточного армянина, которого все называли Каспаром Ивановичем. Он сразу стал фактотумом* партии. У нас был свой повар — молодой грузин Вано, а для услуг — тоже молодой грузин Спиридон, оба нанятые в Тифлисе. Они постоянно между собой ссорились, и слабый Вано не переставал жаловаться на «Спирку», собиравшегося, будто бы, его «зарезать».

Продукты, особенно рыба, были хороши и дешевы, и бездействующая в ожидании задержавшегося в Тифлисе Чернолихова партия отъедалась. Осетрина или, вернее, ее разновидность — севрюга, была в разных видах нашим обычным блюдом вперемежку с разными блюдами из барашка. Свежая икра, которую мы получали прямо с местного Лианозовского промысла по 90 копеек за фунт, не сходила со стола.

Русская Астара была большим и совсем не русским захолустным углом. Русскую его часть составляли лишь служащие таможни со своими семействами и отряд пограничной стражи, в прочих же отношениях это было грязное туземное местечко. Курьезно, что я совершенно не помню присутствия в Астаре какой-либо полицейской власти. Вероятно, Астара была на особом положении как

* Доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чьи-либо поручения; fac totum (*лат.*) — делай всё.

пограничный пункт, и административные функции сосредоточивались в руках начальника отряда.

Наш приезд, конечно, был большим событием для местечка, и скоро мы познакомились как с чинами таможни, так и с командиром отряда. Таможенные жили друг с другом, как кошка с собакой, и были объединены лишь в своей неприязни к начальнику таможни Досужкову и его жене — крещеной еврейке. Досужков был интеллигентный человек с университетским образованием. Он периодически болел малярией — этим обычным недугом юго-западной прибрежной полосы Каспийского моря. Нервный и раздражительный, он, видимо, тяготился и жизнью, и службой в неприглядном, лишенном всяких интеллектуальных интересов местечке и держался особняком от провинциалов — своих привыкших к местным условиям сослуживцев-подчиненных. Другой более или менее примечательной личностью был начальник отряда пограничной стражи ротмистр-юноша Шапявский. Это был человек хорошей семьи и школы, но ходили рассказы о невероятных его выходках в пьяном виде, бешеной скачке вдоль границы в сопровождении нескольких стражников, дебошах. От развлечений мужа сильно страдала его жена, тонная и томная дама, скучавшая в астаринском захолустье. Местного врача мы никогда и нигде не видели. Впервые о медицинской помощи в Астаре я узнал на борту парохода, когда, по просьбе какого-то проезжего персидского сановника, на пароход прибыла некая странно одетая в пальто форменного покроя, но с темными пуговицами, застенчивая личность, напомнившая мне не то мелкого чиновника, не то семинариста старшего класса. Я даже сомневаюсь, что это был врач, скорее фельдшер при каком-нибудь местном учреждении. Но я хорошо помню начальника местной почтово-телеграфной конторы, весельчака и шутника армянина, который, к нашему удивлению, сошелся быстро «на ты» с помощником начальника нашей партии высокомерным инженером Клеповым.

Наша праздная жизнь в Астаре в ожидании приезда начальника партии проходила в шатании по местечку, посещении время от времени персидской Астары (потонувшего в грязи поселка, лежащего по ту сторону узкой и мелкой речонки, где на жалком базарчике мы покупали ходовые русские товары вроде чая и сахара, со скидкой таможенной пошлины, на пронос которых на русскую сторону таможенная стража смотрела сквозь пальцы), в валянии днем на походных кроватях с книжками в руках, в визитах к местным чиновникам и званых обедах у них. Бездеятельность всех тяготила. Помню о попытке пробных изысканий, после которой я вернулся домой в новых своих сапогах, вдребезги изрезанных острой переплетающейся травой. Как я жалел, что приобрел только одну пару! Пришлось заказать другую в Астаре, сшитую не по моей колодке, с непомерно широкими, спадавшими «гармошкой» голенищами, черпавшими воду при переходе через топи и болота.

Недели через две после нас приехал инженер Черноликов и привез с собою из Баку партию рабочих — человек 20 казанских татар. Это был очень хороший, здоровый, работящий, дисциплинированный народ, среди которого было немало запасных солдат. Все они беспрекословно повиновались артельному старосте — старшему по возрасту Абдуррахману. Однако дальнейший опыт показал, что вывоз из России рабочих на такие несложные работы, как изыскательные, но происходящие в необычных местных условиях и в нездоровом климате, сопряжен с большим риском; гораздо практичнее пользоваться дешевым местным трудом, не налагающим на предпринимателя никаких обязательств, кроме правильного денежного расчета. Между тем подыскание и наем этой рабочей партии сильно задержали приезд инженера Черноликова в Астару. Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств партия рабочих из России не причинила нам больших хлопот и была впоследствии благополучно водворена в Баку. Что оторвало этих сильных и здоровых людей от родных деревень и семей — мне было неясно. Не изжитый ли еще инстинкт номада* или расчет наживы, побуждавшей их собратьев приезжать в Петербург и бродить с котомками за плечами по дворам, сколачивая копейку куплей-продажей старья? Неурожайный ли год? Я часто вел как во время работ, так и на отдыхе продолжительные разговоры с этими крайне симпатичными, приветливыми и словоохотливыми людьми. Насколько помню, работа за границей, между прочим, прельщала их новизной обстановки и повышенным заработком. Для устройства их в нашем лагере имелись две большие круглые палатки. Находились они на своем довольствии и кормились артельно.

Ни одна из партий не была так снабжена разными медикаментами, с которыми никто не умел обращаться, как наша. Для аптеки был заказан специальный громоздкий ящик с гнездами для банок, причинявший нам при перемещениях массу хлопот, тогда как дру-

* Древнегреческое название кочевника.

гие партии обзавелись лишь походными келлеровскими аптечками большого размера. Эта медицинская обуза была вызвана сравнительно большим составом партии и наличием привозных рабочих, но кто и как мог бы лечить их при более или менее серьезных заболеваниях — никому не приходило в голову. Аптека была поручена мне как лицу, менее других обремененному техническими работами, и очень неудачно, так как с детства один вид ран вызывал во мне тошноту. Впрочем, ни у кого из состава партии не было склонности к медицине и все были довольны, что «доктором» был назначен я. Вообще же никто не верил в возможность серьезных заболеваний при полевых, не тяжелых, работах, что и оправдалось на деле; и мне, скрепя сердце, пришлось произвести только одну операцию: вскрыть простое нагноение от занозы на пальце и заслужить среди татар славу врача. Для моего руководства я был снабжен лечебником, не помешавшим мне, однако, выдать желудочному больному дозу каломеля без обычных предосторожностей. К счастью, все сошло благополучно, и моя репутация доктора осталась непоколебленной.

На партию было выдано тифлисскими военными властями несколько берданок для защиты от разбойников и диких животных, и несколько человек из членов партии были вооружены револьверами. Вообще, снаряжавшие партию лица имели очень слабое представление о стране назначения и ее не только мирных, но, скорее, жалких и беспомощных обитателях, и винтовками нам пришлось пользоваться только раз: при устройстве охоты на кабанов, не давшей ни одного трофея. Впоследствии мы покупали кабанов за бесценок у местных охотников, которые рады были отделаться от «запрещенного» мяса, да еще за плату.

Наконец, после долговременных сборов, партия была снаряжена и выступила из Астары. Палатки и багаж были навьючены на нанятых на месте мулов и высланы вперед на намеченное по карте место предстоящего ночлега. Нам пришлось идти, хотя и в недалеком расстоянии от моря, через девственный лес, где деревья переплетались острыми лианами, губившими нашу обувь. Наши татары в их длинных халатах и высоких сапогах, вооруженные к тому же лишь тяжелыми топорами, были совершенно негодны для расчистки зарослей. Пришлось нанять несколько человек местных крестьян, которые и пошли перед вешильщиком, расчищая серповидными ножами линию от ползучих растений и валежника. Очень скоро всем стало ясно, что пользование местным трудом было гораздо практичнее найма рабочих в Баку, которым платили довольно большое жалованье, не говоря уж об ответственности за их здоровье и продовольствие. Кроме этого, ни обувь, ни платье их не были приспособлены к местным условиям работы, и они во всем уступали проворным, обутым в кожаные лапти туземцам. Обычный темп предварительных изысканий — десять верст в день, но мы никогда не проходили такого расстояния. Бывали дни, когда на линии попадались вековые самшиты с твердой, как железо, древесиной. На их срубку тратились часы, во время которых весь технический персонал бездействовал, и результатом дневной работы была одна провешенная верста. Все нервничали. Чернолихов по временам запивал и в пьяном виде неистовствовал, скача на лошади ночью по бездорожью, рискуя свернуть себе шею. Выпивал иногда и, совсем не умея ездить, следовал примеру начальника, лихого наездника-казака, и мой спутник из Петербурга техник Иванов. Как только он уцелел! Работа шла медленно и плохо. При таких условиях отношения между Чернолиховым и его помощником Кленовым, вообще недолюбливавшими друг друга, совершенно испортились, и Кленов послал в Тифлис в Управление изысканий донос на своего начальника.

Невзирая на эти неудачи в работе и разлад среди начальства, жизнь лагерная представлялась мне, городскому жителю, очень привлекательной. Целый день на открытом воздухе, сытная и обильная пища, здоровый сон сделали из меня неузнаваемо крепкого человека, не имевшего ничего общего с только что выдержавшим государственный экзамен студентом, забракованным по слабости сложения в Царскосельском Императорской фамилии стрелковом батальоне, где я пытался отбывать воинскую повинность вольноопределяющимся. Мы вставали в 6 часов, наскоро завтракали и немедля выступали на работу иногда в нескольких милях от лагеря. Работа заканчивалась с сумерками, и мы возвращались в новый лагерь настолько утомленными, что сразу после обеда большинство расходилось по палаткам на сон. Жили мы и работали, однако, в крайне напряженной атмосфере, несмотря на то, что Чернолихов подтянулся, был совершенно трезв, внимателен к делу, требователен и формален. Более всего молодежь боялась прекращения работ и роспуска партии, так как никто из нас не был связан контрактом. Наконец, пришел приказ из Тифлиса, отзывавший обоих инженеров для объяснений и назначавший начальником партии техника Н.Б. Решетникова из только что закончившей свою задачу партии инженера Манучарова, ко-

торая вела линию от станции Алят Закавказской железной дороги до Астары.

Чернолихов и Кленов немедленно оставили партию и вернулись в Астару, от которой мы отошли на очень скромное расстояние. С Чернолиховым уехали также Сапаров, оказавшийся совершенно не у дел, и слуга-телохранитель Спиридон, ненужная и неуживчивая личность. Оттуда все они на очередном пароходе отправились в Баку.

Одновременно прибыл к нам и новый начальник — техник Решетников. Я познакомился с ним еще в Тифлисе перед отъездом на работы. Это был очень милый, добродушный, со всеми ласковый и тактичный человек с небольшим техническим образованием железнодорожного училища, но, видимо, с хорошим практическим стажем. Его слабостью было, при весьма простой физиономии, считать себя «неотразимым» и очень заботиться о своей внешности. Он элегантно одевался и проводил досуги за маникюром и другими «охорашивающими» операциями; у него был неиссякаемый запас всевозможных духов, кремов и пр. Другой его слабостью было заискивание перед инженерами и старание быть с ними на дружеской ноге. Он обычно хвастался аристократическими знакомствами и говорил, несколько сюсюкая и растягивая слова. Над ним все подсмеивались, но считали его добрым малым. В партии инженера Манучарова он был на той же роли, как и наш В.В. Иванов, т.е. нивелировал линию и, видимо, хорошо усвоил технику предварительных изысканий. Со всеми членами нашей партии он быстро сошелся и держал себя отнюдь не начальственно, не задевая самолюбия почтенного Я.И. Мельвиля и своего сверстника и знакомого по прежней работе Иванова. Меня, как университетского, он скорее даже отличал. С ним приехал в партию, на место Сапарова, и новый заведующий хозяйством И.И. Мадатов — молодой полуобразованный армянин, крайне наивный, горячий и обидчивый, грозивший «застрелить» за каждую шутку по его адресу. Мне припоминается в связи с его приездом следующий курьезный эпизод. С началом зимы, когда полевые работы из-за снега и ненастных дней стали невозможными, мы ожидали в какой-то деревушке решения управления — зимовать ли нам в Персии или возвратиться в Тифлис, — проживая в арендованной нами грязноватой персидской лачуге и бездельничая. Кроме Мельвиля, все члены партии были молодые люди, любившие поговорить и поспорить на разные темы. Помню, как-то зашел разговор о современной литературе, во время которого Мадатов, вероятно, никогда ничего не читавший, но не желавший показаться невеждой, неожиданно вмешался в разговор, заявив, что «в армянском языке очень большая литература». Все заинтересовались. «Тридцать пять (точного числа я не помню) букв», — отвечал Мадатов.

Н.В. Решетников повел линию ускоренным темпом, почти параллельно приморской полосе, избегая остановок из-за сруба больших деревьев, которые он обычно «обходил теодолитом», не гонясь особо за точностью, так как все видели, что с теодолитом он имел довольно отдаленное знакомство. Мы двигались, к нашему общему удовольствию, быстро, пока зима не остановила наших работ. По решению Управления мы должны были вернуться в Тифлис, выполнив лишь половину задачи.

Ближайшим пунктом, соединенным пароходным сообщением с Баку, была та же Астара, куда мы и вернулись и без задержки сели на стоявший на рейде очередной пароход общества «Кавказ и Меркурий», отплыли в Баку, а оттуда с поездом Закавказских железных дорог проследовали в Тифлис.

ГЛАВА 3
Зимой в Тифлисе; весной опять на изысканиях в Персии

Несмотря на половину декабря, столица Кавказа пленила нас своим теплом. Погода была совершенно весенняя, и мне, привыкшему к петербургскому холоду, казалось крайне странным видеть уличную толпу, одетую по-летнему в декабре.

Ради сокращения расходов я и техник Грейм, который мне был особенно симпатичен среди членов нашей партии, остановились в одной комнате в только что открытой гостинице «Ориант» на Головинском проспекте. Для столицы Кавказа с ее «номерами» и второразрядными гостиницами, среди которых «Лондон», где я провел осенью две недели, казался маленьким приветливым оазисом, нарядный, многоэтажный «Ориант» с лифтом, хорошими ваннами, электричеством и другими современными нововведениями был большой новинкой. Выяснив, однако, что наше пребывание в Тифлисе продолжится месяца три, все члены партии разбрелись по частным квартирам и мы с Греймом, из соображений экономии, перебрались в меблированные комнаты на Михайловской улице.

В Тифлисе я скоро убедился, что сто рублей в месяц — очень небольшая сумма, принимая в расчет комнату, стол и вошедшие в привычку развлечения по вечерам, исчерпывавшиеся, впрочем, лишь приличной оперой в городском театре и Банковским садом, о котором я упоминал ранее.

Я не помню больших имен среди певцов и певиц, кроме сопрано Папаян, выступавшей впоследствии в Мариинском театре в Петербурге, но в оперу мы ходили с удовольствием не менее трех раз в неделю, несмотря на то, что среди «изыскателей» места дешевле 1 рубля 50 копеек считались несоответствующими их достоинству. В Тифлисе, кроме обычного столичного репертуара, ставились и старые оперы, о которых я раньше знал лишь понаслышке, вроде «Роберта-дьявола» и «Бал-маскарада». В ту же зиму посетил Тифлис и юный в то время пианист-виртуоз Иосиф Гофман, пленивший тифлисскую публику своим мастерским исполнением творений Шопена. Подвизался еще в то время в Тифлисе, не помню чей, хороший цирк, с любимицей публики наездницей Гамсакурдия. На те или другие, почти ежедневные, развлечения с частыми ужинами в «подвальчиках», так как без них вечера в чужом городе без хорошего круга знакомых были бы томительно скучны, шла половина жалованья.

Лично у меня было больше свободного времени, чем у моих сослуживцев, систематизировавших свои полевые работы, пользуясь для этого и моими пикетажными записями. Намереваясь осенью вновь попытаться пробиться в Учебное отделение и думая, что для этого мне будет полезно знание разговорного персидского языка, я, в поисках учителя, обратился в местное персидское генеральное консульство, где познакомился с одним из молодых секретарей, взявшимся заниматься со мною чуть ли не ежедневно по часу за очень скромную плату. Персидское правительство того времени, видимо, не щедро оплачивало своих заграничных чиновников, особенно мелкого ранга, и мой Мирза Абуль Хасан Хан был рад заработать на карманные расходы лишние 10–15 рублей. Я слышал, что начальники персидских заграничных постов даже совсем не получали жалованья, садясь на «кормление» и эксплуатируя местную колонию в свою пользу. Бывший в то время посланником в Петербурге Мирза Риза Хан был человеком с большими личными средствами, и особняк персидской миссии на Бассейной улице, недалеко от пересекающей ее Надеждинской, был очень богато и уютно обставлен в персидском вкусе. Стены были увешаны, а полы устланы редкими и ценными коврами, думаю, не на счет персидского правительства.

Впоследствии мой учитель Мирза Абуль Хасан Хан был переведен на пост третьего секретаря миссии в Петербурге и я с ним часто встречался, но в миссийском особняке для него не нашлось места и, как и в Тифлисе, он ютился в меблированных комнатах второго сорта.

В Тифлисе я уже не застал В.А. Чернолихова и не помню, какая кара его постигла, но с Кленовым я встречался и даже играл с ним в винт у начальника одной из изыскательных партий — инженера Фесенко. Кленов, видимо, ждал от меня одобрения его образа действий в отношении Чернолихова, наведя разговор на происшедший в нашей только партии скандал. Но так и не дождался: я тогда не имел еще дипломатического опыта и не умел лавировать, да и все симпатии наши были на стороне Чернолихова, который был крайне гуманным начальником и не давал подчиненным чувствовать, что между инженерами и техниками «дистанция огромного размера».

В Тифлисе мы пробыли около трех месяцев, то есть всю зиму. Помню освящение воды в Куре в Крещенье, которое мы наблюдали с моста при громадном стечении народа. Несколько лет спустя, в этот же самый день, мост, не в меру перегруженный зрителями, обрушился, повлекши за собой массу жертв.

Не помню точно, когда наша партия покинула Тифлис, но думаю, что уже в начале марта мы были в Энзели, откуда и повели наши изыскания до того пункта, где мы приостановили наши работы зимою. К тому времени состав нашей партии несколько изменился: В.В. Иванова заместили техником Баджаговым — молодым армянином из партии инженера Манучарова. Баджагова я знал еще в Тифлисе; это был очень милый и добродушный юноша, говоривший с большим армянским акцентом, что, в связи с его любовью к галстукам невероятно ярких и пестрых расцветок, давало обильную пищу для безобидного над ним подшучивания.

До Энзели мы добрались прямым рейсом из Баку и, несмотря на ясную тихую погоду, выгружаясь на открытом рейде, все отдали дань морской болезни из-за мертвой зыби, несмотря на то, что многие из нас, в том числе и я, были хорошими моряками, легко переносившими обычную качку. В Энзели мы арендовали большой двухэтажный пустующий дом в апельсиновом саду, ставший нашим временным жилищем и штаб-квартирой.

Для удобства передвижения и сохранения времени для всех членов партии, от начальника до пикетажиста, были куплены на месте верховые лошади, и наши изыскательные работы пошли быстрым темпом вдоль берега, и участок Астара — Энзели был закончен очень скоро без затруднений и приключений. Во время нашей стоянки в Энзели туда прибыл начальник изысканий инженер В.А. Саханский со своими спутниками. Вся эта так называемая «разведочная» партия состояла не более как из пяти человек. Был среди них и переводчик. Он говорил на татарско-азербайджанском наречии, с которым можно было проехать всю Персию, так как с ним знакомы чины администрации, почтовые чиновники, зажиточное купечество и духовенство, хотя массы населения на юге его не знают. Я к тому времени достаточно уже освоился с разговорным персидским языком и таил надежду, что теперь В.А. Саханский пристегнет и меня к своей группе, совершавшей интересную поездку через всю Персию с севера на юг и возвращавшуюся в Россию через Индию и Суэц. Надеждам моим, однако, не суждено было и на этот раз осуществиться. Да и некому было бы заменить меня на посту пикетажиста. Кроме того, группа Саханского была хорошо составлена из специалистов и лишний человек мог быть только помехой. Проведя с нами день, Саханский и его сотрудники выехали на Тегеран через Решт и Казвин, а мы начали изыскательные работы по нашему последнему участку Энзели — Решт.

В Энзели произошел курьезный случай с нашей телеграммой в Тифлис, характеризующий примитивную простоту порядков в тогдашней официальной Персии. При осмотре инструментов выяснилось, что у теодолита не хватало становой гайки, без которой пользоваться этим очень точным инструментом делалось невозможным. Решено было телеграфировать в контору изысканий в Тифлис и просить о срочной высылке гайки. Я, как могущий объясниться по-персидски, был послан в телеграфную контору, где «принц-телеграфист» (в то время, да и в позднейшее, по моему опыту, начальниками персидского телеграфа почти везде были обедневшие «принцы», имевшие, хотя бы очень и очень отдаленное, отношение к шахскому роду — шахзадэ. Как людям наиболее грамотным и интеллигентным, им поручалась такая сложная по персидскому масштабу того времени работа, как передача телеграмм) сказал мне, что энзелийский телеграф не принимает телеграмм на европейских языках, а только на персидском, и что, поэтому, он передаст нашу русскую телеграмму в арабской транскрипции в Решт по

слуху в отделение Индоевропейского телеграфа, откуда она пойдет по назначению латинским алфавитом. Я усомнился в возможности такой сложной операции, хорошо зная, что точная транскрипция русских и иных европейских слов арабскими буквами невозможна. Тем не менее, шахзадэ говорил очень авторитетно, я же возражал на своем, еще не окрепшем, персидском языке, вероятно, недостаточно веско, и моя телеграмма была принята и мною оплачена по высокому тарифу с получением расписки.

Прошло недели две, а мы не имели никаких сведений из Тифлиса, продолжая успешно свои работы без помощи теодолита, в пользовании которым Решетников вообще не был достаточно тверд. Мы не ожидали уже ответа на нашу телеграмму, основательно предполагая, что из смешения языков могла произойти только путаница. Каково же было наше удивление, когда однажды вечером после работ нас посетила депутация от «принца-телеграфиста». Она принесла корзинку с великолепными апельсинами с извинением, что наша телеграмма не могла быть передана из Решта в Тифлис, но что деньги, взысканные за нее, не могут быть возвращены как уже поступившие в шахскую казну и что, если мы будем настаивать на их возмещении, то только подведем шахзадэ, который горел желанием нам услужить. Что оставалось делать? Было ясно, что мы справимся и без теодолита, а казенный убыток до некоторой степени компенсировался прекрасными апельсинами, вошедшими в продовольствие партии. Извинения были приняты, и обе стороны остались вполне удовлетворенными друг другом.

Энзели того времени был довольно большой, но мелкий открытый порт с очень примитивным оборудованием. Все пароходы и большие суда останавливались на открытом рейде, что обычно делало разгрузку и погрузку в ветреную погоду при помощи барж (кирджимов) довольно сложной операцией. Город широко раскинулся вдоль низменного берега и не отличался ничем выдающимся, не имея сколько-нибудь значительных ни старых, ни новых построек. Со своим административным центром Рештом он связан мелководной, текущей в низких болотистых берегах рекой, по которой в кирджимах перевозились с одинаковой скоростью и пассажиры, и грузы в несколько часов. Несмотря, однако, на все свои недостатки, Энзели был наиболее важным персидским портом на Каспийском море, впускавшим и распределявшим русские товары почти для всей северной Персии. Главные предметы ввоза — мануфактура и сахар — даже для Исфагана[10] и Шираза ввозились

через Энзели, который, в свою очередь, выпускал шедшие из этих отдаленных центров мерлушку и хлопок.

Как и в Астаре, в Энзели была Лианозовская рыбная ватага, где работало по чистке и уборке пойманной рыбы много русских баб и девушек. Это было связано с невозможностью применения местного труда, который, с одной стороны, не был приспособлен к этого рода работе, а с другой, был связан религиозными предрассудками — учением ислама о женщине, роде рыб, считающихся дозволенными (осетр и его породы, как не покрытые чешуей, к ним не принадлежат) и т.п.

Здесь же, при впадении одного из узких рукавов реки в море, я наблюдал сезонный улов сазана, служащего в солено-вяленом виде одной из важных пищевых статей не только для побережного населения, но и потребляемого внутри страны. Наш повар чуть ли не ежедневно разваривал нам этот своего рода «штокфиш», только много вкуснее трески, на закуску перед ужином к общему всех одобрению. Техника ловли была очень проста. Узкое мелкое устье перегораживали плетенной из прутьев плотиной с выходом, не более метра шириной, у одного берега. У этого выхода на вбитых в дно кольях укрепляли небольшой помост, на котором помещался рыбак с сачком большого диаметра, насаженным на саженную палку. Сачком этим он непрерывно, до замены, черпал воду у входа в отверстие плотины, выбрасывая пойманную рыбу на берег, причем сачок все время наполнялся рыбой до отказа. Я никогда не видел такого массового и простого улова, не требовавшего никакого уменья, а лишь выносливости, так как рыба шла сплошной стеной метать икру. Вся рыба была крупная, фута в полтора длиной; на берегу ее подхватывали и сортировали уборщики. Тут же на берегу она подсаливалась и вялилась.

В Энзели я впервые ознакомился с совершенно неизвестным в России фруктом — сладким лимоном. Общего с лимоном у него только цвет корки и сердцевины. Это круглый, величиной с небольшой апельсин, плод, малосочный, без всякого аромата, со сладковатой, почти безвкусной, мякотью. Не удивительно, что он совсем не вывозился в Россию, избалованную лучшими сортами апельсинов из Яффы и Мессины.

Как я уже говорил, работы наши шли скорым темпом, и к Пасхе мы рассчитывали быть в Реште. Успешности работ способствовало и то, что мы пользовались местными рабочими, которые были и дешевы, и приспособлены к условиям и климата, и местности, и

почвы. Кроме обыкновенных чернорабочих типа бакинских амбалов — крепких, грязных, в овчинных жилетах, кишевших паразитами (все, кто неосторожно пользовался их услугами и поддержкой при переходе через болотистые места, жестоко поплатился за свое легкомыслие, и я был одним из них; впрочем, исключений, кажется, не было), у нас для работы более тонкой, вроде ношения инструментов и промера цепью, были лица самых разнообразных слоев общества и профессий, искавшие хорошей и верной платы за сравнительно нетрудную работу. Был, например, у нас один ученик часовщика, известный среди нас под именем «часовых дел мастера». Был один пожилой отставной чиновник-опиоман, не перестававший глотать терьяк в виде маленьких шариков из загустевшего сока маковых семенных шишек. Неспособный ни к какому физическому труду, он исполнял обязанности надсмотрщика над рабочими.

Вести линию от Энзели до Решта пришлось уже не по берегу моря, а заселенными местами и почти сплошь через частные владения. Тут, не видя серьезного протеста, мы проявили полнейший вандализм, не заботясь ни о каких обходных движениях и идя прямо напролом, лишь бы сократить длину линии и скорее закончить работы. Линия шла почти исключительно через насаждения мелкими кустами шелковицы, которые просекали без всякого сожаления, невзирая на сетования владельцев. Последним обычно говорилось, что железнодорожная линия обогатит тех, через владения коих она пройдет. Однако шелководы, хорошо знакомые с правительственным произволом, не надеялись на «журавля в небе», как обещания будущих благ, и предпочитали «синицу в руке» в виде немедленной денежной компенсации за порубки. Но на компенсирование у нас не было ни средств, ни указаний, и мы продолжали нашу разрушительно-изыскательную работу до тех пор, пока не были остановлены приказанием нашего консула в Реште Похитонова, к которому через местных властей поступили жалобы землевладельцев. Вызвав к себе Решетникова, консул указал ему на недопустимость своевольничанья даже в такой стране, как былая Персия, где проявление иностранного произвола было обычным явлением. Он добродушно пожурил, что мы работали в чужой стране, среди чужих людей, даже не прибегнув к совету своего консула, и предписал прекратить порубки шелковицы перед перспективой наложения на изыскания возмещения убытков, которое на этот раз ему удалось с трудом отклонить.

С консулом Похитоновым, очень популярным в Реште, где он провел немало лет, я так и не встретился, так как все переговоры с ним вел Решетников. Последний передавал нам, однако, что консул выразил удивление, что все члены партии не посетили его на Пасхе. Я думаю, что он сам был виноват в этом. Наш загородный лагерь был хорошо известен в Реште, и если бы мы получили хотя бы намек, что наше посещение ожидается, то не преминули бы принять приличный вид и явиться в консульство, куда по скромности мы не решались идти без приглашения.

Гилянская провинция с Рештом в центре всегда славилась своими шелками. Широкого фабричного производства в европейском смысле тогда не было, и ткани производились скорее кустарным способом; но качество их было очень высоко, и они мало подходили для требований заграничного рынка. По качеству и рисункам они напоминали те шелковые ткани среднеазиатского производства, с которыми я познакомился впоследствии в Ташкенте. В Гиляне было также сильно развито ковровое производство, и ковры служили предметом широкого экспорта. Но ковры эти были среднего качества и по добротности, рисунку и расцветке им было далеко до тонких и твердых, как кожа, керманских, мягких ширазских или наших текинских.

Перед отъездом из Решта я все же посетил консульство, через которое хотел подписаться на тегеранскую официальную газету «Иран» для практики в персидском языке. Этот еженедельный печатанный литографским способом листок в четыре страницы среднего формата нельзя было даже назвать газетой в строгом смысле, так как он содержал лишь информацию стереотипного содержания из разных провинциальных центров, свидетельствующую обычно о благоденствии той или другой провинции под высокою рукою шахиншаха. В консульстве я встретил секретаря П. Михайлова, впоследствии — вице-консула в Урмии, и прикомандированного И.И. Решетова, с которым я встречался в Учебном отделении. Он был нашим последним генеральным консулом в Бушире, где, впрочем, ему не пришлось побывать из-за октябрьской революции. Я вручил Решетову подписную плату за год, но своей газеты я так и не видел: частная ли подписка за границу не принималась редакцией, доставка ли газеты была затруднена цензурными условиями, но так или иначе деньги были возвращены мне впоследствии без объяснения причин. Несколько экземпляров этой газеты и подобного же тавризского листка доставлялись для Учебного отделения миссией в Тегеране и генеральным консульством в Тавризе через Министерство иностранных дел.

Из Решта же я отправил в Учебное отделение восточных языков заказным письмом свое прошение о зачислении меня в слушатели отделения, рассчитывая, что получение прошения из Персии произведет известное впечатление на И.А. Иванова. Как показало будущее, я не ошибся в своем предположении.

В начале мая мы уже были в Тифлисе, где получили сразу же окончательный расчет и были отпущены на все четыре стороны. В половине мая я был дома с 500 рублями сбережений в кармане и с таким запасом здоровья, благодаря полевым работам, каким до того времени никогда не располагал.

ГЛАВА 4
Возвращение в Петербург. В Учебном отделении восточных языков

Первым моим шагом по возвращении в Петербург был визит на Большую Морскую в Учебное отделение с целью наведения справок об участи моего прошения, посланного из Персии. И.А. Иванов принял меня очень приветливо и сказал, что прошение мое получено, но что, как всегда, слушательских вакансий меньше, чем число желающих их занять, что решение о принятии зависит от Первого департамента Министерства, но что он даст обо мне благоприятную рекомендацию ввиду моего прошлогоднего успеха на экзамене и поездки в Персию. Я справился, будет ли «конкурсный» экзамен осенью перед началом учебного года, и получил ответ, что экзамена не будет ввиду возможности замещения вакансий без испытания. Я сразу же почувствовал, что мое дело «на мази», так как отлично знал, что Учебное отделение может принять в этом году четырех штатных слушателей и, по установившейся практике, одного сверхштатного. Мне также было хорошо известно, что из университетских кандидатов будут приняты лучшие — Гирс и Разумовский, а из лазаревцев — рекомендованные Олферьев и Чирков. Таким образом, для меня предназначалось место сверхштатного и это, учитывая отсутствие у меня каких-либо связей, нужно было считать максимумом успеха. Думаю, что поездка моя в Персию сыграла в деле моего поступления немалую роль.

Лето я провел «на кондициях», в качестве домашнего учителя, в семье богатых крестьян-кирпичнозаводчиков в селе Усть-Ижоре на Неве в двадцати верстах от Петербурга. С семьей этой (вернее, это были жившие вместе три семьи) я был хорошо знаком, так как сын старшего в семье К.Д. Захарова был моим товарищем по 3-й С.-Петербургской гимназии и университету, и я обычно во время университетского курса проводил летние вакации в Усть-Ижоре, репетируя и подготовляя к переэкзаменовкам детей то одного, то другого брата. Семья эта, зажиточная еще при деде, особенно разбогатела во время строительной горячки в Петербурге, совпавшей с моими университетскими годами, когда кирпич, себестоивший около 10 рублей за тысячу, продавался по 25 рублей и дороже. Крестьянами Захаровы были только по происхождению, номинально, по образу жизни они, скорее, напоминали помещиков. Такими крестьянами в Усть-Ижоре были не одни Захаровы, но и несколько других семей, разбогатевших на кирпичном производстве. Сами братья Захаровы были людьми без всякого образования, даже малограмотными, но дети их — как сыновья, так и дочери, — все получили образование: большинство — среднее, а мой коллега Митя — даже высшее. Это был своеобразный и редкий среди студенчества тип: очень способный, но крайне наивный, не интересовавшийся ничем и ничего не читавший, кроме газет, которые он лишь проглядывал, останавливаясь на официальной части — производствах — и городских происшествиях. В университет он поступил лишь ради диплома, стремясь возможно скорее выбиться из крестьянства, поступить на государственную службу и дослужиться до чина действительного статского советника. Поступил он на факультет восточных языков только потому, что Ширков, сын подрядчика по сплавке кирпича с заводов на постройки, прошел через тот же факультет и Учебное отделение и уже находился на консульской службе в Турции. Было, как будто, и у Мити смутное желание сделаться консулом, но к окончанию университетского курса оно совершенно испарилось, так как он увидел, что генеральского чина можно добиться и не уезжая за границу. Так или иначе, он поступил на службу в Отдел казенной продажи питей Министерства финансов, немедленно же сдав в архив и предав забвению все свои многообразные знания языков Ближнего Востока.

Маленький, толстенький самодовольный человечек, он был большим ловеласом и очень удручал попытками привлечь меня к участию в его амурных похождениях и играть в них роль ширм.

Игнорирование какой бы то ни было литературы, классической или текущей, было изумительно. Я думаю, он с гимназической скамьи, после обязательного знакомства с классиками, ничего не читал. По крайней мере, я, видевшийся с ним за четыре года университетского курса почти ежедневно, никогда не видел его за чтением каких-либо книг, помимо учебников, а если он заставал меня за книгой, то считал своим непременным долгом отвлечь от чтения. Раз, доведенный до отчаяния, я довольно резко выразил удивление его индифферентности к печатному слову вообще и к новой литературе в частности, о которой он не имел ни малейшего представления, не зная даже имен авторов. «Знаешь что, — сказал он мне, ничуть не обидевшись на мое замечание, — если уж я начну читать, то буду читать запоем и не смогу оторваться для чего-либо другого. При таком свойстве моего характера лучше уж совсем не читать». И он слепо следовал этому правилу, представляя из себя редкий тип студента, которому университет не дал ничего, кроме диплома. В суждениях на любые темы он был крайне наивен, не превышая мыслительными способностями уровня своих полуграмотных родителей и родственников и в общем развитии уступая своим старшим и младшим сестрам.

Захаровы были типичными крестьянами-барами. Жили они в домах городского типа, ели если и не изысканно, то много, детей учили, но дочерей часто не доучивали, торопясь с 16 лет спихнуть их замуж. С местными мужиками они имели общение только как должностные лица: церковные старосты, волостные судьи и т.п., — поддерживая знакомство только с подобными себе денежными аристократами. Вообще же их круг знакомства был наезжий, городской.

В своем заводском хозяйстве, как и большинство заводчиков, это были прижимистые люди, извлекавшие много и дававшие мало. Вознаграждение рабочим платилось минимальное и стандартизованное, и повышение цены на кирпич не повышало заработной платы; продукты для довольствия рабочих поставлялись хозяевами, что тоже было сопряжено с известной выгодой, однако фабричному инспектору жалоб обычно не поступало. Да и фабричный инспектор, и врач, и становой пристав были своими людьми, и наезды их всегда сопровождались обедами и ужинами с соответственными возлияниями и бесконечным винтом до раннего утра. Несмотря, однако, на некоторые отрицательные стороны заводской действительности, и порядовщики (кирпичедельцы — мужчины и

женщины), и земляники (копатели глины) сберегали за сезон кругленькую сумму в подспорье на зиму и расставались с хозяином миролюбиво, обещая вернуться весною.

В конце августа я вновь посетил И.А. Иванова, который объявил мне, что я принят сверхштатным слушателем, но что я буду зачислен в штат при ближайшем выпуске. «Вам самому, конечно, ясно, — говорил он, — что департамент не мог принять вас в штат при наличии рекомендованных университетом и Лазаревским институтом новых кандидатов, прекрасных молодых людей (излюбленный им для слушателей эпитет), заполнивших все вакансии». Я отлично понимал, что департаменту нет никакого дела до меня и что меня устраивает сам «мудир» ввиду, вероятно, моей настойчивости и поездки в Персию. Для меня было важно зацепиться за Министерство, и хотя жалованье, несмотря на его мизерность — 33 рубля 33 копейки, было очень желательно, так как у меня не было почти никакого дохода, если не считать жалких частных уроков, все же в данный момент оно играло второстепенную роль.

В начале сентября в Учебном отделении начались занятия одновременно у нас и на офицерском курсе. Наша группа состояла из восьми человек: второкурсников, моих старых коллег А.П. Дмитриева, Н.П. Якимова и перебившего мне дорогу В.А. Матвеева, и новичков-университетских М.М. Гирса, С.П. Разумовского и меня, лазаревцев С.П. Олферьева и Г.В. Чиркова. О занятиях в Учебном отделении я уже говорил. Так же они шли и у нас: полное безделье на лекциях арабского языка у Нофаля, чтение персидских и татарских газет у Абединова и Баязитова и действительная работа по турецкому и новогреческому языкам у Вамваки. На лекциях по международному праву у М.И. Муромцева и по мусульманскому праву у Нофаля мы встречались с офицерами, из которых я помню кавалергарда Брянчанинова, лейб-улана Её Величества Давыдова, артиллериста Шелковникова, лейб-гвардии Московского полка Шевцова, желтого кирасира[11] Вольского и сапера П.П. Цветкова, с которым мне пришлось потом встретиться в Ташкенте, где он трагически погиб после неудавшегося антибольшевистского восстания[12].

Как я уже упоминал, штатские слушатели получали комнату и освещение натурой в виде нескольких фунтов стеариновых свечей в месяц. В жизнь их после классных занятий никто не вмешивался. Они в каком-то смысле пользовались даже большей свободой, чем в частных меблированных комнатах, так как могли возвращаться домой в любое время, платя швейцару главного входа с Морской определенное вознаграждение в месяц и имея каждый свой ключ от входной двери в квартиру слушателей. В общем, жизнь протекала в этом общежитии очень мирно и обычно оно пустовало по вечерам. Очень редко, перед выпусками, бывали довольно шумные попойки, на которых обычно появлялся, должно быть, для поддержания порядка, и секретарь «Клим». Иванов, если и знал о них, то не показывал вида, и если и наносил нам в экстренных случаях визиты, то только по утрам до лекций и после них, когда все было в порядке.

Я не буду останавливаться на монотонных двух годах Учебного отделения, нормальную жизнь которого нарушили лишь два инцидента. Один из блестящих слушателей-офицеров поручик Давыдов принужден был оставить полк, а следовательно, и офицерский курс восточных языков после пьяного столкновения с каким-то штатским в ресторане «Медведь», когда он, как говорили, даже обнажил саблю. Командиром полка в то время был известный в высших петербургских кругах французский эмигрант генерал-майор принц Луи Наполеон, державший полк «в ежовых рукавицах» и славившийся своей строгостью еще со времени командования Нижегородским драгунским полком на Кавказе. Участь юного блестящего Давыдова была решена в 24 часа, и он был принужден выйти в запас.

Второй инцидент, с благополучной развязкой, произошел у нас и был связан с исчезновением в конце второго года Чиркова на романической почве. Многие из нас, готовясь к консульской службе, подкрепляли свои знания французского языка частными уроками, и Чирков занимался с некой мадам Лоран, по слухам среди нас, — интересной дамой бальзаковского возраста. В один, как говорится, прекрасный день Чирков исчез из Учебного отделения, о чем через день-два пришлось доложить И.А. Иванову. Наш бедный «мудир» страшно перепугался. Выплыл наружу «роман», и были наведены справки у мадам Лоран, которая отговорилась полным неведением. Дали знать полиции. Кто-то из более близких к Чиркову слушателей снесся с его отцом, известным в Москве профессором-гинекологом — безрезультатно. Вспомнили тогда, что Чирков много рассказывал о подмосковном имении своего отца, и написали туда. Чирков отыскался: он скрылся в имении, решив порвать с «лавочкой» и залечивать сердечную рану в сельском уединении. Иван Александрович, узнав, что Чирков, которого он уже

считал покончившим счеты с жизнью самоубийством (слушатели балаганили даже о найденной будто бы записке на турецком языке, в которой Ч. просил «никого не винить... и дать знать мадам Лоран»), отыскался, предложил ему немедленно вернуться, говоря, что дело обойдется лишь маленьким извинением со стороны Чиркова перед директором департамента. Тут, однако, нервный и слабовольный Чирков, сношения с которым велись через более близкого к нему слушателя первого года В.М. Писарева (сына известного артиста Императорского Александринского театра Писарева и не менее известной, бывшей одно время и на императорской сцене, драматической артистки Стрепетовой), проявил непреклонность и соглашался вернуться только при условии «никаких извинений». И.А. Иванов, обрадованный, что небывалый в истории «лавочки» скандал может незаметно «рассосаться», согласился на условия «прекрасного, но нервного молодого человека» и взял все хлопоты по улаживанию инцидента на себя. Это не представляло никаких затруднений, так как департамент совсем не интересовался внутренней жизнью слушателей и знакомился с ними только по вступлении их на фактическую службу по окончании курса в Учебном отделении.

Слушатели, как старшие, так и вновь поступившие, слушали одни и те же лекции и производили одну и ту же работу. Строго говоря, двухгодичного курса не было, а выпуски устраивались по мере требования департамента. Когда последний нуждался в специалистах по турецкому и персидскому языкам, слушатели выпускались даже через год, и И.А. Иванов всегда имел двух-трех «прекрасных молодых людей» наготове, но обычно курс растягивался на два года. Весной 1901 года были выпущены Якимов, Дмитриев и Матвеев. Последний незадолго до выпуска имел небывалое в анналах «лавочки» столкновение с лектором турецкого и новогреческого языков Вамваки, который, видя, что Матвеев, типичный дегенерат как по внешнему типу, так и по внутреннему содержанию, крайне непопулярен среди слушателей, позволил себе выругать его «свиньей», когда М., опоздав, шумно проходил через класс в другую комнату на лекцию по международному праву. Но Вамваки не учел того, что Матвеев, при всей своей жалкости, был protégé князя Оболенского, в силу чего, вероятно, он и бросил Вамваки на ходу грубое замечание.

Никто не ожидал такой вспышки со стороны вообще терпеливого и не замечавшего насмешек Матвеева. Вамваки был страшно

смущен и, кое-как доведя лекцию до конца, убежал с жалобой к своему патрону И.А. Иванову. Мы, не терпевшие Вамваки, державшего нас над уроками, как гимназистов, втайне злорадствовали. «Мудир», придя в негодование, требовал извинения со стороны Матвеева и даже намекал на возможность увольнения, но и он разбился о щит «князь Оболенский». Матвеев категорически отказался извиниться, и бедному И.А. Иванову пришлось пойти на компромисс и удовольствоваться лишь примирением сторон в его присутствии.

По выпуске этой «тройки» я сразу же стал получать желанные 33 рубля 33 копеек в месяц, но комнаты еще не получил, так как выпущенные остались жить при Учебном отделении до осени, то есть до начала учебного года.

Летние вакации я опять проводил в селе Усть-Ижоре на Неве, подготовляя к очередным переэкзаменовкам моих прежних учеников, и к 1 сентября, когда начинался новый учебный год в «лавочке», был уже в Петербурге. Нашими новыми коллегами были В.М. Писарев — университетский — и М.М. Попов — лазаревец; к ним вскоре присоединился и очередной сверхштатный — С.П. Голубинов, одного выпуска с Писаревым по университету. Он попал в слушатели Учебного отделения, пройдя почти через тот же искус, что и я, то есть съездив в Персию, с той только разницей, что он осуществил поездку на свой счет, использовав на нее три летних месяца. Он проехал до Исфагана и был в самом центре страны, откуда, в виде вещественного доказательства, привез мраморную намогильную плиту, сбытую ему одним из местных поставщиков «старины» в качестве «антика». Возможно, что Голубинов и сам прекрасно знал, что покупает, но, несомненно, что этот мраморный документ, хотя и был ему тяжелой обузой в пути, сослужил свою службу для поступления его в Учебное отделение, так как он преподнес его в дар этому учреждению и тем расположил И.А. Иванова в свою пользу.

Учебный год прошел по рутине, и очень скоро, ранней весной, ввиду требования Министерства, нам, пятерым старым студентам, были произведены выпускные экзамены, на которых, по традиции, мы все фигурировали во фраках, еще считавшихся в то время парадным статским костюмом даже и для дневных церемоний. Экзамен сошел по обыкновению хорошо, причем лишь два предмета требовали подготовки: международное право и мусульманское право. Последнее представляло некоторую трудность для кое-

кого из экзаменующихся, так как сдавалось по-французски. Но и этот небольшой камень преткновения обходился очень хорошо при помощи С.И. Нофаля, который подхватывал каждую фразу неуверенного студента, развивал ее и ставил отметку не менее 10 по 12-балльной оценке. Большинство, однако, совершенно не имело десяток и «прекрасные молодые люди» оправдали себя, имея в экзаменационной ведомости только 11 и 12.

Как-то, незадолго до выпускного экзамена, И.А. Иванов пришел после лекций в помещение студентов с предложением от Министерства для одного из студентов немедленно после выпуска выехать за границу исполнять должность секретаря консульства в Джедде. Секретарь консульства была первая дипломатическая должность, на которую мог быть назначен только чиновник, выдержавший дипломатический экзамен при Министерстве (для должностей по драгоманату такого экзамена не требовалось), но практика часто обходила это правило, назначая то или другое лицо «исполняющим должность». Попадались даже «и.д. консулов», не выдержавшие этого экзамена в свое время, а впоследствии или обленившиеся, или заваленные работой и оставившие мысль об экзамене. Пользуясь всеми привилегиями и содержанием по исполняемой должности, они, однако, теряли в чинопроизводстве, так как «и.д.» мог повышаться в чинах лишь до известного предела.

Предлагая одному из нас отправиться без задержки в Джедду, И.А. Иванов обрисовал преимущества этого назначения: шаг через должность (обычным первым нашим назначением было студент миссии или посольства) и, следовательно, повышенное содержание и, в качестве развлечения, ловля рыбы удочкой в Красном море (и это при нестерпимой жаре почти круглый год). Правда, он упоминал также о возможности поездок в Египет. Отрицательные стороны поста он старался затушевать, но мы отлично их знали: тяжелый знойный климат, непривлекательная природа, отсутствие общества и культурной жизни, неинтересная работа, сводящаяся исключительно к приему и отправке в Мекку паломников и содействию им при возвращении в Россию. Джедда всегда считалась у нас одним из самых непривлекательных постов на Ближнем Востоке, невзирая даже на сравнительную близость Каира. Кроме того, все мы предпочитали возможно скорее сбросить с себя обузу дипломатического экзамена и сделаться патентованными дипломатами: провал на дипломатическом экзамене или отсрочка

его на несколько лет были сопряжены с известным риском остаться на все время службы «исправляющим должность».

Тем не менее, среди нас нашелся один желающий: это был Чирков. Не знаю, что побудило его принять это назначение, но только не материальные соображения, так как по сравнению с большинством из нас он был человеком обеспеченным. Я думаю, его попросту уговорили Гирс и Писарев, имевшие на него известное влияние. Кроме того, назначение в Джедду более или менее гарантировало от службы в Персии, а Чирков по своим карьерным склонностям был скорее туркофилом.

ГЛАВА 5
В Первом департаменте Министерства иностранных дел

Итак, весной 1902 года мы четверо оказались причисленными к Первому департаменту Министерства иностранных дел и были размещены по разным «столам»: С.П. Разумовский попал в Турецкий, М.М. Гирс — в Среднеазиатский, я — в Персидский, а С.П. Олферьев — в избегаемую всеми регистратуру, где работа сводилась к записи входящих и исходящих несекретных бумаг (секретная переписка регистрировалась по столам), раздаче первых по столам и отправке последних. Работа же причисленных к столам состояла, главным образом, в переписке на пишущей машине и иногда шифровке и расшифровке телеграмм. Это считалось, да и на самом деле было много интереснее текущей переписки, так как давало возможность знакомиться со всеми материалами, обрисовывающими курс нашей политики в той или другой стране. Я лично, не имея никаких знакомств в министерстве, считал себя предназначенным для регистратуры и был крайне удивлен и доволен, попав неизвестными мне судьбами в симпатичный Персидский стол, начальником которого (официально — делопроизводителем VII класса) был И.А. Персиани, впоследствии — советник посольства в Риме. Персиани был красивый, очень высокий шатен с небольшой бородкой клинышком. По коридорам Первого департамента он ходил большими неслышными шагами и, вопреки ритуалу департаментских модников, носил исключительно темное платье, мягкую обувь и не признавал никакого галстука, кроме черного. Карьера его была исключительно департаментская, связанная со Средним Востоком. Будучи, вероятно, человеком неза-

висимых средств, он не стремился за границу на небольшие должности, терпеливо ожидая возможности быть назначенным на более или менее крупный пост в Рим, его особенно привлекавший. Это был чрезвычайно симпатичный человек ровного, приветливого характера, общий любимец. По отзывам интимно знавших его людей, он был незаурядный пианист и большим ударом для него была какая-то странная болезнь правой руки, препятствовавшая игре. При моем поступлении в Министерство он уже научился довольно бегло писать левой рукой, дабы не утруждать правой, которую он берег для игры.

Кроме Персидского стола, в нашей комнате (в третьем этаже с окнами на Дворцовую площадь) помещались Среднеазиатский, ведавший делами Бухары и Хивы, Китайский и Японский столы. Делопроизводителем первого был скоро ушедший из Министерства Хрулев, второго — М.С. Щекин, умерший на посту советника посольства в Токио в начале Мировой войны, японскими же делами ведал временно Булах, бывший моряк, сошедший с ума в должности вице-консула в Коломбо в бытность мою управляющим генеральным консульством в Бомбее (1907–1910). Начальником же нашего Отделения, объединявшим все эти столы, был А.А. Нератов, в то время делопроизводитель V класса, а перед большевистским переворотом — товарищ министра. Старшим причисленным в Персидском столе был лицеист В.В. Граве[13], а в Среднеазиатском — А.А. Половцов, имевший уже большой служебный стаж, кажется, по Министерству внутренних дел. Он вскоре был назначен дипломатическим чиновником при туркестанском генерал-губернаторе. Впоследствии я встретился с ним в Бомбее, где он короткое время был генеральным консулом, а закончил он свою карьеру в должности второго товарища министра после февральской революции.

В другой большой комнате размещалось отделение Ближнего Востока с Турецким и Балканским столами со своим штатом делопроизводителей. Тут же, по соседству с этими рабочими комнатами, находились кабинеты директора и вице-директора. Глубину этажа, по другую сторону коридора, занимала регистратура, которой заведовал молчаливый и сосредоточенный А.А. Скиндер, впоследствии сошедший с ума, а к регистратуре по коридорчику, ведшему на черный ход, примыкала длинная узкая комната, где устроилось так называемое «Чадо» (Чайное Азиатского Департамента Общество), члены которого, во главе с вице-директором, за скромную плату получали завтрак в полдень и чай в 4 часа.

При назначениях за границу и повышениях по службе членов «Чада» они обыкновенно «выставляли пироги» к чаю, заказывая несколько тортов в одной из лучших кондитерских, обычно у «Berrin» на улице Гоголя (Малой Морской). Молодежь тщательно следила за такими случаями, чтобы не опоздать к чаю и не остаться без пирогов. Исторической реликвией «Чада» были массивные серебряные подстаканники, носившие на себе выгравированные автографы его основателей. Из них мне припоминаются имена Зиновьева, в описываемое время — посла в Константинополе, Гартвига, Нератова, бывшего генерального консула в Бейруте Лишина, генерального консула в Урге[14] Шишмарева и бывшего консула в Бордо Комарова, занимавшего какой-то пост по министерству. Последний — пожилой сухощавый субъект совершенно нерусского типа, с подстриженными «щеточкой» усами, что было тогда еще у нас не в моде, иногда показывался в «Чаде». Он говорил почти исключительно по-французски, и при его посещениях в голове стола, где усаживались «старшие», слышалась только французская речь. Комаров считался авторитетом министерства в вопросах французского письменного стиля и принимал участие в редактировании более или менее важных нот. Кроме того, он имел отношение к довольно бесцветному министерскому официозу «Journal de St. Petersburg», прекратившему впоследствии свое существование из-за ничтожности тиража и ненужности. По облику и манерам он более всего походил на француза, ввиду чего, в связи с его французской речью, он слыл среди молодых зубоскалов под именем Le Комаров.

Небезынтересной личностью был и Шишмарев, бурят по национальности. Как знаток монгольского языка он, будучи еще молодым человеком, попал консулом в Ургу при основании этого учреждения и дослужился в течение многих лет до звания генерального консула и чина тайного советника. Я слышал, что он был очень популярен в монгольской столице и много способствовал насаждению русского влияния в мало тяготевшей к Китаю Монголии. Я помню Шишмарева во время его пребывания в Петербурге уже древним, но очень бодрым маленьким старичком, бегавшим по министерским кулуарам и лестницам с быстротою и легкостью, которым мог бы позавидовать любой молодой.

Изредка, при особо важных передвижениях, в департаменте устраивались обеды по подписке — обычно в ресторане «Доно» у Певческого моста. Обеды эти вносили порядочную брешь в бюджет «прекрасных молодых людей», особенно живших на жалова-

нье, но уклоняться от них считалось дурным тоном. Кроме того, чаявшая заграничных назначений молодежь имела кредит и у артельщика Министерства, и у поставщиков, вроде портного, сапожника и других, рассчитываясь при получении подъемных денег. В то время такой обед обычно обходился в 15 рублей с человека и состоял из бесконечного ряда закусок с самой разнообразной выпивкой и длинного меню, обильно поливаемого соответственными блюдам винами, включая шампанское. Многие, после длинного рабочего дня (от 10 утра до 7 вечера), подкрепляя себя не в меру, теряли баланс и покидали ресторан при поддержке товарищей.

Мне припоминается один такой обед, на который председательствовавший Н.Г. Гартвиг пришел с большим опозданием и сразу же, обратившись к причисленному Китайского стола Шереметеву, передал ему для переписки какой-то срочный царский доклад, сказав, что он должен быть готов на следующий день к его приходу в департамент, то есть к 11 часам. Шереметев, почтительно приняв черновую и запрятав ее в карман своего неизменного сюртука, заверил директора, что все будет готово к сроку, но он не рассчитал своих сил за обедом, и на другой день и он, и Гартвиг были в департаменте в одно время — в начале двенадцатого часа. Я в первый раз видел добродушного и спокойного Николая Генриховича в таком раздражении: он кричал на сконфуженного Шереметева, который только что выудил из кармана сюртука скомканную рукопись. Как только он ее не потерял! К счастью, спешность оказалась несколько преувеличенной, и через час-полтора доклад был готов и представлен вовремя уезжавшему в Царское Село министру.

Обычно поступавшие на службу по Министерству иностранных дел представлялись директорам и вице-директорам своего департамента и департамента личного состава и хозяйственных дел и товарищу министра, министр же, до назначения Извольского, принимал только высших чинов.

При моем поступлении на службу директором Первого департамента был уже Н.Г. Гартвиг — грузный господин чисто русского облика, несмотря на свою фамилию, а вице-директором — элегантный и утонченный Сементовский-Курило, брюнет южного типа. В Департаменте личного состава соответственно начальствовали барон Буксгевден и наш лектор международного права Н.И. Муромцев. Барон Буксгевден — высокий, представительный краснощекий блондин с бородкой клинышком, очень приветливый, с постоянной самодовольной улыбкой на лице — был шталмейстером Высочайшего Двора и по этому придворному званию в официальных случаях появлялся в вицмундире при шпорах — на удивление департаментской молодежи.

Ко времени нашего выпуска из Учебного отделения товарищем министра был еще князь Оболенский-Нелединский-Мелецкий. Он принял нас, в числе других представлявшихся, по очереди, стоя. Процедура была очень несложная: рукопожатие, приветствие и несколько слов, если представлявшийся получал заграничное назначение. Представление было формальностью, согласно традициям, и князь как будто тяготился им и старался отделаться возможно скорее. Он был болезненный человек, страдавший каким-то нервным тиком, подергивавшим его лицо, ввиду чего при приеме он держал в левой руке платок, закрывая им нижнюю часть лица.

Министром тогда был граф Ламздорф, которого мы заочно хорошо знали по четкой аккуратной подписи на бумагах. Изредка приходилось и встречаться с ним на молебнах в царские дни в министерской церкви, когда мы появлялись в виц-мундирах и, подходя к кресту, встречались со стоявшим на левом клиросе моложавым блондином среднего роста, приветливо пожимавшим нам руку.

В заключение несколько слов о низшем персонале — курьерах. Их была целая стая, собиравшая обильную жатву с чиновников и посетителей. Для них была негласная такса: по рублю за «доклад». Обыкновенно круг «представлений» обходился не менее чем в 5 рублей, а «представления» шли непрерывной лентой. Курьеры богатели и украшались нашими и иностранными медалями. Был даже случай награждения директорского курьера Богданова мелким турецким орденом, что вызвало резкую критику среди молодежи — «кавалеров» той же степени.

Самым большим событием за время моего причисления к Первому департаменту было празднование двухсотлетнего юбилея Министерства. В ознаменование его была выбита большая бронзовая настольная медаль, которую выдали всем чинам как центрального ведомства, так и заграничным, а также выпущена в виде большого тома in folio*, украшенного соответственными рисунками и портретами, история Министерства. По случаю юбилея у графа Ламздорфа состоялся большой раут, на который были приглашены все находившиеся в это время в Петербурге чины Министерства.

* Ин-фолио (*лат.*) — большого формата.

Припоминается мне еще отправление особой миссии в Абиссинию во главе с бывшим генеральным консулом в Бейруте Лишиным. Негус Менелик уже давно искал сближения с Россией по мотивам некоторой общности религии. Вероятно, Царь Царей, сокрушивший итальянцев под Адуей, искал упрочения международного положения своей страны и своего трона путем дружбы с исконной защитницей православия. С другой стороны, и Россия, находясь до русско-японской войны в апогее своего могущества и международного влияния, искала проникновения всюду, где только можно было ожидать увеличения ее международного престижа. Торговых интересов в Абиссинии у нас не было. Это был отдалённый и трудный рынок. Миссия Лишина была ответом на посещение Петербурга Абиссинским чрезвычайным посольством во главе с Абуном, о чем я уже говорил.

Другим крупным, но недооцененным событием, если не ошибаюсь, приблизительно того же времени был приезд в Петербург японского принца Акихито Коматсуномия с важными, как говорили, дипломатическими задачами по разграничению сфер русско-японского влияния на Дальнем Востоке и даже нащупыванию почвы для дружественного соглашения, крайне необходимого для Японии ввиду проявления нами исключительной активности в Корее, особенно же — в связи с поощрением нами таких предприятий, как пресловутые лесные концессии на Ялу. Упоенные своими успехами, мы смотрели на вопрос иными глазами, чем наша, казалось, слабая соперница на том же поприще — Япония, и не видели необходимости ни в разграничении сферы влияний, ни, тем более, в союзе, и принц Коматсу, после обычных официальных приемов и банкетов, уехал из Петербурга ни с чем. В результате вскоре за тем разразилась русско-японская война, после которой нам пришлось потерять все то, владение чем мы могли лишь упрочить, пойдя на соглашение с Японией. Но все это известно в освещении как русских, так и иностранных авторитетов по дальневосточным делам и не требует моих комментариев.

В начале декабря 1902 года состоялся очередной дипломатический экзамен под председательством товарища министра князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого с экзаменатором по международному праву и истории трактатов профессором С.-Петербургского университета и непременным членом Совета Министерства иностранных дел Ф.Ф. Мартенсом. По политической экономии экзаменовал директор Второго департамента, впоследствии

посол в Токио Малевский-Малевич. Обмен мнениями по статистической работе, исполняемой на заданную тему на дому, происходил между экзаменующимся и бароном Стюартом, одним из членов Совета Министерства, тогда как председатель задавал вопросы по резюме «дел» на русском и французском языках. Для большинства экзаменующихся испытание проходило успешно, но все же бывали и провалы, но не среди слушателей Учебного отделения. Я помню одного консула, ни разу не рискнувшего экзаменоваться, и другого, безуспешно экзаменовавшегося несколько раз. Оба были «и.д.» на своих постах и считались образцовыми работниками, но один так и не решился приступить к экзамену, другой же неизменно «проваливался» при каждой поездке в отпуск, хотя экзамен приходилось не передерживать, а только додерживать по предмету «провала» — обычно истории трактатов.

Мы четверо — Гирс, Разумовский, Олферьев и я — традиционно «прошли» и весной 1903 года получили заграничные назначения: Гирс — драгоманом генерального консульства в Мешеде[15], Разумовский — студентом посольства в Константинополе, Олферьев и я — студентами миссии в Тегеране. Чирков в то время уже давно «грелся» в Джедде. Почти одновременно с нами был назначен студентом же миссии в Тегеране правовед В.А. Петров, сын бывшего генерального консула в Тавризе.

ГЛАВА 6
От Решта до Тегерана. В Тегеране: миссия и ее обитатели, русская колония, столичная жизнь

Я, Гирс и Олферьев выехали из Петербурга одновременно в марте месяце и расстались в Баку, откуда Гирс отплыл с ближайшим пароходом в Красноводск. Я же и Олферьев погрузились в тот же вечер на маленький пароходишко «Туркмен», шедший в Энзели. Это было утлое суденышко общества «Кавказ и Меркурий». Барометр предвещал свежую погоду, и по выходе из порта нас сразу стало так качать, что было тошно смотреть на уставленный к ужину всякими яствами стол в узенькой носовой кают-компании. Олферьев быстро «смотался» в каюту, несмотря на то, что был любитель и выпить, и закусить. Я крепился дольше и даже пробовал есть, но пища не шла в глотку, тянуло к принятию горизонтального положения. Ни капитан, ни офицеры не сошли в кают-компанию, и я скоро спустился к

себе вниз, где проспал до утра, проснувшись на энзелийском рейде. Погода была ясная, но пароход качало мертвой зыбью, выворачивающей нутро. О еде не приходилось и думать; хотелось лишь скорее ступить на твердую почву. Пока подошли кирджимы, прошло, однако, не менее нудного часа.

Помню, в Энзели мы останавливались на короткое время у прикомандированного к рештскому консульству Преображенского, который, дав нам придти в себя после неприятного морского перехода и солидно подкрепить пустой желудок, любезно распорядился снаряжением для нас прямого кирджима до Решта по реке, носящей шаблонное название Сефид-руд (Светлая река) и текущей в низких, топких, покрытых камышом берегах. Это было очень медленное, неинтересное путешествие в течение нескольких часов вверх по реке, и мы были крайне рады, когда, наконец, к полудню добрались до Решта, где были встречены у места причала консульским служащим-персом, который и доставил нас в консульство. Нашим консулом в Реште был в то время И.Л. Цейдлер, финляндец по национальности. По-русски он, равно как и его жена и дочь, говорил с акцентом. Мы были встречены всей семьей очень радушно и скоро почувствовали себя как дома. Цейдлеры, видимо, тяготились жизнью в Реште: тяжелый климат, вечная малярия, отсутствие школы для подростка-дочери и другие отрицательные факторы персидского захолустья заставляли мечтать о жизни в более культурных условиях, и они только и ждали возможности вырваться на свободу. Мы долго болтали на разные темы, обменялись министерскими и местными, интересовавшими, главным образом, нас, тегеранскими новостями, переночевали в консульстве и на другое утро, напутствуемые добрыми пожеланиями Цейдлеров, выехали в Тегеран.

Пассажирское сообщение между Рештом и Тегераном поддерживалось в то время конной тягой в самых разнообразных старых повозках по шоссе, построенному русскими инженерами. Специальных экипажей, вроде омнибусов и почтовых карет, не было, и арендатор движения приспособлял для путешественников перепряжных лошадей и приобретенные по случаю экипажи всевозможных типов: кареты, ландо, четырехместные и двухместные коляски. Грузовое движение происходило на громадных крытых фургонах.

Насколько я помню, шоссе в своей спиральности не уступало Военно-Грузинской дороге и, пожалуй, даже превосходило ее. Построено оно было очень хорошо и содержалось в образцовом

порядке, но подвижной состав, тяга и возницы оставляли желать очень многого. Я говорил уже об экипажах, лошади же были плохо выезженные, а ямщики («сурчи») недостаточно опытные, нередко терявшие контроль над лошадьми.

Цейдлеры уговаривали нас взять крытый экипаж-карету или ландо, ввиду ненадежности весенней погоды. Но мы выезжали в ясный день и опасения казались нам необоснованными; путешествие в карете не давало возможности полюбоваться красотами суровой природы. Все ландо были в разгоне, и мы неосмотрительно остановились на открытой четырехместной коляске.

Хотя нас и подгоняли в Петербурге, да и Цейдлер говорил, что посланник без студентов «как без рук», Олферьев, большой лежебок, стоял за поездку «с прохладцей», то есть с ночевками на станциях, дабы, как он говорил, предстать пред грозные очи П.М. Власова в свежем виде и произвести на него благоприятное впечатление. Я же, по прошлому опыту, проехав ночью вторую половину Военно-Грузинской дороги, знал, насколько ночная поездка на почтовых и утомительна, и неинтересна, и даже опасна на случай, если лошади «понесут», и не протестовал, надеясь, что перед посланником как-нибудь выкрутимся.

Наиболее трудная часть пути — до Казвина — была рассчитана на два ночлега. Принимали нас везде начальники станций и очень радушно, но воспоминание у меня об этих остановках очень смутное: хорошо спали, много ели, много пили... Но остановка в Казвине в гостях у начальника дороги инженера Полторанова осталась у меня в памяти. Добрались мы до Казвина при прекрасной погоде без каких-либо приключений.

Мне приходилось слышать, что по техническим трудностям Решт-Тегеранская дорога превосходила Военно-Грузинскую. Может быть, это и так, но по красоте ландшафта эти два горных шоссе не приходится даже и сравнивать. Тогда как поездка по Военно-Грузинской дороге оставила у меня неизгладимое впечатление и я до сих пор могу восстановить в своей памяти отдельные пункты пути, Решт-Тегеранское шоссе не оставило в ней почти никакого следа. Представляются лишь зигзаги серой ленты, бесконечные спиралеобразные подъемы на кручи, головокружительные спуски, на которых, как рассказывали, неопытные сурчи зачастую, будучи не в состоянии сдерживать разгоряченных лошадей, бросали поводья, соскакивали с козел и предоставляли всю упряжку с пассажирами и багажом на произвол судьбы.

На одной из станций нам передали полученное по телефону приглашение начальника дороги инженера Полторанова остановиться в Казвине в его доме. Ясно припоминается радушная встреча, во время которой нам дали понять, что в Казвине одной ночевкой нам не отделаться. Инженер Полторанов был маленький, пожилой, но очень подвижной человечек, все время с серьезным лицом подшучивавший над своим секретарем — молодым евреем Эмдиным, флегматично парировавшим шутки начальства. Занимал Полторанов большой одноэтажный уютно обставленный дом, в котором хозяйничала его младшая дочь. Несмотря на спешку, мы пробыли у Полторанова два дня, проводя время за винтом, прерываемым лишь завтраком и обедом с обильным возлиянием. За наше промедление мы были наказаны если не гневом посланника, то гневом природы. Стоявшая ясной погода вдруг переменилась. Поднялся резкий ветер с дождем и снегом, и когда мы, распрощавшись с нашими гостеприимными хозяевами, уселись в нашей колымаге, ничто не могло укрыть нас от бившего в лицо полурастаявшего, полумерзлого снега.

Казвинская половина пути до Тегерана не представляет ни трудностей для движения, ни красот для глаза: экипаж катится по ровному, без подъемов шоссе в крайне монотонной обстановке. Мне кажется, что нам не пришлось даже быть более полусуток в пути, так как, выехав рано утром, мы в 5–6 часов пополудни были уже в Тегеране, продрогшие от холодного противного ветра при дожде и снеге. Выложенные старинными изразцами Казвинские ворота, через которые мы въехали в город, не могли не привлечь внимания особенностью своей архитектуры для европейского глаза. Но нам было не до созерцания оригинальной красоты ворот. Мы думали только о том, чтобы засветло добраться до миссии.

* * *

В то время когда все иностранные дипломатические миссии расположились в новой части города, вне тегеранского делового центра — базара с его грязью и скученными, большею частью глинобитными, постройками и лавками, русская миссия, старейшая в стране, помещалась в своих старых, обведенных стеною постройках в самой сердцевине базара.

Через неприглядные серые ворота экипаж наш въехал на довольно просторный двор, в глубине которого, напротив ворот, находился подъезд к лестнице, ведущей в помещение посланника и церковь. Насколько помню, все здание имело форму буквы П. В середине и направо в верхнем этаже была квартира посланника, к которой примыкала церковь, направо внизу помещалась канцелярия, а все левое крыло и свободный низ середины и правого крыла здания занимали квартиры личного состава миссии и клира. Казачий конвой размещался в отдельном помещении за главным зданием; к заднему фасаду примыкал большой хороший сад, в глубине которого стоял флигель с квартирой второго секретаря.

В описываемое мною время нашим посланником в Персии был Петр Михайлович Власов — донской казак, питомец Учебного отделения восточных языков старого типа, который принимал лиц со средним образованием на трехлетний курс. В прошлом он был генеральным консулом в Мешеде, после того, в неизвестной мне должности, ездил в Абиссинию, с которой тогда еще не было регулярных сношений, затем некоторое время состоял министром-резидентом в Цетине и, наконец, получил назначение в Тегеран. Эта карьера для рядового консула и человека без связей была не совсем обычная и свидетельствовала если не об исключительных дарованиях, то, во всяком случае, об энергии, большой трудоспособности и умении осуществлять задания Министерства.

Уезжая в Персию, мы были предупреждены об английском режиме в домашнем обиходе посланника, у которого по традициям персидской службы мы, как холостяки, должны были завтракать и обедать. Этот английский режим, так, казалось бы, не вязавшийся с его казачеством, был введен его покойной женой-англичанкой со времени его службы в Мешеде и так привился к нему, что сесть за обеденный стол в каком-либо ином одеянии, чем смокинг или фрак (за исключением форменного платья), представлялось недопустимым нарушением этикета. В этом отношении он был непреклонен, и когда встретивший нас второй драгоман миссии Н.П. Никольский узнал, что смокинги наши следуют за нами с тяжелым багажом в фургоне, он пришел в отчаяние. Мы с удовольствием уклонились бы от посланничьего стола до прихода наших сундуков, но Никольскому эта комбинация тоже казалась неприемлемой. Нам отвели небольшую квартиру из трех комнат, куда скоро пришел и второй секретарь Г.Д. Батюшков. Вдвоем они нашли выход из положения: по министерской традиции мы должны были представляться посланнику в вицмундирных фраках. После доклада Никольского посланнику решено было, что он примет нас за

полчаса перед обедом и оставит у себя обедать. Даже для путешественников не было сделано исключения, тогда как в английском не только домашнем, но даже и в клубном обиходе путешественников обычно освобождают от предписаний этикета одежды.

Посланник принял нас обоих сразу в своем рабочем кабинете. П.М. Власову было лет 55. Это был невысокий брюнет с седеющими редкими, приглаженными на прямой пробор волосами, с маленькой узенькой бородкой. Производил он впечатление человека нервного и болезненного, желчного. Принял он нас, впрочем, приветливо и после обычных вопросов о нашей поездке и Министерстве заговорил о нашей будущей работе в миссии, осведомившись, к нашему удивлению, прежде всего о наших почерках. Дело в том, что по пережитку старины «депеши»* посланника в Тегеране, адресованные министру иностранных дел и представляемые на высочайшее благовоззрение, писались от руки, несмотря на то, что Министерство давно уже отбивало на «машинке» все «царские» доклады. Коротко, даже в то время, когда пишущая машинка уже вошла во всеобщее употребление, обладание хорошим почерком было своего рода гарантией для студента миссии более или менее долговременного пребывания в Тегеране.

В присутствии посланника мы чувствовали себя несколько церемонно. Он не был человеком, способным создавать непринужденную атмосферу. Ни на минуту не забывал он, что прежде всего он посланник в то время первой державы в Европе, да еще в Персии, где мы играли первенствующую роль.

После получаса довольно натянутой беседы его метрдотель Понэ — полный, представительный человек неопределенной национальности, в смокинге, появившись в дверях, возгласил, что «кушать подано», и мы прошли в столовую, где уже застали Н.П. Никольского, который, как холостяк, тоже столовался у посланника. На маленьком отдельном столике стоял графинчик водки и была сервирована легкая закуска. Посланник, кажется, не пил, от приглашения же выпить по рюмке мы уклонились: я вообще был равнодушен к водке, С.П. Олферьев же, хотя таковую и уважал, считал политичным на первый раз от водки уклониться, чего не делал впоследствии, когда освоился. Обед был из четырех блюд

* Министерский термин для донесений послов и посланников, отнюдь не применяемый к телеграммам, которые часто непосвященная публика именует депешами. — *Прим. автора.*

обыкновенного типа хозяйств средней руки. За обедом Н.П. Никольский рассказывал о своем безрезультатном посещении персидского суда, где смешанные тяжбы разбирались персидским чиновником и вторым драгоманом миссии. Как я узнал впоследствии на опыте, такие дела редко решались сразу и приходилось посетить не одно заседание и выпить не один маленький стаканчик крепкого сладкого чаю или кофе по-турецки, пока приходили к решению того или другого дела, а то и совсем не приходили, если, например, должник был достаточно богат, чтобы «смазать» чиновника, который, если и не мог решить дела в его пользу, то находил возможным под тем или иным предлогом отложить дело и затянуть его до бесконечности. Выслушав сообщение Никольского, посланник раздраженно заметил, что судью надо подтянуть и быть с ним построже, после чего мы все прошли в бильярдную, где после кофе он с нами распрощался, предложив нам остаться и сыграть партию на бильярде.

Таков был обычный порядок наших обедов у посланника, но иногда, в редкие минуты хорошего настроения, он беседовал с нами на политические и повседневные темы. В один из ближайших за нашим приездом дней, во время такой беседы доложили о неожиданном приходе состоявшего при миссии телеграфного чиновника, который вручил посланнику пачку только что им принятых агентских телеграмм. Пробежав часть их, П.М. Власов сообщил нам о белградской трагедии — убийстве короля Милана и королевы Драги военными заговорщиками и о восстановлении династии Карагеоргиевичей в Сербии. По прежней службе в Цетине он был хорошо осведомлен в балканских делах, и мы провели интересный вечер, посвященный его воспоминаниям. Вообще П.М. Власов мог быть живым и занимательным собеседником, и мы слушали его рассказы о Балканах и Абиссинии с большим вниманием... до поры до времени. Дело в том, что он имел странную приговорку, употребляя местоимения «этот» и «тот» вместе во всех падежах и обоих числах: «казак вытянул его этой-той нагайкой», «эти-те эфиопы встречали нас с большой помпой», «когда я обедал в Цетине с этим-тем князем Николаем» и т.п. Олферьев первый заметил эту особенность речи посланника, и с этих пор наши послеобеденные беседы стали тяжелым испытанием, так как Олферьев при каждом словечке П.М. Власова подмигивал, заставляя нас еле удерживаться от смеха. В нашем домашнем быту он стал называть посланника не иначе, как «этот-тот».

Отведенная нам квартира в левом крыле здания состояла из трех комнат: двух спален и общей гостиной с необходимой, но довольно скудной обстановкой. Для каждого из нас уже были подготовлены личные слуги. Моим оказался высокий рябой малый Ибрагим, сын одного из гулямов (нечто вроде министерского курьера) миссии, который и вступил сразу в свои обязанности, за исполнение коих должен был получать с меня несколько туманов (туман — около двух рублей) в месяц. Ибрагим был симпатичный парень, но никогда не служил у европейцев и обладал большим недостатком: от него за версту несло чесноком; но я был рад — главным образом тому, что мог сразу освежить свои знания разговорного персидского языка.

В этот же день мы познакомились и с первым драгоманом А.Н. Штриттером, авторитетом миссии по персидскому языку. Он и его жена были радушная русская пара, немедленно взявшая нас под свою опеку и не оставлявшая нас своими заботами и попечением во все наше пребывание в миссии. Пост первого секретаря был вакантен; на него только что был назначен первый секретарь миссии в Бухаресте А.С. Сомов, приезд которого ожидался вскоре.

Испытание наших почерков произошло чуть ли не на следующий день. Посланник дал каждому из нас по депеше для переписки, но от экзамена этого мы не ожидали хорошего результата, особенно видя четкий писарской почерк П.М. Власова. Вот бы кому, думалось, не только писать, но и переписывать депеши. Наши почерки, по сравнению с его, не выдерживали критики: Олферьев писал мелко — «низал бисером», я же, хотя и крупно, — очень размашисто. Соответственный отзыв не замедлил последовать. Олферьев, как переписчик, был совершенно забракован: «не читать же Государю мои донесения с лупой». Мой почерк был признан только-только приемлемым, что, впрочем, «на безрыбии» давало мне шанс на задержку до поры до времени при миссии.

Третий студент миссии — прибывший вслед за нами В.А. Петров, не нуждался ни в каких испытаниях, так как заранее предназначался для службы при миссии, будучи сыном бывшего генерального консула в Тавризе, старшего сослуживца П.М. Власова. Кроме того, он был по образованию «правоведом» (воспитанником Императорского Училища правоведения в С.-Петербурге), что как бы предопределяло его, как и «лицеистов», к чисто дипломатической карьере. Были, конечно, и исключения, и как раз Петров

оказался, должно быть по утрате связей, одним из них. После смерти П.М. Власова в Тегеране он был назначен секретарем консульства в Керманшах, куда, впрочем, не поехал, а затем получил назначение секретарем политического агентства в Бухаре, где я и встретился с ним лет через десять, в 1914–1916 годах, состоя в должности дипломатического чиновника при туркестанском генерал-губернаторе. Уроженец Тавриза, он хорошо говорил на азербайджанском наречии, понимаемом и в Персии, и в Бухаре. Он был очень способный и музыкальный человек, мило игравший на рояле по слуху и доставлявший нам много удовольствия своей игрой разных модных песенок после обедов у посланника. От природы слабый и болезненный, он рано умер — незадолго до революции, в Петербурге.

К составу миссии принадлежал и молодой доктор Вальтер, о котором мне еще придется говорить, касаясь положения медицинской помощи в Тегеране.

Из других лиц, связанных с миссией, следует упомянуть клир миссийской церкви. Настоятелем ее был пожилой архимандрит Стефан, которого П.М. Власов недолюбливал, считая ханжой и формалистом. При нем состоял молодой послушник-келейник. Диакона при церкви не было, обязанности псаломщика исполнял незадолго до нас прибывший из Петербурга обладатель прекрасного баса, митрополичий певчий Заблоцкий, пытавшийся сорганизовать любительский хор, в котором пели Н.П. Никольский, С.П. Олферьев, я и старшая дочь инженера Полторанова, г-жа Султанова, муж которой служил в одном из русских учреждений в Тегеране. С ним я встречался в Тифлисе, когда он, как и я, работал в одной из изыскательских партий.

При миссии, в качестве конвоя посланника, было несколько казаков под начальством урядника, который также работал в канцелярии. Караульную же службу у ворот миссии нес отряд персидских сарбазов во главе с майором («явер»), который, несмотря на этот высокий чин, считался у нас в нижнем звании, награждался медалями и находился в обществе казаков. Сарбазы, обычно оборванные, в плохо пригнанных мундирах, из-под которых вылезали рубахи, состоя при миссии, содержались довольно опрятно. Жаль все же, что караульная служба не была возложена, ради престижа и внушительности, на казаков, которым, кроме конвоирования, было нечего делать. Впрочем, возможно, их было слишком мало для несения караулов.

С миссией была тесно связана одна личность, заслуживающая особого упоминания. Это был старик-телеграфист Г.С. Гейзлер, которого, однако, по имени никто не называл. Все: как русские всех чинов, званий и состояний, так и иностранцы, а также и персы, как официальные, так и частные лица, — неизменно именовали его по-персидски «сартипом» (генералом), разве только за исключением иногда французов и бельгийцев, шуточно-почтительно обращавшихся к нему «mon general». Мы, вновь прибывшие, ввиду его почтенного возраста, пробовали называть его по имени и отчеству, но обращение это звучало как-то ложно, и мы скоро перешли на «сартипа». «Сартип» был крайне популярен в миссии, где он бывал ежедневно и дружил со всеми. Он состоял по почтово-телеграфному ведомству и неизменно носил форменное платье устарелого образца: зимой двубортный сюртук военного покроя темно-зеленого сукна с широкими продольными золотыми погонами из витой мишуры с желтым кантом по воротнику и обшлагам, при брюках навыпуск такого же сукна, а летом — белый двубортный офицерский китель. Головным убором ему служила присвоенная почтово-телеграфным чиновникам фуражка с громадным кожаным козырьком в защиту от сильного солнечного света. Вне дома он всегда показывался со стеком в руках, что, в связи с формой, придавало ему военный вид и, вероятно, послужило основанием для величания его «сартипом». Он приехал в Тегеран молодым чиновником и со времени приезда до нашего с ним знакомства, то есть в продолжение не менее 30 лет, ни разу не был в отпуску в России. Судя по фамилии и отчеству (Соломонович), он был, вероятно, еврейского происхождения, но я не скажу, чтобы по облику и манерам он был типичен для еврея. Бессменная служба в Персии до старости объясняется тем, что он «пришелся ко двору» и сам никуда из Тегерана не стремился, хотя это и мешало его движению по службе. Его привязанность к Тегерану, впрочем, была очень понятна: бобыль, без больших родственных связей на родине, он получал приличный заграничный оклад, был принят везде в Тегеране, сжился со страной, полюбил ее и совсем не был обременен работой. Его обязанности заключались в принятии в особенные часы два раза в день телеграмм для миссии и агентских телеграмм, передаваемых по англо-индийскому телеграфу, проходящему через Персию и Россию. Он давно уже состоял в классе должности, значительно превышавшем класс, соответствовавший его фактической работе, которую мог выполнять любой

мелкий телеграфный чиновник, и повышался он по службе исключительно по просьбе того или другого посланника. Я помню, как П.М. Власов, благоволивший, как, впрочем, и все, к нему, ходатайствовал через Министерство иностранных дел перед Главным управлением почт и телеграфов о назначении «сартипа» чиновником особых поручений при управлении, дабы дать ему возможность дальнейшего продвижения в чинах и повышения оклада жалованья. Однако почтово-телеграфное ведомство категорически отклонило эту просьбу, дав понять, что вся служебная карьера надворного советника Гейзлера — одно сплошное исключение.

Из прочих русских, не имевших прямой связи с миссией, но занимавших заметное положение, надо, прежде всего, отметить начальника Шахской казачьей бригады полковника Генерального штаба Чернозубова. Это был светский и ловкий офицер, сразу понявший, что для успеха как своего личного, так и вверенного ему дела ему необходимо находиться в тесной связи с миссией и, ведя свою специальную военную работу, подчиняться, хотя бы только номинально, директивам посланника. Полковник Чернозубов великолепно усвоил себе эту политику и был persona gratissima у П.М. Власова, которого он посещал очень часто. В распоряжении полковника, в качестве инструкторов, было три казачьих офицера Терского или Кубанского войска и несколько урядников.

Шахская казачья бригада составляла в то время единственную обученную и дисциплинированную военную часть, так как персидские сарбазы не имели в себе ничего военного, кроме неопрятного, плохо пригнанного обмундирования и неисправного старого оружия, и могли нести только караульную службу, да и то лишь показательного характера, не будучи пригодны ни для каких военных активных действий или серьезного сопротивления.

Значительно выше сарбазов, как сырой военный материал, были тавризские конные ружейники, при помощи которых, насколько помню, была произведена дворцовая революция, которая привела к свержению Мохаммед-Али-Шаха Каджара. Они были хорошие наездники и стрелки, на службе не состояли, а набирались по надобности местными властями.

В Шахскую казачью бригаду входили все роды оружия, кроме саперов, и состояла она из конной, пластунской и артиллерийской частей.

Довольно большой состав русских служащих был в Учетно-ссудном банке Персии, представлявшем собой негласный филиал

нашего Государственного банка. Во главе его, в качестве управляющего, был известный финансист Грубе, директором был некто Остроградский — очень еще молодой человек, его помощником — полуфранцуз Куртэн, контролером — С.С. Серафимов, мой старший коллега по университету. Среди низшего персонала было немало университетских и лазаревцев. Московский банк, функционировавший до открытия Учетно-судного банка и доживавший свои последние перед закрытием дни, был представлен, главным образом, евреями во главе с неким Лившицем. Про него ходили слухи, что он избегал возвращения в Россию как в свое время уклонившийся от воинской повинности. Однако я неоднократно видел его и его жену если не у посланника, то у многих членов миссии. Тем не менее, выехал он из Персии, минуя нормальный путь через Россию, через Бендер-Бушир, где я с ним встретился за завтраком у генерального консула. Грубе был также на отлете, но по другим причинам: он переходил на службу в Керосиновую компанию братьев Нобель, получив назначение главным представителем этой фирмы в Петербурге. Это был сравнительно молодой, очень видный человек со светским опытом.

Жизнь в Тегеране, особенно для дипломатической молодежи, была очень приятной, при постоянных приглашениях всюду — в миссии, у русских и иностранцев на обеды, вечера и пикники. Канцелярской работы было много, но оставалось достаточно времени для любителей развлечений вне дома. Правда, переписыванию депеш посланника посвящались обычно вечера, но в случае приглашения куда-либо вечером переписку можно было отложить на позднее время или раннее утро, да и депеш иногда не поступало к нам по целым дням. Появление их зависело от вдохновения и настроения посланника и текущих событий. Бывали и очень тихие периоды.

Как я уже упоминал, задняя стена здания миссии примыкала к большому четырехугольному саду. Сад этот был местом прогулок посланника, прочие же члены миссии редко им пользовались, за исключением воскресений и праздников, когда не только молодежь, включая и псаломщика Заблоцкого, но и сам первый драгоман А.Н. Штриттер, играли в городки.

Я был большим домоседом в то время, ограничивался самыми необходимыми официальными визитами и ни у кого, кроме миссийских, не бывал, отдавая досуги, главным образом, верховой езде, пользуясь лошадьми казачьего конвоя, и занятиям персидским языком. Несмотря на сравнительную сносность почерка, я знал, что

мне долго не задержаться в Тегеране, так как меня еще в Петербурге предупреждали о возможности скорого назначения секретарем консульства в Исфагане.

Я помню несколько официальных приемов, на которых мне пришлось присутствовать как члену миссии: прием во дворце по случаю, если не ошибаюсь, праздника Курбан-Байрама, garden party* в английской миссии, раут у заведовавшего персидскими таможнями бельгийца Науса. Дворцовый прием был общий для всего дипломатического корпуса. Между 10–11 часами утра чины всех дипломатических миссий в полном составе, в парадной форме, во главе с турецким послом — старшиной дипломатического корпуса по своему рангу посла, собрались в приемной зале тегеранского дворца, разместившись по старшинству прибытия в столицу посланников за турецким послом. П.М. Власов стоял, кажется, третьим в очереди, имея под рукой, по обычаю, первого драгомана, хотя в нем и не нуждался, бегло говоря по-персидски. Мы все толпились за ними. После непродолжительного ожидания Музаффер-Эддин-Шах вошел в залу в сопровождении первого министра Атабек-Азама, нескольких сановников и драгомана. Шах обходил по очереди всех иностранных представителей, начиная с турецкого посла, и после праздничных поздравлений со стороны их справлялся о здоровье глав государств, ими представляемых. Музаффер-Эддин-Шаху было тогда лет пятьдесят. Это был довольно высокий, грузный мужчина с бледным, нездоровым, обрюзглым лицом, с большими пышными усами. Приём продолжался очень недолго. Обойдя все иностранные миссии, шах с общим поклоном удалился во внутренние комнаты, и начался разъезд. Мы с Олферьевым и Петровым разместились в экипажах членов миссии, так как наемные фаэтоны считались непригодными для церемонных выездов. Вообще способы сообщения в Тегеране были плохи и дороги, и обычно женатые люди имели свои выезды. Была одна или две линии конного трамвая, но этикет не позволял ими пользоваться; кроме того, вагоны были очень грязны и обслуживали исключительно низшие классы населения столицы.

Вообще Тегеран того времени был очень примитивен: не помню даже, был ли в городе какой-нибудь приличный отель. Европейских магазинов, не считая русской бакалейной торговли Косых, было два: «Comptoir Fransais» и голландский торговый дом

* Прием на открытом воздухе (*англ.*).

«Токо». И там и сям драли ужасно, несмотря на низкую таможенную пошлину. Была также одна германская аптека «Шверин» и одна французская «Моллион», продававшие и изготовлявшие медикаменты по очень высокой расценке. Врачебная помощь была крайне слаба. Масса населения пользовалась услугами туземных знахарей, европейцы же и высшие классы персидского общества обращались к помощи миссийских врачей. Я, по крайней мере, помню лишь нашего доктора Вальтера, француза Шнейдера и англичанина, фамилию которого забыл. Но, было, конечно, еще несколько врачей и один дантист голландец Гюббенет. Европейские доктора имели большую практику среди местной богатой знати и, не имея будущего в служебном отношении, так как карьера их начиналась и кончалась врачами консульств, миссий и посольств, благоденствовали при побочном заработке, значительно превышавшем их жалованье. Кроме того, успешные случаи излечения обычно по персидской практике сопровождались ценными подарками. Наш молодой врач Вальтер имел репутацию лучшего в городе гинеколога-акушера, но Тегеран все же его не затянул, и в 1910 году, возвращаясь в Россию в долговременный отпуск из Индии, я застал доктора Вальтера в Константинополе врачом посольства.

Я знаю один случай перехода врача консульства на чисто консульскую службу. Это был врач консульства в Сеистане, А.Я. Миллер, но он тяготился своей профессией, как он сам говорил мне. Он был назначен, по выдержании дипломатического экзамена, секретарем генерального консульства в Бендер-Бушире, где пробыл года два-три, затем приблизительно столько же времени пробыл в Асхабаде в должности чиновника для пограничных сношений при начальнике Закаспийской области и закончил свою карьеру в начале Великой войны дипломатическим чиновником при наместнике на Кавказе.

Возвращаюсь к Тегерану. Это был большой грязный город, неприглядность которого скрашивали блестевшие на солнце цветные изразцы ворот, мечетей и их минаретов, а также сады за глинобитными стенами персидских жилищ, лишь воротами выходящих на улицу. Все европейцы уже начали выбираться из центра города на открытые новые места, где было больше шири, воздуха и не было базарной скученности с присущими ей едкими запахами и подчас вонью от неубираемой падали и грязи. Но тегеранский базар был очень интересен и своеобразен. Это был громадный лабиринт, в котором даже долго прожившему в городе лицу нетрудно было заблудиться. Вся жизнь, казалось, сосредоточивалась на базаре: и деловая, и праздная публика собиралась здесь. Одни заключали сделки, другие приходили поболтать и поесть. Раскуривались бесконечные кальяны, выпивалось бессчетное количество стаканчиков крепкого сладкого чаю и чашечек ароматного черного кофе. Женщины делали свои закупки, но это не был прекрасный пол Европы, Америки, Дальнего Востока в красочных, ярких модных нарядах... Это была мрачная, однообразная, черная толпа в широких, вроде клоунских, overalls*, закрывавших фигуру с ног, обутых в довольно грубые черные кожаные туфли, до головы, с белым покрывалом для лица и вырезом для глаз. Костюм этот у нас обычно назывался чадрой («чадур» — покрывало).

Мы приехали в Тегеран в середине Великого Поста, и время до Пасхи за новизной положения и работой прошло незаметно. На Страстной неделе я, Олферьев и Никольский, под управлением псаломщика Заблоцкого, пели «Да исправится». Сперва предполагали, что будет петь и г-жа Султанова, но архимандрит Стефан был против смешанного пения, чем вызвал неудовольствие посланника. Пасхальная служба была, как всегда, очень торжественна. В пении принимали участие и мы, и казаки, и оно проходило удовлетворительно, благодаря мощной октаве Заблоцкого, покрывавшей и корректировавшей все дефекты хора. Кроме всей православной русской колонии, за службой было и несколько иностранцев, главным образом, французов, которых мы тогда особенно культивировали как союзников. Среди присутствовавших помню семейство доктора Шнейдера и некую мадам Тьерри — вдовушку бальзаковского возраста, которой, как пустословили досужие языки, П.М. Власов уделял особое внимание. После службы у посланника состоялось общее разговение, на которое были приглашены находившиеся в церкви члены русской колонии и иностранцы.

После Пасхи сразу стало сильно теплеть, так как климатические переходы на Иранском плато довольно резки, и в миссии стали усердно поговаривать о скором переезде в летнее помещение в деревне Зергендэ в десяти верстах от Тегерана.

Незадолго до переезда в Зергендэ я и Олферьев, воспользовавшись теплым воскресным днем, осуществили небольшую экспедицию в окрестности Тегерана, задумав осмотреть расположенную в уединенной котловине, среди голых гор, Башню Молчания огнепоклонников-гебров. Экскурсия эта была обставлена известной тай-

* Комбинезоны (*англ.*).

ной, так как посещение «башни» непосвященными не допускалось ритуалом и, встретившись с гебрами в момент осмотра «башни», мы могли испытать немало неприятностей, из которых жалоба в миссию была бы наименьшей. Подготовку экскурсии взял на себя Олферьев, заручившись указаниями и содействием со стороны инженера тегеранского трамвая русско-подданного Кригера, давшего нам в проводники своего служащего — надежного перса, который, наведя предварительные справки, выяснил, что в выбранный нами день не предполагается никаких религиозных церемоний у «башни», и нанял осликов для нас и для перевозки лестницы.

Ясным ранним утром мы сошлись в условленном месте, где нас ждали ослики, и пустились в путь. Выехав за окраину города, мы скоро очутились среди гор в безотрадной местности, лишенной признаков человеческого жилья и растительности, и не более, как помнится, через час медленной езды были уже у «башни», которая, в строгом смысле, мало заслуживала это название. Это была невысокая круглая серая глинобитная постройка в виде приземистого полого цилиндра, пяти-шести саженей в диаметре. Признаюсь, у меня как-то пропала охота внутреннего осмотра этого мрачного сооружения и я хотел ограничиться наружным обзором, но наш проводник уже приладил к стене лестницу, дошедшую почти до верха стены, и отступать было поздно. Олферьев первым поднялся наверх, заглянул внутрь «башни» и, не задерживаясь, спустился. «Ничего особенного, — сказал он, — несколько скелетов и смрад». Подстегиваемый все же любопытством, и я вскарабкался по жиденькой, тряской лестнице. Но и с меня было довольно лишь беглого взгляда внутрь: я увидел несколько костяков, лежавших в разных направлениях (я тогда еще не знал внутреннего устройства «башен молчания», согласно учению гебров), и у самой стены, под белым, порванным стервятниками покрывалом, видимо, еще не очищенный ими труп. Наше появление спугнуло пару-другую этих отвратительных птиц, грузно поднявшихся в воздух и перелетевших на голые скалы неподалеку. Цель была достигнута, но впечатление от виденного было тяжелое. Хотелось скорее выбраться на простор из давящей заброшенной котловины. Мы взобрались на наших осликов и через несколько времени выехали на торный путь. Было уже за полдень. Выбрав место для привала, мы расположились на завтрак захваченными с собой бутербродами и консервами. За этим занятием нас застала кавалькада служащих Учетно-ссудного банка, трусивших на осликах на пикник в один

из пригородных местных садов. Нас звали с собой встряхнуться после нашей мрачной экспедиции, но, не знаю почему — от усталости ли, от ненастроения ли, — но мы отказались и, отдохнув после завтрака, вернулись в Тегеран.

Два слова о гебрах. Их в Тегеране было немного: потомки остатков, уцелевших после исхода в VIII веке в Индию огнепоклонников, не пожелавших принять ислам, насаждаемый принудительно завоевателями. Как они сумели уцелеть и сохранить в неприкосновенности свою древнюю религию при мусульманской веронетерпимости — это своего рода загадка. Должно быть, скрывались и тайно поддерживали свой культ, получив впоследствии признание ввиду высоких нравственных качеств, трудолюбия и предприимчивости. В описываемое время верхи их занимали выдающееся положение в тегеранском торговом мире как банкиры и крупные коммерсанты. Торговый дом Арбаб-Джемшида был известен во всей Персии и «бераты» (денежные переводы), им выдаваемые на простой почтовой бумаге лишь с соответственными личными печатями, имели силу наравне с переводами нашего Учетно-ссудного и английского Шахиншахского эмиссионного банков повсюду в Персии, и местные купцы выплачивали по ним немедленно наличными. В торговых кругах они имели даже большую известность, чем банковские переводы, проникая в местности, не имевшие отделений или агентов названных банков.

Становилось очень жарко, и тегеранский сезон заканчивался. Закрылся он большой garden party, данной полковником Чернозубовым, на которую было приглашено все избранное русское, персидское и иностранное общество Тегерана. Гвоздем garden party, не говоря об обильном и разнообразном угощении, был концерт оркестра Персидской казачьей бригады, обученного русскими музыкантами. Вообще наше влияние и значение в Персии и доминирующее положение в Тегеране в то время было очень заметно.

ГЛАВА 7
В Зергендэ

В начале мая вся миссия переехала в Зергендэ — прелестный уголок, утопавший в садах, которые перерезывала бесконечная сеть арыков — персидских оросительных каналов той же системы, как и у нас в Средней Азии. Миссия размещалась в обширном саду,

где, кроме большого дома посланника в центре, там и сям были разбросаны отдельные домики для состава миссии. Все постройки были одноэтажные, простые, без всяких архитектурных претензий. Перед домом посланника красовалась бронзовая статуя Грибоедова, изображавшая дипломата-поэта в натуральную величину, сидящим в кресле.

Масса растительности и журчащие вдоль дорожек и аллей арыки делали летнюю резиденцию миссии крайне привлекательной. При саде была теннисная площадка, так как почти все члены миссии увлекались этим родом спорта. Другим обычным развлечением молодежи после канцелярской работы была верховая езда, для которой окрестности Зергендэ открывали много возможностей.

Все иностранные миссии съезжались на лето в деревни по соседству с Зергендэ, и здесь же проживали на даче и занимавшие высшие должности служащие банков и торговых фирм, так что общественная жизнь с пикниками, garden parties, завтраками и обедами не прекращалась и была как бы продолжением тегеранской, но в более приятной, здоровой обстановке.

С переездом миссии на дачу прибыл и первый секретарь А.С. Сомов с семейством. Их приезд внес много оживления в жизнь миссии. Сам Сомов под оболочкой серьезного, невозмутимого человека скрывал полную юмора натуру, а живая, вечно напевающая Мария Георгиевна, венгерка по национальности, была неисчерпаемым источником веселья и всяких затей. У них было двое детей — мальчиков дошкольного возраста, находившихся под наблюдением бонны и учительницы. Сомовы были очень гостеприимны, и обычно молодежь собиралась к ним к послеполуденному чаю, за которым царила непринужденная атмосфера в противоположность натянутым завтракам и обедам в доме формального, а подчас и мрачно настроенного посланника.

Интересно отметить, что деревня Зергендэ представляла собой русскую территорию и была под русской юрисдикцией, ставя все население деревни под русский протекторат и защищая его от персидского административного и судебного произвола. Участок миссии в Зергендэ охранялся ротою сарбазов, приходившей ежегодно летом из Тавриза. Они были получше и почище местных сарбазов, и командовавший ими почтенный полковник Бахрам, несмотря на высокий чин, сам муштровал их ежедневно часа по два, дабы придать им, насколько возможно, более военный вид. Большие чины, впрочем, при командовании малыми частями были обычны

в тогдашней персидской армии, и даже в Шахской казачьей бригаде генералы иногда командовали сотнями и не только подчинялись нашим офицерам, но зависели и от урядников.

Ввиду отъезда в отпуск второго драгомана Н.П. Никольского, назначенного консулом в открываемое в Керманшахе консульство, и вакантности его домика, мы — трое студентов миссии — разместились очень удобно: я вместе с Олферьевым, а Петров отдельно.

Желая как можно скорее освоиться с разговорным персидским языком и ознакомиться с тонкостями персидского канцелярского официального стиля, без чего нельзя было успешно работать по сношению с шахским Министерством иностранных дел и властями, так как вся переписка велась по-персидски, я не замедлил нанять учителя перса и начал с ним ежедневные уроки по утрам до канцелярии.

Надо сказать, что для того чтобы написать персидское частное или официальное письмо (слог того и другого различен) самостоятельно, необходимы годы серьезнейшей специализации, что при текущей работе было недоступно ни консульскому, ни драгоманскому персоналу, и тогда как европейцы шутя быстро постигали легкую разговорную речь, цветистый письменный язык представлял непреодолимые трудности подчас и для персов, из которых только специально обученные, начитанные люди — мирзы — могли писать должным образом. Но не будучи в состоянии сам безупречно написать официальное письмо или меморандум, консул или драгоман, прошедшие через университет или Лазаревский институт, после небольшой практики обычно могли свободно контролировать написанное заправским стилистом-персом, ввиду чего при всех консульских учреждениях в Персии, как и при миссии, существовали доверенные мирзы, писавшие деловые бумаги по указанию и под контролем драгоманов и консульского персонала. Обычно должность мирзы была как бы наследственная. Она переходила от отца к сыну, и ею очень дорожили как ставящей под защиту русского флага. Другим важным требованием персидской канцелярии было умение писать каллиграфически, и особенно ценились мирзы, обладавшие и этим искусством. Само собою разумеется, что вопросы особой важности обсуждались и решались путем словесных переговоров между посланником и шахским министром иностранных дел, а тексты договоров и соглашений составлялись на персидском, русском, а иногда и французском языках.

За отъездом Н.П. Никольского ко мне перешли все тяжебные дела, и я должен был ездить из Зергендэ раз в неделю в Тегеран

для присутствия в шахском суде и знакомиться с персидским гражданским процессом того времени. Прежде всего, судебное производство не регулировалось никаким кодексом и дела решались по обычаю и мусульманской казуистике, когда зачастую бесспорные, казалось бы, претензии принимали длительное течение. Заседания, в которых судьями являлись персидский чиновник и миссийский драгоман, а письменную часть вел писец-мирза, приблизительно происходили так: по прибытии драгомана и после обмена приветствиями, запроса о здоровье посланника и краткого разговора на текущие темы, подкрепляемого стаканчиками крепкого сладкого чая, приступали к слушанию дел. Архив судьи по разбираемым делам находился тут же в маленьком ручном саквояжике, откуда от времени до времени извлекались потребные документы, к которым прилагались новые, представляемые сторонами. Опрашивались, если нужно, свидетели. Обыкновенно судья-перс, особенно — «смазанный» ответчиком-персом, старался хотя бы затянуть дело. Многое, впрочем, зависело от опытности и настойчивости драгомана, и присутствием новичков вроде меня персидский судья, конечно, пользовался. В смешанных делах, которые проходили при мне, ответчиками были исключительно персы, и вообще дела по претензиям персов к русским были сравнительно редки.

Впрочем, моей судебной деятельности к вящему моему удовольствию, ввиду недостаточного знания персидского языка, не суждено было быть продолжительной, так как вскоре ожидался приезд из Исфагана А.Р. Барановского, назначенного вторым драгоманом миссии вместо Н.П. Никольского. В Исфагане он управлял консульством в отсутствие генерального консула князя А.М. Дабижа. Тем же приказом я был назначен секретарем консульства в Исфагане. Вообще же ни мне, ни Олферьеву не пришлось долго задержаться в Зергендэ, несмотря на то, что оно нам очень полюбилось как по местным условиям, так и по симпатичной русской среде, в которой мы проводили наши досуги.

С.П. Олферьев покинул Зергендэ первым, будучи командирован в Решт на помощь консулу Цейдлеру, оставшемуся без сотрудников. Ему повезло, так как вскоре и Цейдлер покинул Решт и он стал управлять консульством. Мне, как обладателю лучшего почерка, пришлось остаться в Зергендэ, но не надолго. Недели через две-три после отъезда Олферьева я как-то вечером был вызван к посланнику, который объявил мне, что только что полученной телеграммой я срочно командируюсь в Бендер-Бушир для исполнения обязанностей секретаря генерального консульства при новом генеральном консуле Н.П. Пассеке, прибывающем туда из Мельбурна и совершенно не знакомого с персидским языком.

Жалко было покинуть Зергендэ и Тегеран с их интересной жизнью и работой, симпатичную обстановку миссии и её обитателей, среди которых у меня было немало друзей, но, с одной стороны, отказ был невозможен, так как студенты миссии и секретари консульств всегда были переходящим элементом при миссии, с другой же — и перспектива проехать всю Персию и начать активную работу в учреждении высшего разряда (я был только секретарем консульства) в совершенно новой обстановке была и интересна, и лестна. Назначение было к тому же и ответственное для начинающего консульского чиновника, так как требовало достаточного знания языка для инструктирования и контроля ведущего переписку мирзы. В этом отношении я уже начинал чувствовать под собой почву. Предписано мне было собраться в несколько дней, так как путешествие было продолжительное, и управлявший генеральным консульством в Бушире Г.В. Овсеенко должен был по моем прибытии выехать в отпуск в Россию.

Не имея привычки к длинным путешествиям верхом на почтовых с переменой лошадей на станциях, расположенных обычно на расстоянии около семи, никем не меренных фарсахов*, т.е. в 40–50 верстах друг от друга, я решил ехать, насколько то было возможно, в экипаже на почтовых. Это решение предпочтительнее было принять также и из-за наличия тяжелого багажа, который было неудобно и рискованно оставить для отправки караваном. Кроме того, необходимо было взять для такого дальнего пути и личного слугу для всякого рода услуг в дороге, ввиду отсутствия гостиниц на станциях и малейшего комфорта при остановках, перепряжках и т.п.

Тут я встретился с затруднениями, так как нельзя было взять с собой первого попавшегося человека, а мой Ибрагим, оказавшись старательным слугой, категорически отказался меня сопровождать ввиду семейных обстоятельств, привязывавших его к Тегерану. Услышав о моей поездке, гулям-баши (старший курьер) миссии, Мехди-Хан, пришел ко мне и просил взять с собой его младшего

* Фарсах, или фарсанг — парасанг, известный по Анабасису Ксенофонта. — *Прим. автора*[16].

сына Мирзу-Махмуда. Я обратился за советом к миссийским старожилам А.Н. Штриттеру и его жене. Их отзыв был таков: «Гулям-баши очень почтенный, честный человек, но в сыновьях неудачен. Про них ничего нельзя сказать, их порочащего, но все они бездельники, не могущие долго удержаться на месте. Младший сын — Мирза-Махмуд — грамоте как следует не выучился, пробовал изучать часовое мастерство, но тоже бросил ученье на полпути. Впрочем, ради рекомендации отца, попробуйте его взять: он молод и, возможно, "образуется"». Так как выбора не было и приходилось спешить, я остановился на Мирза-Махмуде. Мое первое знакомство с ним состоялось на задворках миссийского участка в Зергендэ, где я его застал за любопытным занятием: он гонял по заброшенной аллее пойманную им молодую сороку, держа ее на тонкой бечевке, привязанной к одной из ее лапок. Характеристика, данная моими друзьями, была, видимо, основательная. При моем приближении Мирза-Махмуд почтительно вытянулся. Небольшого роста, некрасивый, но с умными глазами и приятной улыбкой, он мне понравился, и мы быстро с ним сговорились. Больше всех, видимо, был доволен гулям-баши, устроивший отъезд надоевшего всей семье молодого бездельника.

Мирза-Махмуд оказался смышленым, преданным слугой, и в течение всей моей карьеры по Министерству иностранных дел он сопровождал меня всюду, уехав лишь раз на побывку домой в Тегеран на несколько месяцев осенью 1916 года, в бытность мою дипломатическим чиновником в Ташкенте. Со времени большевистской революции, когда жизнь стала исключительно тяжелой и было впору думать только о себе, Мирза-Махмуд не уехал к своим в Персию, а предпочел переживать со мною трудное время, скрашивая своей помощью неприглядную жизнь, созданную коммунистическим режимом. В это время, впрочем, у него была уже в Ташкенте семья — жена и дочь.

ГЛАВА 8
От Тегерана до Бендер-Бушира через Исфаган и Шираз

До отъезда из Тегерана я успел познакомиться с генеральным консулом в Исфагане князем А.М. Дабижа, возвращавшимся из отпуска к месту служения и задержавшимся на несколько дней в Тегеране, где у него было много знакомых. Князь был известная

личность в Персии, где в разных местах он провёл всю свою службу. Худощавый, высокого роста, с длинной черной с проседью, густой бородой до пояса, он был очень представителен. Борода эта составляла его гордость и одну из главных забот его во время поездок по Персии, ввиду необходимости предохранять ее от дорожной пыли. Говорили, что он на остановках мыл ее особым раствором и надевал на нее на ночь особого рода мешок. Как своим титулом и внешностью, так и знанием персидских жизни и обычаев, говоря к тому же по-персидски, как туземец, он очень импонировал персам. Одевался он модно и изысканно и курил только самокрученые папиросы, нося табак и бумагу в особой четырехугольной золотой табакерке, украшенной ценным камнем на затворе. При свидании со мной он выразил сожаление, что наша совместная служба в Исфагане отсрочивается ввиду моей командировки в Бушир, дал много полезных сведений в связи с моей поездкой, так как он сам проехал в свое время до Шираза, и советовал воспользоваться одной из свободных складных кроватей в консульстве в Исфагане, крайне необходимых при путешествии в Персии.

Княжь Дабижа был очень привязан к Исфагану. И действительно, исфаганский оазис с ровным, мягким климатом, обилием растительности, красивым местоположением среди окаймленной со всех сторон горами долины, омываемой не пересыхающим даже в жаркие летние месяцы Зэнде-рудом[17], был идеальным местом для человека, искавшего спокойной жизни на лоне природы, без обременения повседневной канцелярской мелкой работой, присущей таким оживленным центрам, как Тегеран, Тавриз, Мешед и Решт.

Мой отъезд из Тегерана состоялся в первой половине июня. В мое распоряжение до Исфагана было предоставлено громадное старое ландо — «Ноев ковчег», запряженное тройкой довольно сытых лошадей. Экипаж казался мне удобным и поместительным, что было важно ввиду количества багажа, но такие опытные люди, как А.Н. Штриттер, качали головой, говоря, что жидковатые колеса не по громоздкости экипажа и его нагруженности, принимая во внимание персидское бездорожье: твердый, усеянный галькой грунт вдоль караванных троп, пересекаемых сухими руслами мелких рек и бродами более полноводных. Но выбора не было, а арендатор почтового движения уверял, что ландо выдержит не только до Исфагана, но чуть ли не до самого Бушира, если бы от Исфагана было организовано экипажное почтовое сообщение.

В жаркий полдень, напутствуемый миссийскими друзьями, я покинул Зергендэ в своей перегруженной колымаге в сопровождении гулям-баши Мехди-Хана на козлах около возницы и Мирзы-Махмуда, примостившегося среди багажа на переднем сидении. Естественная грунтовая дорога, благодаря твердости почвы, была сравнительно сносной, и путешествие в это бездождное время казалось приятным продолжительным пикником. Ввиду отсутствия каких бы то ни было гостиниц на пути, приходилось останавливаться в караван-сараях и питаться консервами и покупаемыми на месте хлебом — лепешками, яйцами, овечьим сыром и особо приготовленным кислым молоком, представлявшим из себя нечто среднее между простоквашей и творогом. Этот продукт, называемый по-персидски «маст», довольно вкусен. Он составляет один из главных предметов питания персидского крестьянина, и достать его можно не только при караван-сарае, обычно снабженном пищевыми продуктами первой потребности для «чарвадаров» (каравановожатых) и проезжающих, но и в любой попутной деревне. Впрочем, кроме караван-сараев, совершенно не приспособленных для современного европейского путешественника, была возможность останавливаться на ночлег в комнатах Индоевропейского телеграфа, оборудованных при тех же караван-сараях для нужд служебного персонала и представляемых особым разрешением в распоряжение путешественников-европейцев. Таким разрешением запасся и я. Обычно одна из комнат — глубоких ниш без окон — караван-сарая выбеливалась и снабжалась железной кроватью с сеткой, столом, одним-двумя стульями и станком для умывальной чашки. Такая комната, при наличии у путешественника матраца и умывальных принадлежностей, казалась образцом комфорта по сравнению с прочими кельями-нишами. Комнаты эти содержались в чистоте и были всегда на замке, ключ от которого хранился у телеграфного «фарраша» («фарраш» — ковер расстилающий, т.е. слуга, сторож). Последний, в ожидании щедрой награды, с готовностью предоставлял свободную комнату в распоряжение европейцев, даже не имевших при себе разрешения. Все телеграфные комнаты были снабжены телефоном, соединявшим их с ближайшими станциями. Наконец, самыми комфортабельными местами остановок были дома телеграфных техников в наиболее важных пунктах. Должности эти обычно заполнялись армянами, получившими образование в Индии, изредка англичанами. И те, и другие были очень гостеприимны, не только предоставляя

удобную комнату в распоряжение европейского путешественника, но даже считая его своим гостем на все время остановки.

Большинство караван-сараев на пути Тегеран — Исфаган — Бушир, солидной постройки из обожженного кирпича, были сооружены знаменитым шахом Аббасом, и без них движение караванов было бы крайне затруднительно.

Первые полпути до Исфагана я проехал без каких-либо приключений. Оставляя за собой Тегеран, я заметил невдалеке от наезженного тракта трубы заброшенной фабрики, и гулям-баши объяснил мне, что это постройки первого персидского сахарного завода, который принужден был закрыться, не будучи в состоянии бороться с европейской конкуренцией. Русский сахар славился на персидском рынке своим качеством, и потребитель научился даже предпочитать его марсельскому, более удобному по легкой растворимости в маленьких стаканчиках, но не столь сладкому и менее экономному. Персидский же сахар и обходился дороже, и по качеству уступал европейскому продукту.

Помню, как мы проехали Кум с его знаменитой мечетью, купол которой виднеется далеко за городом. Ночевал я в селении Кумишэ в доме телеграфиста-армянина. Большим центром на полдороге был город Кашан, славящийся своими шелками и шелковыми коврами. Торговцы немедленно наводнили мою комнату в караван-сарае, предлагая свои товары, но мне, только что приехавшему в Персию, было рано закупать подарки, затрудняя себя лишним грузом, и, полюбовавшись на чудные, как бархатные, ковры, я выехал из Кашана даже не увидев города.

Колымага моя катилась по твердому грунту довольно удовлетворительно, но отсутствие мостов и необходимость пересекать каменистые русла, большею частью — сухие, при неимоверных усилиях лошадей, двигавших повозку рывками, вытягивая ее на берег, непрерывно расшатывали и без того жидкую тележку. На полпути после первого ночлега при одном особо тяжелом усилии передок моего «ковчега» легко вылетел за лошадьми на ровное место, оставив весь кузов с пассажирами и возницей внизу. Такая катастрофа даже на торном караванном пути крайне неприятна, так как зачастую не только надолго задерживает путешественника, ввиду необходимости отправки возницы до ближайшей станции верхом за помощью, но и лишает его возможности продолжать путешествие в экипаже, заставляя пользоваться какими только найдутся на станции или в ближайшей деревне вьючными животными, обычно осликами.

Однако я находился в сравнительно выгодных условиях, располагая услугами такого опытного курьера, как гулям-баши Мехди-Хан, обшитый галунами кафтан которого и барашковая шапка с российским государственным гербом производили магическое действие как на станциях, так и в деревнях. К счастью, станция оказалась неподалеку, и скоро наша ушедшая с гулям-баши на станцию тройка вернулась с громоздким, тяжелым дилижансом, который вскоре должен был отправиться порожняком в Тегеран. Гулям-баши его перехватил — редкая удача! Мой багаж был немедленно перегружен в дилижанс между продольными скамейками, а на багаже мне было устроено довольно удобное ложе. Мирза-Махмуд уселся в углу на скамейке. Дилижанс был, видимо, построен специально для персидского бездорожья: все в нем было грубо, прочно, солидно. Но и тяжелая же это была повозка! Зато при одном взгляде на нее исключалась возможность подобного, только что испытанного мною инцидента.

По дороге, во время одного из денных привалов, меня обогнал студент С.-Петербургского университета Д. Беляев, с которым я познакомился еще в Тегеране и который путешествовал верхом на почтовых налетке. Он был в студенческой форме и чуть ли не при шпаге, для пущего эффекта при общении с персами. Задачей его было использование летних вакаций для проезда через Персию от Решта до Бушира. Вероятно, он следовал примеру моему и Голубинова, добиваясь поступления в Министерство! По окончании университетского курса это и ему удалось, и он занимал разные должности в консульствах в Персии. Если не ошибаюсь, революция застала его на посту управляющего генеральным консульством в Тавризе. Во время нашей совместной карьеры я с ним никогда не встречался.

Дилижанс был «неладно скроен, да крепко сшит», и, хотя на нем сильно потряхивало, утешала уверенность в благополучном достижении Исфагана, до которого я и добрался через два дня. Управляющий консульством А.Р. Барановский был очень рад возвращению дилижанса, очевидно, зная о его дорожных достоинствах, так как через несколько дней, по прибытии князя Дабижа, выезжал в Тегеран к месту служения. Были у него и попутчики, что делало поездку очень экономной: дилижанс мог взять шесть пассажиров, я же пользовался им в одиночку.

Молодое исфаганское консульство не имело своего дома и помещалось в центре города в великолепном палаццо местного персидского магната, сдававшего его русскому правительству и получавшего, кроме арендной платы, гарантию неприкосновенности своего имущества от произвола властей. Это была раскинувшаяся на большой площади типичная персидская постройка, включавшая в себя «бирун» и «эндэрун» (наружная и внутренняя — женская — половины), службы и сады. Как обычно в Персии, на улицу выходили только ворота, от которых в обе стороны шла высокая стена солидной кладки из обожженного кирпича, окаймлявшая весь консульский участок. Входивший через ворота попадал в наружный сад, расположенный продолговатым четырехугольником. От ворот налево было главное здание — помещение генерального консула, к которому вела каменная лестница на глубокую открытую, и даже без балюстрады, веранду с двумя дверьми, ведшими во внутренние комнаты. Устланные коврами лестница и веранда поднимались аршина на два над грунтом, делая все здание доминирующим над примыкающими к нему другими постройками. Все комнаты были также покрыты по полу и стенам ценными коврами, собранными князем Дабижа в разных местностях за время его многолетней службы в Персии. Посредине сада был большой бассейн с фонтаном, а противоположный конец его замыкала, составляя собою часть стены, украшенная изразцами ниша-веранда. Направо от ворот, в длинном ряде невысоких комнат вдоль стены, помещались канцелярия консульства и квартира секретаря. На противоположной стороне в такой же, но менее длинной, анфиладе, были комнаты для гостей, к которым примыкали ворота, ведшие во внутренний дворик, где находились комнаты казачьего конвоя и конюшни.

Задним фасадом главное здание выходило на большой фруктовый сад. Я впервые встретился с таким обилием лучших сортов фруктов. По качеству они смело могли конкурировать с лучшими сортами калифорнийских и наших среднеазиатских плодов. Я и опередивший меня на день студент Беляев попали в Исфаган в период созревания абрикоса. Плодов было изобилие, и в консульстве не знали, что с ними делать. Их усердно истребляли казаки и прислуга, но их усилий было недостаточно, к тому же и сад был обычно на запоре и масса фруктов пропадала, опадая. В консульстве я застал Беляева больным: он так налег на абрикосы, что принужден был слечь в постель. Исфаган славился также своими лакомствами; из последних известен, наверное, и по сие время на всю Персию исфаганский «гез» — высокого качества кос-халва в

лепешках от 2 до 5 дюймов в диаметре, от 1/2 до 1 дюйма толщины. Вообще исфаганский оазис казался мне одним из лучших, если не наилучшим уголком в Персии по «благорастворению воздухов и изобилию плодов земных».

Наши торговые интересы в Исфагане, однако, были не так уж велики, чтобы оправдывать расходы по созданию консульского учреждения. Из русских торгово-промышленных предприятий там работали лодзинская фирма Карла Шейблера и московская Прохоровская мануфактура, поставлявшая на местный рынок свои бумажные ткани и вывозившая хлопок-сырец. Кроме них, закупали хлопок еще две фирмы поменьше. Если я пристегну к ним агента швейных машин Зингера, то этим исчерпаю всю группу русских коммерсантов, работавших в мое время в Исфагане.

Причины, побудившие наше правительство создать здесь консульство, были скорее политического характера, а именно наличие в этом городе, тяготевшем к северу, то есть к нашей, в то время еще не оформленной позднейшим соглашением с Англией, сфере влияния, английского консульства, несмотря на то, что великобританские торговые интересы в Исфагане были даже менее значительны, чем наши. Такое положение, принимая во внимание тогдашнюю персидскую психологию, умаляло наш престиж. В противовес английской политической работе и в чаянии развития там нашей торговли и было основано наше консульское представительство в Исфагане.

Впрочем, «у страха глаза велики». По моим, да и не только моим, впечатлениям, у англичан консульство в Исфагане было весьма синекурного характера — для вящего престижа великобританского имени в Иране и в пику нам: консульский штат состоял лишь из одного консула, которому помогал и которого заменял на долгое время отпусков местный врач-армянин, получивший образование в Англии. Несменяемым консулом был симпатичный почтенный старичок г. Прис, который вскоре после открытия нашего консульства был сделан генеральным консулом, чтобы превысить в ранге своего русского коллегу, что в свою очередь, вызвало с нашей стороны назначение князя Дабижа личным генеральным консулом. В этой скачке на преимущество последнее все же осталось как будто за англичанами, так как их учреждение, как генеральное консульство, было рангом выше нашего, которое, к великому огорчению консульских мирз и персов-русофилов, было только консульством с личным генеральным консулом во главе. Но внешне князь

Дабижа блистал по сравнению со скромным англичанином, будучи, во-первых, титулованной особой, а во-вторых, благодаря всему ансамблю нашего консульства с его прекрасным зданием, дорогой, правда, частной обстановкой и казачьим конвоем. А какой выезд был у князя!

Он привез с собой из России пару кровных рысаков, молодых и еще плохо выезженных, но сильных и красивых. Небольшая езда князя в экипаже не содействовала их тренировке, и они скоро растолстели и, застаиваясь, зверели. В упряжке это были действительно звери, неспокойные и злые — с ними едва управлялись конвойные казаки и никто, кроме них, не мог ими править. Зато выезд был достойный удивления, и упряжка самого генерал-губернатора Исфагана, брата шаха, принца Зилли-Султана не выдерживала по сравнению с ним ни малейшей критики. А «показ» в тогдашней Персии был значительной частью успеха.

В Исфагане я познакомился с одним англичанином — представителем константинопольской фирмы, закупавшей кальянный табак. На производство последнего идет специальный сорт растения, культивируемого в Исфаганской и Ширазской провинциях, и вместе с хлопком кальянный табак составлял, да, вероятно, и составляет, одну из важных статей вывоза. Исфаганский и ширазский кальянные табаки мягки и ароматичны и пользуются большой известностью по сравнению с другими сортами. Кальянный табак не волокнист, а крошится вроде махорки; я курил и папиросы, но, на мой вкус, наиболее приятное ощущение дает куренье хорошего табаку через кальян.

Персидский кальян, со стеклянным или из кокосового ореха резервуаром и деревянной трубкой в аршин длиной так же удобен для куренья, как турецкий «наргилэ» с длинной гибкой трубкой и мундштуком. Курильщик кальяна обыкновенно держит его на одном колене, обхватывая вытянутой рукой шейку резервуара, что довольно утомительно. Однако кальян обычно долго не задерживается на одном колене, перескакивая на колени присутствующих по очереди, причем все участники куренья пользуются одной и той же трубкой, попадающей изо рта в рот без всякой дезинфекции. Это самая неприятная сторона кальяна.

Оправившись от своего «абрикосового» недомогания, студент Беляев выехал в Шираз на почтовых верхом. По приезде князя Дабижа и отъезде А.Р. Барановского и я покинул Исфаган, воспользовавшись тем же способом передвижения. Мой караванчик

составился из пяти лошадей: две для меня и багажа (тяжелый багаж следовал караваном), две для Мирзы-Махмуда и погонщика со станции и одна для консульского гуляма, данного мне в провожатые до Шираза князем Дабижа вместо гулям-баши Мехди-Хана, вернувшегося в Тегеран. Князь думал, что гулям, при неопытности Махмуда, будет необходим в пути, но, строго говоря, путь был безопасен и Махмуд проявил достаточно энергии и авторитета на станциях.

Погода все время стояла жаркая, бездождная, и хотя и пыльный, но твердый грунт караванных троп оказался настолько удобным для верхового передвижения, что, если удавалось заручиться приличной лошадью на станции, а в особенности — иноходцем, нетрудно было проделывать даже по две станции в день. Пробег между Исфаганом и Ширазом проходил очень гладко. Помню только одну остановку в большом селении Абадэ в доме богатого помещика, к которому я имел письмо представителя Прохоровской мануфактуры в Исфагане — армянина Петросова, закупавшего у него хлопок. Меня устроили в небольшом чистеньком персидском домике среди сада, в котором журчали вдоль дорожек арыки, напоминая мне Зергендэ. Кормили меня самой изысканной персидской пищей, одной из наиболее вкусных на Среднем Востоке для любителей риса со всевозможными соусами и приправами — так называемого «палау» (плов). Соусов этих такое же разнообразие, как и соусов карри в Индии, с той только разницей, что плов приготовляется без жгучих веществ и приемлем для всякого желудка. Одно из главных достоинств персидского плова — в меру сваренный рис, так что зернышки не слипаются. В рис этот кладется достаточное, но не чрезмерное, количество лучшего сливочного масла, что отличает его от нашего среднеазиатского плова, при изготовлении которого рис варится в бараньем сале, делая это блюдо хотя и вкусным, но тяжелым для желудка. Не обошлось, конечно, и без известных у нас шашлыка и «люла-кебаб» (котлетки из рубленой баранины), которые персы едят завернув в лаваш (тонкие, в блин, хлебные лепешки). «Маст», яйца и консервы порядком поднадоели в дороге, и вкусная горячая пища была приятным разнообразием.

Абадэ славится резными по мягкому грушевому дереву вещицами, из которых особенно известны ложки с ажурными рукоятками и разного рода шкатулки. Работа не особенно тонкая, и вещи хрупкие, и я не знал, что делать с большими и маленькими ложками, преподнесенными мне гостеприимным хозяином, который, к

моему удовольствию, не беспокоил меня частыми посещениями, дав возможность хорошо отдохнуть после продолжительной тряски верхом на лошади. Перед моим отъездом он зашел попрощаться и «поблагодарить за любезное посещение и вкушенье скромной пищи». Я заканчивал завтрак и предложил ему присоединиться ко мне, от чего он уклонился, но, заметив на столе бутылку с коньяком, спросил, что это такое. Я ответил, что это коньяк, очень полезный в дороге для желудка. Хозяин подхватил, сказав, что знает «бренди», этот чудесный эликсир от всех болезней, который и сам он иногда принимает, не как напиток, конечно, запрещенный исламом, а как лекарство. Я предложил ему полечиться, и он с удовольствием выпил несколько рюмок. Прощаясь, я спросил его, не могу ли быть ему чем-нибудь полезным в Ширазе, и услышал в ответ, что бутылка-другая «лекарства» была бы ему большим утешением в глуши. Я обещал прислать ему нужное подкрепление, а вскоре узнал, что большинство зажиточных персов любят крепкие напитки, но, в обход предписаниям религиозного закона, пьют их под ярлыком лекарства. Мой хозяин, как оказалось, был горчайшим пьяницей.

На полпути между Исфаганом и Ширазом, не помню названья местности, мы проехали стоявший в стороне от дороги невзрачный монумент в виде громадного параллелепипеда из почерневшего тесаного гранита на таком же постаменте, известный в учебниках истории с картинками под именем «Гробницы Кира», а у персов — под именем «Тахтэ-Мадерэ-Сулейман» (Гробница матери Соломона). Он был хорошо виден с дороги и, по словам гуляма, не имел на себе ни надписей, ни изображений, да и путь был далек и нужно было засветло добраться до станции. Эти соображения заставили меня проехать мимо без остановки.

В Зергане, последней станции перед Ширазом, пришлось заночевать под открытым небом, так как маленький глинобитный караван-сарай находился в плачевном состоянии и единственная его комната, где останавливались иностранные путешественники, над ведущими во двор воротами, была без крыши. Обычно, когда дорожные постройки разрушались в старой Персии, никто не заботился об их восстановлении, и иногда проходили месяцы и даже годы, прежде чем местная власть бралась за ремонт, который приходилось производить на свой счет за отсутствием каких-либо казенных или частных ассигнований на эту цель. По заведенному обычаю, исправления были случайны — перед проездом кого-либо

из особенно важных лиц. У меня не было с собой ни палатки, ни навеса. К счастью, был сухой сезон, а от обильной росы хорошо защищали одеяло и плед. Остановка же была замечательна тем, что пришлось расположиться недалеко от развалин Персеполиса, известного мне с третьего класса гимназии по рисункам в учебнике элементарной древней истории Веллярминова. Мой караванчик рано утром покинул место ночлега; погонщик с багажной лошадью пошли вперед прямо на Шираз, я же с Махмудом и гулямом налегке отделились от тракта и взяли направление на Персеполис. Скоро уже стала видна знаменитая колоннада этих руин. Персеполис — по-персидски «Тахтэ-Джемшид» — производит даже в своем разрушении сильное впечатление на путешественника, не видевшего на своем долгом пути ничего выдающегося, кроме полуразрушенных мечетей и караван-сараев Шах-Аббаса.

Подъезжая ближе к тому, что осталось от этого грандиозного сооружения древности, видишь уцелевшие ступени лестницы, ведущей на устланную большими плитами платформу-пол, на котором и высятся остатки колонн дворца, сожженного в IV веке до Р.Х. Александром Великим. Цоколь здания засыпан песком, но на оставшейся наружу части его видны барельефы со всем известными по учебникам и историческим текстам изображениями, детали которых полностью испарились из памяти.

Года два тому назад я читал в американском географическом иллюстрированном ежемесячнике, что германский археолог Герцфельд, бывший моим гостем в 1905 году в Исфагане, производил в Персеполисе раскопки и обнаружил целые комнаты и много интересных и ценных подробностей, но в то время, когда мне пришлось быть (трижды) на развалинах Персеполиса, там ничего не было, кроме открытой части цоколя с барельефами и нескольких, частью целых, частью полуразрушенных, великолепных колонн. Везде, где позволяло место, полированный камень был покрыт надписями путешественников — частью выцарапанными, частью выбитыми; нашел имена князя А.М. Дабижа и известного в свое время английского посланника в Тегеране Малькольма, написавшего историю Персии, изданную в начале XIX столетия и бывшую одним из немногих пособий по изучению истории Ирана. Не удержался и я от этого не особенно культурного обыкновения портить памятники седой древности надписями и где-то нацарапал ножом свое имя.

Развалины Персеполиса представляют собою резкий контраст с окрестными хижинами, свидетельствуя о былой высокой культуре и настоящем низком упадке страны. Я пробыл в Персеполисе с час и, пожалев, что не имел с собой фотографического аппарата, выехал далее по направлению к Ширазу.

Не доезжая миль двух до города, я был встречен кавалькадой всадников, среди которых были: один русский — агент Прохоровской мануфактуры, его помощник — молодой армянин и два русских кавказских татарина во главе с «таджир-баши» — старшиной русского купечества в Ширазе, ордубатским татарином, принявшим от долгого пребывания в Персии совершенно персидский вид. Встреча меня русскими была понятна, но что меня более всего поразило и даже смутило, так это присылка мне властями для въезда в Шираз парной кареты в сопровождении местного «каргузара» (чиновника для сношений с иностранцами). Каргузар, как мне потом объяснили русские, был большой англофил, хорошо говорил по-английски и терпеть не мог русских, так что возложенная на него миссия не могла быть из приятных.

Принимая такие почести со стороны персидских властей, я, невзирая на престиж русского имени в Персии, все же недоумевал: мне казалось, что мой ранг секретаря консульства (по-персидски «наиб» — помощник) вряд ли достаточно высок для приветствия меня при посредстве большого чиновника и предоставления в мое распоряжение экипажа. Как потом выяснилось, недоумение мое было основательно: новый генерал-губернатор Фарса, известный в то время в Персии своей прямолинейностью и бескорыстием сановник Ала-ул-Доулэ получил уведомление о назначении в Бушир нового русского генерального консула и принял меня за него, очевидно, еще не осведомленный, что Н.П. Пассек был уже на месте. К вящему моему удивлению, на другое утро тот же каргузар, Муваккар-уд-Доулэ, справлялся от имени генерал-губернатора о моем здоровье. В этот же день я был с визитом у начальника края — представительного господина высокого роста, элегантно одетого в «сердари» (род длинного кафтана со сборками сзади от пояса до низу) при полосатых сюртучных брюках и неизменной мерлушковой шапке на голове. Во время этого визита выяснилось мое официальное положение, но Ала-уд-Доулэ и виду не показал, что сделал ошибку, однако Муваккар-уд-Доулэ никак не мог примириться со своим унижением по приему консульского «наиба», да еще русского. Я с ним впоследствии встречался в Бу-

шире, куда он был переведен чуть ли не в угоду англичанам на ту же должность, и наши как частные, так и деловые отношения никогда не отличались особой сердечностью.

В Ширазе я пробыл дня два-три, остановившись в доме закупщика каракулевых шкурок бакинца Алиева, где мое пребывание было обставлено всевозможными удобствами как в смысле помещения, так и стола. Таджир-баши жил небогато и не имел свободного помещения для гостей. Как совсем оперсившийся и одевавшийся, как персидский купец, осевший навсегда в Персии и потерявший связь с Россией, он не был популярен среди членов русской колонии. Не помню, по каким соображениям, он был назначен князем Дабижа старшиной русского купечества. Впрочем, это был почтенный старик, очень гордый своим русским подданством, которое, строго говоря, он даже утратил, не возобновляя своего паспорта и не вписывая в него прижитых в Персии детей. Он тоже закупал мерлушку для бакинцев. Единственным чисто русским в нашей маленькой ширазской колонии был представитель Прохоровской мануфактуры молодой москвич Иван Калинин, скоропостижно умерший через несколько месяцев.

Шираз, столица провинции Фарс, довольно большой, типичный персидский город с базаром и грязными узкими улицами — тот же Исфаган, но поменьше. Окрестности его утопают в фруктовых садах и виноградниках, и фруктов здесь такое же изобилие и разнообразие, как и в Исфагане. Вокруг города много садов, принадлежащих местным богатеям. Я заглянул в некоторые из них, и, признаюсь, они не произвели на меня особо приятного впечатления, будучи засажены мрачными кипарисами и совершенно безлюдные. Шираз известен как родина двух великих персидских поэтов — Саади и Хафиза, покоящихся на местном кладбище.

Из Шираза я послал своему любезному хозяину в Абадэ несколько бутылок просимого им «лекарства», которые с трудом достал лишь благодаря одному местному русофилу г. Мартину, армянину с англо-индийским образованием, состоявшему корреспондентом нашего Учетно-ссудного банка. Выехал я из Шираза уже без всякой помпы, сопровождаемый одними русскими и г. Мартином.

Почтового сообщения между Ширазом и Буширом для путешественников не было, и пришлось составить караван мулов и идти на-долгих.

Путь от Шираза до Бушира тяжел как для людей, так и для животных. Дороги в собственном смысле нет, а имеются лишь караванные тропы, то вьющиеся спиралью среди крутых, почти отвесных подъемов, то спускающиеся над пропастями зигзагами к Персидскому заливу. На пути приходится осилить несколько перевалов, называемых «коталями», из которых врезались в мою память самые трудные: Котале-Малу, Котале-Духтер (Перевал Девушки) и Котале-Пирэзэн (Перевал Старухи). Подъемы и спуски у этих коталей идут горными тропинками над глубокими пропастями, и с непривычки становится подчас так жутко, что предпочитаешь проходить наиболее опасные места пешком. По этим тропам уверенно пробираются наезженные по этому пути мулы, ослики и иногда лошади, и случаи срыва и падения в пропасть крайне редки, но серьезные поранения животных довольно обыденны и зачастую попадаются скелеты брошенных на произвол судьбы животных, не могущих нести ношу или следовать за караваном. Я сам помню на одном из перевалов печальную фигуру ослика со сломанной ногой, которому предстояло достаться на ужин горным волкам и шакалам или другим ночным хищникам. Также памятно мне одно узкое горное дефиле на полпути, ближе к Буширу, тянущееся на протяжении одной мили, но более трудное для продвижения, чем котали, так как тропа шла, непрерывно извиваясь среди каменных глыб, между которыми нагруженным животным приходилось осторожно и медленно переставлять ноги, а всадники оставляли мулов и лошадей и пробирались пешком. По обеим сторонам этого ущелья высятся стены горных цепей, крайне удобные для разбойничьей засады, и несколько лет спустя, когда Н.П. Пассек пробирался со своим караваном в Шираз на невыносимые в Бушире летние месяцы, его казачий конвой был обстрелян сверху и один молодой казак был убит. Вероятно, жертв было бы гораздо больше, если бы разбойники лучше стреляли, а казаки не открыли ответного огня.

Между Ширазом и Буширом находится лишь один значительный пункт — Казерун. Это уже субтропический городок, вокруг которого видны чахлые пальмовые рощи. Здесь я сделал привал в доме телеграфного инструктора армянина Мартина, родственника моего ширазского знакомого. Казерунский Мартин был молодой еще человек и, что редкость между армянами, светлый шатен с окладистой рыжей бородой. Это была сосредоточенная, молчаливая личность с печальным взглядом. Мне рассказывали о его трагедии — случайном убийстве отца.

Станции за две до Бушира я помню местность Далеки, где в свое время были произведены, кажется англичанами, разведки

источников нефти. Следов работ, однако, не было видно: вероятно, добыча не оправдала бы расходов. Возможно, что теперь, с проведением Трансперсидской железной дороги, шансы на разработку нефти в Далеки улучшились. Далеки представлял из себя равнину, покрытую прудиками просочившейся сквозь почву нефти, пропитавшей атмосферу на большом расстоянии запахом керосина.

Через Далеки и последнюю станцию Бораздживун путь не представлял никаких трудностей, идя по совершенно гладкой местности. В Бораздживуне имеется громадный Шах-Аббасовский караван-сарай, но европейцы обычно пользовались гостеприимством местного телеграфиста-армянина, обведенный стеною дом которого находился поблизости от караван-сарая. Тут уже совсем крайний юг: растут только финиковые пальмы и какие-то субтропические деревья с мясистой листвой.

Перегон от Бораздживуна до бухты, откуда путешественники, для сокращения перехода, обычно идут в Бушир на парусных рыбачьих лодках, самый длинный, и казенные 7 фарсахов далеко переходят за 10, но технически он самый легкий, хотя и утомительный по своей длине. После недельного сиденья на мулах приятно растянуться на палубе лодки, которая несется по ветру, склонившись на один борт, так что трудно держать равновесие. Тяжелый багаж и караваны идут в Бушир кружным путем, огибая бухту. Не помню точно, во сколько времени совершался переход морем до Бушира, но не менее часа. На другой стороне бухты меня уже ожидала встреча от генерального консульства, заранее мною уведомленного о времени прибытия.

ГЛАВА 9
В Бендер-Бушире

Я забыл упомянуть, что весь путь от Шираза до Бушира совершается летом исключительно по ночам с остановками и отдыхом днем, так как ни люди, ни животные не вынесли бы жгучего дневного зноя в пути. Было раннее утро. Я взобрался на присланного за мною коня и в сопровождении пешей свиты и носильщиков багажа направился в консульство, пробираясь по узеньким, грязным, еще сонным улицам городишки. Скоро мы выбрались за городскую черту и пошли по берегу моря в направлении стоявших в

полумиле расстояния от города, на самом берегу, построек генерального консульства. Это было чисто персидское сооружение, занимавшее большую, окаймленную низкой глинобитной стеной площадь с воротами посредине, ведущими на море, едва не подходившее к стенам во время прилива. Постройки эти были возведены бывшим губернатором Бушира Дерья-Беги для своей частной резиденции. Но Дерья-Беги проштрафился и ушел, а его заместитель Саларэ-Муаззам пользовался неуклюжим казенным зданием в городе. Таким образом, громадной резиденции Дерья-Беги предстояло пустовать и разрушаться в ожидании богатого арендатора, ищущего загородного покоя; такое лицо было трудно найти в Бушире. На счастье для Дерья-Беги, вновь открывавшееся русское генеральное консульство нуждалось именно в таком помещении, большом и изолированном, ставя притом его имение под русское покровительство.

Постройки были серые, глинобитные. Направо от ворот, несколько отступая вглубь, находилось главное наружное здание, состоявшее из шести непосредственно примыкавших друг к другу высоких комнат, снабженных по климату, между узкими простенками, только дверьми, застекленными в верхней половине для пропуска света. Две средние большие комнаты служили одна — столовой, другая — залой; четыре меньших были приспособлены под спальни, кабинет генерального консула и гостиную. Со всех сторон здание охватывала широкая веранда. В жаркий сезон внутри было так душно, что невозможно было ни есть, ни спать, ни работать без ветрогона, который подвешивался к потолку во всю комнату в виде тяжелой доски, обтянутой материей, приводимой в движение прикрепленным к ней шнуром, проходящим через блок в отверстие в дверной перекладине. Сидящий на веранде слуга, равномерно потягивая шнур, раскачивал ветрогон, называемый в Персидском заливе по-индийски «панка».

Это находившееся в распоряжении генерального консула главное здание неширокой, в полтора метра, кирпичной, залитой известью дорожкой связывалось с бывшим «эндеруном» Дерья-Беги, где в верхнем этаже помещалась квартира секретаря, а внизу жили впоследствии конвойные казаки. Тип комнат был все тот же: обилие наполовину застекленных дверей при полном отсутствии окон.

По обе стороны ворот, вдоль моря, заменяя собой наружную стену, шли конюшни, сараи, кухня, комнаты слуг, канцелярия мирзы и баня. По всей обширной площади участка с жалкой расти-

тельностью из кустарника с мясистой листвой и немногих низкорослых финиковых пальм разгуливали ручные газели, которым жилось лучше, чем на свободе, так как, в добавление к скудному подножному корму, они получали ежедневно солидную порцию зерна. Среди этих грациозных пугливых животных равнины затесалась какими-то судьбами одна горная козочка, которая не боялась никого и ничего: появлялась неожиданно и в большом доме и в «эндеруне», вскакивала на стулья и столы, а раз даже перебила немало посуды, вспрыгнув на накрытый для завтрака стол, чем вывела из терпения вообще нетерпеливого Н.П. Пассека, приказавшего посадить ее на привязь. Был еще один обитатель из животного царства за консульской стеной: между домом генерального консула и службами, в яме сажени полторы в диаметре, наполненной подпочвенной соленой водой, жила и великолепно себя чувствовала громадная черепаха. Николай Помпеевич, найдя, что такое интересное и почтенное существо пользуется не соответственным его достоинству помещением, перевел ее на жительство в бассейн перед задним фасадом своего дома со сравнительно чистой, но той же морской водой, что и в яме. По непонятным нам причинам, новое жилье совершенно не устроило черепаху, и в одно прекрасное утро мы нашли ее в бассейне без признаков жизни.

На середине участка, несколько отступя вглубь от дорожки, была водружена, к вящей гордости мирзы и всего персидского служебного персонала, мачта — самая высокая во всем Бушире, на которой с восхода до заката солнца развевался консульской флаг. Подъемом и спуском флага заведовал специальный «флагман», который обязан был следить за состоянием мачты и канатов, ее крепящих. Помню, что вскоре после отъезда Г.В. Овсеенко, «флагман» докладывал через посредство мирзы о том, что канаты подгнили и непрочны, но почему-то Н.П. Пассек не верил этим неоднократным предупреждениям. Пришлось о них вспомнить только зимой 1904 года в самый разгар шедшей так неудачно для нас войны с Японией: во время сильной зимней бури я был разбужен ночью как бы пушечным выстрелом; был сильный ветер, от которого трещали и звенели бесчисленные двери, а дом содрогался. Утром Мирза-Махмуд сообщил мне, что консульская мачта обрушилась и что, по персидским приметам, это не предвещает ничего хорошего. В этот день консульский флаг скромно взвился на маленьком флагштоке над главным зданием, и наш «святоша-мирза» (так прозвал его Н.П. Пассек за неуклонное следование предписаниям

ислама и оставление даже спешной работы, если она совпадала с часами намаза — молитвы) с озабоченным видом заявил мне, что надо скорее восстановить мачту и, если возможно, даже выше прежней, так как иначе престиж генерального консульства упадет в глазах населения, и что вообще падение мачты — плохое предзнаменование.

Посмеявшись над его суеверием, я, однако, не мог не согласиться, что в глазах простой, полной предрассудков толпы падение мачты произведет впечатление не в нашу пользу, и передал Николаю Помпеевичу мой разговор с мирзой и мои наблюдения среди консульской прислуги. Тем не менее, при всем желании и наличии средств приобрести мачту в таком глухом углу как Бушир было невозможно. Предстояло выписать ее или из Индии, или из Одессы, что потребовало так много времени, что мачта не была водружена даже до моего отъезда из Бушира в Исфаган весною 1905 года. В это время дела наши на Дальнем Востоке шли все хуже и хуже, и персы качали головами, указывая на место, где когда-то красовалась мачта.

Возвращаюсь к моему рассказу. Было еще очень рано, когда я прибыл в консульство, обитатели которого еще спали. Встретивши меня в Бушире, гулям провел меня в мои апартаменты в верхнем этаже «эндеруна» и предложил отдохнуть до утреннего завтрака. Я прилег на уже приготовленную на крытой веранде постель, но, несмотря на усталость, не мог заснуть. Было нестерпимо душно, и я, провалявшись до 9 часов, переоделся и пошел в главное здание. Там меня встретил управлявший генеральным консульством Г.В. Овсеенко — молодой, высокий, полный, жизнерадостный человек, в котором ничто не предвещало недалекого конца жизни от истощающей тяжкой болезни, унесшей его в цвете лет в могилу на посту консула в Реште, незадолго до революции. Мы прошли на теневую сторону веранды, где уже был накрыт стол для завтрака и где нас ожидал Н.П. Пассек, беседовавший с прибывшим за несколько дней до меня студентом Беляевым.

Н.П. Пассек был незаурядной личностью. Сын богатого харьковского помещика, он был отправлен для получения среднего образования в Англию в одной из фешенебельных школ. По окончании курса он вернулся в Россию и поступил на юридический факультет Московского университета. Получив университетский диплом, он короткое время служил по ведомству Министерства иностранных дел в Петербурге. Покинув его, он работал в част-

ных промышленных предприятиях, закончив свою коммерческую карьеру представителем электрической компании «Сименс и Гальске» на Кавказе. Как он сам рассказывал мне, деятельность этого рода не оправдала его ожиданий, и в то время, когда ему было уже под 50 лет, он поступил вновь на службу в Министерство иностранных дел, что ему удалось сделать без особого труда, благодаря старым связям. Он был назначен консулом в Мельбурн, где и пробыл несколько лет. Дальнейшим шагом для него было генеральное консульство где-нибудь в Европе или Америке, но подходящих вакансий не было или имелись на них заслуженные старые кандидаты, и вот Николай Помпеевич, которому, казалось, не было выхода из Мельбурна, где жизнь была дорога, а консульское содержание скромно, не по его широким замашкам, принимает предложенный его старым товарищем Н.Г. Гартвигом, бывшим тогда директором Первого департамента Министерства, пост генерального консула в Бушире, на который, ввиду его заброшенности и тяжелого климата, мало нашлось бы охотников. Действительно, за все время существования этого поста, около пятнадцати лет, Н.П. Пассек был единственным жившим на месте генеральным консулом, и в течение лет двенадцати генеральным консульством управляли секретари учреждения.

Кстати, на нашей консульской службе секретари были полноправными чиновниками Министерства, выдержавшими дипломатический экзамен и имевшими право продвижения по служебной лестнице, в принципе, хотя бы до должности посла. Таким образом, наши консульские секретари отнюдь не были лишь канцеляристами с малым образовательным цензом, наподобие секретарей иностранных консульств, и по правам, положению и образовательному стажу были вполне равны вице-консулам последних. Должности консульских секретарей существовали у нас по инерции, и, несмотря на то, что были голоса в пользу наименования их вице-консулами и, вероятно, были соответственные проекты, они все время оставались официально секретарями, а вице-консулом считался самостоятельный чиновник, стоявший во главе вице-консульства. Между тем, по иностранной практике, секретарь был одним из низших служащих консульского учреждения, что создавало русскому секретарю ложное положение в обществе и вызывало самозванное наименование себя вице-консулом, кем он фактически и был, являясь в потребных случаях заместителем начальника поста. Перед персидскими властями то или иное наименование не имело

большого значения, так как для них вице-консул и секретарь оба были «наибами» — помощниками, заместителями, но иностранцы проводили резкую разницу между ними.

Наше генеральное консульство в Бушире было чисто политическим учреждением, и хотя почти вслед за ним в городе было открыто агентство Русского общества пароходства и торговли с целью ознакомления юга Персии с нашими товарами, главным образом — бумажной мануфактурой и сахаром, и снабжения ими южно-персидского рынка, затея эта не была строго продумана, так как что могли сделать в этом смысле четыре рейса в год из Одессы в порты Персидского залива, начиная с состоявшего под английским протекторатом Маската и кончая Басрой. Кроме того, и пароходы были мало приспособлены для плаванья в персидских водах, не имевших оборудованных портов. В довершение и выбор агентов нельзя было считать удачным: они были из капитанов Общества — хорошие моряки и славные люди, но совсем не коммерсанты. Рейсы эти, конечно, были субсидированы правительством, так как торговые операции не оправдывали бы расходов по их содержанию.

В задачу генерального консульства входило наблюдение за деятельностью англичан на юге Персии и противодействие развитию там их влияния, так как в это время, когда наша политическая мощь, казалось, стояла на несокрушимой высоте, соседняя Персия представлялась нам страной нашей, по преимуществу, активности.

По характеру Н.П. Пасек был крайне несдержанный человек, не терпевший возражений, горячий и резкий, несколько самодур. Сделавшись консулом сразу, без предварительного долговременного стажа, он имел очень своеобразное понятие о служебной дисциплине и технике консульской работы, входя в каждую мелочь, которой обычно занимается подчиненный персонал, и заваливая себя совершенно ненужной работой в ущерб существенному. Работал он «запоем» и зачастую писал с утра до вечера по неделям. Но бывали у него, правда, не особенно частые, продолжительные передышки, когда он не делал ничего. Он был прекрасным оратором, чувствуя себя «как рыба в воде» на всяких приемах и официальных обедах, когда по своей должности для него открывалась возможность говорить. При особых случаях он обдумывал свои спичи, но мог хорошо говорить и экспромтом и любил говорить. Он был очень хлебосолен и рад был угостить, но и в этом он был

очень своеобразен. У Г.В. Овсеенко был повар-гоанезец, считавшийся мастером своего дела. На мой взгляд, это был типичный средней руки индийский повар, у которого все блюда — как мясные, так и рыбные — были одного вкуса, отдавая порошком «кёрри». Не пришлась по вкусу его стряпня и Николаю Помпеевичу, и когда «мистри» (индийский специалист) уехал на побывку к себе в Гоа, то приглашения приехать обратно не получил. Вместо него был взят повар-перс, которого Н.П. Пассек, при посредстве мирзы и моем, начал обучать русской кухне и не без успеха — скоро у нас появились на столе подобия щей, борща и пирогов, что сильно скрашивало наш однообразный стол, но приводило в отчаяние французов и бельгийцев, которых он культивировал, часто приглашая на «кулебяку». Жалко было смотреть на гостей, не знавших, как одновременно управляться с супом и пирогом и раздражавших своей беспомощностью хозяина. Я помню случай, когда он громко выругал (конечно, по-русски) своего французского коллегу — скромного пожилого вице-консула, осмелившегося отказаться от «кулебяки». Непонятный, но резкий окрик генерального консула, от которого ожидалось представление к «Станиславу», крайне смутил застенчивого француза, который, спохватившись и боясь обидеть генерального консула, положил себе большой кусок пирога на тарелку, но справиться с ним ему, кажется, так и не удалось. А в раздражении Н.П. Пассек был действительно страшноват со своей «львиной» головой, похожей на покойного японского премьера Хамагучи. Я помню случай, когда слуга долго не являлся на его неоднократный звонок, а когда появился, то ловко и с силой брошенный металлический колокольчик угодил ему как раз в голову. Бедняга присел от неожиданности и боли, но, к счастью, удар не имел дурных последствий и пострадавший, отделавшийся только шишкой на лбу, получил 5 туманов на «лечение».

Вскоре же по моем прибытии в Бушир я познакомился с приехавшим одновременно с Н.П. Пассеком агентом Русского общества пароходства и торговли П.С. Горским и помощником последнего, итальяно-левантинцем Петрочи, нанятым в одном из портов Красного моря в качестве переводчика, знавшего арабский язык. Это было приятным обстоятельством в нашем одиночестве.

Студент Беляев выехал обратно в Россию, когда пароход, с которым Н.П. Пассек прибыл в Бушир, вернулся из Басры, доставив туда сахар и керосин и вывезя груз, состоявший из фиников и... сухих собачьих экскрементов, которые офицеры парохода в шутку называли «собачьими финиками». Такая масса была в Басре и ее окрестностях бродячих, бездомных собак! Непривлекательный продукт этот, оказывается, играл очень важную роль в дубильном деле.

С тем же пароходом отплыл из Бушира и Г.В. Овсеенко, но лишь до Бендер-Аббаса, второго по значению персидского порта в Заливе, откуда он должен был проследовать в отпуск в Россию через Керман, Йезд, Тегеран с целью исследования торговых возможностей этого направления. Результатом этой поездки было открытие консульства в Бендер-Аббасе, не оправдавшего возлагавшихся на него надежд и недолго существовавшего: его первым и последним консулом был сам Г.В. Овсеенко.

По прибытии в Бушир Н.П. Пассек начал жаловаться на опухоль ног и советовался с французским врачом, обслуживавшим таможню и наше и французское консульства. Не помню, что нашел у него врач, но только нетерпеливый и раздражительный Н.П. Пассек не был доволен лечением, задерживавшим его в Бушире и препятствовавшим скорому отъезду на лето в Шираз, ввиду невыносимой жары в Заливе, делавшей какую бы то ни было серьезную работу невозможной. Ночи не давали никакого отдыха, заменяя лишь жару еще худшей духотой. Не было сна, пропадал аппетит, все изнемогали.

И вот, в один из таких дней, когда я, обливаясь потом, сидел за работой в одной из малых комнат главного здания с полотенцем на шее, дабы не давать поту скатываться с лица и рук на бумагу, а Николай Помпеевич кряхтел в соседней комнате на постели, проклиная Бушир, его климат и свою болезнь, слуга доложил мне о приходе «русского подданного» врача. «Русский подданный» оказался типичным персом, на вид зажиточным купцом, в бурнусе из верблюжьей шерсти и белой чалме. На мой вопрос, что ему нужно, он сказал, что как «русский» он желал бы засвидетельствовать свое почтение генеральному консулу. Служивший посредником при знакомстве наш мирза относился к гостю с почтением, отрекомендовав его «врачом местного гарнизона» и очень искусным медиком. Я сообщил о посетителе Николаю Помпеевичу, который пожелал его видеть и принял, лежа в кровати, полуодетым. Я служил переводчиком. Оказалось, что «русский подданный» из кавказских татар, давно поселившись в Персии, утерял все документы, которые могли бы свидетельствовать о его русском подданстве. Возможно даже, что не сам он эмигрировал в Персию, а его отец — теперь уж не помню. Звание «врача местного гарнизона» было, конечно, пус-

тым звуком — вероятно, только одним из почетных титулов, на раздачу коих старое персидское правительство было не в меру щедро, так как никакого гарнизона, кроме нескольких десятков грязных и полуоборванных сарбазов, в Бушире не было. Зашла речь о болезни генерального консула, и гость сказал, что может вылечить больного. Николай Помпеевич, которому было ни лучше ни хуже и хотелось скорее покинуть знойный Бушир, решился подвергнуться экспериментам этого знахаря, заявившего, что больному надлежит принимать лекарство, для составления которого у него нет одеколона. Больной пошёл и на это и уделил эскулапу из своих запасов флакон «Мария Фарина». Другим предписанием были арбузы в неограниченном количестве. И вот началось лечение: пациент не мог проглотить более одной чайной ложки отвратительной микстуры, но priналег на арбузы, которые, помнится, было нелегко доставать в Бушире даже за высокую цену. Поборол ли болезнь сам по себе крепкий организм или помогли арбузы — но только Николай Помпеевич скоро поправился. Исчезли отеки ног, и появилась бодрость, давшая нам возможность немедленно сняться в Шираз.

Наш караван состоял из двух верховых и нескольких багажных мулов для меня и генерального консула и нашего и консульского имущества и четырех казенных лошадей для двух гулямов и двух слуг, несших охрану. До каравана мы добрались на парусной лодке через бухту, покинув Бушир в сумерки.

Тронулись мы в путь, когда уже было совсем темно. Грузный и не вполне еще оправившийся от болезни Н.П. Пассек с трудом взобрался на мула, оседланного моим привезенным из России удобным глубоким кавалерийским седлом, в котором он уселся, как в кресле. Духота была ужасная, и наши запасы содовой воды, изготовлявшейся в Бушире предприимчивыми индусами, скоро истощились, но опытные слуги, зная, что путь далек, захватили с собой несколько кожаных кувшинов («дульче») со свежей водой. Это самая лучшая посуда для сохранения воды в годном для питья состоянии в субтропических условиях, так как вода долго сохраняет свежесть и приятную температуру.

Фарсахи до Боразджуна необыкновенно длинны, так путь тянется по гладкой, как скатерть, равнине до бесконечности. Традиционный перегон в семь фарсахов тут, как я уже говорил, далеко переходит за десять. Наконец, среди чахлых пальм показывается громадный караван-сарай и расположившаяся около деревня. Раннее утро, но солнце уже печет и все живущее ищет тени. Мы проводим день, по обычаю, у гостеприимного телеграфиста-армянина и вечером трогаемся в дальнейший путь на Далеки, скоро проходим керосиновый район и к утру опять на привале. Отсюда начинаются трудности: подъем, горное дефиле и далее котали. Николай Помпеевич совсем раскис и отказывается садиться на мула, говоря, что с непривычки у него болят все кости, и просит устроить ему носилки-кресло, наподобие тех, которыми дамы пользуются в Гонконге и горных местностях Японии. Складное кресло есть, но нет бамбуковых жердей. Вместо них в этой безлесной местности как-то нашлись два тяжелых шеста из твердого негибкого дерева — вспомогательного материала при здешних глинобитных постройках. Кое-как их прилаживают к креслу и получается громоздкое, тяжелое сооружение. Но трудности не превзойдены — нужны носильщики. Людей сколько хочешь, но они совсем не приспособлены для этого рода совершенно новой для них работы. Слуги выбирают 6–8 парней посильнее, генеральный консул водружается в кресло, носильщики поднимают ношу на плечи и при этом кресло раскачивается во все стороны. Николай Помпеевич выходит из себя, кричит. Кое-как трогаемся, и носильщики даже на ровном месте не держат ноши и часто меняются, беспокоя седока, но когда начинается усыпанная обломками скал часть пути и крутые, обрывистые подъемы, продвижение носилок делается опасным, он объявляет, что пойдет пешком и если не сможет преодолеть дорожных препятствий, то вернется в Бушир. Все, будучи свидетелями его слабости, в унынии, но тут совершается метаморфоза: стонавший весь день Николай Помпеевич бодро шагает и «берет препятствия» и, пройдя с час, взбирается на своего идущего на поводу, оседланного мула и так вперемежку — пешком и верхом — успешно движется среди каравана, не смущаясь перед коталями, и с ближайшей станции Индоевропейского телеграфа шлет телеграмму Горскому: «Одолев старуху (Котал-Пирэзэн), взбираюсь на молодуху (Котал-Духтэр)». Дальнейшее путешествие до Шираза идет легко и беспрепятственно. Не доезжая города, мы сталкиваемся с кавалькадой русских подданных и спешившими нам навстречу посланцами Ала-уд-Доулэ во главе с новым молодым каргузаром (мой знакомый Муваккар-уд-Доулэ был уже в Бушире) с толпой чиновников и казачьим генералом при взводе казаков. Мы спешиваемся, происходит обмен приветствий, и Николаю Помпеевичу предлагают сесть в тут же стоящую, запряженную парой, элегантную карету. На этот раз почести по достоинству.

ГЛАВА 10
В Ширазе

В Ширазе для нас была нанята заранее предупрежденным Таджир-баши большая новая вилла какого-то местного магната с целой анфиладой комнат, расположенная в большом саду, с отдельными постройками для кухни, прислуги и конюшни. Перед центральными комнатами красовался традиционный большой круглый бассейн с фонтаном и разбитым вокруг него цветником.

Здесь потекла наша мирная, скучная жизнь до самой осени. Говорю «скучная», потому что Шираз того времени был крайне тихим провинциальным городом, почти без европейского общества и с длительным, неудобным сообщением с цивилизованным миром, когда почта из России попадала к нам в лучшем случае не ранее, как через месяц, а из Индии — через две недели. К счастью, местное отделение Индоевропейского телеграфа, управляемое англичанином, любезно снабжало нас ежедневно агентскими телеграммами, держа в курсе событий за границей.

Из иностранцев, кроме нас, в Ширазе пребывали английский консул-холостяк, начальник Индоевропейского телеграфного отделения — англичанин с женой, молодой телеграфный врач, тоже англичанин, директор отделения Шахиншахского банка — маленький левантинец с голландской фамилией с величественной супругой-голландкой и, наконец, семья нашего французского коллеги в Бушире, проводившая здесь лето. Общество разнородное и мало сплоченное, видевшееся друг с другом лишь на редких натянутых обедах, когда и хозяева, и гости продолжали, несмотря на жаркое лето, стеснять себя вечерними костюмами. Изредка, и исключительно по инициативе Н.П. Пассека, любившего общество вообще, а дамское — в особенности, устраивались пикники с завтраками в одном из частных загородных садов, вносившие некоторое разнообразие в монотонность Шираза. Неизменными участниками этих завтраков были семьи французского вице-консула и директора Шахиншахского банка.

Шираз был типичным персидским городом с грязными, узкими, вонючими улицами, но все европейцы жили на окраине города в окруженных садами домах.

Прославленный в персидской поэзии Шираз — цветник роз, место, где жили и творили великие персидские поэты Саади и Хафиз, по внешнему виду ничем не оправдывал своей репутации.

Массы роз я нигде не видел, но где-то они произрастали. Об этом свидетельствовало, правда, дорогое, розовое масло на рынке. Мой Мирза-Махмуд купил склянку этой драгоценной жидкости, надеясь хорошо заработать на ней при случае, но... принужден был со временем продать ее с убытком в Индии, где розовое масло оказалось дешевле, чем в Ширазе.

Николай Помпеевич наслаждался сухим ширазским климатом и прохладными ночами, набираясь сил после болезни. Я обыкновенно проводил дни за работой в канцелярии, пользуясь услугами сына Таджир-баши как мирзы, а часа в 4 выезжал на прогулку верхом в сопровождении гуляма куда-нибудь в окрестности, заезжая иногда в окаймляющие город большие частновладельческие, довольно мрачные из-за кипарисных аллей и безлюдия сады, носившие красиво звучащие названия вроде «Диль-Гуша» (Сердце открывающий).

В начале августа был день рождения шаха, и генерал-губернатор Ала-уд-Доулэ решил дать в этот день обед для консулов, европейцев и местной знати. Получив приглашение, Николай Помпеевич, конечно, не мог упустить случая, чтобы не сказать спич, и, так как событие было выдающееся, заранее обдумал свое «слово», передав мне его содержание для обработки по-персидски. Обычно в таких случаях, если предполагаются речи, власти заранее предупреждаются, но Н.П. Пассек не нашел нужным это сделать. За обедом он был неприятно поражен тем обстоятельством, что гостивший в Ширазе у местного консула наш великобританский коллега в Бушире полковник Кембель был посажен по правую руку Ала-уд-Доулэ, а он — по левую. Дело в том, что Николай Помпеевич считал себя по рангу выше англичанина, будучи генеральным консулом, тогда как тот титуловался управляющим генеральным консульством. Правда, полный титул его был «британский резидент в Персидском заливе и управляющий генеральным консульством», но Н.П. Пассек первого звания не признавал, считая его не предусмотренным международным правом для консульских представителей в независимых странах. Местные же власти в эти тонкости не входили, приняв во внимание лишь то обстоятельство, что полковник Кембель был старшим представителем по времени приезда.

После того как в конце обеда Ала-уд-Доулэ провозгласил здоровье шаха, мой шеф и я встали и была произнесена и переведена соответственная случаю, с нажимом на роль России в Персии, речь.

Присутствовавшие были несколько смущены неожиданностью выступления, но речь произвела известное впечатление, оттенив преимущественное положение русского представителя среди иностранных гостей. По моему наблюдению, был несколько смущен и скромный полковник Кемпбель, понимавший, что он как бы стушевался перед своим русским коллегой и персами. По персидской же психологии, тот выше, кто умеет показать себя на людях. Эффект спича сразу же исправил мрачное настроение Н.П. Пассека, который из несообщительного, надувшегося и бывшего в тягость хозяину гостя превратился в любезного человека и приятного собеседника.

После обеда перед сидевшими на веранде приглашенными состоялись танцы и пантомимы, в которых выступали одетые в женские, наподобие европейских, платья мальчики-танцоры, так называемые «бечэ» — эта неотъемлемая принадлежность гаремного режима, исключавшего женщину из всех проявлений общественной жизни. После представления был сожжен грандиозный фейерверк самого разнообразного свойства, не уступавший по замысловатости фигур лучшим фейерверкам, виденным мною в России и на Дальнем Востоке.

Второе место за столом все же не давало покоя Николаю Помпеевичу, и утром в Петербург полетела телеграмма, адресованная Ф.Ф. Мартенсу, профессору С.-Петербургского университета и авторитету по международному праву, состоявшему непременным членом Совета министра иностранных дел. Последовавший ответ: «Consul Général prédomine»* — успокоил его, но мне казалось, что из-за дороговизны пословной платы телеграмма была составлена слишком кратко, не давая возможности иного ответа, как цитированный. Нельзя забывать, что полковник Кемпбель был фактически старшим генеральным консулом, именуясь «Acting» (по нашей терминологии — «управляющий») только ввиду совмещения консульской должности с высшей (хотя и односторонне установленной) — резидента — со стороны индийского правительства.

Интерес к России был, однако, заметен в Ширазе, видевшем до того почти исключительно англичан, и нередки были визиты к нам со стороны местного именитого купечества. Большой неожиданностью было посещение нас местным Имам-Джума, главой городского духовенства. Это был уже почтенный старик, совершенно

---

* Генеральный консул стоит на первом месте (*фр.*).

беззубый, но только что, как передавал Таджир-баши, взявший в новые жены чуть ли не 12-летнюю девочку. В противоположность муллам, с которыми нам приходилось встречаться, крайне замкнутым, недоверчивым и скорее недружелюбно настроенным, мы нашли в ширазском Имам-Джума живого, сообщительного и интересного собеседника, с особенной охотой говорившего на политические темы и приветствовавшего наше появление на юге в противовес англичанам. Не довольствуясь нашим ответным официальным визитом, он пригласил нас к себе на обед, и мы не раз встречались с ним до нашего возвращения в Бушир.

Познакомившись с маленьким английским обществом в Ширазе, Н.П. Пассек, как бывший английский студент, получил приглашение местного пастора посетить воскресное богослужение, и в одно из воскресений, после дневного чая, мы присутствовали на службе на квартире пастора Райса.

Спустя несколько времени мы узнали о скором проезде через Шираз на пути в Бушир и, кажется, далее в Индию великобританского посланника в Тегеране Гардинга, которому было поручено подготовить почву к посещению наступающей осенью Персидского залива вице-королем Индии лордом Керзоном. Прошла неделя, и в воскресенье, обычно самый скучный день за границей в местах с преобладающим английским обществом, я, рассчитывая после службы встретиться с кем-нибудь из знакомых, предложил Николаю Помпеевичу прогулку пешком до жилища преп. Райса. Но он уклонился, сказав, что проезд Гардинга ожидался со дня на день и что он не желал бы с ним встретиться на английской почве среди англичан, что могло бы быть истолковано персами не в пользу русского представителя. Я почему-то не ожидал такого скорого проезда английского посланника, да и тоска была невыносимая — хотелось отвести душу на людях — и вышел один с расчетом попасть к началу службы. На мой стук мне отворил слуга и попросил подождать в молитвенной комнате, где, к моему удивлению, не было никого. Я недоумевал и хотел уже движением по комнате дать знать о своем присутствии, как вдруг услышал голоса в соседней комнате: г. Райс высказывал кому-то сожаление, что служба задерживается из-за опоздания Гардинга, без которого неудобно начинать. Увидев, как прав был мой шеф, воздержавшись от посещения преп. Райса, и как неловко было бы мое присутствие среди англичан, встречавших своего представителя, я, даже не предупредив слуги, по нынешней послевоенной терминологии, «в

два счета смотался» и незаметно вышел на улицу с облегченным сердцем, что избежал неловкой встречи и заслуженного нагоняя.

У нас создались очень хорошие отношения с Ала-уд-Доулэ и говорящим по-французски молодым каргузаром Менучехр-Мирза*. Последний часто заезжал к нам просто поиграть в шахматы с Н.П. Пассеком и неизменно проигрывал, не признавая систематизированной игры и играя беспорядочно. В раздражении он с жаром говорил, что в шахматы выигрывает не лучший теоретик, а лучшей стратег, которым он, очевидно, считал себя, видя в победах противника лишь случайность. По его словам, Персия — родина шахмат — иной игры, как по наитию игрока, не признавала. Неудивительно поэтому отсутствие персидских чемпионов на всех шахматных турнирах.

Поддерживая дружбу с властями, Николай Помпеевич, убедившись, что ни Ала-уд-Доулэ, ни его каргузар не англофилы, культивировал их, думая, что они могут быть полезны в укреплении значения нашего молодого учреждения в английской сфере и, как будет видно из дальнейшего, воспользовался ими для нанесения чувствительного удара престижу наших соперников на юге Персии.

Тихая жизнь наша в Ширазе была омрачена неожиданным печальным событием — смертью представителя Прохоровской мануфактуры москвича И. Калинина. Калинин был еще совсем молодой человек, вряд ли старше 25 лет, с маленьким образованием, но большим здравым смыслом, из хороших приказчиков. Он быстро освоился с языком и рынком, и его торговые сведения, которыми мы часто пользовались, были очень обстоятельны. Между прочим, Прохоровская мануфактура вывозила гуммиадрагант, получаемый из растения tragacanthum, произраставшего в ширазском округе в диком виде. Н.П. Пассек заинтересовался добычею этого продукта, применяемого в ситценабивном деле, и просил меня съездить в одно из воскресений, в сопутствии Калинина и его помощника Миши, за несколько миль за город к Зергану для ознакомления с растущим на воле адрагантом. Устроилась поездка, вроде пикника, в которую мы отправились, снабженные обильным провиантом, выехав верхом в полдень после раннего завтрака. Мои спутники были прекрасно настроены: Калинин шутил,

* Слово «мирза», стоящее перед именем, обозначает не более как грамотного человека, но после имени это титул, указывающий на происхождение от шахского рода — принц (шахзадэ). — *Прим. автора.*

вспоминая Москву, Миша гарцевал на коне, то пускаясь вскачь, то проезжая рысью. Такие развлечения, как этот пикник, были для них нечасты.

В пути Калинин все время жаловался на непонятную жажду, но чувствовал себя, в общем, нормально. Добравшись до речки, по берегу которой росло много дикого адраганта, мы откопали несколько кустиков, чем и выполнили свою задачу, и развели огонь, чтобы вскипятить воду для чая, собираясь после короткого отдыха выехать в обратный путь и к вечеру добраться до Шираза. За чаем Калинин исправно ел, восхищаясь нашими пирожками и пирожным, напоминавшими ему московские «филипповские», и выпил бесконечное количество чашек чаю. Отдохнув, мы тронулись обратно и скоро состояние Калинина начало меня беспокоить: с нами не было запаса питьевой воды, а он просто изнемогал от жажды и останавливался почти у каждого, подчас грязного, ручейка, чтобы напиться. Было ясно, что он болен, да и сам он начал жаловаться на общее недомогание. Добравшись до Шираза, мы разъехались. Калинин собирался сразу же лечь в постель, приняв на ночь универсального в Персии средства — хинина.

Я рассказал Николаю Помпеевичу о нездоровье Калинина, но ни он, ни я не придали этому особого значения, думая, что у Калинина не что иное, как припадок малярии, но наутро к нам прибежал Миша и сказал, что больной бредил всю ночь, а к утру совершенно потерял сознание. Мы встревожились, и я немедленно отправился на английский телеграф попросить врача осмотреть больного.

Молодой доктор Пальмер сразу же навестил Калинина и застал его в сильнейшем бреду. Опросив Мишу, он выразил предположение, что у больного, ввиду мучительной жажды, можно предполагать диабет, но определенного диагноза поставить не мог, а положение пациента нашел безнадежным. Случайно у доктора Пальмера гостил в это время проездом другой молодой телеграфный врач, которого он и пригласил на консультацию, но и соединенными усилиями они не могли ни помочь больному, ни поставить точный диагноз. Чуть ли не к вечеру того же дня Калинин, не приходя в себя, скончался. Н.П. Пассек заподозрил отравление, возможность которого врачи не отрицали. Однако, по свидетельству Миши и слуг, у Калинина не было врагов и он пользовался общим расположением как знакомых, так и клиентов. Тогда Николай Помпеевич счел необходимым просить врачей произвести

вскрытие тела. Это была нелегкая задача: ни тот, ни другой врачи не были специалистами этого дела, а необходимые инструменты, лежа долгое время без употребления, оказались в не вполне удовлетворительном состоянии. Равным образом не было и помещения для вскрытия, которое, в конце концов, решено было произвести на квартире Калинина на его обеденном столе. Николай Помпеевич присутствовал при вскрытии и рассказывал мне потом, что это была долгая и тяжелая процедура, ввиду неподходящей обстановки, плохого состояния инструментов и отсутствия низшего подручного персонала: все делали сами врачи, а помогал им русский генеральный консул. Как бы то ни было, вскрытие было произведено, но сразу не удалось установить причину болезни и смерти, так как все внутренние органы оказались здоровыми. Распилив лишь с трудом череп, врачи установили, что головной мозг был поражен туберкулезом. Теперь, спустя уже много лет, вспоминая здорового, жизнерадостного Калинина, не жаловавшегося ни на какие болезни, мне приходит в голову, что умер он попросту от тяжелой формы менингита — тогда еще мало известной и плохо исследованной болезни. Похоронили Калинина во дворе армянской церкви в армянском квартале. Так как армянского священника тогда в Ширазе не было, мы пригласили пастора Райса, который и снарядил его в последний путь.

Был уже конец сентября, и из Бушира мирза писал нам, что знойные дни сменились мягкой, ровной погодой. В Ширазе нас ничто не задерживало, и в первых числах октября мы тронулись на юг с неменьшей помпой, чем при приезде.

Добрались мы до Бушира без помехи и довольно скоро, и путешествие днем в нормальных условиях было не лишено приятности. Двигались мы в караване того же состава, но только впереди его фигурировал великолепный, белый без пятнышка, огромный персидский кот, которого вел, а иногда тащил на веревке один из слуг. Это было редкое и по размерам, и по красоте животное. Н.П. Пассек, рассчитывая, что удастся его приручить, купил его и задумал переселить в Бушир. С котом этим было немало возни, так как он был приобретен взрослым и, не поддаваясь никакой ласке, был небезопасен своими когтями для окружающих. Он, однако, не дошел до Бушира, сбежав на одной из остановок каравана, а может быть, был сбыт с рук или просто отпущен на волю слугами, которым надоели заботы о нем.

ГЛАВА 11

Опять в Бушире. Неудача вице-короля Индии лорда Керзона в Персидском заливе. Наша поездка в Мохаммеру к шейху Хазалю и в Шустер

Мы нашли Бушир совсем другим, чем оставили. Было совсем не жарко, хотя стояла безоблачно ясная погода. Город, конечно, не изменился и по-прежнему был погружен в пыль и смрад, но наши и другие загородные постройки, особенно расположенные поблизости от моря, сразу приобрели и приглядность, и уют.

Вторая половина осени, зима и первая половина весны в Бушире очень хороши: стоят ясные, теплые дни и умеренно прохладные ночи, и даже зимой не чувствуется нужды в отоплении, хотя некоторые комнаты и снабжены каминами. Европейцы просыпаются от летнего оцепенения. Начинаются игры у англичан в их поселке Решире за Буширом, там, где расположена главная персидская станция Индоевропейского телеграфа. Они обмениваются обедами и, при желании, в любой день, кроме воскресенья, после четырех часов катаются верхом. Можно было заехать выпить чашку чаю или к французам — вице-консулу и доктору, или к немецкому консулу, а то и дальше — на телеграф к англичанам, где всегда шли какие-нибудь игры: то крикет, то теннис — с неизменным чаем и разными прохладительными, крепкими и «мягкими» напитками.

Еще в Ширазе у Н.П. Пассека происходили беседы с Ала-уд-Доулэ и каргузаром в связи с предстоявшим посещением Персидского залива вице-королем Индии лордом Керзоном, для встречи которого Ала-уд-Доулэ должен был выехать в Бушир. Я не помню ни программы этой поездки лорда Керзона, ни точных дат, но у меня осталось в памяти, что Ала-уд-Доулэ прибыл в Бушир вскоре вслед за нами и немедленно вечером того же дня прислал к нам каргузара, прося генерального консула посетить его неотложно, ввиду очень важного конфиденциального дела. Николай Помпеевич, чуть ли не пренебрегши обедом, в сопутствии одного лишь каргузара, который говорил по-французски и мог быть посредником, отправился в город в губернаторский дом, где помещался Ала-уд-Доулэ со свитой. Он вернулся поздно вечером, очень нервно настроенный, и посвятил меня во все подробности свидания. Оказалось, что Ала-уд-Доулэ был крайне встревожен требованиями англичан встречи им вице-короля на английском крейсере по прибытии последнего на буширский рейд, после чего и хозяин, и гость

должны были проследовать на берег, где предстоял торжественный прием со стороны города и великобританской колонии. Он сомневался, будет ли соответствовать его достоинству как правителя целой провинции поездка на крейсер для приветствия гостя: «Он — повелитель Индии (Ферман-Ферман Хинд), а я — повелитель Фарса (Ферман-Ферман Фарс) — мы равны». С беспристрастной точки зрения, они совсем не были равны и, конечно, положение вице-короля Индии было неизмеримо выше положения генерал-губернатора персидской провинции старого режима, когда должности давались не по заслугам, а на кормление, часто за взятки. Правда, Ала-уд-Доулэ казался исключительным человеком независимого, прямого, открытого характера, но он был также крайне прямолинеен и упрям.

Рассказывали, что, прибыв в Шираз и знакомясь с жизнью вверенной ему провинции, он узнал, что евреями изготовляется ежегодно много виноградного вина. Будучи ревностным мусульманином и считая, что вину нет места в стране, исповедующей ислам, он приказал в один день перебить все сосуды с вином в жилищах евреев, что и было исполнено в точности, так как ослушаться Ала-уд-Доулэ было опасно. Я пробовал это вино и в Ширазе, и Исфагане, где его выделывали также и армяне, — род легкого хереса из чистого виноградного сока без всякой примеси, выдержанные сорта которого очень ценились европейцами.

Подметив в Ала-уд-Доулэ отсутствие симпатии к англичанам и сказанные свойства характера, Н.П. Пассек, сам не любитель взрастившего его «коварного Альбиона» и по природе не чуждый интриги, не преминул ухватиться за проводимую почтенным персом идею равенства Индии и Фарса и разыграл этот, как он говорил «фарс», как по нотам. «Обработка» Ала-уд-Доулэ началась еще в Ширазе и была с триумфом закончена в Бушире.

Англичане принимали все меры, чтобы склонить Ала-уд-Доулэ к принятию их программы встречи: полковник Кемпбель посещал его чуть ли не по два раза в день, но каждый его визит сменялся визитом Пассека, поддерживавшего упрямого перса в его неуступчивости. Конечно, и посланник Гардинг принимал активное участие в этих уговорах.

Безуспешность усилий англичан, действовавших в сфере, которую они давно считали своей, может казаться непонятной, но, несомненно, персидскому правительству было на руку появление в Персидском заливе соперника англичан, распоряжавшихся там

почти бесконтрольно и поддерживавших в местных шейхах сепаратические тенденции. Так вышли из-под персидской опеки Маскат и остров Бахрейн, а от турок отделился Кувейт. Неудивительно поэтому, что Ала-уд-Доулэ нашел в Тегеране одобрение своего образа действий без особого труда, тем более что и наша миссия, несмотря на болезненное состояние П.М. Власова, традиционно не могла игнорировать политики Н.П. Пассека, встретившей сочувствие у персов.

Видя, что почва под их ногами колеблется и что давно рекламируемая поездка лорда Керзона, которому у персов не было другого имени, как «Ферман-Ферман Хинд» (повелитель Индии), может окончиться крахом, англичане пошли на уступки и предложили встречу обоих сановников на море следующим образом: лорд Керзон сойдет с крейсера на паровой катер и пойдет к берегу, а в это время Ала-уд-Доулэ отвалит от берега на таможенном паровом катере навстречу гостю, и после обмена приветствиями оба катера направятся вместе к пристани. Но и этот компромисс был признан Пассеком неприемлемым и отклонен Ала-уд-Доулэ, несмотря на все настояния противной стороны. Результат всей этой «игры» последовал скорее, чем мы думали. В то время как ожидались новые контрпредложения и уступки англичан, однажды утром наш мирза вбежал, запыхавшись, ко мне наверх и объявил, что рано утром «Ферман-Ферман Хинд» снялся с якоря и отплыл в обратный путь. Не верилось как-то этому сообщению и думалось, что вице-король просто решил сделать небольшую морскую прогулку, пока тянулись местные переговоры, и вернется в Бушир. Однако нет: видя непреклонность Ала-уд-Доулэ и безуспешность дальнейших стараний склонить его на свою сторону, а также теряя время и нарушая всю программу своей поездки, лорд Керзон, дабы не потерять окончательно лицо в Заливе, отплыл обратно в Индию.

Сразу же после этого Ала-уд-Доулэ вернулся в Шираз и вскоре был сменен по требованию англичан: персидское правительство не замедлило стать, как всегда, предупредительным и сговорчивым... как только поездка вице-короля сорвалась.

Слабый полковнике Кемпбель уехал в отпуск и был смещен, а на место его назначен человек совершенно иного типа — майор П.З. Кокс, составивший себе известность в Месопотамии во время Великой войны как талантливый и энергичный администратор, дослужившийся до чина генерал-майора и баронетского зва-

ния. Года два тому назад я прочел в одном из английских иллюстрированных журналов о неожиданной кончине на охоте в своем имении сэра Перси Кокса. К некрологу была приложена фотография, в которой я узнал своего старого знакомого по Буширу.

При нашем с ним знакомстве майор Кокс был человеком среднего возраста, полным сил. Он был очень высок, худощав и, скорее, некрасив — с тонким резким профилем немного скошенного на одну сторону лица. Я не скажу, чтобы он был привлекателен и располагал к себе. В смысле общественном полковник Кемпбель был более приятен и общителен, но, как водится, и с майором Коксом у нас создались нормальные отношения иностранцев, принадлежащих к одному кругу. В деловом же отношении стало видно, что при наличии его на посту соперничество с английским влиянием в Персидском заливе стало не столь простой задачей. К тому же начавшаяся в январе 1904 года русско-японская война рядом неудач не способствовала усилению нашего значения среди персов. По крайней мере попытки Н.П. Пассека добиться сближения с управлявшими персидскими таможнями в Заливе бельгийцами с целью противодействия хозяйничанью англичан в персидских водах не дали желаемых результатов.

Вообще Н.П. Пассек был неспокойный человек, и простая наблюдательная работа его не удовлетворяла. Он обратил внимание на кувейтский вопрос и имел несколько конфиденциальных бесед с турецким консульским агентом — почтенным персидским коммерсантом, который и не интересовался политикой, и ничего в ней не понимал, дорожа своим положением агента иностранной державы, поскольку это ставило его в почетные и более или менее независимые от местных властей условия. Но ему было лестно внимание со стороны генерального консула великой державы. Попивая сладкий, как сироп, чай и покуривая кальян, он поддакивал своему собеседнику, осуждавшему агрессивную политику англичан, и выражал готовность осведомлять кого нужно об их коварных замыслах в отношении турецких владений. Все это было в достаточной степени наивно и являлось не чем иным, как толчением воды в ступе, но натура Николая Помпеевича, искавшая сенсационной работы и не находившая её, старалась найти выход избытку сил и в этой искусственной политике.

1904 год, начавшийся русско-японским конфликтом, отвлек все внимание правительственных кругов к Дальнему Востоку, и Персия на время перестала интересовать высшие сферы. К тому же и

П.М. Власов, долго болевший в Тегеране, скончался там и был заменен прибывшим из Южной Америки Шпейером, тоже полубольным человеком. При таких условиях наша политика в Персии потеряла свою стремительность, и забытый в Петербурге Тегеран плохо реагировал на представления с мест консулов, чувствовавших, как под влиянием военных неудач колеблется русское здание на персидской почве.

Одной из возложенных на Н.П. Пассека задач перед отъездом его в Персидский залив было посещение мохаммерского шейха Хазаля и поднесение ему знаков ордена Св. Станислава 1-й степени в одобрение его внимания к молодым русским предприятиям в Персидском заливе вообще и его провинции — в частности. Главной целью было оттенить положение шейха как наследственного персидского губернатора и препятствовать следованию примерам Бахрейна и Кувейта, что в полной мере, конечно, соответствовало желаниям персидского правительства.

Вопрос этот был поднят еще Г.З. Овсеенко, который познакомился с шейхом и культивировал его в наших и персидских интересах, но разрешение его несколько задержалось. Получив орден для шейха, Н.П. Пассек начал готовиться к поездке в Мохаммеру и просил нашего консульского агента в Ахвазе голландца Тер-Мёлена подготовить шейха к нашему приезду. Мохаммера, теперешний Хуррамшехр и южный терминус Трансперсидской железной дороги, в то время была скорее большой деревней в устье реки Карун. Потому ли, что у шейха не было подходящего помещения или он хотел придать нашему визиту конфиденциальный, необщественный характер, но свидание наше с ним, по предварительному соглашению с Тер-Мёленом, было устроено на одной из двух его «канонерок», ходивших по Каруну, — старом грязном пароходе, вооруженном двумя пушчонками и имевшем несколько неопрятных кают, в которых мы могли разместиться.

Наша экспедиция состояла из четырех членов и нескольких слуг. Ввиду того что родным языком шейха был арабский, Николай Помпеевич решил пригласить с собою в поездку служившего в бушнрском агентстве Русского общества пароходства и торговли итальянца Петрони, которому для представительства было рекомендовано надевать при приемах старый министерский виц-мундир генерального консула и его же форменную фуражку. Я пытался, было, протестовать против этого маскарада, говоря, что Петрони достаточно представителен в своем статском сюртуке, но мой

начальник возражений не принимал и подчас даже резко реагировал на них. Натура его требовала помпы, да и невинный маскарад этот соответствовал, как видно из дальнейшего, опереточному костюму шейха.

Желая придать своей поездке как можно больше внешнего блеска, Н.П. Пассек не пожелал воспользоваться очередным рейсом почтового парохода компании «British India», а настоял на том, чтобы в наше распоряжение была предоставлена одна из двух персидских канонерок. Небольшая новая и быстроходная «Музаффери» под командой капитана-бельгийца несла таможенную службу, и нам пришлось идти на старушке «Персеполис», делавшей не более пяти узлов. Однако, при краткости расстояния, скорость не имела никакого значения, а старый капитан Нохуда Ибрагим очень гордился своей развалиной, доставившей нас в течение ночи благополучно на мохаммерский рейд, где мы были встречены четвертым членом нашей экспедиции г. Тер-Мёленом — человеком гигантской комплекции, для которого при поездках верхом требовалась лошадь исключительной силы. Нечего и говорить, что как при посадке на «Персеполис», так и при сходе гремели консульские салюты, на которых Н.П. Пассек особенно настаивал, несмотря на уверения Нохуда Ибрагима, что «стреляй, не стреляй» — публика все равно ничего не поймет, а снаряды не дешевы. Николай Помпеевич же, исходя из того соображения, что «стреляй, не стреляй» — выстрелы все равно будут показаны в денежном отчете, а его достоинство может умалиться, доказывал, что без салютов обойтись никак нельзя. Персы удивлялись числу выстрелов, требуемых русским генеральным консулом, кажется, действительно сверх нормы для пущего эффекта, но отказать не могли и пушки гремели, потрясая «Персеполис».

В течение короткого времени пребывания в Мохаммере мы были гостями начальника таможни бельгийца Ваффлара (Waffelaert), но, если не в день прибытия, то на другой были уже на личной канонерке шейха, где должна была состояться церемония подношения ему ордена. Мы познакомились с шейхом сразу по прибытии на пароход. Шейх представлял собою великолепный тип красивого рослого араба ранних средних лет. По могучему сложению он не уступал Тер-Мёлену и был очень представителен в своем широком бурнусе и чалме. Беседа шла вперемежку по-арабски и персидски и, к нашему удовольствию, шейх понимал не только меня, но и Петрони, который боялся за свое яффское наречие.

Церемония была назначена на другой день, и шейх просил нас располагать его «кораблем» как своим домом. После краткой беседы, сопровождавшейся обычными чаем, кофе, шербетом и сластями, шейх удалился, а мы начали серьезно подумывать об обеде. К сожалению, повар шейха был так же плох, как и его «корабль», и попытка кормить нас по-европейски была очень неудачной. Уничтожая невозможный суп и высушенные бараньи отбивные котлеты, мы сожалели, что нам не дали простого персидского плова.

Каюты были грязны и не проветрены, а ночью крысы бегали по всем направлениям и не давали нам спать. Все эти неудобства привели нас к решению немедленно же после церемонии перебраться в Мохаммеру и сесть на маленький плоскодонный пароход компании «Линч», совершавший рейсы вверх по Каруну. План Пассека был заехать в Ахваз — резиденцию нашего консульского агента Тер-Мёлена, а оттуда добраться верхом до Шустера — центрального пункта юго-западной Персии — и исследовать возможности этого района как рынка для русских товаров.

Поднесение ордена в торжественной по месту и возможности обстановке состоялось на «Канонерке» в присутствии министров и приближенных шейха. Н.П. Пассек и я были в «походной» министерской форме (так называемой «муравьевской», состоявшей из черного двубортного сюртука морского покроя с бархатным воротником и серо-синих брюк с красным кантом; головным убором служила фуражка с черным бархатным околышем и красными выпушками, вооружением — шпага). Петрони нарядился в узковатый для его полной фигуры виц-мундир типа фрака и министерскую фуражку не по голове, которая еле держалась у него на затылке, а Тер-Мёлен затянулся в старенький черный сюртук. Но грустную фигуру являл сам герой дня — шейх: в парадном гусарском голубом мундире при красных с золотым лампасом чакчирах, черных лакированных ботинках и... чалме! Он чувствовал себя крайне неловко в узком непривычном одеянии, из которого он к тому же, по-видимому, вырос, так как кое-где ни мундира, ни чакчир невозможно было застегнуть вполне и на этих местах зияли прорехи. Шейх был красен, сконфужен и, видимо, желал лишь одного — скорейшего окончания церемонии.

Но не таков был Николай Помпеевич, чтобы скоро выпустить его из своих рук, да еще после столь сложных подготовки и путешествия. Шейх должен был выслушать длинную «речь», в которой оттенялась высота награды, даваемой ему за хорошее поведе-

ние и лояльность высокой его покровительнице Персии, другу могущественной российской державы. Рекомендовалось следовать и впредь этой мудрой политике, единственно могущей гарантировать мир и благоденствие управляемой им персидской провинции. И далее в таком же роде.

Изнемогавший от узкого платья и физического и нравственного напряжения, шейх, обливаясь потом, воздал в немногих словах хвалу России, высокому другу Ирана, и обещал быть «паинькой» в отношении последнего. Церемония закончилась возложением знаков и ленты ордена на грудь шейха, поздравлениями и выражением с его стороны благодарности. Затем состоялся малосъедобный обед с соответственными случаю тостами и шербетом, после чего шейх отбыл на катере в свою резиденцию. Мы вслед за ним тоже покинули «канонерку».

В Мохаммере, сев на перегруженную пассажирами и грузом утлую паровую ладью Линча, мы познакомились с группой русских натуралистов во главе с орнитологом Зарудным, о которых впервые услышали на месте. Сотрудниками Зарудного были: молодой естественник, питомец Петербургского университета, сын известного адмирала Гадд и какой-то подпоручик Петровского пехотного полка, находившийся в долговременном отпуску. Специальность Зарудного была даже более узкая, чем орнитология, — он интересовался, главным образом, яйцами пернатого царства Персии, которую он прорезал с севера на юго-запад караваном на верблюдах. Молодежь была особенно измучена долговременным путешествием в непривычных условиях и жаловалась тайком мне на деспотизм и грубость Зарудного. Гадда я знал еще в детстве гимназистом, гостившим у старого морского артиллериста Опаровского — дачного хозяина моих друзей Кетрицев, у которых я проводил лето в Териоках. Курьезно, что после этого летнего знакомства я с ним никогда не встречался в Петербурге, и вдруг судьбе было угодно неожиданно столкнуть нас в исключительной обстановке в глухом персидском углу с тем, чтобы через два дня вновь потерять друг друга из виду. Экспедиция Зарудного должна была подняться вверх, насколько возможно, по Каруну, а оттуда опять же караваном пробираться на север.

Пароход имел одну общую каюту, где мы получили по койке. Удобств не было никаких, но путешествие по Персии приучило нас всех к всякого рода лишениям, а потому уверенность в возможности дневного и ночного сна при регулярных приемах пищи

три раза в день всех вполне удовлетворяла, а поездка вверх по Каруну и далее в глубь страны в малоизвестные европейцам местности представлялась не лишенной интереса после однообразной буширской жизни. Питались мы однообразной индийской кухней, с преобладанием кёрри с рисом в маленькой общей столовой вместе с молодым полуинтеллигентом капитаном-англичанином, который рассказал нам о небезопасности рейсов по Каруну, ввиду обстрела подчас парохода местными разбойниками, в доказательство чего показал нам следы от пуль на борту и наружных стенах кают. Впрочем, по его словам, обычно попытки пограбить оканчивались неудачно, и пароходная команда с успехом отстреливалась от грабителей.

Три натуралиста были усталые, надоевшие друг другу лица. Даже и с нами, им новыми людьми, они были как-то малосообщительны. Сам Зарудный страдал от истощения запаса водки, без которой, по его признанию, он куска не мог проглотить. Н.П. Пассек посоветовал ему пить вместо водки виски.

— Да, как же это? Ведь сожжешь себе внутренности, и англичане пьют его, только разбавляя простой или содовой водой.

— Пьют и чистое, — возразил Николай Помпеевич. — Попробуйте — вреда не будет.

Зарудный попробовал и больше с виски не расставался. Добрались мы до Ахваза на вторые сутки без особых приключений. Окружающая картина не была интересной: мелководный Карун течет в низких берегах, заросших невысоким субтропическим лесом. В Ахвазе, маленьком, но имеющем для этого района торговое значение местечке, мы провели несколько дней у Тер-Мёлена под русским флагом консульского агентства. Здесь же мы расстались и с экспедицией Зарудного, отправившейся в дальнейший путь.

О Зарудном мне потом пришлось услышать в Ташкенте, где он был преподавателем естественной истории в кадетском корпусе, но это был такой нелюдимый и несообщительный человек, что, несмотря на мое близкое знакомство с директором корпуса, которого я просил осведомить натуралиста о моем пребывании в Ташкенте, последний так и не зашел ко мне. Я, конечно, навестил бы его и сам, если бы мне не передавали, что Зарудный живет уединенно и не любит посещений.

Много воды утекло, и трудно восстановить в памяти в точности все обстоятельства описываемой поездки. Помню переправу через Карун на зыбком плоту из связанных вместе бурдюков и не-

сколько миль караваном от реки до Шустера — небольшого серого, грязного городишки хузистанской провинции. Для нас, впрочем, стараниями Тер-Мёлена, было приготовлено местными властями, устроившими нам обычную встречу, довольно приличное помещение. Мы провели в городе несколько дней, знакомясь и беседуя с купцами. Единственно, что у меня хорошо осталось в памяти после Шустера — это «сердабы», глубокие подземелья, где жители, кто может, укрываются летом от нестерпимого зноя. Люди, бывавшие в Багдаде, говорили мне, что тамошние подземелья не более как подвалы, по сравнению с глубокими шустерскими «колодцами». Я сам спустился в один «сердаб» по крутой лестнице, высеченной в твердом грунте, и был поражен его глубиной.

Ко времени прихода обратного парохода в Мохаммеру мы покинули Шустер, сели на пароход и через сутки были в Мохаммере, где нас ждал «Персеполис», спустивший нас на следующий день в Бушире на берег под грохот консульского салюта.

Описываемые события происходили весною 1904 года, когда русско-японская война была уже в полном разгаре и наши неудачи казались временными и не смущали даже наших конвойных, шестерых бравых казаков 1-го Хоперского полка, прибывших с очередным пароходом из Одессы в конце 1903 года. Если наша жизнь в полутропическом захолустье была не легкой, то трехлетнее пребывание их, шестерых здоровых парней, в чуждом климате и непривычной обстановке, без серьезной работы, было почти ссылкой, компенсируемой лишь небольшими денежными выгодами от экономии на фураже, который они получали от консульства, оставляя полковые фуражные в свою пользу. Н.П. Пассек советовал уряднику производить от времени до времени ученья, но эта затея не привилась, так как лошади были не приспособлены для строя, да и над казаками не было настоящего военного авторитета.

Вскоре после нашего возвращения из Мохаммеры наша монотонная буширская жизнь была нарушена прибытием торговой экспедиции Аматуни — чиновника вновь открытого Управления торгового мореплавания, во главе которого стоял Великий Князь Александр Михайлович.

Армянин Аматуни, бывший просто коллежским советником, чиновником особых поручений, именовал себя князем, будучи женат на настоящей княжне Аматуни и будучи сам приемным сыном одного из князей этой же фамилии. Кому и для чего понадобилась эта торговая экспедиция, в которой совершенно не было торговых

специалистов и в которую входили, кроме самого Аматуни, лишь его секретарь Федосеев, уровня не выше обтертого приказчика, и переводчик — не знавший практически персидского языка студент Горячкин. Должно быть, лишь самому Аматуни, который, однако, не производил впечатления ни серьезного финансиста, ни коммерсанта, зная лишь некоторый толк в коврах. Казалось бы, консулы на местах, часто остававшиеся на посту по нескольку лет, были достаточно авторитетны в оценке местных торговых и промышленных возможностей, но Аматуни мало считался с их мнением, если оно не совпадало с его предвзятым, и вообще вся экспедиция рисовалась большим «пуфом». Проведя с неделю в Бушире, Аматуни со своими спутниками отплыл в Одессу, воспользовавшись пароходом Русского Общества, прибывшим из Басры.

ГЛАВА 12
Поездка в Бомбей

По примеру прошлого года мы собирались проводить знойный сезон в Ширазе, но это оказалось неосуществимым ввиду посетившей Персию холерной эпидемии, двигавшейся с севера на юг и добравшейся до Шираза, где она, без правильно организованной медицинской помощи и санитарных мер, приняла громадные размеры. Особенной опасности занесения ее в Бушир не было вследствие изолированного положения последнего и слабого сообщения с Ширазом. Тем не менее, знойный Бушир при призраке, хотя бы отдаленном, холеры смущал Н.П. Пассека, обратившегося в Министерство с просьбою разрешить ему в сопровождении меня провести два месяца в Бомбее, невдалеке от которого имеются горные станции, дающие возможность передышек во время жаркого сезона.

Разрешение было получено, и в июле, когда жара в Бушире уже становилась нестерпимой, мы вышли на почтовом английском пароходе «Кола» в Бомбей с заходом лишь в Маскат и Карачи.

Предварительно мы дали знать о нашем приезде управлявшему генеральным консульством Владимиру Ивановичу Некрасову, которого я знал еще в университете, будучи студентом первого курса, тогда как он был уже выпускным.

Капитаном парохода и старшим механиком были два ирландца, оказавшиеся не только любезными хозяевами, но и сочувству-

ющими нам людьми в нашем конфликте с Японией. Привыкнув слышать о «коварном Альбионе» и его традиционном к нам недоброжелательстве, я относился довольно сдержанно к излияниям механика, избравшего меня объектом выражения своих чувств. Он заметил это и, не обинуясь, сказал, что как ирландец он терпеть не может ни англичан, ни их политики и не разделяет ни их общей антипатии к России, ни злорадства в связи с нашими неудачами на Дальнем Востоке. Таким образом, на борту «Колы» я впервые ознакомился с глубиной ирландского англофобства, о котором и не подозревал.

От Бушира до Маската «Кола» шла при штиле, не испытывая ни малейшей качки. На берег в Маскате мы не сходили ввиду кратковременности стоянки, но имели достаточно времени для ознакомления с его дорогой для русского сердца достопримечательностью — именами посетивших Персидский залив наших кораблей, выложенными из крупных глыб по скатам маскатских прибрежных скал. Теперь мне припоминается среди них только одно имя: «Аскольд» — первый четырехтрубный крейсер в Заливе, появление которого произвело в свое время сенсацию среди персов. Остались ли в целости хотя бы некоторые из этих своеобразных надписей? Вряд ли. Я не уверен даже, как они были сделаны: выложены ли камнем, высечены ли или запечатлены каким-либо иным способом.

В Маскате мы приняли нового пассажира — французского консула г. Л., отправлявшегося в отпуск на родину. Это увеличение «нашего полку» нами, однако, особенно не ощущалось, так как, выйдя из Залива в Индийский океан, мы попали в краешек муссона, который бросал нашу маленькую «Колу», как хотел, нас же всех держал в горизонтальном положении до самого Карачи.

В Карачи опять небольшая стоянка, не соблазняющая к сходу на малопривлекательный берег, да еще в зной. Здесь мы ознакомились с последними известиями с театра войны, говорившими о полной блокаде и изолированности Порт-Артура; до решительных боев дело еще не доходило. Курьезно было прочесть в занесенном на пароход местном листке краткую заметку и о нас, гласившую, что генерал Пайсак, русский генеральный консул в Персидском заливе, в сопровождении своего личного секретаря капитана Бусакова (!), выехал в Бомбей. Имея своих военных агентов в Заливе, англичане, очевидно, не допускали, что мы можем удовольствоваться там же, хотя бы только из простого соревнования, невоенными людьми. Н.П. Пассек всегда почему-то носил кавалергардскую фуражку с красным околышем и белой тульей при министерской арматуре и гражданской кокарде. Я же, не имея ничего более легкого, пользовался в дороге белым костюмом с форменными пуговицами при министерской фуражке. Может быть, это выдавало нас за военных.

От Карачи до Бомбея качало меньше, и мы прибыли в Бомбей утром при прекрасной погоде. Русское консульство, в котором нам предложил остановиться В.И. Некрасов, занимало первый этаж небольшого дома в центральной деловой части города — Аполло-Бендер, где находилось и большинство иностранных консульских учреждений. Помещение состояло только из трех комнат, но В.И. Некрасов имел в верхнем этаже того же дома свою частную квартиру, и мы расположились очень удобно до подыскания для себя квартиры.

Ничего заслуживающего упоминания не произошло во время нашего пребывания в Бомбее, жизнь в котором, по сравнению с Буширом, оказалась, несмотря на зной, настолько привлекательной, что мы оставили мысль о поездке в горы и провели два месяца в городе: я — гостем В.И. Некрасова, а Н.П. Пассек — в снятой им небольшой квартире на противоположной Аполло-Бендер стороне бомбейской косы Wellington Lines.

Время проходило очень незаметно в тесном маленьком кругу иностранцев. С англичанами у нас почти не было общения, так как визит наш в Бомбей не носил официального характера, и Пассек, только «для порядка» расписался в книге посетителей у местного губернатора лорда Ламингтона, которого знал еще по Австралии в бытность свою консулом в Мельбурне, где тоже губернаторствовал лорд Ламингтон.

Чуть ли не в год нашего приезда в Бомбей была закончена постройка в Аполло-Бендер, на самой набережной, грандиозного, прекрасно оборудованного «Тадж-Махала» — отеля, который свел на степень очень второстепенных главные отели города: «Great Western», «Watson's» и «Apollo». По соседству с «Таджем», через дом, где помещался популярный среди мелкой публики ресторан «Грин», расположился фешенебельный яхт-клуб — место отдохновения и развлечения избранной части английского и иностранного обществ.

В общем, мы бездельничали в Бомбее и действительно отдыхали в этом новом для нас и интересном городе. Знакомясь с его до-

стопримечательностями, мы не миновали и парсийских Башен Молчания на Малабар-Хилл, которые являются резким, мрачным контрастом по сравнению с окружающей их живописной обстановкой. Приближаясь по великолепно шоссированной дороге к вершине холма, видишь стаи орлов-стервятников, рассевшихся по верхушкам кокосовых пальм в роще, охватывающей со всех сторон таинственные башни. Говорили, что эти, если можно так выразиться, «воздушные могильщики» оставляли один совершенно чистый скелет от трупа взрослого человека в течение каких-нибудь двух часов.

Доступ во внутрь башен открыт только жрецам и, кажется, родне. Публика же допускается лишь в наружное помещение, где имеется модель башни и даются разъяснения по ее устройству. Бомбейские Башни Молчания — грандиозные сооружения по сравнению с жалкой глинобитной постройкой, осмотренной мною и Олферьевым украдкой в окрестностях Тегерана.

Менее тяжелое впечатление оставляет индусское сжигание трупов, происходящее в огороженном высокой стеной месте на шоссе по дороге из Бомбея на Малабар-Хилл. Проезжая по этому шоссе вечером, можно было видеть зарево от горящих за стеной костров. Посетители допускались внутрь за стену по билетам, получаемым в городском управлении, и могли наблюдать за сжиганием трупов, положенных на большие стойки длинных поленьев, вокруг которых рассаживались на земле родственники. Мрачное само по себе зрелище не имело, однако, отталкивающего характера.

Чудным развлечением в ясный день была поездка на парусной туземной лодке на остров Элефанта. При попутном ветре туда и обратно она занимала часа три, включая осмотр пещерных индусских храмов глубокой древности, но зато, если случалось попадать в штиль, переход затягивался, так как лодочникам приходилось грести. В позднейшее время эти неудобства были вытеснены моторными лодками, но прелесть поездки, на мой взгляд, от этого очень уменьшилась.

Бомбей находится, пожалуй, в наиболее выгодных условиях по сравнению с другими центрами Индии — в смысле возможности ослабления тягости знойного и сырого сезона, тогда как из Калькутты и Дели никуда не укрыться, кроме Даржилинга, Муссури и Симлы, требующих по дальности расстояния продолжительной отлучки. Вблизи Бомбея, не считая официального Махаблешвара, куда на сезон перекочевывает губернатор и высший чиновный и

деловой мир, есть такие доступные, лежащие на железнодорожной линии горные станции, как Матеран и Кандалла. Правда, в описываемое время они были очень примитивно оборудованы, обслуживая публику незатейливыми «бенгалоу-отелями» без каких-либо современных удобств, при неизысканной кухне. Разница в температуре, особенно в ночное время, была настолько ощутительна, что на субботу и воскресенье (week end) все «бенгалоу» переполнялись до отказа.

Я нередко пользовался этими горными уголками во время моей последующей трехлетней службы в Бомбее, но при нашей поездке из Персии в 1904 году, уставшие от недостатка общества и культурной жизни в Бушире, мы не стремились к почти такой же изолированности, хотя бы даже в прохладе горных местечек Бомбейского Президентства, и предпочитали им знойный и сырой, но удобный и оживленный Бомбей.

Два месяца пребывания нашего в Бомбее пролетели незаметно. По сведениям из Бушира, который холерная эпидемия совершенно миновала, там настал лучший сезон, и мы, распрощавшись с гостеприимным В.И. Некрасовым и воспользовавшись рейсом нашей старой знакомой «Колы», отплыли обратно в Персидский залив.

ГЛАВА 13
Снова в Бушире. Поездка в Басру

После возвращения нашего в Бушир потекли похожие один на другой, лишенные чего-либо примечательного дни. За это время начальником таможен Персидского залива был назначен известный нам по поздке в Мохаммеру бельгиец Ваффлар, ставший нашим постоянным посетителем и подпавший всецело под влияние Н.П. Пассека в старании последнего мешать ничем не сдерживаемому своеволию англичан в Заливе. Но шаги его в этом направлении, как я уже упоминал, не имели успеха, так как персидские дела за время нашего неудачного конфликта с Японией отошли на задний план, вследствие чего и персидскому правительству пришлось более прислушиваться к требованиям англичан, что прежде всего обнаружилось в назначении угодных им администраторов вроде губернатора Дерья-Беги на смену русофила Саларэ-Муаззама, сыновья которого воспитывались в одном из кадетских корпусов в

России. Скоро и Ваффлар, пересоливший в своей политике вставления палок в колеса англичанам, был переведен куда-то из Бушира с понижением.

Н.П. Пассек раздражался и нервничал, поссорился с французским врачом Бюссьером, отказавшимся признать себя консульским врачом при полной, однако, готовности оказания безвозмездной помощи консульскому персоналу. Дело в том, что назначение доктора Бюссьера врачом при буширской таможне было тоже одной из мер борьбы с английским влиянием. Содержание ему делилось в равных частях между русским, персидским и французским правительствами, что и послужило основанием Н.П. Пассеку считать доктора Бюссьера под своим начальством, против чего последний резонно протестовал.

Неудачи в его начинаниях и отсутствие поддержки из Тегерана, а иногда и выговоры за слишком самостоятельные действия, сделали из по натуре независимого и вспыльчивого Н.П. Пассека крайне тяжелого человека для общения с ним вообще, не говоря уже о близком сотрудничестве и совместной жизни. Все соприкасавшиеся с ним испытывали трудность его характера, а в особенности я — исполнитель тех или иных его деловых поручений и посредник по передаче его распоряжений низшему персоналу. Все это сделало из меня совершенного неврастеника, и я «спал и видел», чтобы вырваться из Бушира.

Старания как правительства, так и частных торгово-промышленных предприятий заинтересовать южноперсидский рынок товарами нашего производства, действительно высокими по качеству (ситценабивные изделия и сахар), продолжались, и большой одесский торговый дом «Братья Зензиновы» командировал в Бушир своего агента — поляка Пржигодского. Однако дело подвигалось не особенно успешно по многим причинам: дороговизна русской бумажной мануфактуры сравнительно с манчестерской дешевкой; легкая распускаемость слабого марсельского сахара, удобного для персов, пьющих очень сладкий чай из маленьких стаканчиков, в которых медленно растворялся компактный, более сладкий, но твердый русский сахар; не особенно удачный подбор торговых агентов; редкие пароходные рейсы...

В северной и центральной Персии к русским товарам уже привыкли и оценили их по достоинству, предпочитая всяким другим, что побудило конкурирующие манчестерские фирмы воспроизводить на своих тканях в точности наши рисунки и краски. Исфаганский представитель Лодзинской мануфактуры Карла Шейблера показывал мне наши оригиналы и манчестерскую имитацию. Неопытный покупатель мог «до поры до времени» не замечать разницы, но только «до поры до времени», так как в носке русские ткани говорили за себя. Но на юге добиться таких результатов было бы труднее, так как перс-южанин, как и индус, гнался, главным образом, за дешевкой и льготными условиями кредита, открываемого находящимися под рукой бомбейскими купцами.

Незаметно прошел 1904 год, в конце которого мне удалось вырваться на неделю из Бушира и, воспользовавшись рейсом одного из русских пароходов, побывать в Басре по приглашению моего старого товарища по Учебному отделению (следующего за моим выпуска) М.М. Попова, управлявшего там консульством. Я был очень рад этой поездке, дававшей возможность несколько вздохнуть после буширской рутины и причуд моего принципала.

Басра того времени был грязный, пахнущий нечистотами город с жарким субтропическим нездоровым климатом. Город прорезан каналами, по берегам которых раскинуты пальмовые рощи — богатство этой отдаленной провинции Оттоманской Империи, экспортировавшей ежегодно громадное количество фиников. Наше консульство размещалось в наемном кирпичном здании на берегу главного, выходившего из Шат-эль-Араба канала. Расположенное среди туземных построек консульство находилось в очень неблагоприятных условиях и, несмотря на сравнительный внутренний комфорт, обладало всеми недостатками местных антисанитарных жилищ. Наиболее всего мучил постоянный тяжелый сладковатый запах гниющих отбросов, и было неудивительно, что, по словам моего коллеги, все население болело малярией, которой не избежал и он.

Вообще Басра, где, казалось, лишь одно английское консульство, которое находилось вне городской скученности в собственном доме на берегу Шат-эль-Араба, было оборудовано более или менее комфортабельно и дышало свежим воздухом, производила грустное впечатление на нового человека. По сравнению с ней наш Бушир представлялся здоровым и привлекательным местом, куда через несколько дней я вернулся на том же пароходе с сознанием, что судьба была еще ко мне милостива, не загнав в Басру и подобные ей другие клоаки Востока. И подумать только, что это была Басра «Тысячи и одной ночи», рисовавшаяся нашему детскому воображению роскошным цветущим, красочным садом, полным всяких диковинных вещей.

Басра была конечным портом персидской линии Русского общества пароходства и торговли, и там имел свою контору агент Общества, не обремененный работой за отсутствием большого спроса на русские товары и предметов экспорта для России. Вво-зилась сюда, как и в порты Персидского залива, наша бумажная мануфактура и сахар в небольших количествах, в обратный же путь пароходы пускались почти порожними, забирая, как я уже говорил, немного фиников и незначительный груз сухого собачьего навоза для кожевенных предприятий.

Так прошел 1904 год. Пал после долгой героической осады казавшийся неприступным Порт-Артур, к вящему недоумению, а может, и злорадству персов, считавших нас несокрушимыми. Готовилась к отплытию в воды Дальнего Востока наша европейская флотилия.

Ранней весной штат генерального консульства, с приездом драгомана В. Миллера и ожидавшимся прибытием секретаря доктора Андрея Яковлевича Миллера, приходил в нормальное состояние, и мне предстояло, к большому моему удовольствию, отправиться к месту моего служения в Исфаган, оставивший во мне прекрасное впечатление при проезде два года перед тем на юг.

ГЛАВА 14
В Исфагане

Ничто меня не связывало с Буширом, хотелось перемены, и я, распрощавшись с консульством, выехал по распоряжению посланника в Исфаган для управления там консульством ввиду предстоящего, по моем прибытии, отъезда в отпуск генерального консула князя А.М. Дабижа. Дорога была известная и казалась безопасной. Со мною ехал молчаливый слуга Мирза-Махмуд, но по обычаю для сопровождения меня и охраны был отряжен один из консульских гулямов.

Путешествие мое караваном до Шираза и на почтовых верхом до Исфагана прошло без всяких приключений. В Ширазе я провел два-три дня, остановившись у моего старого знакомого армянина Мартина, и через две недели пути, кажется, в конце апреля, был уже в Исфагане, где меня с нетерпением ожидал князь Дабижа.

На третий день после моего приезда князь представил меня, как своего временного заместителя, генерал-губернатору Исфаганской

провинции, родному брату Музаффер-зд-Дин-шаха принцу Зилли-Султану, бессменно управлявшему этим районом. Нам не нужно было переводчика: князь Дабижа говорил по-персидски, как перс, а я за два года буширской практики так окреп в языке, что не чувствовал затруднений ни в понимании чужой речи, ни в разговоре. Принц был очень любезен и приветлив, хотя говорили, что он не русофил, стараясь дать своим многочисленным сыновьям скорее английское воспитание. Три его любимых сына — Бахрам-Мирза, Акбер-Мирза и Ибрагим-Мирза — бегло говорили по-английски, проведя детство под руководством гувернера-англичанина.

В 1905 году Зилли-Султан был уже пожилым грузным человеком лет 60 с лишком. Лицо его с жестким выражением острых, проницательных черных глаз и с тонкими губами не было особенно привлекательно, напоминая о жестокости, о которой ходили многочисленные рассказы. Он был очень словоохотлив и интересен как собеседник.

Испробовав неизбежных чая, кофе и шербета, то есть фруктового сиропа с водой и льдом, не имеющего ничего общего с продававшейся в стаканчиках в наших гастрономических магазинах под этим названием помадкой, и поговорив на местные и общие темы, мы откланялись, напутствуемые традиционными благопожеланиями хозяина. Помню, что проходили мы анфиладой богато украшенных коврами комнат, выходящих в сад, где нас ждал единственный в Исфагане по красоте коней парный выезд застоявшихся зверей-жеребцов, едва одергиваемых дюжим казаком, одетым в кафтан русского ямщика.

Высокое положение Зилли-Султана, как брата шаха, избавляло его от необходимости отдачи лично визита, но зато, я думаю, почти все его сыновья перебывали у нас. Кроме трех, ранее названных, я помню еще Феридун-Мирзу, получившего, если можно так выразиться, французское образование, так как он болтал по-французски. Почти все они были от разных матерей — гарем принца насчитывал немало жен.

Мое почти годичное управление консульством в Исфагане было во всех отношениях приятным отдыхом после Бушира. Мелкой рутинной работы было немного, так как русская колония в Исфагане состояла лишь из нескольких коммерсантов, из которых наиболее видными были представители московской Прохоровской мануфактуры армянин Петросов и Лодзинской мануфактуры Карла Зейблера поляк Терлецкий. Помощником Петросова был моло-

дой, недавно женившийся лазаревец Ляшенко, корреспондентом Учетно-ссудного банка Персии — Д.А. Батурин. С последним, по общности возраста и общественного положения, у меня создались тесные отношения, весьма ценные в обстановке персидской оторванности от культурной жизни и одиночества.

Немногочисленная иностранная колония состояла, главным образом, из англичан, представителей различных фирм и миссионеров.

Пребывание последних в Персии всегда было для меня загадкой, так как ислам, да еще особо фанатичного шиитского толка, исключает возможность перехода в христианскую или иные религии, присуждая отступников к избиению камнями. Таким образом, открытая, допускаемая правительством работа миссионеров могла сводиться только к благотворительной и врачебной деятельности, так как местное влиятельное духовенство воспротивилось бы даже открытию ими школы для детей. Говорили, однако, что были случаи тайного обращения. Открыто же миссионеры проповедовали среди христиан-армян, обращая кое-кого из них из армяно-григорианства и католичества в протестантство.

Говоря о русской колонии, я забыл упомянуть архимандрита Баграта — религиозного главу армяно-григорианской общины, назначенного в Исфаган из Эчмиадзина по благословению католикоса. Архимандрит Баграт был очень представительный, прекрасно образованный человек, отлично говоривший по-русски. За неимением православной церкви в Исфагане православные русские посещали от времени до времени родственную армянскую, поддерживая общение с симпатичным монахом. Нужно, однако, оговориться, что армянская часть населения проживала не в самом Исфагане, а в отдельном, окруженном стеною, городке Джульф, связанном с Исфаганом широкой, довольно хорошей для персидского бездорожья дорогой и мостом через реку Зээндэ-руд в получасе верхом от консульства, то есть приблизительно в трех верстах. Городок этот, сплошь заселенный армянами, жил своей собственной жизнью, и я не помню даже присутствия в нем каких бы то ни было персидских властей — как крупных, так и мелких.

В Исфагане, как и в других, наиболее значительных персидских центрах с многочисленным местным еврейским населением, пребывали представители Всемирного Еврейского Союза (Alliance Israélite Universelle) для просветительно-благотворительной деятельности среди евреев, влачивших жалкое и довольно бесправное существование в особых, отдаленных от центров, кварталах. Агенты этой парижской организации были французские евреи или евреи — французские протеже, и находились они под защитой французских консулов. В Исфагане же, где не было французского консула, защита этих агентов, а косвенно — и их «паствы», лежала, по соглашению между нашим Министерством иностранных дел и французским послом в Петербурге, на русских консульских представителях в Персии, над чем иногда подшучивали иностранцы, видя несоответствие в нашем покровительстве чужим евреям за границей с ограничениями для них в России.

Итак, став управляющим консульством, я автоматически сделался и защитником евреев в Исфагане. Местными агентами Союза в мое время были два турецких еврея и одна испанская еврейка. Все трое были славные молодые люди, очень преданные своему нелегкому делу. От времени до времени я бывал в очень грязном еврейском квартале в сопровождении двух казаков конвоя, когда обычно и старые, и малые высыпали на улицу приветствовать «своего консула». Все трое принадлежали к числу членов местной европейской колонии и часто посещали меня, особенно в жаркий летний сезон, когда жить в заражённом миазмами еврейском районе было не под силу и они переселялись «на дачу», нанимая один из частных городских садов.

В то время почтовая служба в Персии, как и таможенная, инструктировалась бельгийцами, и в больших центрах начальниками почтовых учреждений были европейцы этой национальности, но в период моего пребывания в Исфагане местный почтмейстер-бельгиец был в отпуску.

Европейская медицинская помощь в Исфагане, как и в прочих больших городах Персии, была очень слаба и даже случайна. Единственным европейски образованным врачом в городе был английский протеже, персидский армянин доктор Аганур, который всегда заменял великобританского генерального консула, когда последний уезжал в отпуск. Видимо, и для англичан Исфаган не был пунктом особого значения.

Наиболее интересным событием моей службы в Исфагане был приезд группы румынских туристов во главе с князем Е. Бибеско в сопровождении французского писателя Жана Шопфера (Jean Shopfer), известного под псевдонимом Клод Анэ (Claude Anet), описавшем эту поездку в большом томе «По Персии в автомобиле».

О приезде румынских гостей я был предварительно извещен нашим посланником, просившим меня устроить всю партию в консульстве. В примыкающей к большому дому анфиладе комнат напротив моей квартиры, о чем я уже упоминал, говоря о расположении консульства, было вдоволь помещений, но меблированы они были очень скудно, и я боялся, что не хватит даже кроватей, если у гостей не окажется двух-трех собственных походных. План путешественников был добраться до Исфагана, а если возможно, то и далее, в собственном автомобиле, на котором они прорезали юг России и Кавказ и проделали вообще весь путь от Бухареста до Тегерана, за исключением морской его части Баку — Энзели. Однако до Тегерана им пришлось пользоваться, возможно, местами и плохими, но все же сооруженными дорогами, тогда как от Тегерана, которым заканчивалось прекрасное шоссе от Решта, был природный грунтовый путь, на котором два года тому назад мой экипаж потерпел аварию. Не выдержал ухабов, острых камней, отсутствия мостов и автомобиль, и с какой-то небольшой, промежуточной за Кашаном, станции мне доставлена была телефонограмма, сообщавшая, что автомобиль не может двигаться далее вследствие серьезной поломки и брошен путешественниками, которые следуют на Исфаган в дилижансе, выручившем в свое время и меня.

Путешественники прибыли в консульство утром, в ясный солнечный день в середине мая. Их было пять человек: князь и княгиня Ж. Бибеско, князь Э. Бибеско — младший брат первого, молодая дама-румынка, имя которой улетучилось из моей памяти, Жан Шопфер — Клод Анэ. Все они были еще очень молодые люди, и старшим из них и наиболее солидным был француз. К моему смущению, приехали они совсем налегке с самым лишь необходимым багажом и, конечно, походных кроватей не было и в помине. Сопровождал их в качестве слуги и переводчика мальчуган неизвестной национальности по имени Эмэ (Aimé), которого они подцепили где-то в Тегеране. Но лишения и неудобства путешествия в Персии их, по-видимому, нисколько не смущали, скорее усиливая их энергию и молодой пыл. Так и в комнатах, предоставленных в их распоряжение, они, к моему облегчению, как-то быстро устроились, восполняя недостаток мебели обилием ковров.

Зилли-Султан, узнав, что в русском консульстве остановились иностранные, да еще титулованные, гости, пренебрегая формальностями представления, пригласил всех их со мною на обед в один

из ближайших вечеров. Чета Бибеско и их спутники, не имея с собою вечернего платья, пытались уклониться от приглашения, но Зилли-Султан не хотел и слышать об отказе, предоставив гостям явиться на обед в дорожных костюмах. Одновременно в консульстве появились три любимых сына принца, которые старались, как могли, развлекать интересных путешественников: Бахрам-Мирза устраивал для князя Ж. Бибеско охоту за какой-то пернатой дичью, а его братья изъявляли готовность служить путеводителями по достопримечательным местам Исфагана, заезжая за моими гостями в экипажах своего отца.

Румынские гости пробыли в Исфагане, вероятно, не менее недели. За это время было осмотрено все то немногое, что заслуживало внимания, так как в утопающем в фруктовых садах и живописном городе было очень мало сохранившихся памятников старины. По крайней мере, я помню лишь одну-две мечети со входами, которые были красиво выложены изразцами, местами обвалившимися; какие-то качающиеся минареты, какую-то колоннаду... Вот и все. Главная привлекательность Исфагана состояла в его местоположении, массе растительности, чудном климате.

Обед у Зилли-Султана прошел очень непринужденно. Дамы, украсив цветами свои белые дорожные платья, были очень интересны, хозяин любезен и занимателен, не переставая беседовать с гостями, пользуясь услугами сыновей и моими, как переводчиков. Обед был изысканный, полуевропеский-полуперсидский, но из напитков были только вода и разные шербеты, так как мусульманский этикет не позволял открытого употребления вина, которого у Зилли-Султана были, возможно, немалые разнообразные запасы, но для «внутренних» потребностей.

Прочие вечера после обеда проводились в консульстве. Я помню, раз мы играли чуть ли не до полуночи в шарады, в которых, кроме гостей и меня, принимал деятельное участие Д.А. Батурин. В другой вечер казаки просили моего разрешения повеселить гостей представлением «Журавля, Козы и Медведя», что было исполнено очень удачно и много всех позабавило.

Отдохнув и осмотрев Исфаган, путешественники выехали в обратный путь на том же дилижансе, который по дороге должен был взять на буксир их застрявший где-то под Кашаном автомобиль.

Отъезд румынских гостей был омрачен полученным накануне известием о Цусимской катастрофе. Не хотелось верить этому но-

вому удару престижу русской мощи и несокрушимости, хотя ходили уже мрачные предсказания о непосильной задаче для разнокалиберного нашего флота, расшатанного к тому же долгим путешествием, разбить японскую флотилию и освободить Порт-Артур. Думалось, что сообщение это пущено нашими недоброжелателями и размеры нанесенного нам урона раздуты, но увы, выражавший мне с лукавой усмешкой «сочувствие» доктор Аганур подтвердил наше полное поражение, передав на прочтение пачку агентских телеграмм.

Да, приходилось переживать неприятные минуты, выслушивая неискренние выражения сочувствия со стороны тогдашних друзей японцев и персов, которым в своей слабости было просто приятно слышать о чувствительном ударе их влиятельному северному соседу.

Но пришли русские газеты, смягчавшие размеры наших потерь, сообщавшие о создании новых сил для сломления нашего врага под начальством генерала Линевича, и воскресли надежды. Таково уж свойство человеческой натуры!

Итак, румынские путешественники уехали, оставив после себя воспоминания об очаровательных представительницах румынской аристократии и их интересных спутниках. Мне ни с кем из них не пришлось встретиться впоследствии, и отголоском их пребывания под русским флагом в центральной Персии было получение мною в Бомбее, где я управлял генеральным консульством, изящного тома «La Perse en Automobile»*, переданного в консульство таинственным, не оставившим ни имени, ни карточки лицом. На обложке книги красовалась подпись автора со следующими приблизительно строками: «A Monsieur S. Tchirkine qui nous a ouvert les portes du Paradis»**.

Я вспомнил симпатичного Жана Шопфера, или иначе Клода Анэ, когда с огорчением прочел посвященный ему некролог в парижском «Иллюстрасион» несколько лет тому назад.

А совсем недавно вспомнились мне исфаганские дни, когда в том же «Иллюстрасион» я ознакомился с сообщением о появившемся в свете литературном труде княгини Бибеско, занявшей видное место среди современных писательниц.

Дальнейшее время моего пребывания в Исфагане проходило довольно бесцветно. В конце лета я прочел в полученном приказе

* По Персии в автомобиле (*фр.*).

** Господину Чиркину, открывшему нам двери рая (*фр.*).

по министерству о моем назначении секретарем генерального консульства в Бомбее, что было для меня лестным по скорости (я не пробыл еще в Персии и трех лет) и интересным повышением. Однако о немедленном отъезде в Индию не могло быть и речи до возвращения князя Дабижа раннею весной, когда истекало трехлетие моей службы за границей и я получал право на долговременный отпуск. Я так и рассчитывал: дождаться прибытия князя и, по передаче ему дел, выехать через Тегеран — Энзели в Россию, но плану этому не суждено было исполниться в точности.

Не помню, до или после румын, у меня гостил довольно продолжительное время известный в то время в Персии представитель различных французских фирм, французский еврей Жозеф Брассёр (Joseph Brasseur), проезжавший ежегодно через всю Персию от Бушира до Тегерана и далее на север и собиравший везде и всюду у иностранцев и зажиточных персов заказы на всякую всячину: у первых, главным образом, на разные вина и консервы, а у других — на предметы домашнего обихода. У него и с собой, кроме образцов, был запас разных легко перевозимых товаров вроде часов, колец, парфюмерии и пр.

В занимаемых им двух комнатах был род выставки, посещаемой знатными и зажиточными персами. Наиболее частыми и приятными посетителями были сыновья Зилли-Султана — хорошие клиенты Брассёра, рассыпавшегося в своей предупредительности. Мне припоминается случай, когда говоривший по-французски Феридун-Мирза захотел иметь такой же шелковый цветной модный жилет, какой в то время красовался на самом Брассёре. Последний, не задумываясь, снял с себя жилет и презентовал его титулованному гостю, который принял подарок с нескрываемым удовольствием.

Вообще, без Брассёра и ему подобных странствующих купцов трудно было обойтись в тогдашней Персии, лишенной многого, без чего с трудом мог обойтись мало-мальски привыкший к комфорту европеец и перс лучшего общества, соприкасавшегося с европейцами. Брассёр был видавший виды человек и забавный рассказчик, и пребывание его в консульстве, не обременяя никого, вносило известное разнообразие в монотонную исфаганскую жизнь.

Осенью на горизонте неожиданно показался вновь «князь» Аматуни, на этот раз только в сопровождении своего секретаря Федосеева и конвойного казака. Он был в Бушире и остался очень

недоволен генеральным консульством, не разделившим его взглядов на развитие нашей торговли в Южной Персии, возможности которой он чрезмерно раздувал. Он был моим незваным гостем в течение, по меньшей мере, двух недель, но держал себя совершенным хозяином, позволив себе в мое отсутствие приказать своему казаку обыскать моего личного слугу после пропажи у него какой-то небольшой суммы денег, которую, вернее всего, он сам просто-напросто просчитал. Я выразил ему свое негодование по поводу бестактного самоуправства в стенах учреждения, находившегося под моей юрисдикцией. Он сконфуженно оправдывался, стараясь успокоить меня тем, что было необходимо идти по горячим следам, не ожидая моего возвращения, и тем, что у моего слуги ничего не нашлось. Счастье его, что он попал на человека моего характера. Многие из моих коллег не удержались бы показать ему на дверь, невзирая на возможность скандала.

Я рад был, когда он, «исследовав исфаганский рынок», выехал на Йезд и Керман. В последнем наш консул А.Я. Миллер, лучше раскусивший, по своей более широкой жизненной и служебной опытности, натуру «князя», дал о нем и раздуваемой им нашей торговой политике в Персии должную отповедь в Министерство иностранных дел.

Вскоре за отъездом Аматуни у меня был новый гость — молодой немецкий археолог Герцфельд (Herzfeld). Я впервые узнал о нем от нашего генерального консула в Багдаде Машкова, который телеграммой уведомил меня о предстоящем проезде через Исфаган по дороге в Европу названного молодого ученого, производившего раскопки в Вавилоне, и просил меня приютить его и оказать возможное содействие.

Герцфельд прожил у меня не более трех дней — видимо, Исфаган не представлял для него археологического интереса. Я мало помню его, так как, за осмотром им города, мы встречались лишь на короткое время за завтраком и обедом, и посещение им Исфагана пришло мне на память, когда года три тому назад я прочел в американском географическом ежемесячнике (National Geographic Magazine) о его раскопках в Персеполисе, где он открыл или, вернее, отрыл, развалины дворцовых сооружений, о существовании которых ранее и не подозревали.

Незаметно наступил 1906 год, и я уж мечтал о скорой поездке домой в отпуск, как неожиданно получил телеграмму нашего посланника в Тегеране Шпейера, передававшего мне приказание

Министерства немедленно по прибытии моего заместителя Григорьева выехать в Бомбей для принятия генерального консульства от назначенного генеральным консулом в Мешеде В.О. фон Клемма и передачи его новому генеральному консулу А.А. Половцову.

Это, казалось, была довольно необыкновенная и странная комбинация, так как между отъездом одного и приездом другого проходила ровно неделя времени и, несомненно, или Клемм мог устроить свой отъезд неделей позднее, или Половцов прибыть неделею раньше, но дело в том, что назначение последнего совпадало с поворотом нашей политики в отношении Великобритании, с которой мы вступали на почву соглашений и доверчивости, ввиду чего признавалось желательным устранить встречу наших представителей двух противоположных течений, вклинив меня между ними. По крайней мере, такое объяснение моей поездки «на неделю» из Исфагана в Бомбей мне приходилось слышать от заслуживающих доверия лиц.

Пребывание в субтропическом Бушире совсем расшатало мои нервы, и я подозревал в себе всевозможные болезни под влиянием только что появившихся в печати медицинских рассказов Конан Дойля. Я обращался к доктору Бюссьеру и врачам всех заходивших в Бушир пароходов Русского общества пароходства и торговли, а также к австрийскому врачу в Бомбее, пользовавшему всех иностранцев, с жалобой на постоянную, упорную усталость. Все они говорили мне, что я совершенно здоров и нуждаюсь только в режиме и физических методах лечения, вроде гимнастики, ванн, душей и т.п., но, несмотря на принимаемые меры, чувство беспричинного утомления не оставляло меня, и я с радостью выехал в Исфаган, надеясь на его умеренный климат. Действительно, я чувствовал себя там много лучше, чем в Бушире, но, не будучи в состоянии отвязаться от идеи, что я болен неразгаданной врачами болезнью, я не решался выехать на юг обычным способом — верхом на почтовых, а заказал у местного почтаря коляску-колымагу до Шираза, с тем чтобы двигаться на-долгих, рассчитав, что у меня достаточно времени для прибытия в Бомбей к нужному сроку. Свою довольно большую коллекцию ковров я поручил переслать в Петербург агенту транспортной фирмы «Надежда», которая оказала мне медвежью услугу, оплатив пошлиной мой транспорт, тогда как я имел право на беспошлинный перевоз его, пробыв три года за границей.

В конце марта прибыл Григорьев, которому я поспешил передать дела. Я с ним ранее не был знаком, хотя мы и были питомца-

ми одной и той же гимназии. Он был на три класса моложе меня и учился вместе с моим младшим братом, который говорил мне, что Григорьев был сыном петербургского полицмейстера и французом по матери. Я и в университете не встречался с ним, будучи студентом 4-го курса при его поступлении. Мы впервые познакомились в Исфагане и расстались там же и никогда более не встречались. Мне писали, что он умер эмигрантом во Франции. Кстати сказать, оба они — и Григорьев, и мой брат — были одноклассниками известного атлета и устроителя состязаний борьбы И. Лебедева, хорошо известного под именем Дяди Вани. Последнего я помню прекрасно, будучи певчим в гимназической церкви, при которой Ваня Лебедев был чтецом. Он был крайне религиозен и читал «с надрывом», чуть ли не плача сам и вызывая слезу у богомольных старушек-аристократок, посещавших наш гимназический храм, где священствовал популярный и проповедовавший тоже «с надрывом» о. Константин Ветвеницкий, бывший впоследствии настоятелем церкви при Департаменте уделов. Слушая Ваню Лебедева, мы все думали, что в будущем увидим в нем если не монаха, то, во всяком случае, белого священнослужителя. Говорили, что он мечтал о не особенно доступной для гимназиста Духовной Академии. Каково же было удивление нас, знавших его, когда, поступив в С.-Петербургский университет на юридический факультет, он серьезно увлекся атлетикой и стал с течением времени известным борцом и арбитром — Дядей Ваней.

Этим я заканчиваю первую часть моих воспоминаний, посвященных, главным образом, моей жизни и службе в Персии, и перехожу ко второй их части, охватывающей преимущественно мое пребывание в Индии, начиная с отъезда из Исфагана.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1
На «неделю» в Бомбей. Отъезд в отпуск: от Бомбея до Петербурга

Итак, по воображаемой слабости, я выехал из Исфагана в экипаже в сопровождении только Мирзы-Махмуда, поместившегося на козлах моего «Ноева ковчега». Осмотр последнего меня не удовлетворил. Кузов четырехместной кареты был хотя и стар, но крепок, колеса же страдали уже известным мне по переезду Тегеран — Исфаган недостатком: жидковатостью по сравнению с громоздким кузовом. Я высказал свои сомнения, но меня уверили, что путь Исфаган — Шираз много лучше Тегеран — Исфаганского и что я доеду до столицы Фарса, как говорится, «за милую душу». Я поверил и на пути поплатился за свою доверчивость. Первые перегоны прошли гладко, и я подвигался со сравнительным комфортом, пользуясь остановками ночью в комнатах Индоевропейского телеграфа при караван-сараях. На этот раз я был лучше снабжен провизией, везя с собой небольшой запас русских консервов, любезно приобретенных для меня г-жою Шпейер и присланных с Григорьевыми.

Но очень скоро выяснилось, что отсутствие мостов и переезды через сухие русла рек, ложащиеся особым бременем на оси и рессоры, могут привести к повторению испытанной мною катастрофы на полпути между Тегераном и Исфаганом. Так и вышло. Проехав все же две трети пути, мы застряли далеко от станции, пересекая глубокий сухой лог, и все попытки лошадей вынести экипаж на ровное место были безуспешны, а осмотр передка убедил, что и разгрузка кареты бесполезна, так как произошла какая-то не поправимая дорожными средствами поломка. Что было делать? Было необходимо, несмотря на мое «болезненное состояние», вьючить багаж и ехать верхом. Но от станции мы были далеко, и нужно было искать вьючных животных где-нибудь поблизости. К счас-

тью, неподалеку оказалась деревня, куда и направился на поиски мой Мирза-Махмуд со злополучным ямщиком. Мне долго пришлось ждать у полуразбитой кареты, и только в сумерки показались мои разведчики в сопровождении нескольких крестьян с целой армией осликов. Именно осликов — так они были малы. Более крупных животных не было в окрестности. Однако и это уже было хорошо, так как я давно по опыту знал, что осел — это почти все, если не все, по персидским дорогам.

Итак, на месте крушения составился целый караван осликов, на которых Мирза-Махмуд и ямщик погрузили с помощью крестьян весь багаж, выбрав для меня животное покрупнее. Тем не менее, взобравшись на него, я легко доставал ногами до земли и должен был или поджимать их, или двигаться на «шести». Какое счастье, что мой тяжелый багаж — два больших фанерных сундука, оклеенных брезентом, которые я приобрел в Экономическом обществе армии и флота в Петербурге, не шли со мной, а ушли вперед с караваном возвращавшихся на родину английских миссионеров, любезно предложивших мне воспользоваться их транспортом для тяжелого груза! Эти легкие, несмотря на размеры, сундуки, удобные и прочные, были со мной во всех моих поездках за границу с 1904 по 1914 год и оставались у меня вплоть до назначения в Ташкент, где я их и оставил еще в отличном состоянии в 1921 году, когда покинул пределы России, перейдя персидскую границу. Да, хотя у нас и было известное недоверие к предметам отечественного производства, надо признаться, что это предубеждение во многих случаях было мало основано и русская работа часто была не хуже, если не лучше, заграничной.

Нам нужно было лишь добраться до ближайшей станции, где мы могли найти достаточно почтовых лошадей, и эту задачу ослики выполнили прекрасно.

На станции я осведомил о нашей катастрофе, передав ее попечению беспомощную колымагу с возницей. Здесь мы нашли обычный удовлетворительный ночлег в телеграфной комнате караван-сарая и на другое утро с рассветом тронулись в путь верхом на почтовых, имея двух лошадей под багажом. Через два-три дня мы были в Ширазе, миновав на этот раз без осмотра видневшиеся с дороги величественные колонны развалин Персеполиса.

Нет худа без добра: благодаря моей новой неудаче в пользовании экипажем по персидским грунтовым дорогам, я имел случай убедиться, что могу отлично переносить продолжительные поездки верхом. С этого времени я стал забывать о своей неврастении и быстро восстановил нормальное самочувствие. В Ширазе я остановился у того же армянина Мартина. Повидавшись с Таджир-баши и другими членами русской колонии, я нанял через день четырех мулов с чарвадаром (погонщиком) и выступил в Бушир, куда и прибыл в выработанный караванами недельный срок.

В Бушире все было по-прежнему: так же суетился и ворчал Н.П. Пассек, которого давно уже тянуло в более интересные и культурные места; так же усердно и неуклонно отбивал поклоны мирза в урочные часы «намаза», пренебрегая в эти моменты даже спешной работой; так же вместо величественной, сломанной бурею мачты консульский флаг обвевал маленький флагшток на главном здании.

Новым лицом в консульстве был доктор А.Я. Миллер, с которым я встретился впервые. Он был врачом нашего вице-консульства в Сеистане, но тяготился своей профессией и, выдержав дипломатический экзамен, перешел на чисто консульскую службу. С ним были его двое детей — мальчик и девочка, погодки лет семи-восьми. Таким образом, генеральное консульство обслуживалось тремя людьми, считая драгомана В.В. Миллера. Все трое изнывали от безделья, так как уже было ясно, что значение Бушира было сильно муссировано и с работой, особенно по разграничению нашей и английской сфер влияния в Персии, мог легко справиться один человек при условии знакомства с местным языком, которым владели оба Миллера. Впрочем, и тот, и другой были уже на отлете, ожидая новых назначений.

Я оставался в Бушире недолго. С ближайшим пароходом (кажется, это была старая знакомая «Кола») вышел в Бомбей и через несколько дней был на месте. Наше консульство помещалось в той же маленькой квартирке в Аполло-Бендер, что в качестве только канцелярии было и достаточно, так как семья В.О. фон Клемма проживала круглый год в Пуне, где и он проводил все праздничные и свободные дни.

Ввиду того что оставалась лишь неделя до их отъезда из Индии, вся семья уже перебралась из Пуны в Бомбей и по приглашению командовавшего индийской флотилией адмирала Поэ и его жены, с которыми Клеммы были очень дружны, гостила в адмиральском доме.

В один из ближайших по моем приезде дней я познакомился в консульстве с молодым офицером ташкентского курса индустани,

прибывшим в Индию для практических занятий этим языком и уже закончившим срок своей командировки. Он возвращался в Россию через Бушир — Тегеран. Несмотря на невинность преследуемой им задачи, он проживал в Индии, скрывая свое военное звание и называя себя студентом восточных языков, хотя, надо думать, местные полицейские и военные власти не сомневались в его истинной профессии, что и подтвердил проезжавший в это же время через Бомбей с Дальнего Востока наш флотский офицер лейтенант Веселкин. Клемм пригласил нас всех завтракать в местном яхт-клубе, и Веселкин, только что познакомившись с Лосевым, спросил его, к какому роду оружия он принадлежит. Лосев остолбенел.

— Посмотрите на вязку вашего галстука, — сказал Веселкин. — Всякий поймет, что вы русский офицер, никогда не носивший статского платья.

Действительно, галстук Лосева был завязан каким-то фантастическим узлом. Лосев был очень юн и симпатичен и таинственно говорил о своих наблюдениях в Кветте и на северо-западной границе, где, наверно, была за ним правильная слежка. Грустно было узнать при приезде моем через почти десять лет в Ташкент, что Лосев, запутавшись в денежных делах, был замешан в какую-то шантажную историю, предан военному суду и разжалован.

Кстати сказать, в Индии Лосев представлял собой фигуру очень легко расшифровываемого «разведчика», но там же года через два я встретился с другим офицером тех же курсов, армянином Атаевым, который был много лучше замаскирован. Однажды вечером, когда я, развалившись в тропическом плетеном кресле и задрав ноги на длинные продолжения локотников, проглядывал русские газеты, консульский сипай доложил мне, что меня спрашивает какой-то «туземный господин» (native gentleman). Удивленный неурочным визитом, я все же просил впустить посетителя. К моему удивлению, появившийся передо мною смуглый высокий человек с черными шевелюрой и усами заговорил со мною на чистейшем русском языке с легким кавказским акцентом, «акая», то есть произнося слишком остро неударяемые «о», как «а». Представив несомненные удостоверения своей личности, он просил меня переслать надежным путем кое-какую его корреспонденцию в Россию. Я предложил ему отобедать со мною и командировал слугу в лежащий напротив ресторан «Грин», так как сам я, как холостяк, обычно столовался в яхт-клубе, куда на этот раз идти было уже и

поздновато, и неудобно с гостем туземной внешности, да еще одетым не по-вечернему.

Я провел с Атаевым очень интересный вечер, слушая рассказы о его приключениях. Оказывается, он проник в самые сокровенные с военной точки зрения места под видом странствующего мелкого торговца с коробом всякой всячины — дешевки на вкус небогатого туземца. Он говорил мне, что нигде не испытывал никаких затруднений и был вне подозрений. Поздно вечером мы с ним расстались и более не встречались в Индии, но в Ташкенте, где он служил при штабе округа, мы сразу узнали друг друга.

Подхватываю оборвавшуюся нить моего рассказа. Среди недели показалась первая ласточка близкого приезда нового начальника поста в лице неожиданно прибывшего с очередным пароходом «P.O.» (Peninsular and Oriental) частного секретаря А.А. Половцова — М.С. Андреева. Это был молодой человек лет тридцати, говоривший с легкой запинкой и немного косивший на один глаз, очень живой и общительный, но… малосообщительный. Ему было поручено сделать кое-какие приготовления перед приездом Половцова.

В конце недели Клеммы отплыли из Бомбея, и я стал «калифом на час» до прибытия в следующую субботу А.А. Половцова. Я знал последнего по Первому департаменту Министерства иностранных дел, в котором он, при моем поступлении на службу, был старшим причисленным с уже большим служебным стажем по ведомству внутренних дел. Он ожидал назначения дипломатическим чиновником при туркестанском генерал-губернаторе, которое вскоре и состоялось. Таким образом, мы встретились в Бомбее как старые знакомые.

Предполагая посвятить первое время, главным образом, устройству своей жизни в Бомбее и не ожидая особенно интенсивной работы в течение нескольких месяцев, имея к тому же личного частного секретаря, А.А. Половцов посоветовал мне немедленно воспользоваться отпуском и возвратиться зимою. Тотчас же была послана телеграмма в Министерство, а через несколько дней я, имея отпуск в кармане и поручив Махмуду сбор и укладку моего скарба, уже пытался заручиться проездом до Триеста на одном из ближайших, очень популярных среди иностранцев, пароходов австрийского Ллойда. Они были очень комфортабельны и более дешевы, чем пароходы «P.O.» и другие английские, а также «Мессажери Маритим» (Messageries Meritimes). Однако получить билет оказалось не так легко: было начало июня, как раз перед муссоном, и все парохо-

ды были переполнены. В агентстве австрийского Ллойда, впрочем, мне сказали, что ожидается случайный рейс зафрахтованного Ллойдом грузового парохода «Филиппо Артелли», имеющего ограниченное оборудование для пассажиров, и что на нем найдется одно свободное место, которое может быть продано мне, но что для прислуги (Мирза-Махмуд упросил меня взять его с собою, хотя я и предлагал ему отпуск к родным в Тегеран) помещения нет, а в муссон палубных пассажиров они не принимают. Выяснилось, однако, что боцман за известное вознаграждение готов расстаться со своей каютой, и этой возможностью я воспользовался.

* * *

Я покинул Бомбей ещё до начала муссона. Шедший под австрийским флагом пароход был славянским по составу экипажа. Он состоял почти сплошь из далматинцев, начиная с капитана Антона Ильича Радоничича и кончая последним матросом. Все они понимали русскую речь, а сам капитан Радоничич говорил по-русски просто отлично, так как служил долгое время на линии, обслуживавшей порты Черного моря. Так что, очутившись на борту «Филиппо Артелли», я почувствовал себя как дома. На пароходе не было никаких претензий на особый комфорт. Пассажирское помещение состояло из двухместных кают по обе стороны салона-столовой. Вообще по устройству «Филиппо Артелли» напоминал один из старых транспортов Добровольного флота, типа «Нижний Новгород», и даже стол на нем, не отличаясь присущим пассажирским пароходам разнообразием яств, напоминал русский table d'hôte из четырех традиционных блюд.

Пассажиров было немного — человек восемь, довольно интернационального состава. Я помню двух немцев — мадрасского коммерсанта Шольца и коммивояжера Шиммельбуша, итальянского еврея Вита и молодого американца Вагонера, совершавшего кругосветное путешествие. Дам не было, и молодая компания, среди которой старшему — Шольцу — не было и сорока лет, держала себя без церемоний и непринужденно, без особых переодеваний к обеду. Моим соседом по каюте был немец Шиммельбуш — маленький толстенький человечек, которого почему-то пассажиры невзлюбили и избрали объектом насмешек и издевательств, беспричинно отравляя ему поездку после тяжелой работы странствующего коммерсанта в Индии. Его принимали за еврея, но это не мешало несомненному еврею Виту изводить его более всех. Подчас публика держала себя мальчишески. Помню, однажды утром, когда Шиммельбуш был один в столовой, ожидая завтрака, неожиданно, очевидно по предварительному соглашению, двери выходящих в столовую кают одновременно открылись и Шиммельбуш подвергся бомбардировке подушками, от которой спасся лишь запершись в ванную. Часто при его появлении поднимался вой на манер «тигра», обычно сопровождающий английские застольные песенки. Слухи об этих выходках доходили и до капитана Радоничича, который пытался добродушно, но безуспешно, воздействовать на шелопаев.

Вернувшись через год в Индию и встретившись со мной, Шиммельбуш с возмущением говорил об этой неприятной для него поездке, высказав предположение, что его принимали за еврея.

— Но почему же тогда не трогали несомненного еврея Вита? — недоумевал он.

Что я мог ответить? Что он был смешон и не сумел осадить зубоскалов.

В то время как жизнь пассажиров на «Филиппо Артелли» шла совсем по-домашнему и даже с некоторой для них, за исключением Шиммельбуша, приятностью, мой Мирза-Махмуд страдал, и не от морской болезни (муссон запаздывал и море было, как зеркало), а от клопов, которыми кишела каюта толстокожего боцмана, удивлявшегося сетованиям своего жильца. Хуже всего было то, что по пароходным правилам он не мог покинуть каюты, пока мы шли Индийским океаном. Однако еще до Адена, не выдержав бессонницы, он, невзирая на запрещение, самовольно оставил каюту, к удовольствию нечувствительного к паразитам боцмана, и устроился где-то в укромном месте на палубе.

Мы останавливались в Карачи, где Вагонер увлек меня посмотреть, по настоянию навязчивого индуса-гида, местных индусских танцорок, выступавших без всякого одеяния, и в Адене, где пароход осадила толпа арабов, продававших изделия из страусовых перьев. В полуденный зной Аден с моря казался так мало привлекательным, что никто из пассажиров не сходил на берег. В Красном море были остановки в тихом Суэце, при входе в канал, и в интернациональном маленьком Вавилоне — Порт-Саиде, при выходе из него. Почему такой гаденький, грязный и в буквальном, и в переносном смыслах городишко получил имя «Счастливого Порта»? Вероятно, только потому, что им открывалось это грандиозное, создавшее эру в кругосветном сообщении сооружение — канал.

Не помню, в Суэце или Порт-Саиде мы приняли двух новых пассажиров: молодого инженера-хорвата и молодого австрийского еврея неопределенной профессии, который, при знакомстве со мною, сам назвал себя «жидом» (он говорил немного по-русски), из чего я заключил, что в этом слове в Австрии не было ни презрения, ни брани.

Отступив от обычного маршрута пассажирских пароходов австрийского Ллойда, шедших из Порт-Саида прямо в Триест, «Филиппо Артелли» зашел в венгерский порт Фиуме, где, поднявшись по фуникулеру на гору Опчину и полюбовавшись панорамой города и порта, я со спутниками перебрался через реку в живописное местечко Аббацию, лежавшее уже на австрийской территории. Переход из Венгрии в Австрию и обратно не сопровождался, однако, никакими формальностями. В Аббации я впервые наблюдал смешанное купанье со всей его красочностью и оживленностью. В Бомбее совместное купанье обоих полов не допускалось даже в общественной купальне, а о купанье на открытом воздухе не было и речи, может быть, по условиям бомбейского пляжа, а может быть, и потому, чтобы не фигурировать в купальном полуобнажении перед туземцами. Я побродил по красивому местечку в сопровождении моего нового знакомого «жида», который оказался очень милым человеком и любезно служил мне гидом не только в Аббации, но даже и Вене.

По прибытии в Триест я, прежде чем направиться в Вену и далее на Варшаву, хотел побывать в соседней Венеции. Как раз в это время происходила Всемирная выставка в Милане, и капитан Радонич посоветовал мне, оставив Махмуда с багажом на пароходе, проехать из Венеции на несколько дней в Милан на выставку. Мысль эта мне очень понравилась. Я ею немедленно воспользовался и в тот же день вышел в Венецию на одном из пароходиков, совершавших туда чуть ли не ежечасные рейсы. С собой я взял лишь маленькую плетеную корзиночку с переменой белья и умывальными принадлежностями, так как не было времени на переупаковку моих чемоданов, уложенных для дальнего путешествия. Я рассчитывал купить, что понадобится, в Милане.

В Венецию я прибыл в полдень и немедленно был осажден назойливыми гидами, хуже которых оказались впоследствии только бенаресские, от которых никак нельзя было отвязаться. Подкрепив силы тут же в ресторанчике на площади Св. Марка, я все же, для сохранения времени, уговорился с одним из вертевшихся у

столиков гидов показать мне до вечернего поезда в Милан все достопримечательности Венеции. Так как последние почти все сосредоточиваются на площади Св. Марка или по соседству с ней, обзор удалось сделать в несколько часов. Я видел Собор, Дворец дожей, Мост вздохов, стеклянную фабрику... — словом, все, что полагается видеть туристу, и закончил обозрение Венеции прогулкой вдоль каналов и проездом на гондоле для осмотра одной из частных вилл. В толпе на площади Св. Марка я заметил несколько русских семейств, очевидно, проездом на выставку. Среди них один кадетик-малыш щеголял в полной летней форме, возбуждая любопытство окружающих. Остаток времени до миланского поезда я провел за мороженым и прохладительными напитками в одном из кафе, где меня атаковал бродячий торговец безделушками и женскими украшениями из кораллов. Мне понравились ожерелья из горошин нежного молочно-розового цвета. Цена показалась сходной, и я купил их несколько для подарков сестрам и знакомым. Увы, ловкий продавец надул меня. Как оказалось, к моему конфузу, все ожерелья были крашеные: они очень скоро при ношении потеряли свой чудный цвет.

Из кафе я переправился на станцию железной дороги, легко раздобыл, несмотря на выставочный съезд, спальное место 1-го класса в вагоне Международного общества спальных вагонов и, хорошо проспав ночь, наутро был в Милане. Меня поразило то, что, несмотря на выставочное время, ночной поезд не имел другого спального вагона, кроме как 1-го класса. Не знаю, чем это объяснялось — краткостью ли расстояния, неприхотливостью ли итальянской публики или какими иными причинами.

Я остановился в лучшем в городе рекомендованном мне отеле, кажется, «Hotel d'Italie». В конторе меня встретили очень недоверчиво ввиду отсутствия внушительного багажа. Мой дипломатический паспорт и, в особенности, ежедневные многочисленные покупки быстро рассеяли сомнения на счет моей личности и платежеспособности. Весь день я проводил на выставке, решив осмотреть ее всю в три дня, что и выполнил. Успел ознакомиться и с главными достопримечательностями города, из которых у меня остались в памяти лишь Собор, Пассаж и театр La Scala. Выставка не отличалась грандиозностью и, кажется, в ней даже не было русского отдела; по крайней мере, я абсолютно о нем не помню. Впрочем, возможно, он не был еще готов. В Милане я впервые увидел итальянских солдат и был поражен невзрачностью пехо-

тинцев — отсутствием выправки, плохо пригнанной формой и амуницией и, вообще, невоинственной осанкой. Кавалеристы, впрочем, были довольно живописны; говорили также, что хороши берсальеры*. По речам Муссолини, итальянская армия теперь одна из лучших, если не лучшая в мире. Но по внешности тех пехотинцев, которых я видел, они выглядели немногим лучше персидских сарбазов старого времени. Слава дуче Муссолини, если ему удалось их переродить и сделать из них героев Абиссинии, Албании и Греции.

Обратно я совершил весь путь по железной дороге, минуя Венецию. В Триест я прибыл поздно ночью и, пройдя на набережную, увидел, что сообщения с «Филиппо Артелли», на котором я рассчитывал провести ночь, уже не было — трап был снят и весь пароход погружен во мрак. Оставалось устроиться на ночь в какой-нибудь гостинице, но со мной на этот раз не было никакого багажа, даже корзиночки, с которой я выехал в Милан: все мои закупки остались на хранении на вокзале. Я помнил, однако, название и знал расположение гостиницы, рекомендованной мне моим австрийским коллегой в Бомбее, и направился в «Аквила Нэра» неподалеку от пристани. Заспанный швейцар долго не отворял мне, а отворив и убедившись в отсутствии при мне багажа, не решался впустить меня, принимая, вероятно, за ищущего подходящего места самоубийцу. Призвав на помощь мой гимназический немецкий язык (французский и английский были непонятны привратнику), я кое-как объяснил, что я с выставки и что багаж на станции и при этом просунул в полуоткрытую дверь пару крон, которые, думается, и оказались «сезамом». Мне была дана отличная комната, и я прекрасно выспался.

Намереваясь выехать из Триеста утром, я рано покинул гостиницу, даже не выпив кофе, и немедленно проехал на пристань за Махмудом и багажом. До ближайшего утреннего поезда на Вену оставалось очень мало времени. Махмуд быстро собрал мои чемоданы и тюки, и в двух экипажах мы двинулись на станцию, прибыв за десять минут до отхода поезда. Этого было достаточно для того, чтобы купить билет, но совершенно недостаточно для сдачи тяжелого багажа. Я хотел было уже ждать следующего поезда, но выручил носильщик, оказавшийся славянином, хорошо понимав-

* Особые стрелковые части итальянской армии (с 1836); в XX в. — основа формирования самокатных и мотоциклетных частей.

шим по-русски. Он уговорил меня не беспокоиться, усадил нас в соответственные вагоны и сунул мне на ходу багажные квитанции, сказав, что багаж я получу в Вене только завтра, так как он не мог быть погружен на этот поезд и пойдет со следующим. Трудно было на вокзале без немецкого языка, и я был бы совершенно беспомощен, ввиду краткости времени, если бы не этот галичанин или хорват, носильщик. На пути до Вены остались у меня в памяти только два имени — Земмеринг и Штейнбрюк — и связанная с ними головокружительная красота местности. Вагона-ресторана почему-то при поезде не было, но были остановки на больших станциях с прекрасными буфетами. Но даже и в них не испытывалось особой нужды, так как на каждой такой станции к окнам вагонов подходили кельнеры, которые предлагали тут же с подносов пиво и аппетитные бутерброды, напоминавшие мне домашние завтраки, уносимые в гимназию: разрезанные вдоль розанчики с ломтиками ветчины. В вагоне были и русские, но как-то разговоры не клеились. Очевидно, большинство было поглощено новизной впечатлений и не искало общества. В Вене мы были к вечеру, и я остановился в указанном мне еще в Бомбее отеле «Тегеттоф» — тихом, скромном и удобном, но без ресторана. Кажется, при нем не было даже и кафе, так как я, помню, пил утренний кофе в большом кафе на противоположной стороне улицы.

Пришлось мне взять на свое попечение и Махмуда. Если мне было нелегко, то он был совершенно беспомощен без языка. Отправившись утром в кафе, я взял его с собою и усадил, чтобы не смущать, отдельно, распорядившись, чтобы ему дали кофе и булок. Расплачиваясь потом по общему счету, я был поражен его величиной и думал, что я переплачиваю, как «знатный иностранец». Видя, что лицо мое выражает недоумение, кельнер, догадавшись, принес со стола Махмуда пустую корзиночку и жестами указал, что она была верхом полной. Бедный Махмуд, видимо, изголодавшийся за скудной пищей по железной дороге (он, как мусульманин, не мог понять прелести «шинкен» с пивом), отдал честь венскому печенью.

Я сразу понял, что без гида мне в Вене ничего ни сделать, ни увидеть не удастся, и вспомнил о своем пароходном спутнике, «жиде». Он покинул «Филиппо Артелли» еще в Аббации, но его адрес и номер телефона у меня сохранились. «Жид» немедленно объявился и через полчаса был в отеле. Было воскресенье, и он представил себя в полное мое распоряжение. Если бы не он, я был бы,

как в лесу. Он мне наладил продовольствие Махмуда, показал в Вене то, что позволяло время, и помог сделать кое-какие покупки. В памяти остался наш визит на Пратер, где давал концерт военный оркестр, капельмейстер которого чуть ли не танцевал в увлечении.

На другой день вечером, исправно получив застрявший в Триесте багаж, я распрощался с великолепной Веной и моим любезным, совершенно бескорыстным чичероне, который выразил лишь надежду, что когда-нибудь ему придется воспользоваться моими услугами в России. Может быть, он был провидцем и видел уже себя в роли комиссара, которого я снабжал фруктовым чаем и другими «деликатесами» ташкентского Центросоюза, где я работал в 1920 году?!

Наконец я в Варшаве. На вокзале меня встретил брат, служивший в 21-м пехотном Муромском полку в Остроленке и приехавший нарочно с женой в Варшаву, чтобы взять меня погостить к себе на несколько дней, как было заранее между нами условлено. Он привез меня в гостиницу, где я познакомился с его женой, сестрой жены и ее мужем, артиллерийским офицером. Решено было не задерживаться в Варшаве, а, проехав по Уяздовской аллее и сделав быстро обзор уличной жизни из экипажа, отправиться вечером после обеда в оперетку и прямо из театра — на поезд, отходящий в Малкин с пересадкой на Остроленку. Этому плану мы и последовали.

Варшава была на военном положении в связи с общим революционным брожением, вызванным нашими неудачами в только что минувшую войну. Везде бродили военные патрули. На перекрестках улиц, кроме чинов городской полиции, можно было видеть несущих караулы солдат в боевой амуниции, но город жил своей обычной шумной жизнью. Я обратил внимание на массу мальчишек, уличных «арапов», шнырявших по Уяздовской. Один из таких малышей неожиданно вскочил на подножку нашего экипажа и, элегантно сняв рваный картуз, заявил с поклоном, что он «в критическом положении» и просит поддержки. Он как-то не походил на известных мне петербургских уличных мальчишек, и брат охарактеризовал его и его собратьев продуктами революционного времени. Получив от меня небольшую мзду, «арап» соскочил с подножки и устремился к другому экипажу, продолжая свою, вероятно, удачную охоту.

Пообедав в ресторане нашей гостиницы, мы устремились в театр, где в неизвестной мне оперетте, носившей, насколько теперь

помню, название «Крокодил и Королевна», подвизалась тучная примадонна — кажется, Кавецкая. Вероятно, вследствие непонимания мною польских шуток и острот и незнакомой музыки представление не произвело на меня никакого впечатления. Может быть, кроме того, я был еще утомлен дорогой. После театра мы сразу проехали на вокзал, где нас уже ожидал Махмуд с вещами и, устроившись в неудобных вагонах местного сообщения без спальных мест, выехали в Остроленку, куда, с пересадкой среди ночи, прибыли, разбитые путешествием, рано утром.

Городок Остроленка лежит верстах в десяти от станции того же имени. В допотопных громадных парных колясках с возницами-евреями, которых я раньше видел только на картинках, со всеми их атрибутами в виде пейсов, лапсердаков и ермолок, мы доехали до городка, где, добравшись до квартиры брата, я немедленно улегся на кушетку и проспал без просыпа до полудня. Остроленка — типичный военный городок Польского Края — была стоянкой 1-й бригады 6-й пехотной дивизии и 16-го драгунского Глуховского Великой Княгини Александры Иосифовны полка. Как единственная историческая реликвия этого захолустья, стоял на берегу Нарева, на том месте, где был захвачен в плен вождь польских повстанцев Костюшко, памятник в виде не то каменной колонки, не то обелиска. Я прогостил у брата три дня и выехал в Петербург, где меня давно ждали родные.

ГЛАВА 2
Пребывание в Петербурге и отъезд в Индию. От Одессы до Бомбея. В Бомбее

В столице внешне все было, как будто, по-прежнему, но страна переживала тревожное время после нашей войны с Японией и революционных вспышек в разных местах. Я не помню дат и, возможно, ошибаюсь в последовательности событий, так как строю мой рассказ исключительно на памяти. Припоминается мне покушение на жизнь П.А. Столыпина на его даче на Аптекарском острове, когда переодетый жандармским офицером оставшийся неизвестным и погибший при взрыве террорист бросил громадной силы бомбу, которой было убито и покалечено немало людей и в том числе тяжело ранена дочь Столыпина. Я не уверен, не имея под руками ни заметок, ни какого-нибудь справочника, но склонен

думать, что в том же году произведена была и большая экспроприация сумм Государственного Банка нападением террористов на карету, в которой перевозились деньги. До моего приезда было ликвидировано семеновцами во главе с генералом Мином[18] восстание в Москве, но убийство Мина, в возмездие за его действия против революционеров в Москве, произошло, как будто, во время моего отпуска.

Заседала вторая Государственная Дума с председателем Головиным, но и она, ввиду продолжавшейся оппозиции правительству, не казалась долговечной. В общем же обывательская жизнь шла, как будто, нормальным темпом и в привычных рамках.

После трехлетней жизни и странствований на Среднем Востоке Петербург, в котором я вырос и учился, казался мне особенно привлекательным, и меня совершенно не тянуло за границу, хотя я и строил на время отпуска планы круговых поездок в Европу и по России. Но ни той, ни другой я не осуществил. Побывал только в Старой Руссе, где проводили лето мои родные, в Финляндии, откуда, полюбовавшись водопадом на Иматре, вернулся в Выборг по шлюзам, и в разных дачных местах под Петербургом.

Старая Русса была популярным недорогим грязевым курортом. Сам городок, очень старый, ничем не отличался от массы ему подобных мелких городков с собором и гостиным двором в центре. Кроме переполненного пансионата при курорте, в городе не было даже порядочной гостиницы, и мне пришлось остановиться в каком-то подобии трактира, где я не мог достать комнаты дороже 1 рубля в сутки, с невероятно жесткой кроватью, но, к моим удивлению и радости, без клопов. Но курорт был довольно благоустроен. Как для больных, так и для здоровых было немало развлечений: два раза в день (в ясную погоду на открытом воздухе, а в дождь — в зале курорта) играл небольшой симфонический оркестр, придерживавшийся преимущественно легкого репертуара; в театре подвизалась недурная драматическая труппа; молодежь от времени до времени танцевала. Жизнь была дешевая, и окрестные деревни снабжали город в обилии молочными продуктами, ягодами, грибами. Дней десять я катался в Старой Руссе, «как сыр в масле», на попечении матери и сестер, но потянуло опять в Петербург.

Помню хорошо и поездку в маленькой компании на Иматру, где мы останавливались в отеле «Каскад» над самым водопадом, к шуму которого трудно было сразу привыкнуть. Иматра, катящая свои пенистые бурливые волны под высоким ажурным стройным

мостом, представляла собой величественное зрелище, не лишенное своеобразности, ввиду не падения воды, а стремительного ската ее. Говорили, что мост был свидетелем нередких романических самоубийств и что воды Иматры хранят немало сердечных драм. Водопад славился и, вероятно, продолжает славиться своими форелями, и обычно паровая форель является неизменным блюдом в меню туристов.

Финляндия — страна трезвости, и «выпить» там было не так просто, как, бывало, в России, где за стойкой буфета на вокзале можно было выпить и закусить за 20–30 копеек. Помнится, нельзя было получить рюмки водки или полбутылки пива без полноса разнообразной закуски, так называемой «секса», что стоило 1 марку, и каждая повторная рюмка или полбутылки сопровождалась новым ассортиментов закусок и стоила новую марку. Очевидно, выпивка среди пассажиров не поощрялась, чем и вызывалась вышеописанная комбинация. Всем жившим в Петербурге известны выборгские, особой формы крендели. Одно могу сказать, что в Петербурге, усовершенствованные, они были вкуснее, чем в Выборге.

Обратно наша компания шла до Выборга по шлюзам Сайменского канала. Пароходик наш как бы шагал, спускаясь вниз по гигантским ступеням. Для большинства из нас это было новым и интересным ощущением.

Настала зима, и о поездках куда бы то ни было не хотелось и думать: сильно затягивал Петербург с его зимними развлечениями и привычной обстановкой.

Между тем в Министерстве меня начали поторапливать возвращением в Индию, где, по полученным сведениям, А.А. Половцов сильно страдал от малярии и собирался в отпуск полечиться. Отъезд его сулил более или менее продолжительное управление генеральным консульством, но все же расставаться с Петербургом было жалко, и я, под разными предлогами, просидел в Петербурге почти до конца января 1908 года. В то время, до самой большевистской революции, существовали правильные рейсы пароходов Добровольного флота между Одессой и Владивостоком с заходом в Коломбо, и я решил воспользоваться одним из этих рейсов для возвращения в Индию по новому, еще не известному мне маршруту, сопряженному к тому же с меньшими расходами, так как чины Министерства иностранных дел пользовались бесплатным проездом на пароходах Добровольного флота и Русского Общества па-

роходства и торговли, оплачивая только продовольствие. Однако в конторе Добровольного флота на Морской меня ожидало разочарование. Ближайший пароход, один из ветеранов-«добровольцев» «Нижний Новгород», не имел помещения для пассажиров, и мне предлагали ждать еще две недели до лучшего парохода. Но ждать было рискованно, так как я пропустил все сроки и уже откланялся в Министерстве, и пришлось бы спешно ехать через Европу до какого-нибудь иностранного парохода. Я взмолился перед агентом, прося взять меня на «Нижний» на любых условиях, обещая довольствоваться тем, что есть, и не заявлять никаких претензий. После некоторых колебаний и справок мне была предоставлена так называемая «каюта священника». До открытия Сибирского железнодорожного пути «Нижний Новгород» служил транспортом для перевозки войск и ссыльнокаторжных, и каждую партию сопровождал духовник. С переходом «Нижнего» на положение обыкновенного грузового парохода каюта священника была приспособлена для разных целей. На этот раз служившая аптекой, она была очищена от медикаментов и приготовлена для меня.

* * *

Я выехал из Петербурга с южным экспрессом. Вагон первого класса не был полон, но я заметил, что мое купе находилось между купе, занимаемыми двумя генералами. Я обратил внимание на спутников генералов, совсем не выглядевших первоклассными пассажирами, а похожих более на мелких коммивояжеров. Приглядевшись, я заметил, что генералы не поддерживали с ними никакого общения и, казалось, совершенно игнорировали их присутствие. При выходе в вагон-ресторан генеральские спутники тоже усаживались за столом поблизости, не выпуская «их превосходительств» из-под своего наблюдения. Я понял, в чем дело: время было еще неспокойное и генералов сопровождали охранники.

Незаметно домчались до Одессы, и я тотчас же проехал на «Нижний», где устроил Махмуда с вещами, а сам провел вечер в каком-то кабаре. На другой день «Нижний» снялся с якоря. Это была действительно старая посудина-тихоход. Выглядел он серо, невзрачно; комфорта на нем не было никакого; тесная кают-компания служила и гостиной, и столовой; каюты были малы, с твердыми койками и не снабжены электрическими ветрогонами. Коротко, очень устарелое судно, которому давно было пора на покой,

и двигалось оно с поражающей медленностью, но все же двигалось и должно было придти в Коломбо в устраивавший меня срок. Это было главное, неудобства же, по сравнению с лишениями персидского путешествия, казались комфортом. У Махмуда было маленькое препирательство с портовой жандармерией из-за того, что у него не оказалось свидетельства петербургской полиции о беспрепятственном выезде из пределов России, о необходимости которого мы и не подозревали, но мое вмешательство и дипломатический паспорт произвели должное впечатление на жандармского офицера, и выезд Махмуду был разрешен.

Плаванье проходило монотонно, без каких-либо интересных событий. Пароходом командовал отставной капитан 2-го ранга Л. Компаньон, его помощниками были моряки торгового флота, за исключением 3-го помощника, лейтенанта флота Мальчиковского, уволенного временно в запас в наказание за какое-то либеральное выступление, не совместимое с достоинством офицера Императорского флота. Мальчиковский был самым молодым среди помощников и механиков, и над ним много подтрунивали, называя «плавателем на бочке», то есть отмечая его навигаторскую неопытность и намекая на то, что военные суда мало плавали, стоя по большей части «на бочках» в Кронштадте.

К моему удивлению, я нашел на «Нижнем» еще двух пассажиров: молодых «чайников», отправлявшихся в Коломбо на службу к закупщику чая Чокову, бывшему одновременно нашим консульским агентом в Коломбо. Один из пассажиров был Н.И. Шевалдышев, впоследствии представитель большой чайной фирмы Губкиных, а другой — молодой немчик К.К. Шен, не задержавшийся долго на Цейлоне. Их кое-как пристроили на пароходе и, возможно, взяли бы и других, строя мне препятствия лишь потому, что считали примитивное пассажирское помещение на «Нижнем» неудобным для особы, ехавшей с дипломатическим курьерским паспортом.

Присутствие пассажиров было приятным сюрпризом, и путешествие проходило в очень симпатичной обстановке среди славных людей, без церемоний пассажирских рейсов, и мне казалось, что я опять на борту «Филиппо Артелли» с заменой, в более добродушной степени, Шиммельбуша Мальчиковским.

Недели через три плаванья с традиционными остановками в Константинополе, Порт-Саиде, Суэце и Адене мы дотащились до Коломбо, где были встречены Чоковым, который пригласил меня

и своих вновь прибывших служащих на завтрак. Чоков мне не понравился: он говорил с большим апломбом и аффектированно и держался в отношении нас троих как-то полупокровительственно. Я еще в Бушире слышал от Н.П. Пассека, что Чоков был большой самодур и кутила, державший в Коломбо собственный выезд — русскую тройку, на которой он устраивал бешеные гонки по улицам города на страх разбегавшимся в разные стороны сингалезцам. Спустя года три он, окончательно запутавшись в денежных делах, застрелился в Коломбо.

Я хотел осмотреть не только город, но и окрестности его, но Чоков обрисовал их крайне неинтересными и, видимо, желал как можно скорее избавиться от гостей. Пожалев в душе Шевалдышева и Шена, я распрощался и, дав распоряжение Махмуду перебраться с багажом на пароход, совершавший рейс между Коломбо и Тутикорином, откуда было сообщение с Бомбеем и Калькуттой через Мадрас, совершил небольшую прогулку по городу и вскоре сам проехал на пароход, который вечером снялся с якоря и рано утром уже был в Тутикорине.

Тутикорин с пристани не представлял из себя ничего примечательного. После формального и быстрого таможенного осмотра я устроился в поезде, шедшем в Мадрас. На индийской почве мне уже не приходилось заботиться о Махмуде, который, понимая индустани, чувствовал себя как дома, а мне служил переводчиком. Я не был еще на юге Индии и решил посвятить день Мадрасу, воспользовавшись приглашением моего спутника по «Филиппо Артелли», немца Шольца.

На одной из больших станций на пути к Мадрасу я заметил на платформе трех молодых мужчин, одетых так, как одеваются европейцы в Индии: во всем белом с легкими шлемами на головах. Вид у них, однако, был не английский. Ехали они, видимо, как и я, из Коломбо, но так как Чоков мне ничего не говорил о русских путешественниках, я принял их за иностранных туристов; они потерялись из виду в Мадрасе, куда мы прибыли на другой день рано утром.

Условившись с Махмудом встретиться на вокзале вечером, я взял «гаривалла» (извозчика) и быстро разыскал виллу Шольца по данному им мне адресу. Шольц был крайне любезен и посвятил целый день моему ознакомлению с Мадрасом. Что он мне показывал — я теперь совершенно не помню. В памяти осталось лишь общее впечатление о Мадрасе как о «розовом» городе, так как все

большие правительственные и общественные сооружения были из особого цвета камня или кирпича. Думаю, скорее, камня, так как, помнится, и пыль на улицах была такого же цвета. По сравнению с оживленным Бомбеем, Мадрас казался большим мертвым городом с широкими улицами без движения. Все, по мнению Шольца, достойное обозрения мы объехали, с перерывом, не помню где, на завтрак, и я был задолго до отхода поезда на вокзале, где меня уже ожидал Махмуд.

* * *

В Бомбей я прибыл рано утром и сразу же проехал в Аполло-Бендер, где помещалось наше генеральное консульство в более обширной и удобной квартире, снятой А.А. Половцовым. Бомбей еще не проснулся, и на улицах не было никого, кроме рыбачек, которые, плавно двигая обернутыми куском цветной материи бедрами, несли на рынок свой товар в больших полных корзинах на голове, да нагруженных бананами, запряженных быками двухколесных повозок, стремящихся туда же.

Дверь мне открыл заспанный «хаммаль» (слуга низшего разбора, убирающий помещение), и шумно меня приветствовал мой фокстерьер Джуп, совершивший со мной весь путь от Исфагана до Бушира и оставленный на время отпуска в Бомбее. Он издох через полтора года после моего возвращения в Индию, и ветеринар-индус прислал мне, при скромном счете, трогательное выражение соболезнования с сообщением, что бедное животное окончило свое земное существование, страдая, как обнаружило вскрытие, обычным в стране недугом — нарывом в печени. Да не будет мне поставлен в строку переход от собаки к человеческому роду, но, действительно, так называемый liver abscess, один из бичей индийского климата, уносит ежегодно немало жертв, особенно среди европейцев, не могущих отказаться от лишнего стакана виски.

В консульстве я узнал, что Половцов уже несколько месяцев, как живет на Малабар Хилле в снятой им и заново отремонтированной обширной вилле. Пока я привел себя в порядок после дороги и позавтракал, было уже около десяти часов, и вскоре приехал сам Половцов. Оказалось, что его малярия была более серьезной, чем мне рисовали ее в Министерстве. Он собирался выехать из Индии через несколько недель и уже заказал для себя и жены каюты на одном из пароходов Anchor Line. Вслед за Половцовым

и его личным секретарем Андреевым в консульстве появились трое русских. Они оказались теми «иностранцами», которых я мельком видел на железнодорожной платформе, не доезжая Мадраса. Это были капитан Генерального штаба П.А. Половцов, лейб-гусар поручик граф Остен-Сакен, конногвардеец поручик граф Беннигсен. Все трое приехали в Индию поохотиться и только что возвратились с Цейлона, где, кажется, довольно удачно охотились на слонов. Я, по крайней мере, помню, как граф Беннигсен, самый молодой из «тройки», рассказывал мне о «слоновых» трофеях: он собирался препарировать голову слона, череп которой, покрытый кожей, должен был быть отправлен в Россию из Коломбо вместе с другими, более мелкими, трофеями.

А.А. Половцов намеревался провести несколько лет в Индии и устраивался в Бомбее прочно и комфортабельно, не щадя затрат. Он облюбовал большую заброшенную виллу на Малабар Хилле, занимавшую с разными службами обширную площадь. Место это уже пользовалось недоброй репутацией как зараженное малярией, лежа в обильной влагой впадине. Расположено оно было, однако, очень красиво, с широкой панорамой на Бомбейский залив и покрытую густой вечнозеленой растительностью прибрежную полосу. Слухи о нездоровости местности могли быть преувеличены, а необитаемость объясняться большими размерами участка для частного лица и сравнительно высокой арендой, хотя по размерам площади плата представлялась более чем умеренной. Усадьба русского генерального консула была оборудована даже с большим комфортом, чем губернаторский дом, не говоря уже о виллах местной служебной и финансовой аристократии, так как была снабжена на личные средства Половцова динамо-машиной для электрического освещения, в то время когда весь Малабар Хилл знал только керосин или, в лучшем случае, как резиденция губернатора, сильные газокалильные фонари.

Эта исключительная обстановка создала вокруг личности нового русского представителя известный ореол, тем более что он не замедлил завязать знакомство с верхами местного чиновного и торгового мира и проявить самое широкое гостеприимство, часто устраивая у себя большие обеды, до которых так падка колониальная публика, лишенная других развлечений.

В умах англичан и иностранцев, приезжающих в Индию с целью заработать и скопить, а отнюдь не тратиться, этот широкий размах жизни Половцова представлялся несообразным с положением консульского представителя в Индии, который до Великой войны обычно жил в скромной обстановке и был лишен привилегий консулов в Персии, Турции и Китае. Я помню, как один большой бомбейский коммерсант, предложивши мою кандидатуру в члены яхт-клуба, спросил меня, не граф ли Половцов, и, узнав, что он даже не барон, был, казалось, в недоумении и искренно огорчен.

По заведенному порядку, губернаторы президентств Бомбейского, Мадрасского и Бенгальского считались особами столь высокого ранга, что не отдавали визитов иностранным консулам, а лишь принимали их у себя наравне с представителями местного высшего общества. Посетители расписывались в особых книгах губернатора и его жены и затем, в соответствии с их положением и установленным этикетом, приглашались или на обед или, при случае, на garden party. Этим исчерпывалось и общение консулов с главою Президентства. Тем не менее, лорд Ламингтон, тогдашний губернатор Бомбея, заезжал иногда выпить чашку чая к Софье Александровне Половцовой, что в отношении дам консульского корпуса обычно не практиковалось.

Так или иначе, Половцовы, к искреннему огорчению бомбейского общества, спешно уезжали, не сомневаясь, однако, что им придется вернуться через несколько месяцев, и оставляя в Бомбее все свое громоздкое движимое имущество.

По отъезде Половцовых я вступил в управление генеральным консульством. Из трех офицеров-охотников Остен-Сакен и Беннигсен покинули Индию торным морским путем вскоре после моего приезда. Оставался в Индии лишь брат А.А. Половцова капитан П.А. Половцов, который в это время находился в Кашмире, поджидая М.С. Андреева, с которым он возвращался в Россию сухим путем через Каракорум и Памиры в наш Туркестан. По получении разрешения индийского правительства на поездку через заповедные для иностранцев, а особенно — русских, места, Андреев, закончив в Бомбее некоторые хозяйственные приготовления к этой экспедиции, выехал в Кашмир. Разрешив двум русским, из которых один был официально известен как офицер Генерального штаба, а другой имел близкое, хотя и не официальное, отношение к генеральному консульству, индийское правительство не сочло, однако, возможным выпустить их из-под своего тесного наблюдения и дало им в спутники английского офицера, заручившись для последнего разрешением русского правительства на про-

езд через наши Памиры и Туркестан, бывшие нашей заповедной землей, куда не допускались иностранные консульские представители, а иностранцы — частные лица — лишь в исключительных случаях. В тогдашней англо-русской политике обе стороны все еще руководствовались принципом qui pro quo*, не отрешившись вполне, несмотря на начавшееся сближение, от взаимного недоверия.

Скоро пришло известие, что А.А. Половцов советовался с известным лондонским специалистом по тропической малярии, который нашел возвращение в Индию сопряженным для него с большим риском. Ввиду этого уход его с поста генерального консула в Бомбее казался вопросом решенным, о чем я вскоре получил уведомление от него самого с просьбою продать обстановку виллы с аукциона, всю же усадьбу, срок аренды которой далеко еще не истек, если удастся, передать. Кроме мебели, приобретенной на месте, было еще немало имущества, привезенного из России, для упаковки которого Половцов послал в Бомбей своего старого слугу и бывшего денщика, запасного кавалергарда Фрица Викснe. Последний приехал осенью и привел меня в немалое смущение своей не обычно-лакейской внешностью: одет он был, как «джентльмен», скромно и не без элегантности, и на носу его красовалось золотое пенсне. По массивной фигуре и солидному виду его можно было принять за успешного коммерсанта. У него, однако, оказалось достаточно здравого смысла, чтобы не протянуть мне руки. Возраст же его и продолжительность наших частых интервью давали мне полное основание усаживать его. Таким образом, очень скоро у нас выработался удобный modus vivendi**. В качестве помощника и переводчика я предоставил в его полное распоряжение своего Махмуда, которого он очень благодарил за помощь и просил быть гостем в Петербурге. Но разность их социального положения была, очевидно, слишком велика, так как, когда через два года Махмуд вздумал нанести Викснe визит в Петербурге, то был принят очень холодно и вернулся недовольный хваленым русским гостеприимством.

Таким образом, мое управление затянулось до назначения нового генерального консула, что произошло приблизительно через

---

* Один вместо другого (*лат.*) — недоразумение, возникшее в результате того, что одно лицо, вещь, понятие принято за другое.

** Образ жизни (*лат.*).

год, когда на вакантный пост в Бомбей был назначен, по своей просьбе, консул в Ньюкастле-на-Тайне барон А.А. Гейкинг. Это был совершенно особенный тип как по предыдущей карьере, так и по характеру.

Вся его служба прошла, если не ошибаюсь, исключительно в наших консульских учреждениях в Великобритании с массой текущей работы, строгой рутины нотариального характера и по охране наших торгово-экономических интересов и торгового мореплавания. В этой сфере барон выработался в большого специалиста и неутомимого работника, находившего время, несмотря на количество ежедневной неотложной работы, поставлять еще в издаваемый Министерством иностранных дел «Сборник консульских донесений» статьи по разным отраслям экономики и промышленности чаще, чем кто-либо из наших консулов. Познакомившись с ним в Индии, я очень скоро вынес заключение, что писание — его сфера и что вне писания он скучал и не находил себе места. Курьезно, что у него даже выработался особый критерий о работоспособности и вообще пригодности того или иного собрата по службе — по количеству статей, напечатанных в «Сборнике консульских донесений». Исходя из этого критерия, он сам являлся идеальным консульским работником. Молодых людей, подобных мне (в «Сборнике» были уже напечатаны две мои статьи по Персии), он считал подающими некоторые надежды и, наконец, признавал совершенно бесполезными не поместивших в «Сборники» ни одного своего произведения, вроде А.А. Половцова. Я пробовал, было, с ним аргументировать, доказывая, что на Востоке на долю консула выпадает немало и политических задач, вызывающих объемистые и важные донесения, не подлежащие напечатанию, но он парировал мои возражения с видом снисходительного превосходства искушенного опытом мужа, говорящего с юным новичком, не отступая от своей основной идеи: консул должен печататься.

Сразу же после сдачи ему мною консульских дел он объявил мне, что в технике работы у него своя система: все делопроизводство он берет на себя, предоставляя секретарю только роль переписчика. Я пробовал, было, возражать, что такое положение будет плохой школой для начинающего, но он авторитетно указывал, что самая переписка его ответов на разные запросы и других трудов будет служить школой для его сотрудников. Спорить было бесполезно, да и ни к чему: у меня был уже достаточный опыт по само-

стоятельной консульской работе и я хотел лишь избавить его от канцелярской рутины.

С первого же дня нашего знакомства я заметил, что барон часто неправильно выражается по-русски, но я думал, что это лишь разговорные lapsus linguae* и что на бумаге их не будет, но оказалось, что и письменный язык барона небезупречен. Он, однако, был очень высокого мнения о своем стиле и старался щеголять идиомами, которые он, наряду с понравившимися ему выражениями, вносил в записную книжку. Чего он никак не мог усвоить — это неопределенных местоимений, и выражения, подобные «я зашел в клуб и выпил какой-нибудь сироп», были у него обычными. В мою память врезались два его «изречения»: одно — в связи с какой-то исторической справкой, когда он, заглянув в свой кладезь премудрости — записную книжку, выловил оттуда: «ведь Петр уничтожил архимандрита», имея, очевидно, в виду отмену патриаршества, и другое — заголовок на одном из его донесений: «Тибет — прицел англо-индийцев».

Тогдашний начальник Третьего политического отдела Министерства, блестящий стилист, хотя и с немецкой фамилией, бывший генеральный консул в Бомбее В.О. фон Клемм, с которым я находился в частной переписке, пенял мне за индифферентное отношение к языку и стилю своего шефа, не зная, конечно, что мои попытки в этом направлении, при самовлюбленности барона, были безуспешны.

Другой слабостью барона было пение. У него был небольшой тенорок и большая охота петь чувствительные романсы, но, к сожалению, не было аккомпанемента. Тут помог случай. За неимением лишнего помещения при консульстве, в котором две свободных комнаты занимал я, барон жил в так называемых Yacht Club Chambers — роде клубной гостиницы для холостых его членов, помещавшейся через 2–3 дома от консульства неподалеку от яхт-клуба, но весь день до заката, за исключением завтрака в яхт-клубе, он проводил в консульстве. По соседству были частные дома с квартирами, которые занимали жильцы средней руки, а вся чиновная и деловая аристократия жила в особняках на Малабар Хилле, имея в городе лишь свои канцелярии и конторы. В угловом доме, отделенном переулком от нашего, в верхнем этаже жила какая-то музыкальная семья, и оттуда часто слышалось пение, сопровождаемое аккомпанементом рояля, к которому барон всегда прислушивался. Как-то, наконец, терпение его вышло из пределов. Он сел к столу, быстро набросал на консульском бланке записку и дал мне ее на прочтение. Она приблизительно гласила так: «Даме и господину, который только что исполнил романс "Because". Будучи сам музыкантом и любя пение, был бы рад возможности петь иногда под ваш аккомпанемент. Подпись». Я обомлел и выразил сомнение в удобности такого обращения без предварительной справки. На это барон мне ответил, что я не знаю психологии англичан этого круга; что они будут польщены таким обращением и что это, по его долголетнему английскому опыту, вполне all right. Я хотел было возразить, что они-то, может быть, и будут польщены, но что ему, как консульскому представителю, предварительно лучше бы узнать, с кем знакомишься и поешь; что он мог попасть в среду «полукровных», не имевших, по англо-индийскому этикету, доступа в клубы и избранное белое общество; что, может быть, его прием был вполне уместен в Ньюкастле, но отнюдь не в Бомбее, но барон был упрям и так хотел петь!

Немедленно был снаряжен «хаммаль», носивший тюрбан с государственным гербом, с приказанием разыскать квартиру, где пели, передать записку и принести ответ. Последний не заставил себя ждать. Писала женщина, приглашая барона на чашку чая и прося принести ноты. Барон был в восторге и через четверть часа я уже слышал его голос, распевавший тот же «Because». Да, несомненно, барон Гейкинг был очень своеобразный человек. Новое его знакомство, как я и думал, была семья небольшого правительственного чиновника-англичанина, принявшего большого иностранного представителя в свое лоно с распростертыми объятиями. Аккомпаниаторша забрасывала барона чуть ли не ежедневными записками, приглашая попеть, на которые он сперва с удовольствием реагировал, но потом не знал, куда от них деваться, особенно когда последовало приглашение на церемонный обед, на который пришлось бы отвечать. От обеда он кое-как отперся, пением стал манкировать, а выручило его наступление Пунского сезона. Сам он не собирался ехать в Пуну, воспользовавшись лишь приглашением на несколько дней со стороны губернатора, но для соседей он уезжал надолго.

Я забыл упомянуть, что до приезда барона Гейкинга в Бомбей вернулся М.С. Андреев, оставивший место частного секретаря А.А. Половцова и получивший правительственную командировку

* Ошибка речи, обмолвка (*лат.*).

в Индию для изучения индийских наречий. Местные власти, особенно после его поездки с капитаном Половцовым и английским майором через Гималаи и Памиры, видимо, склонны были видеть в нем замаскированного военного агента. Не собираясь делать сенсационных разоблачений, теперь, спустя 30 лет, я мог бы сказать, что Андреев никогда на военной службе не состоял, а по образованию готовился к педагогической карьере в нашем Туркестане. По возвращении в Россию из Индии он был назначен инспектором туземных училищ Самаркандской области, на каковом посту его и застала революция. Но он был человек наблюдательный, ловкий и, подобно командированным в Россию иностранцам, имел задание осведомительного характера. Никаких военных секретов, однако, он не открывал, да и не мог открыть как по условиям своей работы, так и по неимению средств на эту цель. Жил он на частной квартире, но обыкновенно работал в консульском помещении, пользуясь для пересылки своей корреспонденции нашей почтой. Я не сомневаюсь, что его сообщения были очень интересны, но представляли лишь сводку из местной прессы, сдобренную личными наблюдениями. Человек сдержанный и скрытный по природе, Андреев ни меня, ни барона Гейкинга со своими писаниями не ознакомлял, но я уверен, что они не содержали и не могли содержать чего-либо сугубо секретного.

Несмотря на высокую корректность и другие положительные свойства характера барона Гейкинга, совместная работа с ним, сводившая меня, привыкшего к долговременной самостоятельной работе, на положение простого переписчика, крайне меня угнетала и, если бы не надежда получить вскоре иное назначение, я, вероятно, просился бы в отпуск. Ближайшей моей задачей было ознакомиться несколько с Индией, которой я, за исключением Бомбея и его окрестностей — Пуны и Махаблешвара[19], — где я провел часть «сезонов» после отъезда А.А. Половцова, совершенно не знал.

Позволяю себе сделать маленькое отступление и сказать несколько слов об этих двух последних пунктах. В них бомбейское правительство во главе с губернатором проводит жаркий и дождливый периоды, то есть приблизительно с апреля по октябрь, и все служебные высшие круги со своими семьями и избранная часть семей финансового мира, за исключением их глав, приезжающих в лоно родных на week end'ы, тянутся за ними. В Пуне и Махаблешваре в это время происходят скачки и всевозможные parties, и эти заброшенные в холодные месяцы уголки делаются фешене-

бельными центрами Бомбейского президентства. Обычно сезон начинается Махаблешваром, муссон проводится в Пуне, а осень — опять в Махаблешваре.

Ввиду небольшого количества текущей работы в консульстве, особенно в указанный период времени, когда вся канцелярская работа сводилась лишь к визе паспортов индусов-ростовщиков из синдского Хайдерабада[20], ехавших в Бухару и посылавших свои паспорта для визы по почте, я просил Министерство разрешить мне проехать на некоторое время в названные места и получил соответственное разрешение. Захватив печать и консульские книги на случай виз, я, пропустив весенний сезон Махаблешвара, выехал в сопровождении Махмуда в Пуну, где остановился в лучшем «Коннаут-Отеле». Это была провинциальная гостиница второго разряда, но, ввиду сезона, совершенно переполненная. По предварительной записи я получил помещение из маленькой гостиной, спальни и примитивной ванной, и то не в главном здании, а в барачного типа аннексе. Но и это уже было благодатью по сравнению с Бомбеем: в денной зной в комнатах было прохладно, а ночью можно было обходиться без традиционных ветрогонов «панка» на потолке.

В «Коннаут-Отеле» я нашел моих турецкого и персидского коллег. Турок Джелаль-Бей был интересной личностью. Он долго служил в Америке, великолепно владел английским языком и вдобавок был женат на американке — особе несколько старшего, чем он, возраста, влюбленной в него, как кошка, и ревновавшей при каждом случае. Джелаль-Бей, очень культурный и милый человек в общежитии, в домашнем быту был настоящим восточным деспотом и, изводимый сценами ревности, колотил супругу до синяков. Наши помещения были смежны, отделяясь легкой перегородкой, и я часто ночью слышал у них глухие рыдания. В Махаблешваре, где мы жили вместе и сошлись довольно близко, мадам Джелаль-Бей открыто мне жаловалась на изуверства мужа, показывая синяки и кровоподтеки, скоро, однако, переходя от злобы и плача к восхвалению супруга.

Другим моим сожителем по «Коннаут-Отелю» был вновь назначенный персидский генеральный консул в Калькутте Мифтаху-с-Сальтанэ, предпочитавший проводить жаркое время в Бомбейском президентстве, а не в Калькутте, где нужно было устраиваться и откуда можно было укрыться от жары только в далекий Даржилинг. Мифтаху-с-Сальтанэ был не совсем обыкновенным

консулом. Находясь в составе персидской делегации на коронации короля Георга V, он получил орден Св. Михаила и Георгия 2-й степени, делавший его knight'ом (рыцарем) и дававший ему право титуловаться в Великобритании и ее владениях «сэром». Он так и известен был в официальных бомбейских кругах и местном обществе как сэр Давуд, что создавало ему совершенно особое положение и открывало двери всюду.

Наиболее популярным клубом в городе был яхт-клуб, открытый для дам в качестве посетительниц и устраивавший два раза в неделю «чаи» с музыкой, а иногда и танцевальные вечера. Больным местом некоторых восточных консульских представителей в Бомбее было правило яхт-клуба, не допускавшее азиатов в его члены, но делавшее исключение для консулов, которых принимали в клуб как почетных членов, без баллотировки. Это особенно раздражало турецких консулов, считавших себя не менее европейцами, чем подданные любой державы, имевшей владение в Европе и Азии. Я помню, Джелаль-Бей, только уступая настояниям искавшей широкого общения с европейским обществом жены-американки, согласился, скрепя сердце, сделаться почетным членом яхт-клуба. Японский консул вообще не стремился к общению с европейцами. Он был главою большой колонии, жившей своей особой жизнью и имевшей свой собственный клуб, и по национальной гордости, несомненно, счел бы достоинство почетного члена для себя унизительным. С Мифтаху-с-Сальтанэ я встречался главным образом в Пуне, где он был избран регулярным членом Gymkhana Club, вероятно, в силу своего баронства.

ГЛАВА 3
Поездка в Муссури. Снова в Бомбее. Встречи и экскурсии

Подхватываю оборвавшуюся нить моего рассказа. Я просил барона Гейкинга дать мне частным образом месячный отпуск для поездки по Индии, наметив посетить Агру, Дели, Бенарес и Лёкнау[21], фигурирующий в русских учебниках географии под именем Лукнова в соответствии с английской транскрипцией этого названия города, и провести недели две в Муссури у отрогов Гималаев. Барон был в панике: «Кто же будет переписывать мои донесения?» Я хотел сказать ему: «Вы сами, как это делали ваши предшественники», — но не хотел портить с ним отношений. Поскольку по предыдущей службе он привык к услугам вольнонаемных переписчиков, я, предвидя беспомощность его, сговорился с М.С. Андреевым, который согласился помогать барону, ввиду наших личных добрых отношений и чувствуя себя до некоторой степени обязанным консульству, покровительством которого он пользовался.

Был жаркий сезон — август, совсем неподходящее время для тура по Индии, но у меня не было выбора. Хотелось, главным образом, отдохнуть на севере от южного зноя. Из Бомбея я сразу проехал в Агру, где видел всем известный белый мраморный изящный Тадж-Махал — мавзолей, выстроенный Великим Моголом Шах-Джеханом[22] в память его любимой жены (их миниатюры на слоновой кости, без ручательства за сходство, в массе исполняются в Дели и продаются туристам за безделицу), и белый же мраморный, с инкрустациями из самоцветных камней по стенам, дворец Великих Моголов. Из Агры я совершил довольно продолжительную — около двадцати миль — поездку в экипаже в старую заброшенную столицу Акбара Фатехпур-Сикри, заключающую в себе группу дворцов и других частью полуразрушенных построек из какого-то местного красного песчаника. За Агрой последовал Дэли с его величественной беломраморной Джума-Месджид[23] и великолепным, напоминающим агрский, дворцом в форте. Одним из современных аттракционов Дели была так называемая Imperial Turkish Bath — хорошая турецкая баня с опытными массажистами и массажистками. Гиды упорно рекомендовали ее проезжающим, и в книге посетителей, показанной мне владельцем, я читал надписи важных персон с панегириками этому учреждению. Так много времени прошло, что многое перепуталось в памяти и описывать те или другие достопримечательности виденного было бы и бесполезно, по их общей известности, и рискованно по истечении тридцати лет.

В Бенаресе я обошел священные гаты — места для купанья верующих в Ганге и сожжения трупов — и видел храмы с очень рискованной орнаментацией фаллического культа. В одном из благопристойных храмов жрец возложил на меня гирлянду из жасминов или каких-то иных пахучих белых цветов, за которую получил рупию, принятую из моих нечистых рук с благодарностью. Когда же я, осмотрев храм, пытался вернуть ему беспокоящую меня гирлянду для подобного же доходного использования, он с негодованием бросил ее на землю с другими цветами, которых она коснулась[24].

Итак, только деньги всегда чисты и никого не оскверняют, даже браминов. Впрочем, не знаю, может быть, все собранные монеты проходят через особую процедуру очищения. После осмотра священных мест города я пытался побродить один по лавкам без гида, донельзя мне надоевшего. Но попытка моя привела к еще большим осложнениям, так как стоило только остановиться у какой-нибудь лавки, как моментально, точно из-под земли, вырастал индус, предлагавший купить ту или иную вещь при его посредстве. Отгонять этих посредников было бесполезно — они не отвязывались, как мухи. Мне потом сказали, что их участие в купле-продаже неизбежно, так как этим они живут, получая комиссионные от торговцев и бойкотируя купцов, пытающихся обойтись без них. В окрестностях Бенареса показывают развалины старого города Саранат[25] — место рождения Будды. Это куча серых развалин, останавливающих внимание только по связи с великим созерцателем, родоначальником одной из наиболее распространенных религий мира.

Я закончил намеченную программу посещением Лёкнау, с которым у меня было связано много воспоминаний детства, когда я увлекался книгами по так называемому «восстанию сипаев». Я помню громадный том «Нэна-Сахиб, или Восстание в Индии» сэра Джона Ратклифа. Потом уже я узнал, что «Сэр Джон» был псевдонимом одной немецкой писательницы, которая внесла в свою книгу много чистой фантазии, но, так или иначе, факт трагической осады Резиденции был неоспорим, и в 1908 году она лежала передо мной не восстановленная, в своих руинах, над которыми развевался британский флаг, и старенький высокий сипай, участник осады в рядах защитников Резиденции, давал переводимые гидом объяснения и служил путеводителем.

Во всех этих центрах туризма мне приходилось останавливаться в маленьких, лишенных всякого комфорта, работавших круглый год гостиницах, так как все большие первоклассные отели были закрыты до наступления сезона.

Жара была невыносимая, и я устремился на север. Конечным железнодорожным пунктом была, помнится, маленькая станция Раджпур, между Дехра-Дун и Муссури, где, сделав привал в местной гостинице, более похожей на частный дом с уютными прохладными комнатами, я достал верховых лошадей для себя и Махмуда и распорядился отправкой багажа. Сообщение с Муссури поддерживалось по шоссе, круто поднимавшемуся спиралью. На полпути нас застал жесточайший ливень, и мы прибыли в Муссу-

ри мокрые до нитки, несмотря на наши «непромокаемые» дождевики. Я остановился в «Шарлевиль-Отеле», в котором стоял когда-то Государь Император Николай Александрович в бытность свою Наследником, совершая кругосветное путешествие. Об этом свидетельствовала надпись в конторе отеля: «Under the patronage, etc.»*. «Шарлевиль-Отель», строго говоря, был довольно примитивен, как все горные гостиницы того времени: без водопровода и электрического освещения, он состоял из главного здания и отдельных бенгалоу. Из большой столовой открывался чудный вид на отдаленные Гималаи.

К услугам гостей были теннис, прогулки в горы и верховая езда; по вечерам после обеда танцевали. Но для меня лучшим удовольствием был чистый горный воздух и возможность спать, не чувствуя над собой ни ручного, ни электрического ветрогона. Я пробыл в Муссури недели две, не ища знакомств и, главным образом, гуляя и отсыпаясь. Это горное местечко очень живописно, не уступая, как говорят, по красотам природы Симле, но выигрывающее перед последней в отсутствии официальной жизни, приемов, обедов, балов и пр. Впрочем, это дело вкуса — кто чего ищет, и я был очень доволен Муссури. Любимой прогулкой моей была в Ландаур. Это, если не ошибаюсь, военная стоянка в нескольких милях от Муссури по прекрасному, живописному шоссе.

* * *

Скоро прошел месяц, и я опять очутился в Бомбее за пишущей машинкой. Барон собирался покинуть неуютные Yacht Club Chambers, годные лишь на короткое время, и искал квартиры большого размера, чтобы было достаточно места и для него, и для секретаря, и для канцелярии. При всей безобидности барона совместная жизнь с ним, из-за его педантичности, не казалась привлекательной, но иметь свое помещение при консульстве тоже не было лишено удобства. Квартира уже почти была подыскана во вновь строившемся доме в том же районе, но дальше от моря через параллельную улицу, как все планы неожиданно рухнули — к вящему моему благополучию.

Надо сказать, что Бомбей не оправдал надежд барона Гейкинга, сжившегося с Англией, которую он любил и выше которой в куль-

* Под покровительством и т.д. (*англ.*).

турном и социальном отношениях ничего не видел. Ведь он был даже доктором гражданского права «Honoris Causa» Дёрхэмского университета и носил в соответственных случаях тогу и Mortar Board*. На его письменном столе стоял фотографический портрет, изображавший его в полном облачении доктора. В Бомбее он не нашел той Англии, к которой он привык, да и климатом он начал тяготиться. К тому же стала страдать и его волнистая шевелюра: он мне с ужасом признавался, что волосы при причесывании лезут пучками. Все это его очень смущало, да и не было привычной консульской работы большого английского портового города. Он мне неоднократно говорил, что давно мечтал о посте генерального консула в Лондоне, почти ему обещанного в случае перевода на другой пост или ухода в отставку генерального консула барона Унгерн-Штернберга. Но не произошло ни того, ни другого: барон Унгерн-Штернберг скоропостижно умер, о чем мы узнали в местных газетах.

Перед бароном Гейкингом неожиданно встала проблема: проситься ли немедленно в Лондон (при промедлении пост мог быть предоставлен другому) или остаться в Индии, при не лишенной заманчивости перспективе перевода в Калькутту, о чем уже шли переговоры с великобританским правительством. Положил перевес на чашку «Лондон», должен признаться, я: «Приходится ли выбирать между одной из столиц мира и какой-то колониальной Калькуттой? А волосы? Стоит посмотреть только на остатки моей шевелюры». (Я начал лысеть «наследственно» с университетской скамьи и не имел никакого основания думать, что обязан своей лысиной Бомбею.) Участь перевода висела, если не, как говорится, на волоске, то, несомненно, на волосах.

Сам я, однако, на месте барона ни за что не променял бы красочной Индии, с возможностью поездок по стране и отсутствием мелкой канцелярщины, на скучный, серый Лондон с его массой рутинной работы. Кроме того, отъезд барона давал мне новое и, может быть, продолжительное управление. Впрочем, держа сторону Лондона, я не руководствовался только своими интересами. По частным письмам я знал, что барон Гейкинг не пришелся ко двору в новом для него Третьем политическом (Среднеазиатском) отделе Министерства, который не прочь был от него отделаться, особенно ввиду предстоящего перевода генерального консульства в Калькутту.

* Головной убор английских профессоров и студентов (*англ.*).

Шансы на перевод барона в Лондон были очень велики, так как он имел в Англии заслуженную репутацию образцового консула, и его телеграмма в Министерство с соответственной просьбой получила благоприятное для него решение. Ближайшим приказом по Министерству барон Гейкинг был переведен из Бомбея в Лондон, куда он и не замедлил выехать, ввиду необходимости спешного принятия дел в Лондоне, поручив мне продать с аукциона его имущество, как это обычно практиковалось в Индии.

Курьезным и непонятным для меня пунктом его просьбы являлось желание получить реализованную от аукциона сумму в золотых английских фунтах звонкой монетой в вализе* французского консульства, принимавшего для отправки нашу официальную корреспонденцию. В то благодатное время операции с золотом не имели никаких ограничений, и бумажные фунт и рубль равнялись фунту и рублю в золоте. Приходилось перевести свыше 3000 рупий, то есть более 200 фунтов. Я без труда получил бы эту сумму в банке золотом, но мне казалось, что для меня был известный риск: отсутствие какого-либо оправдательного документа в отправке денег и, хотя и крайне отдаленная, но возможность их пропажи в случае несчастья с пароходом, потери вализы и т.п. Таким способом когда-то мы переводили серебряные краны из одного города в другой в Персии, получая соответственные расписки и гарантии. Здесь же ничего не было. Французское консульство принимало наши пакеты, не беря на себя никакой письменной ответственности. Сложным было и то, что корреспонденция наша доставлялась в Париж, а оттуда развозилась по европейским столицам министерскими курьерами, и в доставке могла быть большая задержка. Коротко говоря, я боялся отправить двести с лишком золотых фунтов без всякого оправдательного документа и хотя, не подумав, и обещал барону перевести его деньги золотом, решил, по размышлении, прибегнуть к более современному способу и взять в банке перевод на соответственную сумму, что и сделал. Перевод этот я приложил к своему частному письму с упоминанием об особой удачности аукциона, но с умолчанием, почему я не послал ему золотых фунтов, думая, что вопрос этим исчерпается и что просьба о золоте была лишь простым недоразумением, так как по тому же

* Закрытое и опечатанное вместилище (сумка, мешок, конверт и т.п.) для дипломатической почты, пользующееся неприкосновенностью; от Valise (*фр.*) — чемодан.

переводу, мне казалось, он мог бы получить всю сумму золотом, если бы это было ему почему-либо необходимо. Не тут-то было. Я получил не благодарственное письмо за удачно проведенный аукцион, а горькие упреки за неисполнение его инструкции.

Я плохой финансист, и ламентации барона казались и кажутся мне непонятными, но может быть, случайно я нарушил его денежные интересы. За наши несколько месяцев совместной работы я, во всяком случае, мог получить впечатление о его исключительной экономности.

Итак, я опять управляю генеральным консульством. Чуть ли не через день после отъезда барона Гейкинга я был подвергнут не совсем обычному экзамену. Однажды утром, в канцелярские часы, консульский сипай доложил мне, что меня хочет видеть какой-то молодой англичанин, отказавшийся дать свою карточку. Я приказал впустить посетителя и вышел к нему. Передо мной был молодой человек не старше 25 лет, одетый, как обычно одеваются клерки и конторщики в Индии, в простой белый костюм при так называемом «каунпурском» шлеме цвета хаки. Не назвав себя, он заявил, что хотел бы говорить со мной конфиденциально. Я просил его не стесняться, так как мы совершенно изолированы и подслушать нас никто не может — вся прислуга, почти не понимавшая по-английски, находилась в своем помещении и мы были одни. Тогда он сказал мне, что посещает меня по поручению лица, могущего продать очень ценные карты и чертежи, касающиеся обороны северо-западной границы Индии, и спросил, не пожелаю ли я их купить. Я ответил, что не имею ни таких задач, ни средств на их осуществление, не являюсь ценителем значения и стоимости подобного материала, но что, конечно, известные круги могут быть ими заинтересованы, и все, что я мог бы предложить, это отправить предлагаемые чертежи и карты в Россию на экспертизу, и что только таким путем они могли бы быть в конечном результате приобретены. Мой собеседник спросил меня, не могу ли я произвести экспертизу на месте, очевидно намекая на М.С. Андреева, которого известные сферы никак не могли определить и который мозолил им глаза. Я ответил, что возможность какой-либо экспертизы на месте исключена за неимением в Индии русской военной агентуры. Тогда посетитель, помявшись, снялся с якоря, сказав, что будет у меня на другой день в условленный час с планами. Как и следовало ожидать, он никогда больше в консульстве не появлялся. Я не сомневаюсь, что мой визитер был агентом сыска, подосланным для выяснения положения Андреева при генеральном консульстве.

Попутно сказать, в местной секретной полиции служили два русских эмигранта, и я знал их обоих, так как они, не скрывая своего звания, приходили иногда в консульскую канцелярию за разными справками. Оба бежали из России, уклоняясь от военной службы. Один был инспектор Фавель, еврей (Фавлевич), — ловкий, довольно видный брюнет, чувствовавший себя как рыба в воде на индийской полицейской службе, найдя себе на ней достойную оценку. Другой был лицом совершенно иного типа — молодой балтийский немец, блондин среднего роста Шульц. Он откровенно признавался мне, что крайне тяготится своей службой и тоскует по родине, на которую давно вернулся бы, если бы не боялся сурового возмездия. Я советовал ему вернуться, говоря, что добровольное возвращение смягчит вину и что я готов посильно помочь ему рекомендацией к пограничным властям, но, видимо, он очень страшился ответственности и, по крайней мере, при мне, более в консульство за советом не обращался.

Мое управление генеральным консульством получило опять затяжной характер, и я управлял им до самого его закрытия и передачи дел В.К. Арсеньеву, который, пробыв в Бомбее лишь самое необходимое время, проехал со своим помощником, моим заместителем Н.З. Бравиным в Калькутту.

Личность Бравина заслуживает упоминания, так как это был один из немногих заграничных чинов Министерства иностранных дел, откликнувшихся на призыв Троцкого при большевистском перевороте. Я знал его еще ранее по переписке, когда он управлял вице-консульством в Сеистане и нередко обращался ко мне с просьбами о высылке ему через Кветту — Нушки разных предметов домашнего обихода. Сеистан был большим захолустьем, куда нужно было везти все, за исключением пищевых продуктов, но и последние часто требовали подкрепления всевозможными консервами. Кое-что я слышал о нем от своего друга В.И. Некрасова, бывшего вице-консулом в Сеистане и передавшего дела Бравину при отъезде в Россию. Отзыв Некрасова, очень мягкого и добродушного человека и хорошего товарища, не был благоприятен. Он описывал Бравина крайне тяжелым человеком — придирой, доставившим ему в Сеистане много неприятных минут.

В.К. Арсеньев был самым молодым из всех русских генеральных консулов в Индии. Он был воспитанником Императорского

Александровского лицея и делал, как большинство лицеистов со связями, быструю карьеру. Он был холост и ехал в Индию налегке прямо в Калькутту, куда он увозил архив и небольшое имущество закрываемого генерального консульства в Бомбее. Мы вместе пробыли не более недели, и у меня в памяти остался лишь видный высокий блондин, говоривший отрывистыми фразами и крайне боявшийся заболеть нарывом в печени, чего как раз ему не следовало опасаться, так как он почти не брал в рот алкоголя.

С Бравиным я познакомился лучше, пробыв с ним не менее месяца в Бомбее, до приезда Арсеньева. Он остановился в «Тадж-Махал»-отеле и каждый день бывал в консульстве. Это тоже был видный, коренастый мужчина с короткими курчавыми волосами и смуглым цветом лица, в котором было что-то не то семитское, не то неопределенно восточное. Был он, как помнится, родом откуда-то с юга, чуть ли не из Одессы, что и объясняло его экзотическую физиономию. Он был умен, зло насмешлив и критиковал «всех и вся» по Министерству. Особенно доставалось от него добрейшему В.И. Некрасову, которого он обвинял в небрежном ведении консульской отчетности. Я помню, Некрасов, безупречнейший человек в денежных делах, изведенный мелочными придирками Бравина при приеме дел вице-консульства в Сеистане, слышать не мог о нем.

Бравин был, несомненно, озлобленный тип, считавший, что его не по заслугам «держали в черном теле». Всегда элегантно одетый, он, оригинальничая, никогда не носил цветных галстуков, показываясь при всяких переменах костюма неизменно в черном галстуке. На меня он производил какое-то мрачное впечатление, и, несмотря на видимые его мне знаки вниманья, у меня не лежало к нему сердце. В качестве подчиненного он, должно быть, был невыносимым человеком, так как не ужился даже с такой приятной, чуждой всякой начальственности личностью как В.К. Арсеньев. Я скоро услышал, находясь в отпуску, о назначении Бравина в Аддис-Абебу, где, как я узнал из его же писем, полученных уже в Сеуле, он тоже не ужился с нашим резидентом в Абиссинии Чемерзиным. Кажется, я был чуть ли не единственным человеком в Министерстве, с которым он вел переписку и поддерживал корректные отношения. Я объясняю это исключительно теми услугами, которые я оказывал ему, исполняя его частные поручения из Сеистана, и нашим сравнительно кратким личным знакомством.

Почти за все трехлетие моего пребывания в Индии губернатором Бомбея был инженерный полковник сэр Джордж Кларк (впоследствии лорд Сайденгэм). Это был очень симпатичный, ведший тихую жизнь старик. Ему очень не повезло в семейной жизни в Индии: недолго проболев, там скоро умерла его жена, и вскоре за этим тяжелым ударом последовало и новое несчастие: он потерял свою единственную дочь, заболевшую острым менингитом. Я встречался с ней только в официальных случаях. Это было маленькое, хрупкое существо. Говорили, что она была очень талантлива и слыла незаурядной поэтессой. Потери эти сильно подкосили сэра Джона, хотя он и не ушел со своего поста.

Помню я его адъютанта, обаятельного капитана Друммонда. Бедняга был одной из первых жертв Великой войны, и я в Ташкенте узнал из одного из английских иллюстрированных журналов о его смерти на поле брани.

Другого адъютанта, капитана Дэвиса, я встретил уже женатым в Кветте, за чаем в доме местного командующего войсками генерала Кемпбелля после побега моего с женой из Туркестана в 1921 году.

Наконец, я не могу не упомянуть о частном секретаре сэра Кларка капитане Грейге, впоследствии майоре, благодаря любезному посредству которого мне с женой удалось своевременно вырваться из беженского лагеря в Бельгауме и проехать из Индии на Дальний Восток на счет Его Британского Величества.

Английская публика, с которой мне приходилось сталкиваться, в общем, поражала меня полным отсутствием осведомленности о России и ее жизни. Все знание почерпывалось, главным образом, из книг, написанных часто людьми, никогда в России не бывавшими и дававшими о ней и ее обычаях самые невероятные сведения. Мне припоминается в связи с этим один американский роман «Seward's Folly»* (но и в английской современной беллетристике было, конечно, немало подобных «осведомителей»), в котором, между прочим, говорится, что на балу у губернатора Русской Аляски в первой паре с хозяйкой, чуть ли не в полонезе, шел ситкинский епископ. Как можно было написать такую чепуху про монаха, не имеющего права даже посещать балов в силу своего сана, тогда как свои не только протестантские женатые епископы, но даже и простое духовенство, не носящее ни ряс, ни облачения, не

* «Прихоть Сьюарда» (*англ.*) — роман Эдисона Маршалла о деятельности госсекретаря США У. Сьюарда, направленной на включение Аляски в состав США. В результате проведенных им переговоров в марте 1867 года был заключен договор о покупке Соединенными Штатами Аляски за 7,2 млн долларов. — *Прим. ред.*

танцует и не ходит по балам. Традиционная «развесистая клюква» иностранцев о России и русском, видимо, не от осведомленности иностранцев о России и русском, видимо, не отцвела еще и в послереволюционный период. Чего же было ожидать в последние годы до Великой войны? Между прочим, мне пришлось встретиться в Бомбее с общим мнением, что все русские женщины и девушки курят (в то время в бомбейском обществе курила лишь одна тонная английская дама с французской фамилией), и убедиться, что английская осведомленность о национальных героях мира вряд ли шла дальше Нельсона, Веллингтона и Наполеона. Я был поражен в разговоре с одним штабным офицером, что имя Суворова, победителя французов в итальянской кампании, героя Сен-Готарда и пр., было ему совершенно неизвестно. Возможно, что англо-саксонская спесь не снисходила до героев «полудикой России», и для меня было приятным сюрпризом прочесть в биографии Гордон-Паши, раздобытой моими сыновьями в их школьной библиотеке, лестный отзыв о русском солдате as inferior to none* по его наблюдению как участника Крымской кампании.

В моих воспоминаниях об Индии вообще и моей жизни в Бомбее нет последовательности, да и не может быть, так как я не вел никаких записок. Поэтому я упоминаю о своих встречах, поездках и пр. в случайном, если можно так выразиться, порядке. Оставаясь на посту почти всегда в одиночестве, я не мог, несмотря на свыше чем трехлетнее пребывание в стране, отлучаться из Бомбея на более или менее продолжительное время и, кроме сравнительно большой поездки в исторические центры Индии и Муссури, сделал лишь несколько малых экскурсий.

Пробегают в панораме виденного Эллора с ее знаменитыми пещерными храмами, Раджпутана, где я побывал дважды, но в разных местах, один раз в одиночестве, а другой — в сопутствии Е.О. Константиновича, студента С.-Петербургской академии художеств, командированного в Индию для изучения архитектуры. Помню, в Джейпуре[26] местная гордость — Дворец ветров — оказался в натуре менее примечательным, чем на открытках, но зато поездка на слоне в форт превзошла ожидание. Не говоря уже о своеобразности ощущения и новизне обстановки, она поразила меня и дешевизной — всего 5 рупий с человека, а сидело нас на перекидных вместительных скамейках только четверо: с одной стороны — я и Махмуд, а с другой — парочка воркующих молодоженов-испанцев. Вооруженный «кодаком» Махмуд увековечил меня при посадке, а я снял испанцев. Слон идет довольно медленно и спокойно, и добродушие его, терпеливо переносящего издевательство человека, сидящего у него на шее и долбящего гвоздем в одно место до образования ранки, умиляет. Жутким моментом поездки был проход через узкие ворота форта, при опасении, что громадное и как будто неуклюжее животное заденет скамейками за каменные ворота и разобьет сиденья и искалечит седоков. Но все сошло благополучно.

* Как лучшем из всех (*англ.*).

Помню очаровательное озеро в Удейпуре[27] с разбросанными на нем по островкам белыми дворцами магараджи в ярком солнечном освещении на фоне темно-голубого неба. Издали они очень красивы, но мне не советовали осматривать их вблизи чуть ли не потому, что постройки не были из мрамора, как казалось, а просто выбеленные кирпичные. В Удейпуре я купил тяжелый меч, вроде нашего палаша, с оригинально дамаскированным поперечными косыми полосами лезвием. Приобрел я его за 100 рупий, и продавец уверял меня, что другой подобный экземпляр находится в удейпурском музее, а третьего нет во всем мире. Эта историческая и, по-видимому, «бесценная» редкость пропала у меня во время большевистских обысков в Ташкенте.

Как теперь у меня перед глазами тончайшая, как кружево, резьба на колоннах храмов в Маунт-Абу, но наиболее врезалась у меня в памяти группа храмов, окаймляющих, в виде четырехугольника, священный пруд в окрестностях Аджмира. Было что-то старинное русское в этих сгруппированных, наподобие наших лавр, храмах с куполами, уступавшими лишь в грандиозности нашим.

Съездил я и в Калькутту, но тогдашняя столица Индии не произвела на меня особого впечатления, несмотря на широту улиц и великолепие зданий. Слишком уж в ней было душно и пыльно, и лежащий на окаймленной морем косе и обдуваемый со всех сторон морским бризом Бомбей был мне гораздо более по сердцу. В Калькутте, как будто, не было ничего, привлекающего внимание туриста. Помню только необъятный баниан* в ботаническом саду с бесчисленными ветвями-корнями и «Black Hole», где во времена британского внедрения в Индию летом 1756 года в калькуттском форте на пространстве около 270 кв. футов было заключено инду-

* Баньян (баниан) — название двух индийских видов фикусов огромных размеров с воздушными корнями.

сами около 150 человек захваченных в плен англичан. Но и «Black Hole»* бледнеет по сравнению с утонченными методами ГПУ с их всевозможными безбожными ужасами вроде «пытки стояния», от которых, судя по тому, что приходится читать, по-видимому, не отстает и гестапо.

ГЛАВА 4
Гоа

Поездки в португальскую колонию Гоа, особенно хорошо запечатлевшиеся в памяти, заслуживают отдельной главы. Одну из них я совершил совместно с моим австрийским коллегой А. Платтом, а другую — в русской компании.

Мы с австрийцем избрали довольно необычный для европейцев путь, воспользовавшись рейсом одного из жалких пароходишек, перевозивших ежедневно туземцев из Бомбея в Панджим[28], столицу португальской Индии, и обратно. Пароходишка не имел ни приличных кают, ни ресторана, и мы должны были взять провиант с собой. По-видимому, он не имел даже какого-либо мало-мальски значительного груза, так как нас качало и бросало во все стороны в течение 24-часового перехода, несмотря на ясную погоду. Что нас побуждало избрать этот путь? Мы хотели проехать «туда» непременно морем, а пароход большого тоннажа, совершавший рейсы между Бомбеем и Мормугао, уходил только через день или два, что не устраивало моего австрийца, связанного временем. Вообще мы собрались как-то неожиданно и наспех, не посоветовавшись предварительно с нашим деканом — португальским генеральным консулом виконтом де Времом.

Мы были очень рады, когда наше утлое, плохо нагруженное суденышко бросило якорь на панджимском рейде. Прибывшие на пароход таможенные и полицейские чины, узнав, что на борту находятся два «знатных иностранца», дали нам кое-как понять, что виконт де Врем тоже находится в настоящее время в Панджиме, чего мы и не подозревали, а через несколько времени на пароход появился и сам виконт, пожуривший нас за приезд «нахрапом» и передавший приглашение губернатора португальской Индии быть его гостями в губернаторском доме.

* Черная дыра (*англ.*) — каземат в крепости Калькутты.

В виде отступления — два слова о виконте де Време, довольно примечательной личности того времени на бомбейском горизонте. Это была полная высокая фигура лет шестидесяти с физиономией португальских грандов средних веков. Я думаю, он великолепно выглядел бы в старинном платье с кружевным воротником, на который ниспадала бы его седая бородка клинышком. Был он, однако, очень представителен и в форме консула, фраке и вообще любом костюме. В Бомбее он, казалось, был бессменным генеральным консулом, так как даже во время его продолжительного отсутствия, при поездке в Лиссабон в отпуск и для лечения какой-то неприятной мокрой опухоли под левым глазом, учреждением ведал бельгийский консул. Я не помню в португальском генеральном консульстве ни одного другого чистого португальца, так как весь подчиненный состав был, по меньшей мере, полукровным, не имевшим никакого положения в местном обществе. Виконт был женат, но семья его никогда не показывалась в Индии, и жил он в Бомбее старым холостяком-«шалуном», шокировавшим чопорное местное общество. Он был большой любитель прекрасного пола, но не слишком разборчив в своих встречах, и в английской среде был только терпим как официальный представитель государства, тесно связанного с Индией.

Во время периодических наездов драматической и опереточной труппы «Bandman Company», известной своими турами по Индии и Дальнему Востоку, виконт обычно запасался сезонными билетами и не пропускал ни одного представления, заседая в первом ряду кресел, а после представления проводил время за бутылкой шампанского в обществе уставших от жары и атмосферы театра артисток и артистов, не знавших, как от него отделаться, но терпевших, переоценивая его популярность и значение. Иногда ему удавалось увлечь с собой кое-кого из нас, молодежи, на эти полуночные попойки на веранде бомбейского ветерана «Watson's Hotel»'я, на которых искренно веселился (had a good time) лишь сам виконт.

Он знал всех представительниц белого «веселого мира» в Бомбее и беззастенчиво подходил к их коляскам, останавливавшимся на Band Stand'е во время послеполуденных прогулок (полиция не поощряла их выходов пешком), и вел оживленную беседу на глазах у всех. Был он, как говорили, «в долгу, как в шелку», так как его скромного жалованья, при расходах на две семьи и широких замашках, не хватало, но он как-то изворачивался. Среди консуль-

ской молодежи он был, однако, очень популярен, благодаря добродушию, неистощимому веселью и готовности разделить любую шумную компанию.

Итак, в сопровождении виконта мы отправились в губернаторский дом, находящийся тут же на пристани, и вскоре были радушно приняты самим губернатором — полковником Х., представительным португальцем чистой крови. Оказалось, что мы попали очень кстати: через день праздновался день рождения короля Карлоса и губернатор давал бал, на который был приглашен весь военный и чиновный Панджим. В ожидании этого торжества нам было предложено осматривать местные достопримечательности. Последних было не так много, и у меня в памяти остались лишь ворота Альбукерка и собор с мощами Св. Франциска Ксаверия. Показывали нам также «Дворец Милосердия» — маленький чистенький госпиталь, где мне пришлось сделать соответственную надпись в книге для почетных посетителей. Серые арчатые ворота Альбукерка из какого-то местного камня (как мне говорили, сохранившиеся с того времени) не поражали своей грандиозностью, собор по архитектуре ничем не отличался от других многочисленных португальских церквей в Индии, равно как и рака святого походила на подобные же усыпальницы святых, виденные в других местах. Вообще же Панджим производил впечатление чего-то среднего между городом и деревней.

Врезались у меня в памяти красная, насыщенная марганцем почва, черные платья туземок-католичек, обильная растительность и крайне смешанное население, в котором европейцев можно было насчитывать десятками, при громадном преобладании метисов и чистых гоанезцев, пользовавшихся в общественной жизни и на службе тем же положением, как и их белые собратья. Я познакомился с семьей одного большого чиновника, хорошенькая супруга которого была чистой португалкой, сам же синьор Грасинда был почти черным туземцем (гоанезцы, ввиду знойного климата, очень смуглы, мало отличаясь от мадрасцев). Вообще было видно, что в португальской Индии туземцы и белые отлично уживались, не чувствуя никаких социальных и расовых преград, что было для меня особенно ярко после британской Индии, где между белым лучшего класса и общества и «полубелым» существовала непереходимая грань.

Полное равенство цветных с белыми, разделяемых лишь чинами и общественным положением, особенно легко наблюдалось на балу, где все смешались в одну общую массу. Мне приходилось

видеть белых и туземных офицеров одних и тех же частей в самой товарищеской обстановке и белых дам, с одушевлением танцующих и кокетничающих с их цветными кавалерами. Всех — как европейцев, так и гоанезцев — объединяли одни и те же громкие имена: Де Сильва, Де Суза, Д'Альмейда... Я даже познакомился с одной синьорой Альбукерк. Обед и бал по своей непринужденности и отсутствию чопорности и снобирования низших высшими напомнил мне скорее русские провинциальные фестивали такого же рода: много ели, много пили, не заботясь особенно об изысканности сервировки, и танцевали до упаду без всяких программ и предварительных ангажементов и записей.

Мне говорили, что Гоа не дает португальскому правительству почти никакого дохода и оно не уступает его англичанам только в силу традиции и исторических воспоминаний. Шутка ли сказать, с португальскими владениями в Индии связаны такие исторические лица, как Св. Франциск Ксаверий, почитаемый всем католическим миром, знаменитый завоеватель Альбукерк и великий мореплаватель Васко да Гама. Именем последнего назван крошечный порт неподалеку от Мормугао.

В Панджиме мы провели три дня и, поблагодарив любезного хозяина-губернатора за гостеприимство, выехали в Бомбей по железной дороге из Мормугао — наиболее важного торгового порта Гоа, лежащего через бухту от Панджима.

Вскоре, должно быть через полгода, я нанес другой визит в португальскую Индию в сопровождении М.С. Андреева, студента Академии художеств Е.С. Константиновича и моего конкурента и коллеги по «лавочке» В.А. Матвеева, прибывшего в Индию на месяц проездом в Россию из Бендер-Аббаса, где он считался драгоманом консульства к недоумению и затруднению (Матвеев не говорил по-персидски) консула Г.В. Овсеенко, не знавшего, как от него отделаться.

На этот раз мы воспользовались рейсом большого парохода и добрались до Мормугао с относительным комфортом. Поездка наша была не более как week end'ом, так как более одного-двух дней там было нечего делать, и порт этот, лежащий при деревне того же имени, стал известен только благодаря вывозу оттуда марганцевой руды. Из исторических реликвий там не было ничего другого, кроме находившегося по соседству игрушечного портика Васко да Гама да фрески религиозного содержания над старой стеной, через которую был проход в единственную местную гостиницу.

Но здесь была у нас интересная встреча. За столом во время завтрака мы заметили древнего старика-англичанина, которому прислуживал его собственный слуга-индус. После завтрака и старичок, и его слуга оба занялись налаживаньем рыболовных принадлежностей, и было видно, что индус является чем-то вроде няньки по отношению к своему господину, предупреждая его желания, сопровождая его повсюду и вообще не выпуская из-под своего наблюдения. Как-то вышло, что мы вступили в разговор со старичком, начав с шаблонных вопросов о рыбной ловле в Мормугао, и разговорились. Он оказался служившим в англо-индийской армии отставным генералом Осборном, ветераном восстания сипаев 1857 года. Мы пытались пробудить расспросами его воспоминания о событиях восстания и его личных переживаниях, но генерал был очень древен, часто терял нить разговора и неожиданно погружался в дремоту. Все же интересно было видеть этого пережитка индийской исторической старины — ему было не менее 80 лет. Мы говорили потом с его слугой. Выяснилось, что генерал был совершеннейшим бобылем и доживал свой век в Индии, перекочевывая из одного места в другое сообразно времени года и своим здоровью и расположению.

У нас было несколько небольших бесед с генералом, и мы расстались друзьями, заручившись его обещанием повидаться с нами в Бомбее. И действительно, я, спустя короткое время, встретил генерала на веранде «Тадж-Махал Отеля» в Бомбее, но он посмотрел на меня неузнающим взором человека, погруженного в свои собственные мысли, а может быть, и в полусон, и я счел за лучшее не беспокоить старика.

ГЛАВА 5
Еще о встречах в Бомбее и то и се об Индии

Из других моих мимолетных знакомств в Индии проходят перед моими глазами, как в калейдоскопе, нижеописанные встречи.

Художник-пейзажист Ян Ционглинский — типичный поляк, говоривший по-русски с большим акцентом, — промелькнул, как метеор, зайдя в консульство за справками общего характера. Мне не пришлось провести с ним сколько-нибудь продолжительного времени, так как он, не задерживаясь в Бомбее, выезжал в глубь страны для своих художественных работ. Это был, кажется, его второй визит в Индию.

Островский — молодой инженер из подающих большие надежды — был командирован в Индию для изучения оросительных систем в связи со стоявшим на очереди вопросом об орошении Голодной Степи в нашем Туркестане. Его приезд совпал с неделей «междуцарствия» между отъездом В.О. фон Клемма и прибытием А.А. Половцова. По туркестанскому обычаю, он с утра разгуливал по улицам Бомбея в соломенной шляпе, несмотря на мое предостережение. В нем был задор молодого, неопытного человека, выехавшего в первый раз за границу, да еще с полным карманом, и размах туркестанца в сочетании с польским апломбом. Он хотел меня «угостить», и мы зашли в садик при ресторане «Грин» в Аполло-Бендере, где я рассчитывал на бутылку настоящего мюнхенского пива. Было не более пяти часов пополудни — как раз время освежиться чем-нибудь холодным, но легким, и представьте мое остолбенение: мой спутник немедленно подозвал к себе слугу и заказал ему бутылку шампанского. Слуга-гоанезец был поражен не меньше меня, так как шампанское в англо-индийском обиходе считалось исключительно вечерним напитком во время обедов и ужинов. Я протестовал, но Островский был непреклонен, бросив что-то вроде «в Туркестане мы ничего иного не пьем». И это в Туркестане, где, как я узнал через 6–7 лет, имелись свои великолепные вина. Нечего делать — пришлось покориться и раскиснуть, вместо того чтобы подбодриться, так как на мою долю пришлось с полбутылки в неподходящее время, в жарком климате. К моему облегчению, Островский в этот же вечер уехал в центральные провинции.

Ему, впрочем, немногому пришлось научиться в Индии по части орошения: во-первых, потому что, как можно было понять из его слов, он ехал в Индию только в силу командировки, по чисто формальным соображениям, зная наперед, что он увидит, и считая, что Индия не даст ему ничего такого, чего бы он уже не знал, а во-вторых, потому что, попав в Дели, он очень скоро, по своей небрежности, свалился от солнечного удара, от которого оправился только благодаря заботам г. Педжа, профессора геологии в Пунском колледже.

Профессор Педж считал себя другом русских, да и был им на самом деле с основания нашего генерального консульства в Бомбее и водворения семьи В.О. фон Клемма в Пуне. Здесь завязалась у Педжа тесная дружба с Клеммами, отозвавшаяся на всех его встречах с русскими, которым он оказывал постоянные услуги. Так было

и в отношении Островского: узнав о его поездке, старый профессор снабдил его всеми нужными рекомендациями в Дели. Центральные провинции — чистый ад летом, едва выносимый туземцами, но Островский совершенно его игнорировал, обозревая оросительные сооружения в самое неподходящее время дня и без всяких предосторожностей. О болезни его консульство долго не знало, так как власти в Дели снеслись с профессором Педжем, который и принял больного на свое попечение, увезя его в сравнительно прохладную летом Пуну, где Островский и пролежал продолжительное время в больнице между жизнью и смертью. Оправившись, он немедленно выехал в Россию, не закончив своих работ.

Санскритолог профессор Щербатский, брат бывшего советника нашего посольства в Токио, приезжал на несколько месяцев в Индию для углубления своих знаний и был в Бомбее лишь проездом «туда и обратно», проводя время своей командировки где-то в Сурате в обществе рекомендованного ему ученого-индуса, живя, как он мне говорил, в индусской обстановке, питаясь и даже одеваясь по-индусски. Профессор по своей элегантной внешности и лоску был очень далек от типа профессора, известного мне по университету, напоминая скорее европейского дипломата, и как-то не верилось в его перевоплощение в «пандита».

В моем калейдоскопе встреч небезынтересной фигурой явился большой оригинал, гвардии полковник Безак. Его манией был проезд по всем железным дорогам до тупика, и он внимательно следил за всеми вновь открывающимися линиями. Изрезав Индию по всем направлениям до тупиков, он прибыл в Бомбей, собираясь отплыть в Новую Зеландию. Его сопровождал в качестве не то компаньона, не то секретаря молодой, родившийся в России англичанин г. Сопер, с которым я встречался в Петербурге, находясь в отпуску. Заболев в Бомбее острой малярией, Сопер не мог сопровождать Безака, который спешно оставил Индию, дабы не нарушать своих заранее составленных маршрутов, предоставив спутнику догонять его где-то в Австралии. Бывая у меня, Сопер много рассказывал мне о причудах своего тяжелого и нелюдимого, вечно спешившего вперед патрона.

Более продолжительным было мое знакомство со студентом архитектурного класса Академии художеств Е.О. Константиновичем, о котором я уже упоминал, конногвардейцами — полковником графом نиродом и корнетом князем Вяземским — и четой Лалыженских.

Константинович был учеником известного профессора архитектуры Померанцева и получил командировку в Индию как один из лучших студентов. Но климатические ли условия, недостаток ли средств на прожитие, разъезды и работу в Индии, где для европейца, даже неприхотливого студента, жизнь не дешева, не располагали его к интенсивному труду, и он, не будучи в состоянии послать в Петербург к сроку доказательств своих работ, просил отсрочки и еще каких-то льгот. Но в холатайстве его было отказано по каким-то формальным основаниям, несмотря на мою официальную поддержку, и бедный Константинович, почти ничего не сделав и имея на руках лишь едва достаточную сумму на выезд, принужден был покинуть Индию без зачета в его curriculum* поездки в Индию. Иначе говоря, провалился.

Граф Нирод и князь Вяземский приехали в Индию исключительно с целью охоты, и главным образом — тигровой. Граф Нирод был типичный породистый гвардейский офицер средних лет, видимо, не стесняющийся в средствах, очень элегантный, живого, общительного характера. Его молодой спутник, князь Вяземский, был серьезный и скромный человек, одевавшийся в штатское платье неумело и без всяких претензий. Из разговора с ним я узнал, что он был чуть ли не одноклассником моего младшего брата по С.-Петербургской 3-й гимназии и питомцем С.-Петербургского университета. Он говорил мне также о своих впечатлениях в связи с революционными вспышками в России в конце и после русско-японской войны, и видно было, что мой собеседник был человек очень наблюдательный, интересно оценивавший события, о которых я знал только по газетам, и очень либерально настроенный для гвардейского офицера. Этот самый князь Вяземский в революционные дни весной 1917 года был убит шальной пулей, находясь в одном автомобиле с тогдашним военным министром Гучковым.

В Бомбее они провели дней десять в попытках организовать охоту на тигра, что оказалось невозможным, несмотря даже на их рекомендации и титулы. Они имели свидание с губернатором, принимали участие в устроенной городом экскурсии на паровых катерах на вновь сооруженный маяк, но тигра так и не видели и, по примеру своих предшественников, принуждены были, насколько помню, ограничиться охотой на слонов на Цейлоне.

---

* Curriculum vitae (*лат.*) — здесь: биографические сведения, послужной список.

Кажется, последней в Индии и наиболее интересной была моя встреча с четой Ладыженских. М.В. Ладыженский служил по Министерству внутренних дел и закончил свою карьеру витебским вице-губернатором. Выйдя в отставку и живя на покое, он ударился в мистицизм и написал ряд понравившихся современной публике книг мистико-религиозного характера, из которых я помню название лишь одной — «Свет Незримый». При нашем знакомстве в Индии М.В. Ладыженскому было лет 60, а жене его — около 50. Это были милейшие люди — тульские помещики, с мягким московским говором. Он изучал в то время мистиков и сподвижников православия, проводя параллель между их миросозерцанием и теориями и практикой мистиков Запада и Востока, и предпринял поездку в Индию как колыбель мистицизма. Жена его, не принимая прямого участия в трудах мужа, охраняла его покой, создавая способствующую созерцательной работе атмосферу. Это была крайне симпатичная, глубоко преданная друг другу пара. Не говоря уже о местных наречиях, ни тот, ни другая не говорили даже по-английски, и непонятно было, как Ладыженский мог что-либо изучать на месте, но он говорил, что для него было достаточно видеть и чувствовать.

Задачей их было посетить в Индии наиболее значительные как с исторической, так и с религиозной точек зрения места, насколько это позволяли их скромные средства, но знали они только французский язык, что совершенно бесполезно в Индии, и лишь О.В. Ладыженская понимала немного по-английски. Кое-как все же они добрались через Цейлон, где познакомились с теософами, и Мадрас до Бомбея, но дальнейший маршрут — куда ехать, что смотреть — им был совершенно неясен, и они просили меня указать им, что следовало бы им посетить и чем можно пренебречь. Руководствуясь опытом моих поездок в Раджпутану и центральную Индию, я за вечер составил им краткую записку о подлежащих осмотру местах и наметил наиболее удобные и дешевые маршруты. По этой записке они проделали весь свой путь от Бомбея на север и, вернувшись в Бомбей, заверили меня, что она была их путеводной звездой и что без нее они не смогли бы видеть того, что хотели, и успешно завершить поездку. За их кратковременное пребывание в Бомбее мы очень подружились, и, уезжая обратно на Цейлон, где они должны были сесть на пароход Добровольного флота, они взяли с меня слово посетить их в их тульском имении.

Вот, кажется, все по части встреч в Индии, где я, хотя и был лишен привычной родной атмосферы, при интересной работе, благодаря красоте страны, историческим воспоминаниям, ярким впечатлениям, незаметно провел более трех лет и куда со временем мечтал вернуться.

По роду службы мне за границей приходилось вращаться в кругу моих иностранных коллег, которые в то счастливое время, когда никто и не помышлял еще о возможности европейского конфликта, несмотря на уже начавшийся германский Drang nach Osten*, представлял из себя, в общем, дружно спевшуюся капеллу под батоном** декана. Отношения между отдельными членами консульского корпуса были очень просты. Обычно никто не чинился друг перед другом, невзирая ни на ранг, ни на возраст, и у меня, с лишком два года управлявшего генеральным консульством, то есть старшим по разряду консульским учреждением, не было никаких недоразумений с моими коллегами по вопросу о «местничестве», несмотря на мой возраст и номинальное звание лишь секретаря, или по-иностранному — вице-консула. Дело в том, что по английскому этикету лицу, хотя бы временно стоящему во главе учреждения, присваиваются права и привилегии, принадлежащие его главе, и с этим положением считались все мои коллеги, придерживаясь поговорки: «со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Никому не приходило в голову создавать осложнение и для себя, и для других, оспаривая этот порядок. Никому... кроме французов. Мне всегда казались консульские представители наших бывших союзников за границей наиболее формальными и чванными в вопросах этикета.

Мне припоминается в связи с этим следующий забавный случай из моей консульской практики. Французским консулом в Бомбее был некто г. Баррэ — молодой вдовец, серьезный, болезненный человек, с которым у меня были прекрасные отношения как по службе, так и личные. В Бомбей, не помню по какому случаю, ожидалось прибытие вице-короля лорда Минто, и по этому поводу правительство устраивало общий прием и обед. На первый был приглашен весь занимающий известное положение военный, чиновный и общественный мир, в том числе и консулы, а на второй — лишь ограниченное число лиц, в которое из иностранцев

* Натиск на Восток (*нем.*).

** Baton (*фр*). — палка.

вошли только генеральные консулы. Таким образом, на обед получили приглашение лишь четверо из консульского корпуса: португалец, турок, перс и я. Это вызвало взрыв негодования со стороны моего французского коллеги, который немедленно собрал экстренное заседание консульского корпуса с выражением протеста против приглашения на исключительный официальный обед управляющего генеральным консульством предпочтительно перед полным патентованным консулом. Выразив ему свои симпатии, консульский корпус не нашел, однако, возможным возражать против практики индийских властей в отношении местных консульских представителей, предоставив г. Баррэ реагировать на приглашение по своему усмотрению. Приглашение это он отклонил под предлогом «неизбежного препятствия».

Не считая русско-японского конфликта — маленького местного эпизода по сравнению с Великой войной 1914–1918 гг., — все было спокойно и ясно на мировом горизонте и, несмотря на слухи и разговоры о германском вооружении и завоевательных планах, ничто не предвещало нараставшей бури.

Индия переживала в это время интересный момент — усиление национального движения, руководимого Национальным Конгрессом, ставшим сразу в оппозицию к правительству и покровительствовавшим всяческим проявлениям народного недовольства в виде стачек, забастовок, бойкота английских товаров (движение «свадеши») и пр., в целях добиться самоуправления — «свараджа». Конгресс собирался раз в год в разных местах и объединял собою всю интеллигенцию Индии без различия классов и религий, но без участия туземных принцев, которым, даже при сочувствии движению, было бы рискованно оказаться в рядах правительственной оппозиции. Во время моего пребывания в Индии оно было еще в зачатке и выражалось, главным образом, в фабричных забастовках и попытках бойкота товаров британского производства. Несмотря, однако, на это объединенное движение в целях достижения общей, давно лелеемой, цели, среди низших классов индусского и мусульманского населения ежегодно происходили в моменты религиозных празднеств ожесточенные, часто кровавые, столкновения, требовавшие вмешательства вооруженной силы. О них приходится читать и в настоящее время, что свидетельствует о трудности объединения народных масс, разделенных религиозными предрассудками.

Сведения о «прославленной» индийской чуме черпались из газетной статистики и недельных правительственных бюллетеней, и, хотя случаи ее не прекращались и болезнь считалась эпидемической, она, со времени открытия доктором Хавкиным противочумной сыворотки и введения предохранительных прививок, потеряла свой интенсивный характер и, судя по бюллетеням, по временам сильно ослабевала. Доктор Хавкин был русский еврей, и наш первый консульский представитель в Бомбее В.О. фон Клемм встречался с ним. Я уже не застал доктора Хавкина в Индии. В мое время его чумная бактериологическая станция находилась в заведывании его ученика-парса — доктора Муди. Но я слышал, что Хавкин достиг большого положения и обеспеченности, приняв великобританское подданство.

Хотя внутренне Индия, казалось, жила спокойной жизнью, столкновения между британскими аванпостами и воинственными горцами на северо-западной границе были заурядным явлением, и на них обычно не обращалось большого внимания. Однако восстание племени Закка-хель в 1910 году приняло серьезные размеры и потребовало снаряжения целой экспедиции под командой генерала Вилькокса. Усмирение повстанцев, оказывавших упорное сопротивление в неприступных горных районах, потребовало довольно продолжительного времени и было сопряжено с немалым уроном для британских вооруженных сил.

Афганистан в это время еще не имел права самостоятельного дипломатического представительства за границей. Он получал денежную субсидию от индийского правительства, но жил вполне самостоятельною жизнью и даже входил в неофициальные сношения с иностранцами, как это видно из приглашения на афганскую службу турецких инструкторов, о чем иногда мелькали краткие заметки в газетах, подтвердившиеся моим случайным знакомством с одним из них. Я зашел к моему турецкому коллеге по какому-то делу и застал его в беседе с только что вернувшимся из Кабула молодым соотечественником-врачом. Мы познакомились. Завязался общий разговор, и, к моему удивлению, мои собеседники, чуть ли не наперерыв, засыпали меня интересными сведениями, охотно отвечая на все мои вопросы. Оказалось, что в Кабуле находилась целая турецкая миссия с инструкторами по военному делу, народному просвещению и медицинской помощи. И Джеляль-Бей, и его гость — оба, видимо, гордились успехами негласной турецкой политики в родственном Афганистане и не прочь были поделиться ее результатами с представителем дружественной державы. Конец нашей интересной беседе положила истерич-

ная м-м Джелаль-Бей, ворвавшаяся в кабинет мужа с криком: «Дураки, разве вы не видите, что он из вас выкачивает сведения, которые если не сегодня телеграммой, то на днях донесением пойдут в Петербург?» Мои любезные осведомители были немало сконфужены и прикусили языки. М-м Джелаль-Бей была права: у меня получился материал для интересного незаурядного донесения, которое, как я впоследствии узнал, удостоилось лестной высочайшей пометки.

Моей мечтой было провести месяц-другой в Кашмире, живя в «плавучем доме» (boat house), передвигающемся с места на место по реке Джелум, которая открывала с каждым поворотом, как говорили книги и туристы, виды исключительной красоты природы. Но этой моей мечте не суждено было осуществиться по недостатку состава генерального консульства, часто обслуживаемого лишь одним человеком, ввиду чего даже кратковременные отлучки в пределах Бомбейского президентства были затруднительны.

Вот, думается, все, что я мог бы сказать об Индии по моей памяти, не обременяя читателя всем известными по книгам, а многим — и по личному опыту, описаниями.

Перехожу теперь к следующей части моего рассказа — Корее, сказав предварительно несколько слов о моей поездке во второй долговременный отпуск, проведенный в России.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1
В Россию: от Бомбея до Александрии

Как в первый раз три года тому назад, так и теперь, я воспользовался пароходом австрийского Ллойда, но не случайно зафрахтованным грузовиком, подобно «Филиппо Артелли», а очередным пассажирским пароходом «Богемия». Как вообще на пароходах Индийской линии этой компании, на «Богемии» был один класс, что было своего рода удобством, несколько удешевляя поездку и не деля пассажиров на два лагеря. Пароходы австрийского Ллойда были очень популярны в Индии среди европейцев. Они хотя и не отличались большим тоннажем и роскошью обстановки, но на них было уютно, удобно, отсутствовали чопорность и натянутость морских «левиафанов» и была обильная и крайне разнообразная кухня на все вкусы. Я помню меню в двадцать и более блюд. И чего только в нем не было: от английского ростбифа до итальянских макарон и ньоков. С устройством Махмуда было на этот раз гораздо проще. Он получил нормальный палубный билет со столом от команды, чем был очень доволен, не игнорируя возможность попробовать подчас, «по неведению», и свинины. Мусульманская казуистика всегда нашла бы свои оправдания: каких только послаблений не получал правоверный в путешествии или болея.

На этот раз я решил добраться на пароходе австрийского Ллойда только до Суэца, откуда проехать по железной дороге через Исмаилию в Каир, остановиться там на неделю и затем проехать в Александрию, где взять русский пароход, идущий через Смирну, Афины и Константинополь в Одессу. Этот план я и осуществил, развив его поездкой в Верхний Египет до Луксора.

На «Богемии» было хорошо, но обыкновенно. Публика, главным образом, ела и спала, а молодежь — почти исключительно ехавшие в отпуск английские офицеры — и выпивала в баре. Ни-

каких празднеств или балов на борту не было, так как этого не позволяли размеры нашего салона и отсутствие музыки. Кое-кто пытался бренчать на рояле после обеда при небольшой аудитории, но попытки эти, за неимением талантов, не вызывали поощрения, и пассажиры предпочитали посвящать свободное время чтению и прогулке по палубе. Я не помню даже о каких-либо палубных играх.

Переход до Суэца был очень спокойный — до начала муссона — с одной лишь остановкой в Адене, где нас по-прежнему осаждали продавцы изделий из страусовых перьев. В Суэце я покинул «Богемию», опасаясь, как бы не растерять своего многоместного багажа, за которым, к счастью, Мирза-Махмуд смотрел, как Цербер, и устроился на поезде, шедшем через Измаилию в Каир. В Каире я, прежде всего, устремился в рекомендованный мне в Бомбее отель «Континенталь», но там не было ни одной свободной комнаты. Я бросился по соседству в наиболее фешенебельный «Sheppard's», но последнюю там комнату взял один английский офицер, мой спутник по «Богемии». Я был очень огорчен: хотелось провести несколько дней в шумной и красивой обстановке, вкусно есть, мягко спать, слышать хорошую музыку, видеть по вечерам элегантную толпу танцующих. Но ничего нельзя было поделать. Оба главных отеля были забиты американцами, которые съехались в Каир к приезду туда бывшего президента Теодора Рузвельта, возвращавшегося из своей африканской охотничьей экспедиции. Пришлось обратиться в более скромную гостиницу, неподалеку от «Sheppard's», тоже указанную мне в Бомбее, «Нью Хедивиаль». Это было очень чистенькое учреждение, где весьма сходно устроили не только меня, но и Махмуда. Там же остановился мой другой спутник по «Богемии» — юный подпоручик шотландской пехоты Гамильтон, с которым мы и стали вместе коротать время, осматривая новый для нас Каир.

Оба мы были молоды и обладали волчьим аппетитом, сильно возбужденным обилием и разнообразием стола «Богемии», и были несколько разочарованы скромным меню из четырех блюд, без вариантов на выбор, нашего отеля. Кроме того, я был немало смущен новым для меня блюдом — «рагу из кролика», но я с самого утра ничего не ел, а идти в ресторан от накрытого у себя завтрака было как-то неловко и, скрепя сердце, я принялся и за кролика, который оказался вполне съедобным и был включен в число приемлемых блюд для меня, знакомого преимущественно с русской и

английской кухнями. Но к чему только не привыкнешь, когда хочется есть, и рискнешь попробовать неизвестного и найдешь его не только съедобным, но и вкусным. Так, теперь чего только не ешь на японских и особенно китайских обедах, вроде разных соусов из трепангов, каракатиц, осьминогов, и признаешь за ними высокие вкусовые достоинства.

Я, однако, не сожалел, что пришлось остановиться в «Нью Хедивиаль». Это была вполне респектабельная гостиница с большими высокими комфортабельными комнатами, прекрасными ваннами и, строго говоря, достаточным столом, который только с голоду показался мне скудным. Кроме того, он был центрально расположен и его постояльцы легко имели доступ на вечерние танцы и музыку в «Шепердс», чего были лишены гости многих второстепенных отелей.

Распространяться о широко известном Каире не приходится. Он поразил меня контрастами между восточной его стороной и европейской и очаровательной красочностью. Тут же, неподалеку от внушительных и роскошных «Шепердс» и «Континенталь», был и лабиринт восточного базара, куда рискованно было углубляться без гида из-за боязни потеряться. Пестрая, разнообразная толпа, старые мечети восточного города и современные здания нового, узкие улицы в центре наряду с широкими авеню, ослики и верблюды вперемежку с автомобилями, электрический трамвай и, в довершение всего, веселые дома почти наискосок от «Шепердс» с зазывающими из окон обитательницами! Было сразу видно, что в этом «Вавилоне» без опытного гида шагу не ступишь.

В этот же день часа в четыре, после чая, я с Гамильтоном отправились в автомобиле на Пирамиды. Это была получасовая поездка по хорошему шоссе, вдоль трамвайной линии, которой обычно пользуются туристы средней руки и туземцы. Дорога немного не доходит до Пирамид, обрываясь у трамвайной остановки у «входа в пустыню». По другую сторону шоссе расположился в саду прекрасный отель, чуть ли не той же компании, как и «Шепердс». Им пользуется публика, наблюдающая Пирамиды в течение более или менее продолжительного времени вблизи или проводящая, по меньшей мере, целый день на Пирамидах. Мы не принадлежали ни к той, ни к другой категории и были немедленно атакованы армией погонщиков осликов и верблюдов, предлагавших свои услуги доставить нас до Пирамид. Но, уж если пуститься «в пустыню», то на чем же, как не на верблюде. Я впервые взобрался на

горб верблюда, который распластался подо мной и чуть не вытряхнул меня, вставая на ноги. Гамильтон щелкнул кодаком, и мы тронулись в путь и через четверть часа, а то и менее, были у подножия Пирамид. Полюбовавшись наружным видом этих необычайных сооружений и подивившись охоте туристов и особенно туристок, взбирающихся по аршинным ступеням, правда, при помощи гидов, мы добрались пешком до Сфинкса, у которого несколько раз снялись, и, осмотрев эту диковину окрестностей Каира и бросив прощальный взгляд на пустыню, дотащились на верблюдах до автомобиля и через полчаса были как раз к обеду в нашем отеле.

На другой день утром я нанес визиты нашему посланнику в Египте Смирнову, который пригласил меня к себе на русский завтрак, и его секретарю Г.В. Саблеру — моему старшему товарищу по С.-Петербургской 3-й гимназии. Из миссии я проехал в русское вице-консульство, где познакомился с вице-консулом Ларошем, бывшим несколькими годами старше меня по университету. Последним я посетил агента Русского общества пароходства и торговли, очень услужливого и обязательного еврея, который взялся меня снабдить исключительно хорошим гидом для осмотра Каира и его окрестностей.

Завтрак у посланника прошел в интимной, уютной обстановке. Нас было трое: посланник — старый холостяк, Саблер и я. Стол был русский со щами и пирогом, изготовленными русской поварихой. Я раньше никогда не встречался со Смирновым и не помню его имени и отчества. Как о дипломате о нем не приходилось слышать. Его карьера не проходила на боевых постах, но он был известен как незаурядный поэт, и стихи его часто появлялись в печати и пользовались успехом. Я, впрочем, и с этой стороны его тоже не знал.

Г.В. Саблера я хорошо помнил по гимназии, где он был классом старше меня. Фамилия Саблеров была тесно связана с нашей гимназией, и старший брат моего коллеги тоже был питомцем ее. В дальнейшем оба брата окончили курс в С.-Петербургском университете по юридическому факультету, и старший брат занимал какое-то заметное место в администрации Государственной Думы. В гимназии Г.В. Саблер выделялся среди товарищей спокойствием и отсутствием мальчишеских порывов. Я часто наблюдал его во время перемен, всегда элегантно и чистенько одетого, бродившего по коридорам больше в одиночку с книжкой в руках. Он никогда не принимал участия ни в физических упражнениях, если они не требовались программой, ни в детских играх. У меня остались в памяти строки из стихотворения моего рано умершего товарища по параллельному классу, талантливого забияки Вавы Гинкена в характеристике товарищей: «Георгий Саблер, херувим, богами в целости храним». Увы, этому пророчеству не суждено было оправдаться, так как милейший, немного рассеянный, немного не от мира сего Георгий Владимирович сравнительно рано окончил свои дни. Как я узнал уже в эмигрантстве, он был убит в первые дни революции как сын «врага народа»: его отец был одним из позднейших обер-прокуроров Святейшего Синода.

В агентстве Русского общества пароходства и торговли я узнал, что мне не может быть предоставлена каюта на удобном для меня по времени, отходящем из Александрии в Одессу пароходе «Чихачов» за его переполненностью пассажирами, но что с ним отбывает в отпуск секретарь дипломатического агентства (иностранные представители в Каире все именовались дипломатическими агентами, ввиду того что Египет был полупротекторатом, а Смирнов лично носил звание посланника) Г.В. Саблер и, если бы он предоставил мне койку в своей каюте, я мог бы воспользоваться рейсом «Чихачова». Узнав о моем затруднении, Георгий Владимирович, со своей милой усмешкой, сказал мне, что он никак не может спать сразу на двух койках и очень рад иметь меня своим соседом при условии, что я не буду иметь ничего против «части» третьего пассажира в ящике над моей головой. Оказалось, что он вез в подарок своему старшему брату руку мумии. С моей стороны, разумеется, не было никаких возражений, и наш совместный переход на «Чихачове», давший мне возможность ближе познакомиться с симпатичной личностью Г.В. Саблера, был обеспечен. Кажется, в ближайший вечер был большой бал в «Шепердс» по случаю пребывания американских гостей, и, соответственно одевшись, я отправился туда. Наплыв публики был чрезвычайный, и все неизвестные лица опрашивались при входе. Очевидно, марка «Нью Хедивиаль» оказалась удовлетворительной, так как я был впущен беспрепятственно. Съезд был блестящий, но или «слона я не приметил», или почему-либо он отсутствовал, но только бывшего президента Соединенных Штатов, а в настоящем — африканского охотника за крупной дичью, я так и не видел. Бал представлял очень яркую картину, но громадное помещение было так переполнено, что танцевать было почти невозможно. Изысканные

туалеты дам перемешивались с фраками и бальными куртками офицеров обширного английского гарнизона. Разноцветные куртки эти, покроя летних смокингов в талию, при черных с золотыми или серебряными лампасами брюках навыпуск, носили поверх крахмальных сорочек при черном галстуке бантом. Они были очень эффектны, хотя несколько и театральны, и сильно скрашивали праздничную толпу, среди которой, исполняя разные приказания, шныряли слуги-арабы в блестящих красных, расшитых позументом, туземных костюмах, состоящих из широченных шальвар и зуавской куртки, при феске. Эти же фески красовались и на головах представителей избранного современного египетского общества, облеченных в безукоризненные фраки. Вперемежку с туземной прислугой гостям прислуживал многочисленный штат лощеных молодых швейцарцев-лакеев в форменных фраках, наподобие наших чиновничьих вицмундиров. Все в «Шепердс» было блестяще, первоклассно и дорого. Какая была музыка для танцев, у меня совершенно вылетело из головы, во всяком случае не «джаз», тогда еще неизвестный, но я хорошо помню в «Шепердс» обычные послеобеденные концерты струнного квартета с участием арфы. Квартет был очень хорош, и ради него я не пропустил там ни одного свободного вечера. Повертевшись часа два среди толпы, посмотрев на танцующих и послушав музыку, я вернулся в свой «Нью Хедивиаль».

На другой день утром, еще до раннего завтрака, мне доложили, что меня ожидает гид, присланный агентом Русского общества пароходства и торговли. Выйдя в приемную, я нашел там рыжего средних лет человека в феске и чистом европейском костюме, обратившегося ко мне на хорошем русском языке. Игнац Якуб, так назвался гид, оказался румынским подданным евреем, выходцем из России. Мы быстро с ним сговорились, и за 10 шиллингов он всецело предоставил себя в мое распоряжение на целый день. Кроме того, он предложил взять к себе на полный пансион за какую-то баснословно дешевую плату Махмуда, которому было и скучно, и не по себе в отеле. Игнац мне очень понравился. У него было много опыта с туристами, и он быстро и умело составил план на несколько дней: что осматривать утром, что в полдень и что вечером, — совершенно не проявляя алчности, соблюдая мои интересы и удерживая от ненужных трат. Таким образом, в 3–4 дня он показал мне все заслуживающее внимания в Каире и его окрестностях. Я сильно устал, но чего только я не видел: и пирамиды

Сахары, совсем невзрачные по сравнению с величественными пирамидами Гизы у Сфинкса, но крайне интересные внутри по древней живописи на стенах комнат; и упавшие громадные статуи фараонов в пальмовом лесу на пути к этим пирамидам; и весь иссохший дуб Мамврийский, изрезанный и надрезанный посетителями, уносившими на память кусочки дерева; и мечети старого Каира, и коптский монастырь, и нильские плотины, и «окаменелый лес», и пр., и пр. Единственно, что я осмотрел без Игнаца, посвятив этому три дня, — это грандиозный каирский музей египетских древностей, напомнивший мне египетский отдел нашего Эрмитажа в несравненно большем масштабе.

Правда, от «окаменелого леса» я ожидал гораздо больше, и экспедиция туда оказалась довольно сложной: нужно было на осликах углубиться в пустыню, проехав несколько часов. И что же? Вместо окаменелых деревьев-колонн передо мною лежала та же горячая песчаная равнина, когда Игнац возвестил, что мы приехали. Где же «лес»? Оказалось, он был у нас под ногами в виде кусков разной величины окаменелых и рассыпавшихся пальмовых стволов и ветвей. Разочарование полнейшее. Утешением послужил хороший завтрак, захваченный из отеля, но питьем была только вода «Эвиан», так как все алкогольные напитки, вино и пиво в пустыне не рекомендуются. Можно было смело не терять полдня на этот «окаменелый лес», и поездка эта была единственной оплошностью Игнаца. Я не счел даже себя вправе на него ворчать, тем более что вечером он обещал интересную программу в городе с арабским кафе, танцами живота и другими экзотическими развлечениями.

Закончил я обзор Каира страусовой фермой, в которой разводили этих птиц ради их великолепных перьев. Ферма, на мой взгляд, ничем не отличалась от большого благоустроенного курятника, приспособленного для гигантских пернатых.

Ввиду того что у меня оставалось довольно много времени до отхода «Чихачова» из Александрии, я решил съездить в Верхний Египет и, оставив Махмуда с вещами у Игнаца, выехал в Луксор.

Становилось уже жарко, и сезон кончался, отели пустовали, и в том, где я остановился, было не более семейств пяти туристов. Обзору Карнакского и Луксорских храмов и гробниц фараонов в древних Фивах я посвятил дня три, бродя с гидом с утра до вечера и без устали щелкал кодаком. Дни были так ясны и освещение так хорошо, что мои снимки в Египте по резкости были наилучшими в моей коллекции.

Нет нужды, конечно, описывать уже полузабытые мною модернизированные, благодаря электрическому освещению, катакомбы. Все они были похожи друг на друга, но врезалось у меня в памяти одно подземелье, в котором находился, кроме саркофага с мумией в главной комнатке, еще в отдельной комнатке сбоку скелет женщины с великолепно сохранившейся волной длинных темных волос. Помню, гид, при посещении одной из катакомб, рассказывал о каком-то фараоне, который, желая скрыть место своего погребения, построил подземелье с обычным рядом комнат, в которых ничего не было, но за фальшивой стеной находилась группа таких же комнат, содержащих все то, что полагалось. Гид объяснял, что фараон этот, имя которого, по своей дилетантности, я немедленно пропустил мимо ушей, предвидя грядущие розыски и раскопки, имел в виду показать, соорудив две прилегающие друг к другу группы комнат при одном входе, что его катакомба уже была найдена и содержимое ее извлечено хищниками и любопытными. Его план, возможно, удался бы, если бы какой-то недоверчивый археолог, начавший выстукивать стены комнат и пораженный пустым звуком некоторых из них, не обнаружил дальнейшими раскопками точной копии первых пустых комнат, но уже со всем содержимым погребальной комнаты фараона, которого он перехитрил. Не знаю, насколько эта история соответствует действительности, но я хорошо помню две группы одинаковых комнат рядом.

Я был очень доволен поездкой в Луксор, так как, хотя днем было уже очень жарко, отсутствовала шумная толпа туристов за окончанием сезона и осмотр храмов был легок и удобен. Закончил я свою экскурсию в Верхний Египет покупкой двух скарабеев «с ручательством». Один из них — великолепного бирюзового цвета, с темно-зелеными жилками, оттеняющими крылышки, — был похищен у меня осенью 1917 года при обыске моей квартиры в Ташкенте кучкой солдат-грабителей, которых, конечно, не могли удержать уговоры Махмуда; я же в то время находился в Бухаре, управляя резидентством. Иначе я сумел бы припрятать ценности от распоясавшихся дезертиров, грабивших под предлогом поисков оружия. Другой — темно-синий — и по сие время находится в моем владении, но он не так красив, как первый, хотя, по свидетельству экспертов, имеет более права претендовать на неподдельность.

Покидая Луксор, я не мог получить спального места до Каира ввиду массы туристов, возвращавшихся из Ассуана и других, более отдаленных пунктов. Пришлось воспользоваться обыкновенным купе первого класса, где, как меня уверял гид, можно было отлично устроиться на ночь. Однако в небольшом, несуразно разбитом отделении с тремя диванами вдоль стен уже расположились три офицера египетской армии, из которых один с неохотой потеснился, чтобы дать мне возможность сесть. Вообще, меньшего комфорта, чем на египетских железных дорогах того времени, я еще не встречал на других дорогах даже в вагонах второго класса. Купе было очень тесно, неопрятно, и промежуток между диванами был сплошь завален разного рода багажом. Разбитый от бессонной ночи, кое-как я добрался до Каира и сразу же проехал в «Шеппердс Отель», решив провести остаток времени до отъезда в Александрию в самой комфортабельной каирской обстановке.

Громадный «Шеппердс» уже был наполовину пуст, и я легко достал маленькую, достаточную, впрочем, для одного, комнату за двойную против моей большой удобной комнаты в «Нью Хедивиаль», плату. Равным образом и из-за стола, при большем количестве более изысканных блюд, я вставал не более сытым, чем в моем старом отеле, но, конечно, обстановка была совсем другая: грандиозные столовая и другие комнаты, блестящая прислуга, музыка и вообще больший комфорт.

Посетив и осмотрев в Каире и его окрестностях все заслуживающее внимания, я рассчитался с моим обязательным гидом Игнац Якубом, так хорошо и дешево разрешившим мне проблему содержания Махмуда в Каире, и выехал в Александрию с расчетом провести там два дня до отхода «Чихачова» в Одессу.

Насколько помню, Каир лежит всего часах в трех по железной дороге от Александрии, где я устроился в одном из отелей, рекомендованных мне Якубом. Осматривать после Каира в этом порту, приобретшем вполне европейскую физиономию, было почти нечего. Смутно помню римскую колонну-маяк, какие-то катакомбы и... самый большой из когда-либо виденных мною «скетинг ринк» для катанья на роликах, вошедшего тогда везде в большую моду. Причиной моей задержки в Александрии на лишний день было предстоящее свиданье с управлявшим там нашим консульством Ревелиотти, «спавшим и видевшим» занять мое место в Бомбее в случае моего перевода на другой пост, на что можно было вполне рассчитывать. Ревелиотти был уже давно со мною в переписке и хотел получить от меня лично все нужные ему сведения об условиях жизни и службы в Индии.

Повидавшись с ним, я нанес визит моему немецкому коллеге по Бомбею Гопману, с которым мы когда-то бродили вместе по эспланаде перед Back Bay* в монотонные бомбейские послеполуденные часы до клуба. Гопман — высокая, тощая фигура с глухим, задыхающимся голосом — не был популярным лицом в консульском корпусе Бомбея. Его редко где видели и мало кто знал, и он с женой ограничивались лишь необходимыми визитами и приемами. Сблизило нас одиночество и случайные встречи на прогулке, ставшие регулярными. Я не находил в нем даже интересного собеседника, но было как-то приятнее маршировать не в одиночку. Ревелиотти выпучил глаза, когда узнал, что я хочу повидаться с Гопманом, которого и в Александрии знали только официально, но мне нечего было делать, и Гопман был последним звеном с Индией. Он искренно обрадовался, увидев меня (жена его, по обыкновению, была в отъезде) и предложил мне тур в экипаже по городу, что меня очень устраивало. Вспоминали старину, и как в былое время он проклинал Бомбей, так теперь не находил слов для выражения своего разочарования в Александрии, куда так стремился из Индии. И на нашей службе я нередко встречал лиц, никогда не довольных своим настоящим постом. Спрашивается, зачем вообще они стремились к службе за границей? Примером может служить злополучный Бравин, который не мог ужиться на одном месте более двух лет, ссорясь вдобавок как со своими начальниками, так и сослуживцами.

Вечер я провел в интернациональном обществе в каком-то клубе, куда, благодаря Ревелиотти, был приглашен на обед русским членом смешанного консульского суда в Александрии Сорокиным. На другой день я уже находился на борту «Чихачова» в обществе Г.В. Саблера, причем в сетке над моим диваном стоял ящик с чьей-то мумизированной рукой.

ГЛАВА 2
От Александрии до Петербурга

«Чихачов» был довольно удобный пароход небольшого тоннажа без каких-либо претензий на усовершенствования и роскошь пароходов крупных европейских линий. Жизнь пассажиров сосредоточивалась в столовой-салоне и на палубе, и главной приманкой непродолжительного рейса Александрия — Смирна — Афины — Константинополь — Одесса для русских была русская обстановка с обильной и вкусной кухней. Немногочисленные пассажиры скоро все между собою перезнакомились и проводили свободное от столовой и отдыха время в игре в карты и легком флирте.

Нашей первой остановкой была Смирна, куда мы прибыли утром и откуда вышли к вечеру, побывав на берегу, бросив общий взгляд на город и сделав кое-какие покупки, главным образом, греческих лакомств в лавочках на пристани. От Смирны у меня не осталось в памяти ничего, кроме общего впечатления большого и удобного порта, вмещавшего немало военных и торговых судов разных национальностей.

На другой день утром мы были уже в Пирее, без задержки сошли на берег и скоро по железной дороге перенеслись в Афины. Помимо памятников глубокой древности, бессмертных образцов греческого зодческого искусства, известных нам с детства по учебникам истории и историческим хрестоматиям Акрополя и других, Афины не представляли собою ничего, особо привлекающего внимание, кроме, пожалуй, только что построенного стадиона из белого мрамора для олимпийских игр. Внутри город жил типичной жизнью Ближнего Востока: пестрая толпа, особенно густая у многочисленных кафе, расположивших на улице свои столики, за которыми праздная публика освежалась мороженым и разными напитками, а деловая переговаривалась или уговаривалась о делах. Несколько часов оказались вполне достаточными для обзора Афин, и мы были на борту «Чихачова» задолго до его отплытия из Пирея.

Наша следующая остановка на день в Константинополе дала мне возможность вновь побывать в Айя-Софья и мечети Баязета и зайти с Г.В. Саблером в наше посольство, где мы получили приглашение на обед посла Н.В. Чарыкова, которому я три года тому назад представлялся в Петербурге как товарищу министра. Н.В. Чарыков слыл старым туркестанцем, так как был первым дипломатическим чиновником при туркестанском генерал-губернаторе и первым политическим агентом в Бухаре, то есть на постах, которыми закончилась революцией моя карьера. За обедом я встретил почти весь состав посольства, среди которого я узнал моих знакомых по Тегерану: доктора Вальтера, его жену и старшего меня годом по университету второго драгомана посольства Николаева.

Снявшись поздно вечером, «Чихачов» на другой день утром был уже в Одессе, где немало хлопот причинил мне пропуск моего ба-

* Бэк бей — бухта на юге Бомбея.

гажа через таможню. Всякого добра было у меня в изобилии: чемоданов, ящиков, тюков, среди которых был один сундук, содержащий, главным образом, кое-какие наиболее для меня ценные, собранные в Персии и Индии предметы. Я особенно тщательно уложил их в Бомбее и, чтобы избежать поломки и боя при небрежном досмотре таможенными чиновниками, обвязал сундук крученой веревкой и опечатал консульской печатью. Сундук обратил на себя внимание в таможне, и мне было предложено снять печати для осмотра содержимого, от чего я отказался, сказав, что не имею права этого сделать. Придирчивый чиновник, перерывший уже все мои другие «места» и извлекший немало всякой всячины для оплаты пошлиной, против чего я не возражал, настаивал на досмотре сундука, заявив, что только дипломатические вализы, сопровождаемые соответственными свидетельствами, имеют свободный пропуск. Он был, конечно, прав, и я рассчитывал, главным образом, на формальность осмотра ввиду моего свыше трехлетнего пребывания за границей, дающего мне право на известные таможенные льготы. Я не уступал, и мне было предложено обратиться к самому директору таможни, что я и сделал на другое утро, несмотря на то, что это задерживало меня на целый день в Одессе.

Очень корректный таможенный «генерал» оказался, однако, столь же упорным, как и его подчиненный. Тем не менее, идти на попятный и показать, что под консульскими печатями хранились разные восточные редкости, мне не хотелось. Пришлось соврать, сказав, что сундук содержит разное казенное имущество. Тогда «генерал» предложил совершенно меня удовлетворявший исход: отправить сундук без досмотра транзитом в петербургскую таможню, где осмотр его или пропуск могли быть обсуждены двумя заинтересованными ведомствами. Так было и сделано. Сундук пошел транзитом в Петербург, где ловкий и услужливый министерский курьер Коротков, исполнявший от времени до времени мои маленькие поручения из-за границы в отношении моих родных, успешно «очистил» мой транзитный груз и доставил мне его на квартиру.

Попал я, однако, в Петербург из Одессы не сразу. Я покинул прямой экспресс в Вильне, откуда шла линия на Ковно. Мой второй младший брат, оставив полк, служил тогда начальником пограничного жандармского пункта в Юрбурге на прусской границе, и мы условились, что я побываю у него проездом в Петербург.

Брат встретил меня в Ковно — недавней столице независимой Литвы, а в то время — заурядный провинциальный город, не представлявший собой ничего примечательного. Мы провели ночь в неуютной гостинице и рано утром очутились на пароходике, который должен был по Неману доставить нас в Юрбург. Неман — довольно широкая, но мелководная река, текущая в низких берегах. Наш узкий и длинный плоскодонный пароходик двигался медленно и то и дело садился на мели, от которых команда отталкивалась длинными шестами. Плаванье было очень монотонное, ландшафт неинтересный. На пароходе не было никакого комфорта и, несмотря на пробег часов в 8–10, на нем не оказалось даже буфета. Оставалось сидеть на неудобных скамейках на палубе и читать или глазеть на бесцветные берега и мели.

К вечеру мы дотащились до Юрбурга, где пристали прямо к берегу, на котором пароход ожидала большая толпа литовцев и евреев. Евреи здесь были настоящие, правоверные, в длинных лапсердаках, с пейсами. Большое сараеобразное деревянное здание синагоги было одной из заметных построек в местечке. О Литве повсюду свидетельствовали колбасные лавки со всевозможными продуктами из свинины. Казалось, весь Юрбург только ими торгует и питается, несмотря на множество евреев. Типичное литовско-еврейское местечко, Юрбург имел все же и свою достопримечательность — имение князей Васильчиковых с великолепным парком и церковью. Я прогостил в семье брата с неделю и, воспользовавшись близостью, побывал в соседнем Тильзите, поездка куда заняла сутки с ночевкой в пограничном прусском местечке Шмаленингкен.

Поднявшись рано утром по Неману на пароходе до прусской границы, мы, благодаря положению брата, без хлопот очутились за границей, быстро устроились в удобном бескоридорном купе второго класса и, кажется, не более как через полчаса были уже в Тильзите — чистеньком городке с узенькими улицами и старыми зданиями готической архитектуры. Здесь происходило когда-то «свиданье императоров», от которого не осталось ничего, кроме воспоминания.

Был уже полдень, хотелось есть, и мы отправились в какой-то известный брату ресторан. Предубежденный с детства сказаниями о немецких «габер-супах», я ожидал умеренной по количеству и обыкновенной пищи, но был удивлен ее обилием, разнообразием и, если можно так выразиться, «безостановочностью». Возможно, впрочем, что такой порядок был присущ лишь Восточной Пруссии: меню мне скорее напоминало русское, с той только разницей,

что с середины завтрака его начинали вновь. Или мы попали на исключительный, воскресный фестиваль? Завтрак или обед — не знаю, что это было по-местному, — начался ассортиментом всевозможных закусок, которыми сидевших за общим столом посетителей обносили по очереди. Чего только не было на подносе: всевозможные колбасы, ветчина, рыбные маринады, овощи и пр. Закуски сопровождались несколькими основательными блюдами. Не хватало лишь пирожков или пирога, чтобы я считал себя за русским праздничным столом. Но этого мало. К концу, скажем, обеда, когда, казалось, можно было думать только о чашке кофе и сигаре, начали вновь обносить той же закуской для возбуждения вновь аппетита. И публика могла есть. Если, по старинной поговорке, «веселие Руси есть пити», то применительно к Тильзиту можно было сказать, что «веселие Пруссии есть ясти».

После этого неожиданно тяжелого стола мы бродили по узким улицам города, заходили в магазины, делая разные покупки (в Юрбурге, по-видимому, не было ничего, кроме колбас и полендвицы), и до сумерек выехали обратно в Шмаленингкен, где рассчитывали захватить пароход, отходящий в Юрбург, с тем чтобы быть дома к ночи. Но мы ошиблись в расчетах: или поезд наш запоздал, или пароход вышел раньше времени, или мы не разобрались в расписании, но только парохода в Шмаленингкене мы уже не застали и принуждены были остаться там ночевать.

Шмаленингкен — чистенькое, вылизанное с немецкой аккуратностью пограничное местечко, где нашлась уютная гостиница. Мы опять плотно поели и улеглись спать под толстыми, но легкими перинами. Это был мой первый опыт, так как одеяла-перины я знал только по книжкам Буша, воспевающим похождения Макса и Морица: спалось тепло и тяжести никакой не ощущалось. Утром после завтрака мы сели на пароход, отходящий в Юрбург.

В Шмаленингкене я сделал запас мягкого тильзитского сыру, которым славится местный округ. Не знаю, из какого молока и как он делается, но только несмотря на своеобразный вкус и остроту, делающие его хорошей закуской к пиву, запах его едок и тяжел, и сыр этот уступает, как говорят, лимбургскому только тем, что «не ползает». Я захватил его несколько, приблизительно двухфунтовых, кубиков, завернутых в свинцовую бумагу. Груз этот был для меня большой обузой и в дороге, и дома, где мать моя, приняв из деликатности в подарок два кубика, через день сказала мне, что она не знает, что делать с этим сыром, так как поданный на стол,

он сразу же наполнял все комнаты своим едким и нестерпимым запахом. Я сбыл его весь одному своему приятелю, с которым мы и уничтожили его постепенно за пивом у него на даче в Озерках, — продукт исключительно для потребления на воздухе или в пивных и погребах.

В Юрбурге я нашел письмо сестры, сообщавшей, что мои родные заждались меня в Петербурге, и торопившей выездом из Юрбурга, где, впрочем, ничто меня уже не задерживало. Распрощавшись с братом и его семьей, я выехал с ближайшим пароходом в Ковно и через сутки был в Петербурге.

Совместная поездка с Г.В. Саблером сослужила мне большую службу, доставив возможность побывать дважды на заседаниях Государственной Думы при посредстве его старшего брата. К сожалению, я попал в Думу весною, не в сезон, и не помню никаких выдающихся выступлений, так как Дума была занята исключительно мелкими вопросами или, как их было принято называть, «вермишелью». Я, однако, терпеливо высидел оба заседания, слышал Пуришкевича и других партийных лидеров, но без громов и эксцессов.

Проведя вместе вечер в один из ближайших по приезде в Петербург дней в одном из загородных садов, я расстался с Г.В. Саблером, который проводил отпуск со своими родными вне Петербурга, и более с ним никогда не встречался. Как многие другие, он безвинно погиб во время революции из-за своей фамилии.

Свой отпуск, затянувшийся до половины февраля 1911 года, я по-прежнему провел в Петербурге и его окрестностях. Я опять собирался поездить по России, которую знал очень мало — главным образом, из окон вагона, но компаньонов для поездки не находилось, а одному путешествие представлялось малопривлекательным, и я ограничился лишь поездкой в Старую Руссу, где, по обыкновению, моя мать и сестры проводили лето.

Ничто, по-видимому, не нарушало спокойной жизни страны, и я совершенно не помню каких-либо из ряда выходящих событий. Россия как будто отдыхала и крепла после пережитых потрясений под твердой рукой П.А. Столыпина.

За время моего отпуска выяснилось, что я мог бы получить вице-консульство в Сеистане, но меня не тянуло в это Богом забытое, хотя политически считавшееся важным, местечко в Восточной Персии на путях в Афганистан и Индию. И вообще, после Бомбея меня не привлекала персидская провинция с ее примитивной, пол-

ной всевозможных лишений жизнью. Мне хотелось попасть в нашу Среднюю Азию — Асхабад или Ташкент, откуда открывалось дальнейшее продвижение в Индию. Туда я готов был даже вернуться в качестве вице-консула при генеральном консульстве в Калькутте, предпочтительно перед небольшим, хотя и самостоятельным постом в Персии. Мечтать о Ташкенте было, однако, еще рановато, так как должность дипломатического чиновника при начальнике Туркестанского края котировалась высоко, давая возможность по истечении нескольких лет прямого назначения генеральным консулом в Индию. Пост же чиновника для пограничных сношений при начальнике Закаспийской области, являясь равносильным консульскому, был для меня более соответственным, и я уже собирался выставить на него свою кандидатуру, когда ведавший делами Среднего Востока В.О. фон Клемм указал мне на возможность назначения секретарем бывшей миссии в Сеуле, переименованной после русско-японской войны в генеральное консульство, с сохранением, однако, прежних штатов и их рангов.

Для меня, готовившегося к службе на Ближнем и Среднем Востоке, такое предложение было исключительно заманчивым: с одной стороны, оно давало возможность побывать на Дальнем Востоке, с другой — оно выводило меня из узкой сферы деятельности и открывало широкую дорогу в будущем. Кроме того, мне предстояло принять дела генерального консула А.С. Сомова, моего старого знакомого по Питеру, получившего назначение политическим агентом в Бухару, и управлять генеральным консульством продолжительное время до прибытия нового генерального консула Я.Я. Лютша[29], бывшего политического агента в Бухаре, которого я несколько раз встречал.

ГЛАВА 3
Из Петербурга до Сеула. Первые впечатления в Корее. Поездки в Японию

Как теперь помню, я выехал из Петербурга сибирским экспрессом 19 февраля 1911 года. Поезд был очень комфортабельный, оборудованный для дальнего следования, а в мое распоряжение было предоставлено отдельное купе первого класса. Вагон-ресторан с хорошей кухней был обычно переполнен, и среди пассажиров особенно обращала на себя внимание группа корейцев, из которых один был в форме подпоручика одного из Восточно-Сибирских стрелковых полков. Компания эта «пила горькую», и офицер, молодой некрасивый кореец, не выходил из полупьяного состояния, потрясая вагон громкими ламентациями по-русски, из которых можно было понять, что он убивается из-за неудачной попытки корейской делегации привлечь внимание правящих сфер Петербурга к предстоящей аннексии Кореи и протестам против нее.

Но в Петербурге были уже другие взгляды. Прошло свыше пяти лет после войны, и за этот срок японского протектората над страной не возникало никаких сомнений в намерении Японии превратить Корею в японскую провинцию, так что предстоящая акция не представляла ни для кого неожиданности. Кроме того, у нас вся наша старая политика на Дальнем Востоке была признана ошибочной и новая проявлялась тенденцией отказа от дальнейших приобретений на Дальнем Востоке.

Попасть в то время в Корею можно было двумя путями. Один шел через Харбин по узкоколейке до переправы через р. Ялу в Синыйджу, откуда шли регулярные поезда на Сеул. Поезда, несмотря на продолжительность пути и монотонность сибирского пейзажа, проезжали незаметно. Из-за постоянных пересадок и многих неудобств (отсутствие спальных мест) первый путь казался малопривлекательным в связи с шедшими уже работами по проложению нормальной колеи. Кроме того, в Харбине и на ближайших железнодорожных участках свирепствовала в то время эпидемия бубонной чумы. Соображения эти склоняли принять направление на Владивосток, хотя оно и являлось сложным маршрутом, но более удобным по способам сообщения: от Владивостока шли прекрасно оборудованные «добровольцы»[30] на Цуругу. Оттуда, насколько помню, можно было без пересадок добраться до Симоносэки, где существовало правильное (регулярное, два раза в день) сообщение пароходом с главным корейским портом Фузаном[31]. От Фузана до Сеула шли по главной линии скорые поезда.

Узкоколейные японские вагоны с двумя диванами во всю длину вагона, в общем, были удобны и давали мне возможность с комфортом любоваться пейзажем через противоположное окно, но спальная система их, заимствованная из Америки, мне не понравилась после наших комфортабельных купе: ночью диваны разбивались перегородками на несколько спальных мест, над нижними располагалось столько же верхних спален, образованных опущенными между перегородками (привинченными днем к верху) боко-

вых стенок вагона. Получалась широкая, но низкая клетка, в которой раздеваться можно было только сидя, наклоняя голову. Впрочем, такие спальные вагоны приняты в Японии и по сие время. Вагон-ресторан занимал лишь половину особого вагона; стол был незаурядный как table d'hôte, так и a la carte. Но без всяких претензий.

Мой вагон первого класса был почти пуст, так как обычно японцы предпочитают пользоваться дешевым и вполне удобным, хотя и переполненным, вторым классом. Кроме меня, в вагоне расположились два важных генерала со своими адъютантами. В настоящее время только экспресс дальнего следования снабжен вагонами первого класса; в описываемое же время даже в поезда между Сеулом и Чемульпхо[32] включали вагоны первого класса, перевозившие исключительно высших чинов железнодорожного ведомства, следовавших по бесплатным билетам, и членов консульского корпуса и их семей, пользовавшихся первым классом по традиции. Я должен оговориться, однако, что почтовый первого класса был менее комфортабельный, чем почтовый второго, особенно на коротких расстояниях, когда все вагоны отапливались железными печками.

Пароходы, следовавшие в то время из Симоносеки до Фузана, тоже не отличались комфортом, и тот, на который я попал, был стар, мал и вообще неудобен и, как говорят, должен был вскоре быть снят с этой линии и заменен строящимися быстроходными (насколько помню, пристань в Фузане в то время только еще строилась, и пассажиров доставляли на берег близ станции железной дороги на паровых катерах). Совсем незабываемым, однако, оказался, несмотря на сравнительную дальность пробега, теплый вагон первого класса, в котором я доехал до Сеула, имеющего тогда две станции: главная — Нандаймон (Южные ворота), от которой поезда выпускали далее на север, и тупик — Сайдаймон[33] (Западные ворота). Билеты же продавались не до Сеула (Кёндзо)[34], а до этих станций.

Вагоны были плохо скомбинированы как для иностранцев, так и для японцев. Пассажирские помещения занимали 1/3 его с расчетом не более как на 16 человек, нежилые 2/3 были отведены под кухню и столовую. Двухместные пассажирские диваны не были достаточно для класса мягки и к тому же очень высоки, что не давало возможности глубоко усесться японцам, и в особенности дамам-японкам, которым приходилось взбираться на них и сидеть

как на татами (циновки из кукурузной соломки, как в местных домах), так как иначе ноги не доставали до пола. Это был первый класс, во всех отношениях уступавший даже нашему второму, но надо оговориться, что вагоны эти были вскоре изъяты из движения.

Ресторанная часть вагона не блистала сервировкой и разнообразной кухней, и ничего иного, кроме яиц в разном виде, холодной ветчины, curry & rice*, получить было нельзя. С напитками обстояло лучше, и, кроме пива и саке, в буфете стояла батарея из виски, коньяка, джина и пр.

На станции, в неуклюжем обшарпанном деревянном сооружении, меня встречали мой тезка Сергей и Саша Сомов с переводчиком Чо Куан Кеном, который был мне представлен как «Петр Иванович». По их совету мы все проехали до Сайдаймонского тупика, откуда до генерального консульства было рукой подать, тогда как от Нандаймона нам пришлось бы кружить на рикшах по полупустым еще тогда грязным и пыльным улицам Сеула: не только об автомобилях, но и о появившихся уже вскоре после моего приезда извозчиках-китайцах не было и помину. Несколько слов о переводчике Петре Ивановиче Чо. Он говорил свободно и бегло по-русски (но, как потом выяснилось, писал довольно безграмотно и в смысле стиля, и в смысле грамматики), как бывший ученик русского класса Корейской правительственной школы иностранных языков, руководимой запасным артиллерийским капитаном Н.Н. Бирюковым[35]. В числе других успешных учеников класса Чо подлежал отправке в Россию для поступления в одно из русских среднеучебных заведений, но русско-японская война помешала осуществлению этого плана и, пробыв до конца войны в России, Чо вернулся на родину и при посредничестве старого своего учителя Н.Н. Бирюкова, бывшего уже консульским агентом в Гензане[36], устроился переводчиком при русском генеральном консульстве.

Е.А. Плансон пытался сохранить за своей должностью дипломатический характер при, хотя и протекторатном, но императоре, но японская резидентура решительно воспротивилась этому, и так как в наши планы не входило «ломание копий» с японцами по вопросам их политики в Корее, то Плансону пришлось примириться с положением генерального консула, тем более что уже все иностранные представители были назначены своим правительством в

* Рис с соусом кэрри (*англ.*).

качестве консулов. При генеральном консульстве остался старый штат из четырех человек, которому нечего было делать в новой обстановке протектората, и туземный переводчик.

Наше генеральное консульство было прекрасно расположено на большом пологом холме, на вершине которого стояло главное здание, построенное в стиле итальянской виллы. Постройка эта сохранилась и поныне, и в ней помещается советское генеральное консульство. Одноэтажный дом очень красив с анфиладой громадных высоких комнат, с четырехгранной башней на правой стороне. Строителем его был известный во время нашего влияния в Корее некто А. Середин-Сабатин[37], которым было выстроено несколько домов в Сеуле для разных русских учреждений. На площадке за зданием генерального консульства и по склонам холма, спускающегося к миссийской улице (бывшей Legation Street, теперь — Тендоро), разбит великолепный парк вековых деревьев разнообразных пород, в разных концах которого находились маленькие невзрачные постройки: отдельные домишки для секретаря, драгомана и студента, бывшие резким контрастом по сравнению с палаццо генерального консульства.

Первое мое впечатление от Сеула было не в пользу столицы Кореи. Это была большая пыльная деревня, открывающая с любого возвышающегося места вид на бесконечную площадь соломенных крыш (кровель), среди которых там и сям мелькали железные крыши простых кирпичных построек европейского типа — дома иностранных миссионеров и разные торговые конторы (зданий в буквальном смысле этого слова было не перечесть), черепицы дворцов, выстроенных в китайском стиле. Попав в старый Сеул после Бомбея, я был очень разочарован, не видя в местной обстановке, за исключением сообщения, большой разницы между моей новой резиденцией и большими провинциальными городами Персии. Единственной компенсацией было наличие клуба и возможность жить на действительно великолепном, лучшем в городе участке генерального консульства.

Старый Сеул был своеобразным городом во многих отношениях: все привозное было в изобилии и дешево и не чувствовался недостаток в предметах роскоши, изысканных напитках, табаке, парфюмерии и других заграничных товарах, облагаемых низкой пошлиной в силу обязательств японского правительства при аннексии не повышать пошлинного размера в течение 10 лет. Но зато не хватало многих предметов первой необходимости. Не было,

например, свежего молока и масла, чувствовался недостаток в овощах и фруктах; их нам приходилось привозить из Японии во время поездок в Нагасаки с консульской почтой, которая передавалась на пароходы Добровольного флота.

Во время протектората у консулов были (хотя и под японским контролем) сношения с корейским правительством — император приглашал в торжественных случаях иностранных представителей. С аннексией же всякое общение с дворцом прекратилось, и консулы вошли в деловые отношения с вновь учрежденным генерал-губернаторством.

Первым нашим представителем со времени аннексии был А.С. Сомов[38], которого я должен был временно заменить. Мы были знакомы еще по Питеру. Мне пришлось пробыть с Сомовым в Сеуле три дня, во время которых я познакомился с частью сеульского общества и с директором Бюро иностранных дел корейского генерал-губернаторства Комацу, которому мы нанесли официальный визит: А.С. Сомов — как уезжающий, а я — как новый русский представитель. Комацу прекрасно говорил по-английски, служа немного раньше по дипломатической части. Это был человек небольшого роста, говоривший очень авторитетно, не суетящийся и, видно было, привыкший к общению с европейцами. Носил он, как, впрочем, и все японские гражданские чиновники того времени в Корее, форменное платье при присвоенной им не то сабле, не то шпаге, делавшей их несколько похожими на морских офицеров. Желая проводить Сомовых, с которыми у меня были связаны приятные воспоминания моих первых шагов за границей, я, воспользовавшись служебной почтовой поездкой, выехал вместе с ними в Симоносэки, где мы и расстались: они направились в Россию, я же — в Нагасаки, где сдавалась и принималась в нашем консульстве русская дипломатическая почта, следовавшая во Владивосток и приходившая оттуда на пароходах Добровольного флота.

* * *

В 1911 году Нагасаки сохранял всю особенность былой стоянки Дальневосточного флота: русский язык понимался везде и всеми, на всех мало-мальски значительных магазинах были русские вывески, хотя русских резидентов было уже очень немного: четыре-пять семей, не считая консула. Кроме того, от времени до времени появлялись отдельные лица, приезжавшие отдохнуть или

посмотреть на славящийся старыми источниками курорт Ундзэн, лежащий на возвышенном плато в нескольких часах езды от Нагасаки, но эти визиты были случайны и довольно редки, и как город, живший до войны русской жизнью и на русские деньги, Нагасаки падал: пустовали магазины, а большой многоэтажный «Нагасаки-отель» был закрыт. Существовало несколько второстепенных, из которых лучшими считался отель «Helle» с видом на бухту, опережающую его название, излюбленный русскими, может быть, потому, что владелец его был когда-то поваром на русских судах и старался особенно угодить русским. Дешевка была поразительная, и 3 иены за комнату с полным очень обильным и разнообразным пансионом было нормальной платой. Правда, комнаты были, хотя и чистые, очень убого и сборно меблированные, все здание «Helle» тоже было ветхо и в бурные дни трещало по всем швам и, казалось, не могло бы выдержать напора сильного ветра.

Дом нашего консульства, в десяти минутах ходьбы от «Helle»-отеля, был расположен на склоне возвышенности, сбегающей к красивой, глубоко уходящей внутрь города Нагасакской бухте. Постройка была деревянная, без всяких претензий, тоже довольно ветхая, но выгодная по местоположению; большие комнаты, громадная веранда с видом на море и масса окружающей зелени делали ее уютной и привлекательной. В двух шагах от консульства стояла православная русская церковь, в которой молодой тогда священник, позднее маститый протоиерей Антоний Такаи отправлял богослужение на русском языке, при пении на русском его жены, представлявшей в своем лице весь хор.

Нашим консулом тогда был знаток Дальнего Востока Н.А. Роспопов, сильная личность и большой критикан, очень радушный хозяин в отношении тех, кто приходился ему по душе, но не скупившийся на нелестные эпитеты по адресу не заслуживших почему-либо его симпатий (это был очень напористый и словоохотливый советчик). Он не курил, но был страшный сладкоежка с самым разнообразным запасом сластей, получаемых из России, и, как курящий не обходится без запасов папирос, постоянно держал запас карамели в карманах.

В Нагасаки я также познакомился с нашим агентом Добровольного флота, отставным генерал-майором по адмиралтейству Азбелевым. В прошлом он был одним из преподавателей Великого князя Георгия Александровича, брата Государя императора Николая II. Как ни странно, я не помню, чтобы он говорил когда-либо о своем

ученике, но был крайне интересным собеседником и осведомителем в отношении всего японского и японцев, о которых говорил с большим энтузиазмом. Все в стране Восходящего солнца его восхищало, и он не думал возвращаться в Россию. Он казался полным здоровья и жизнерадостности человеком, но судьба его совершенно неожиданно оказалась очень трагической. Что заставило этого здорового и жизнерадостного оптимиста покончить с собой, в точности неизвестно: ходили слухи, что финансовые затруднения и злоупотребление по службе. Спустя год, а может и больше после нашего знакомства, он был вызван, как говорили, во Владивосток для объяснений, где, остановившись в одной из лучших гостиниц, задушил себя поясным ремнем, надев петлю на шею и привязав конец к ножке кровати. Какое присутствие духа! Ведь ему собственными усилиями пришлось затягивать петлю! Проезжавший через Сеул летом 1939 года бывший секретарь Азбелева П.А. Середин-Сабатин, сын оставившего по себе память сеульского строителя, говорил мне, что подозрения в вине Азбелева были неосновательны и он после расследования, оказался бы совершенно чистым и что только возможность подозрения и обвинения была для него тяжким ударом самолюбию, лишившим его душевного равновесия.

Все три года моего пребывания в Корее Нагасаки сохранял русскую физиономию из-за русского языка. С уходом нашего флота он превратился во второстепенный городок, единственной достопримечательностью которого были доки Мицубиси, да и то, скорее, не города, а окрестностей, так как доки располагались по другую сторону Нагасакской бухты. Жизни в городе почти не было никакой, он не имел ни торгового, ни промышленного значения. Кроме того, Нагасаки не отличался чистотой, и при входе на базар из его каналов всегда несло сладковатым душком от рыбно-фруктовых, овощных и иных отбросов. В городе выходила ежедневная газета на английском языке «Nagasaki Press», в которой, имея под рукой прекрасные кобэские и токийские большие газеты, было нечего читать. Издавалась она, очевидно, по традиции и с правительственной поддержкой, как и прекратившая три года тому назад своё существование «Seoul Press», о которой, несмотря на ее малый объем и местный характер, немало сожалели иностранцы как о единственной газете на английском языке на полуострове. Развлечений в городе не было никаких, и существовавший по традиции иностранный клуб казался мне пустынным и малопосещаемым.

Своего рода старожилом Нагасаки для русских была известная всем нам Оня-сан — содержательница гостиницы в рыбацкой деревушке Моги в часе езды на рикше от Нагасаки по хорошей дороге, красиво вьющейся мимо засеянных всякого рода злаками и овощами холмов (Моги — рыбацкая деревушка, откуда начиналось пароходное сообщение с Обама, портом известного старого курорта Ундзэн). У Оня-сан были довольно уютные недорогие комнаты с вкусным столом, и ее гостиница была обычным пунктом для проезжающих в Ундзэн из Нагасаки. Оня-сан была примечательной женщиной. Ей было уже немало лет (под 60), но черты лица её носили следы былой привлекательности, но далеко не красоты, о которой обычно говорила склонная преувеличивать публика. Она претендовала на интимную связь с самим генерал-адмиралом и постоянно плакала, что её сыну, красивому мальчику, не дают учиться товарищи, непрестанно дразня его сомнительным происхождением. В 1922 году, побывав проездом в Корею в Моги с женой, я застал сына Оня-сан взрослым красивым и стройным молодым человеком лет двадцати с лишним. Моя жена интересовалась жемчугами, и молодой человек подсунул ей какую-то дрянь. Немало таких полурусских детей было в Сеуле, Нагасаки. Большинство были совершенными японцами, не знавшими своих русских отцов, и наследовали как речь, так и привычки от матерей. Я помню в Ундзэне одну встречу, когда кто-то из русских познакомил меня с девочкой-сиротой, бывшей на попечении какой-то японской дамы. Мне говорили, что девочка была дочерью адмирала, с которым поддерживалась связь, оборвавшаяся с его самоубийством. Девочка, очень красивый привлекательный ребенок, училась в нагасакской гимназии (католической). Бывали и законные браки.

Говоря о Нагасаки и Моги, надо упомянуть и об Обама. Обама, японский курорт на берегу залива, был связан 3–4 часами пути от Моги утлыми пароходиками с очень неудобными каютами, в которых абсолютно нельзя было дышать. Обама — большое селение вдоль длинной прибрежной полосы. По правую сторону от прибывшего, стоящего лицом на берег, тянулись бесконечные домики рыбаков и лавочки, торгующие разным товаром, а по левую был большой сарасобразный отель, ютивший путешественников и курортных поселенцев, приезжавших на морские удовольствия (длинная полоса песчаного пляжа). Тут было и дешево, и грязновато, и невкусно, но публика мирилась с этим из-за чудного купания на

пляже. Здесь, впрочем, не очень расселялись, так как большинство приезжающих стремились, главным образом, на целебные серные источники и лишь отдыхали в Обама перед поездкой в Ундзэн. Кое-кто, однако, проводил несколько дней в Обама при спуске с Ундзэна. Пляж был действительно очень хорош, но недостаточно близок к стоянке. Теперь, вероятно, все это иначе устроено. Гостиница всегда располагала достаточным количеством лошадей. Сообщение Обама с Ундзэном поддерживается по великолепной дороге. Можно было попасть в Ундзэн и исключительно сухим путем, пользуясь железной дорогой, но мне почему-то первый путь всегда казался и удобнее, и живописнее. Но бывали и курьезы с новичками, которым подсовывали лошадей, которых обычно никто не брал. Так вышло при первой поездке и со мной. Мне дали лошадь, которая шла только на поводу, иначе говоря, если ее кто-нибудь понукал. От отеля отъехали благополучно, но при первом подъеме она остановилась и не шла, несмотря на хлыст и понукания. Кто-то повел ее, и она легко пошла. Кое-как я добрался до Ундзэна на поводу. Но в следующий раз, когда я посетил Обаму в 1913 году, меня уже было не провести: я возвращался в отель и требовал другую лошадь.

Ундзэн — небольшое местечко, на котором расположились несколько гостиниц около серных ключей. Я поехал в лучшую в то время гостиницу с эмалированными ваннами — «Синью», вечно переполненную. Попроще: «Токани», «Клусью», «Фукия», «Юкаи». Во всех отелях, кроме «Синью», вместо ванн были длинные деревянные ящики с отложными бортами, в которых вода менялась после каждого купальщика. Нигде не было водопровода, все было примитивно, а кухня такова, что её приходилось сдабривать свежими запасами. За это удовольствие в «Юкаи»-отеле, где я стоял, платили 5 иен в сутки, что по тогдашнему времени было большими деньгами. Приблизительно столько же платили в других отелях, кроме «Фукия», который был переполнен больше беднотой, платившей чуть ли не 2,5 иен в сутки за все и про все (полное содержание). Я помню, кормежка и в Обама, и в Ундзэне была жуткая, и не столько в смысле количества, так как продукты были недороги, а от неумения приготовить их на европейский вкус. Мой стол в нагасакском «Helle»-отеле казался по сравнению с ней идеальным. Затем в Японии того времени было большим лишением недостаточное количество молока. Я помню, что для нашего генерального консула в Сеуле с трудом договаривались на бутылку

молока в день, и наши стремились направлять свое внимание больше к крепким напиткам — к виски и коньяку, которые были и дешевле, и в изобилии. В Ундзэне обычно проводили лето шанхайцы и состоятельные харбинцы, спасавшиеся там от лютого июля, или же больные, пользовавшиеся серными ваннами. Сеул летом был вполне выносим, и иностранцы обычно его не покидали.

Туристы обычно взбирались на холм. Подъем был очень нетрудный, и сверху открывался великолепный вид на море. После спуска публика завтракала и отдыхала, а потом гуляла по островку, где приютилось несколько ручных оленей и кое-где были расставлены, как трофеи победы над русским медведем, несколько наших орудий. От Обама было сравнительно близко до Кобэ, и как-то раз я провел в этом городе целый день. Портовая часть его мне очень не понравилась, и я, бросив взгляд на улицы, не замедлил переправиться в деловую часть, где разбросаны жилые виллы и струится Нунобики. Я почему-то ожидал, что источник окажется таким же натурально газированным, как наш нарзан в Минеральных Водах на Кавказе, и был разочарован. Вода, бьющая прямо из источника, не содержала газа, а газировалась искусственно на заводах.

Из Кобэ я без задержки пошел в Окана, в котором решил провести только несколько часов из-за выставки, так как обычно туристы минуют этот исключительно деловой и малоинтересный город. На выставку я переправился по воздушно-кабельной дороге, испытав иллюзию воздушного полета, а затем больше часа провел в Сахалинском отделе. Там за небольшой загородкой было воздвигнуто что-то вроде русской избы, где я повстречал пару привлекавших много зрителей сахалинцев, которые говорили со мной по-русски. Он был одет, как заправский русский мужик, в цветную ситцевую рубаху поверх темных брюк. На рубаху была надета тонкая суконная жилетка, и был он не только при цепочке, но и при часах. Но что меня поразило, так это то, что он был в русской обуви, должно быть, находя ее более дешевой, удобной и больше по климату. Она была в цветном сарафане и переднике, с платком на голове. Демонстрировали они какие-то домашние работы. Я не задержался и немедленно выехал в Киото, где у меня была большая программа осмотра достопримечательностей на несколько дней.

В Киото остановился в лучшем «Мияно»-отеле, в то время представлявшем из себя большое деревянное одноэтажное здание, построенное так, как позволяли границы участка, с каким-то странным переходом. Столовая была, впрочем, довольно велика, вся заставлена маленькими, красиво убранными столиками. Кормили очень прилично, особенно по сравнению с малосъедобной пищей в Ундзэне и Обама. Жилые комнаты были достаточного размера, но часто с короткими кроватями и бельем, и за всё в день взималась плата 8 иен, что тогда считалось самой высокой ставкой в хорошем отеле. В Киото я осмотрел все, что положено туристу, наняв одного и того же рикшу на несколько дней, но более всего остались в памяти оригинальные комнаты императорских дворцов, один большой храм и еще один деревянный храм, выстроенный над островами. В павильонах Гинкакудзи и Кинкакудзи я не нашел ничего особенно привлекающего внимание. Из Киото я перекочевал в Нара, где пересмотрел все храмы и перекормил всех оленей...

* * *

Итак, Нагасаки не был неприятным местом для поездок, которые к тому же обычно оплачивались очень щедро, но это никак не могло назваться местом летнего отдыха: все там изнывали. Был там иностранный клуб с традиционными картами, с бильярдом, но обычно дамы покидали город на очередной сезон. Развлечений не было никаких, если не было случайных приезжих русских дам, которых мы возили по городу и угощали. Прочим обычным развлечением был туземный театр с вращающейся сценой, дававший обычно исторические драмы, в которых мы ничего не понимали. Во время одной из очередных поездок в Нагасаки я прочел там о драме «Титаника». Как-то не верилось, что такой случай мог произойти с совершенно по-новому оборудованным пароходом, имевшим отдельные пустые камеры, предохраняющие от затопления. Но факт остался фактом — он потонул что-то невероятно скоро, оставив лишь нескольких спасшихся каким-то чудом счастливчиков.

Все же Нагасаки оставался для меня всегда симпатичным городом, и, возвращаясь на Дальний Восток, в Корею, по приглашению моего старого друга, все еще бывшего генеральным консулом в Сеуле Я.Я. Лютша, я избрал путь на Нагасаки, желая повидать город и Моги. И что же? Сердечнее всех нас принял старый японец, служитель консульской канцелярии, узнавший меня, обрадовавшийся при нашем виде и, видимо, пораженный, что больше никто не обратил на нас внимания, да еще в Моги проявила некоторое оживление старая Оня-сан, что не помешало ее полупьяному сыну обобрать нас при покупке жемчужного ожерелья.

За годы моей службы в Корее мне не пришлось побывать нигде в Японии, кроме Нагасаки и его живописных окрестностей Мити-ното, Омуро и др., где можно было приятно провести день на лоне природы. Подумывая уже об отпуске, не зная, придется ли мне когда-либо вернуться в Японию, и считая, что я почти совершенно ее не знаю, по согласованию с генконсулом я устроил себе частную поездку на три месяца летом в Японию, где я должен был, кроме прогулки, повидаться с нашим военным атташе генералом Самойловым[39], собиравшимся в Корею в связи с торжествами погребения наших солдат, погибших в свое время в Маньчжурии[40].

В Токио мне предстояло, прежде всего, повидаться с послом Малевским-Малевичем, посольским составом и навести справки о генерале Самойлове, с которым я должен был совершить обратное путешествие в Корею. В посольстве мне сообщили, что посол с дочерью пребывает в Камакура, и я повидался с советником М.С. Щекиным, которого знал в министерстве уже делопроизводителем чуть ли не VI класса. Он казался суровым и грубоватым человеком, но ко мне, впрочем, всегда относился очень мило, отчасти, может быть, и потому, что я был далек от стола, к которому он был приписан. Щекин (он был родом из богатой семьи) никогда не производил впечатление избалованного дипломата ни дома в министерстве, ни за границей. Он искренне мне обрадовался (как я уже знал, он способствовал моему путешествию в Бомбей) и прежде всего пытался отговорить от поездки в Камакура, говоря, что в этом визите нет необходимости, что посол неинтересен (они друг друга не жаловали), но такова была уже сила традиции, что обход посла казался мне преступлением. Кроме того, он был не один, а с дочерью, очень милой, как говорили, особой. Такой резон как Камакурский Будда. Словом, Щекин перестал отговаривать меня от поездки в Камакура и оставил у себя завтракать.

Независимо от большого жалованья по должности, он был человеком с солидными личными средствами и жил очень независимо. Из-за болезни сердца он не пил ничего, кроме шампанского, которому мы отдали должную дань за завтраком. Был он очень интересным собеседником, хотя и не особенно изысканным в выражениях, и доминирующим лицом в разговоре; приходилось больше слушать, но было что послушать. После завтрака он показал мне свою великолепную коллекцию клинков, достоинства которой даже такой профан как я не мог не отметить. Я провел время со Щекиным с большим интересом. Затем мы распрощались, и я отправился в Камакуру. Я был рад, что настоял на своей поездке туда, так как, если бы я остался в Токио, я был бы только обузой для посольской молодежи, у которой были свои планы; был ли тогда Д.И. Абрамов в Токио, не помню. Все они были заняты по-своему, и лишь солидный и семейный П.Л. Паскевич, драгоман посольства, сжалился надо мной и скрепя сердце предложил сопроводить меня при осмотре «гвоздя» токийского туризма. Мы побродили в этом своего рода городе и мирно разошлись по домам. Я благодарен Паскевичу, что дал мне возможность увидеть эту «диковину».

Порядок моей токийской поездки у меня, за долгим временем, не удержался в голове. Помню, прогулялся по Гиндзе, зашел в кое-какие магазины, которые не скажу чтобы сильно меня поразили, видел издали дворец и Нихон-баси[41], послушал воскресную службу в Николаевском соборе, где мне после долгого перерыва и нашего сеульского комнатного храма со смешанным служением и пением понравилось все — и храм, и пение, и служение. Одного только я не удосужился сделать — посетить Владыку Сергия в силу предстоящего отъезда в Камакуру.

Прибыв в Камакуру, я добрался до своего отеля, где переоблачился в сюртук. Я надеялся повидать посла на голодный желудок, не задерживаясь, откланяться и иметь более полдня в своем распоряжении. Но не так вышло. Я застал весь отель уже за столами. Не знаю как, но посол узнал о приезде нового русского. Пришлось передать свою карточку и ждать. Меня вызвали прямо в столовую, где за отдельным столом сидели посол с дочерью, встретившие меня крайне приветливо. Посла я знал еще по министерству директором Второго департамента МИД. Я держал у него экзамен по политэкономии на дипломатическом экзамене.

Все же он больше понравился как посол и хозяин, чем как экзаменатор. Это был очень благообразный и приветливый статный старик. Он сейчас же познакомил меня с дочерью — очень миловидной и хрупкой шатенкой, и оба сразу создали такую атмосферу, что я без особого протеста согласился на завтрак с ними. Поговорили о том, о сем: посол авторитетно коснулся некоторых вопросов политики, по которым я постоянно поддакивал, признаться сказать, пропуская половину мимо ушей, как вдруг, когда я уже собирался ретироваться, от отца с дочерью последовало приглашение показать мне Будду и остров Ёсима, что было верхом любезности со стороны столь высоких по сравнению со мной особ, хотя мы и принадлежали к одной семье МИД. Видя простоту, с

которой я был принят, я очень жалел, что никто в посольстве не отговорил меня от сюртука. Мы осмотрели втроем великолепное бронзовое изваяние Будды, лучше которого по позе, экспрессии и художественности выполнения я не видел другого в Японии, и прошли в Ёкосимийский грот — другую не менее известную достопримечательность.

Для завершения моего плана мне осталось побывать в прославленном Никко, к которому, как к Неаполю, применяется выражение «посмотри и умри», и взглянуть на связанное с ним горным подъемом по хорошо разработанной дороге озеро Чузенджи[42]. Основательное знакомство с Токио, конечно, потребовало бы времени, которого у меня уже не было в распоряжении, и один я был совершенно потерян в этом громадном городе; рассчитывать на руководство моих токийских сослуживцев, видимо, совершенно не приходилось, поэтому я удовольствовался тем, что мне удалось побывать в столице, собрал свой багаж и с утренним поездом выехал в Никко.

Несмотря на неблагоприятный сезон, погода мне благоприятствовала. В ясный солнечный день, через не больше чем три часа пути на поезде я прибыл в Никко. Горное положение местечка сказывалось на температуре, и было совсем не жарко. Я устремился в указанный мне «Канаия»-отель, поблизости от которого красовался священный красный лакированный мост, ведущий к храмам и фигурирующий на всех снимках, и был неожиданно огорчен отказом мне в помещении. Я попал в Никко во время местного годичного большого религиозного праздника, и все комнаты в гостинице были заняты. Я бросился во второй отель европейского типа — «Никко», но и там получил отказ в комнате на том же основании. Я не знал, что мне делать, когда мой возница-рикша посоветовал мне попытать счастья в японских гостиницах, но везде был такой же ответ: комнаты все разобраны ввиду праздника. Возвращаться в Токио, однако, не хотелось, и я вернулся в «Канаия», прося пристроить меня как-нибудь на время, иметь возможность сложить свой багаж и переспать в коридоре на диване. Заведующий отелем сжалился над моей беспомощностью и сказал, что, если я соглашусь провести ночь на полу в буфетной, он меня устроит. Меня, привыкшего к неудобствам ночевок в Персии, уже нельзя было удивить никакими странностями ночлега. Я с радостью ухватился за предложение. В дальнейшем все пошло «как по маслу». Я прекрасно позавтракал. Потом я наблюдал бесконечную праздничную

процессию, состоявшую из пеших и конных ряженых в старинных японских костюмах, сопровождаемых чудовищами-«дьяволами» в соответствующих масках и гейшами. Публика была также костюмированная в старинные платья. Неистовая музыка барабанов и горнов резала ухо, но как-то гармонировала с экзотичной и яркой напористой процессией[43]. Фотографы профессионально, с интересом работали вовсю, и я не преминул запечатлеть празднество, сделав несколько снимков своим походным «кодаком».

Половину дня я провел в храмах Никко, славящихся вековыми традициями. К вечеру я вернулся в отель и сразу после обеда пошел в свою импровизированную спальню, где меня ожидало удобное ложе из разложенных на полу матрацев. Невзирая на говор прислуги и шум от убираемой и перемываемой посуды, я крепко проспал до утра. Весь следующий день с перерывами на завтрак и обед я провел в парке криптомерий, досматривая храмы, на которые взглянул лишь мельком, и о них теперь остались лишь смутные воспоминания. Ночь я провел уже в нормальных условиях, получив комнату, освободившуюся за отъездом одного из туристов. Погода все еще благоприятствовала, и ничто не помешало моей экскурсии в Чузенджи на третий день приезда в Никко. Взяв в гостинице верховую лошадь, я часов в 10 утра начал подъем к озеру по дороге, окаймлённой деревьями. Вскоре в стороне от дороги завиднелась белая полоса водопада Киётаки, к которому, однако, за недостаточностью времени, я не имел намерения пробраться, следуя прямым путем в Чузенджи. Туда я попал вскоре после полудня. Побродив по берегу озера, не оказавшего на меня особого впечатления, может быть, потому, что я был здесь новичком и не знал, как лучше использовать находившиеся в моем распоряжении час-два времени, я прошел в лежащую тут же вблизи у озера гостиницу, где, к моему удивлению, бесплатно позавтракал, так как между гостиницами существовало соглашение о взаимном продовольствии гостей. Часа в два я покинул Чузенджи и быстро спустился в Никко, откуда с ближайшим поездом выехал обратно в Токио...

* * *

Генерал Самойлов был большим японофилом и, как говорили, бил свою гражданскую жену-японку, о которой скорее говорили не в ее пользу. Почти целый день завтракал и обедал я у него, при-

чем его подруга показала себя действительно очень вульгарной особой, играя веером с изображенными на нем сценами более чем игривого характера, который она демонстрировала мне к немалому удовольствию генерала. Самойлов был крайне интересным, много развитым и хорошо знавшим японский язык человеком — рассказы его были занимательны и подчас забавны. Мы долго гуляли по набережной и установили время отъезда из Токио в сопутствии одного одноглазого майора японского штаба, командированного присутствовать на церемонии.

Обратная поездка в Кендзо прошла очень незаметно за чтением, так как я ничего не понимал в то время по-японски и не мог беседовать с майором. В Кендзо генерал Самойлов и генеральный консул Лютш встретились как старые знакомые по Дальнему Востоку. Я.Я. Лютш провел несколько лет в Хабаровске в качестве дипломатического чиновника при Приамурском генерал-губернаторе.

В Кендзо я впервые увидел генерала Самойлова в форме генерала Генерального штаба, которую он носил в самых исключительных случаях как крайне неудобную по климату: стесняли его и высокий плотный воротник, и толстый мундир из тяжелого сукна, и диагоналевые брюки на штрипках, и шпоры. На мой взгляд, он выглядел не блестящим генштабистом, а порядочным-таки «старичком», окончательно выбросив из форменного экипирования высокие сапоги, шпоры и штрипки и регулярно нося ботинки с резиновыми бочками при стареньких брюках навыпуск. Генерал пробыл в Сеуле недолго и чуть ли не на следующий день выехал в сопровождении нашего консульского агента Н.Н. Бирюкова (бывшего учителя русского языка корейского правительства), архимандрита Иринарха и японского майора в Гензан, где японскими властями было приготовлено все для церемонии.

К назначенному дню прах был выкопан во всех известных местах и свезен в Гензан на сборный пункт с особой заботливостью, которую японцы всегда неустанно проявляют на поле брани, и похоронен в общей могиле. После этого генерал Самойлов поехал прямо в Японию, и я его уже никогда больше не видел. Лишь по возвращении в Корею после революции я узнал, что Самойлов был чем-то серьёзно болен, выехал в Шанхай для консультаций с каким-то из медицинских знаменитостей и там скончался.

ГЛАВА 4
Русская духовная миссия в Сеуле. Японцы в Корее и другое

Наше генеральное консульство в Сеуле было непосредственно связано с участком Православной духовной миссии, и я знал ее настоятеля архимандрита Павла (Ивановского)[14], очень милого человека, питомца Владивостокского Восточного института, корееведа. Помощниками его были, меняясь, иеромонах (впоследствии игумен) Владимир (Скрижалин) из «народных учителей», иеромонах Феодосий, попавший в Сеул на поправку по слабости груди из Троице-Сергиевой Лавры, и иеродьякон Кирилл (Зигфрид). Последний и заменивший посвященного в сан епископа Никольско-Уссурийского, викария Владивостокской епархии архимандрита Павла архимандрит Иринарх были наиболее выпуклыми фигурами из известных мне «отцов».

Забот у архимандрита Павла по Миссии было немало: так, им было переведено в сотрудничестве с хорошо знавшими корейскую письменность корейцами немалое число православных богослужебных книг и песнопений. Был он, кроме того, не лишен поэтического дарования, оставив после себя книжку духовно-светских стихов, не отмеченных вниманием публики. Был он скромным, скорее замкнутым человеком, не искавшим общества, но очень приятным в общении.

Отец Владимир представлял собой типичного и хорошего батюшку. Отец Феодосий, обыкновенный лаврский монах с небольшим образованием, был скромен и малозаметен, «занятый» своей болезнью. Но отец Кирилл обращал на себя внимание и был, несомненно, интересной личностью. Он имел прекрасную внешность соборного протодьякона и казался гигантом в нашей маленькой церкви. Наружность его была «ассирийская» — с крупными чертами лица при волнистой светло-каштановой длинной шевелюре и вьющейся бородке. Он обладал чистым бархатным баритоном и, отличаясь очень общительным нравом, был общим любимцем, за исключением строгого архимандрита Павла, который держал всех братий в «ежовых рукавицах» и особенно следил за отцом Кириллом.

Карьера его (Кирилла) была незаурядна. Он окончил курс гимназии незадолго до русско-японской войны и, оказавшись в призывном возрасте, поступил в ряды армии из запаса, в чине прапор-

щика прослужил всю войну на фронте и был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, а мечтал и о большем. По демобилизации, желая получить высшее духовное образование и имея давнишнее желание посвятить себя церкви, он, как имевший среднее образование, подал прошение о допущении его в студенты Санкт-Петербургской духовной академии. Я помню, о. Кирилл рассказывал с грустным юмором, что его постигла неожиданная неудача, так как его обнадежили, что в число вольнослушателей, если не студентов, он будет непременно принят.

Когда прошение его доложили Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Палладию, Владыко начертил на нем приблизительно следующую резолюцию: «И сюда-то жиды полезут! Отказать». О. Кириллу помешала его немецкая фамилия Зигфрид. Владыко принял его за еврея и тем лишил возможности получить высшее духовное образование монаха по призванию. Ему не оставалось ничего другого, как начать службу с низов в монастыре. Попал он в нашу миссию, вероятно, по связям с Дальним Востоком. Он был последним светским из наших «отцов» и любил посещать нас, молодых консульского состава, и перекинуться в покер, подзуживая всех своим азартом игрока. Для этого ему приходилось иногда убегать из-под зоркого ока отца-архимандрита, который запирал на ключ дверь, связывавшую генеральное консульство с Духовной миссией, не симпатизируя светским развлечениям своих сотрудников. Говорили, что о. Кирилл попросту перемещался через каменную стенку, разделявшую консульский и миссионерский сады, хотя, казалось бы, в этом не было особой нужды ввиду свободного сообщения с нами легальным, но заметным путем через миссийские ворота на улицу и в консульские ворота через несколько домов по той же улице[45]. Говорили, что, обнаружив эскападу, о. Павел сильно отчитывал ослушников и накладывал на них разные послушания.

Однако о. Павел с братией были очень спокойными и благодушными людьми по сравнению с архимандритом Иринархом, заместившим архимандрита Павла по назначении последнего викарием Владивостокской епархии. О. Иринарх был весь один нервы: я никогда не видел его в спокойном состоянии. Он вечно рассуждал или рассказывал, то садясь, то расхаживая по комнате. Это был худощавый человек скорее высокого роста с черными и прямыми волосами и густой бородой, скрывавшей изможденность его лица, на котором привлекали внимание его живые черные глаза.

Он не имел специального богословского образования, будучи питомцем Сиротского института, по окончании курса которого сразу принял монашество, после чего прослушал миссионерские курсы и был послан епархиальным миссионером на дальний Север в Обдорск. Там он пробыл немало лет среди вотяков, и его рассказ про этот холодный заброшенный край, где было тепло и даже жарко лишь в течение трех летних месяцев и где в холодное время как туземцы, так и русские одевались и обувались в шкуры (меха), были очень интересны. По его словам, тяжело приходилось даже русским правительственным чиновникам, купцам и промышленникам, заброшенным в этот мерзлый край, где дни тянулись бесконечной вереницей, похожие друг на друга, там долгая и суровая зима была очень осязаема (нелегкая), короче — не баловала клубничкой. Коротким летом комары и вечный гнус одолевали немилосердно. Плохо и бедно жили вотяки. В их курных юртах, в которых о. Иринарху приходилось часто бывать и иногда оставаться на ночлег, пока топишь — ничего, терпимо, но стоило только заснуть, как можно было задохнуться от дыма, медленно выходившего из очага в отверстие наверху юрты. Но вотяки как-то приспособились жить в этой коптилке без особого вреда их здоровью. Пробыв в Обдорске довольно долго, о. Иринарх, видимо, тяготился тамошней обстановкой и работой, хотя как будто и слыл воплощением духовника. Его энергия стремилась к выходу на простор и рвалась к более живой и занятной должности, чем захолустный миссионер, и вот случай подвернулся. Я думаю, многим памятна составившая себе известность эпопея, когда настоятель уездного монастыря архимандрит Илиодор отказался от повиновения епархиальным властям. Поддерживаемый частью преданных ему братий и прихода, он не хотел оставить свой пост, на котором стал слишком своевольничать, и уклонялся от перевода на другое место, где он мог быть безвреден. Все попытки укротить непокорного были тщетны, и вот на его место назначили о. Иринарха.

Такое поручение было очень по душе кипучей натуре о. Иринарха. Кроме того, оно было и большим повышением, а о. Иринарх далеко не был чужд амбиций. Столкнулись две сильные фигуры и, не помню уже теперь каким путем, Иринарх осилил Илиодора и заставил его удалиться из монастыря, но наверное, и сам о. Иринарх не подходил для роли настоятеля (тая в себе возможности второго Илиодора), так как скоро был назначен начальником духовной миссии в Сеул, что, впрочем, не могло не рассмат-

риваться иначе, чем большое повышение, открывая в будущем выход в епископы. Отслужив в Сеуле положенный стаж, вероятно, о. Иринарх и был бы епископом, если бы тому не помешала его непокорная душа. Надо сказать, что с назначением архимандрита Павла Владивостокским викарием под его наблюдение была поставлена и Корейская духовная миссия, бывшая до того времени в зависимости непосредственно от Петербурга, и о. Иринарх никак не мог с этим примириться и постоянно высказывал свое недовольство (вероятно, это обстоятельство заставило его возненавидеть Корею и все корейское и искать перевода в Россию).

Приехав в Корею, он всем знавшим его объявил, что изучит корейский и английский языки в кратчайший срок по своей системе при помощи рупора. Но когда начались уроки, он сразу увидел, что перехватил; англичанка-экзаменатор, которую он пытался заставить говорить ему в рупор для лучшего усвоения произношения, заподозрила, что ученик, по меньшей мере, странен, и очень скоро отказалась от уроков. Что же касается корейского языка, то о. Иринарх не замедлил уверить себя в его совершенной непопулярности и перестал им совершенно заниматься, одновременно выражая презрение к корейцам и всему корейскому, которое дошло до того, что он заложил кирпичной стенкой сторону своей веранды, примыкавшую к миссийской школе, дабы совершенно изолироваться от туземной детворы. Вообще он жил неправильно. Брался за одно и, не закончив начатое, бросал его из неудовлетворенности, многое забывал, даже запивал, однако умел скрывать эту свою слабость. Закрывался от всех в период запоя, и лишь обнаруженные после его отъезда в подвале его квартиры груды пустых бутылок свидетельствовали о невольном пороке начальника миссии.

Становилось ясным, что он мало подходящий человек для должности начальника миссии в Корее, которую он оставил на попечение своих сотрудников, сам же занялся собиранием корейских древностей и предметов современных мастеров быта, решив создать корейский музей, после чего покинуть Корею ввиду начавшихся трений между ним и епископом Павлом, контроль которого над миссией выводил его из себя.

Возможно, контроль был чисто формальный, но архимандрит Иринарх искал, безусловно, независимости от Владивостока, как это было до его прихода, когда Корейская миссия была независима от Синода. Бесконечные попытки отстоять свою независимость побудили его просить перевода в какой-нибудь монастырь настоя-

телем. Чтобы избавиться от его назойливых писаний, он был назначен в местечко около Владивостока. Но и тут его неспокойная натура не смогла ужиться с владивостокскими епархиальными властями, и скоро его перевели, как будто даже в наказание, настоятелем захолустного монастыря на озере Иссык-Куль в Семиреченской области, куда ему и пришлось волей-неволей выехать. Проездом он был в Ташкенте, где в это время я уже состоял дипломатическим чиновником, и заходил ко мне, к сожалению, в мое отсутствие. Я пытался его разыскать через епархиального миссионера о. Елисеева, но безуспешно: о. Иринарх выехал к месту своего назначения. По слухам, он погиб в своем заброшенном монастыре в дни революции от руки большевиков или взбунтовавшихся киргизов[46].

Наша духовная миссия вела небольшое миссионерское дело, насколько позволяли отпускаемые на это нашим правительством ежегодные средства. Обычно в Сеуле никогда при них не бывало больше 2–3 русских монахов. Для чисто миссионерского дела было несколько катехизаторов-корейцев, а учебная часть ее состояла из небольшой начальной школы, где преподавание велось применительно к программам таких же правительственных и частных школ в Корее. Учительский состав составляли 2–3 учителя корейца, которым платила миссия. После большевистской революции и прекращения каких бы то ни было ассигнований из России миссия получила некоторую поддержку от англиканской духовной миссии, но этой субсидии, конечно, было недостаточно для продолжения дела, и скоро миссия как таковая и школа при ней принуждены были прекратить существование. Прекратилась и англиканская поддержка, и миссии пришлось изыскивать средства на содержание одного монаха, пиломатериалы и на ремонт зданий как на главном, так и на отдаленном участках. Теперь миссия ютит в своих помещениях почти всю русскую колонию.

В заключение нельзя не сказать, что в предупреждение захвата миссии большевиками в связи с признанием советского правительства Японией наша миссия, по соглашению между архиепископом Японским Сергием и начальником миссии архимандритом Феодосием[47], вошла в состав Японского общества православной церкви, и когда советский генконсул возбудил вопрос о передаче церковного участка в распоряжение советского правительства, в этом ему было отказано на основании входа Корейской православной миссии в состав общества Японской православной Церкви.

За все мое трехлетнее пребывание в Сеуле постоянным генерал-губернатором был граф Терàучи, бывший военным министром во время русско-японской войны. Он был в то время еще бодрым стариком и охотно общался с европейцами, приглашал их к себе, но не бывал у них, за исключением особо важных случаев вроде, например, проезда через Сеул в Японию с каким-то важным поручением Великого князя Георгия Михайловича во время Великой войны, когда в генеральном консульстве состоялся прием высокого гостя. Вообще положение генерал-губернатора Кореи напоминало мне положение не только вице-короля, но и губернаторов Индии, тогда как наш генерал-губернатор Приморской области или генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского края, будучи персонами не меньшего калибра, были гораздо доступнее и проще, не считая себя выше общения как с русскими, так и с иностранцами соответственного положения.

У графа Терàучи была повреждена во время японско-китайской войны рука, и он почти не владел ею, пожимая руки своих постоянных гостей левой рукой, что казалось очень неудобным, и только местный американец, генерал Сидмар, преодолел это неудобство, протягивая левую руку и делая рукопожатие нормальным.

Наши отношения с японскими властями были тогда лишены интимности вследствие недавней войны и недоверчивости с их стороны, но, видимо, последняя расплавилась, особенно ввиду нашей искренней уступчивости, ясно выраженной на международной конференции в Сеуле, когда из всех совещавшихся мы оказались наиболее сговорчивыми, не предъявляли никаких требований и не строили никаких препятствий.

Пути сообщения в тогдашнем Сеуле были еще очень примитивные: трамваи ходили только по одному направлению от деревни Мапхо на реке Ханган до Западных ворот (Сайдаймон), от Западных ворот до Восточных (Тондаймон) и от последних до Сейриори вблизи могил королей, куда совершалось паломничество[48]. Для передвижения по городу в разных направлениях служили рикши наемные или собственные.

Я был свидетелем сооружения трех грандиозных зданий в Сеуле: частного банка, Восточно-колонизационного общества, дворца генерал-губернатора. Я помню открытие последнего и большой обед для членов консульского корпуса, на который гости тащились на рикшах, мы же имели счастье воспользоваться единственным в то время частным автомобилем в Сеуле, пущенным предприимчивым американцем внаем.

Обед в чисто европейском помещении, обслуживаемый ливрейной прислугой, при обилии всяких яств и напитков закончился лотереей картин в японском стиле, исполненных специально приглашенным художником-моменталистом, который в продолжение обеда и после него набросал тушью несколько длинных картин с японскими мотивами. На мою долю достался водопад, другие картины содержали неизбежные сосны над обрывами, пейзажи из деревенской рыбачьей жизни и т.д. В то время в Сеуле существовал единственный военный оркестр, который и играл во время банкета.

Для удобства проживавших в Сеуле иностранцев издавалась ежедневная газета «Seoul Press», унаследованная японцами от старого корейского правительства. По содержанию она не отличалась особенными достоинствами, давая лишь краткое резюме наиболее важных мировых событий и местную хронику. Наиболее ценным ее отделом для иностранцев были телеграммы. Сколько нападок было, помню, на это бедное издание, на котором правительство ради иностранцев несло крупный убыток! Однако, когда три года тому назад, под предлогом того, что за долговременное пребывание в Корее иностранцы настолько уже овладели местными языками, что могли читать туземные газеты, «Seoul Press» прекратила свое существование, столько было выражено сожалений, что иностранцы остались без местного органа на понятном для них языке, так как владеть разговорной (японской или корейской) речью далеко еще не значит быть в состоянии читать и понимать газеты на этих языках и их своеобразную письменность.

Мои три с лишком года в Корее быстро пролетели, и я уже имел сведения, что из Петербурга сразу попаду в Ташкент на должность дипломатического чиновника при Туркестанском генерал-губернаторе, о чем я мечтал по двум причинам: во-первых, хотелось побыть более или менее продолжительное время в русской обстановке, хотя бы и среднеазиатского Центра, во-вторых, прямым назначением оттуда могло быть, по имеющимся прецедентам, назначение генеральным консулом в Индии, с которой я сжился за три года в Бомбее и где пришлось бы работать в еще лучших условиях уже в Калькутте, разъезжая в треугольнике Калькутта — Дели — Симла. К этому времени прошли и три года пребывания Я.Я Лютша в Сеуле, и он собрался в отпуск, передав дела своему

заместителю М.Ф. Тирбаху. Мы решили поехать вместе и пустились в путь через Харбин в конце мая 1914 года.

В завершение рассказа о моих корейских днях мне припоминается одно обстоятельство, которое способствовало тягости многих лет в Корее уже на положении эмигранта. Начав службу в Персии, я пользовался услугами Учетно-ссудного банка Персии, в который я вкладывал свои сбережения за мое трехлетнее там пребывание. Получив назначение в Индию, я не оставил связи с этим банком, и, даже перебравшись в Корею, куда, как казалось, я поехал на короткий срок, я оставил свои сбережения в Тегеране, связывая дальнейшую службу со Средней Азией. Но вот с половины 1913 года я получил сообщение из тегеранского отделения Учетно-ссудного банка Персии о закрытии (не понял, по каким причинам) счетов в русской валюте с предложением мне или перевести мой счет в персидскую валюту, или инструктировать банк, как поступить с моим небольшим вкладом. Персидская серебряная валюта была одной из худших в мире с войны, а так как о революции никто и не думал, я (не подумав об английской или американской валютах) поручил банку перевести все мои деньги Санкт-Петербургскому Учетно-ссудному банку (наискосок от Казанского собора на Невском). Все мои сбережения (20000 рублей), выигрышные билеты трех займов и облигации военного займа, конечно, пропали с приходом большевиков. И как бы они пригодились, когда я очутился за границей без гроша и подвергался подчас унижениям со стороны наших же бывших союзников.

В ноябре 1913 года скончался знаменитый император Мэйдзи, считающийся создателем современной Японии. Событие это ожидалось, так как император, уже пожилой человек, был серьезно болен. Состоялось особо торжественная печальная церемония, приуроченная, если не ошибаюсь, к погребению. Такая церемония имела место и в Сеуле, и все члены консульского корпуса были приглашены присутствовать на ней в полной парадной форме. Это было уже так давно, что все детали испарились из моей памяти, и я помню только обширную, запруженную народом площадь с особо отведенными местами для корейских гражданских и военных лиц и для нас.

Порядок был образцовый, и царила глубокая тишина, не нарушаемая даже движением освещенной факелами процессии, а лишь скрипом колес траурной колесницы. Я слышал, что построение подобных колесниц производилось с большой тщательностью из

особого дерева для достижения необходимого, если можно так выразиться, тона скрипа. Была уже прохладная осенняя ночь, но по церемонии все присутствующие должны были стоять или в форменном, или в соответствующем штатском или национальном платье, отнюдь не надевая верхней одежды. Происходившая в исключительно необычной обстановке церемония не могла не произвести глубокого впечатления.

ГЛАВА 5
Поездки в Китай и Владивосток

Оставляя Дальний Восток, возможно, навсегда и зная, хотя и поверхностно, Корею и Японию, я не мог, конечно, уехать, не познакомившись с третьим его китом — Китаем. Мне удалось выпросить у моего шефа негласный отпуск, и в апреле 1914 года я поехал по железной дороге через Мукден в Пекин. Мой план был пробраться из Пекина дальше по железной дороге на Ханькоу, проплыть в Шанхай и оттуда вернуться домой, но в моем распоряжении было слишком мало времени, и пришлось ограничиться лишь Пекином и Тяньцзинем, где я сел на пароход, совершавший прямые рейсы в Дайрен.

Пекин представлял тогда исключительный интерес для туриста, получившего возможность ознакомиться с Запрещенным городом, открытым для всех после перемирия сторон революции.

После пересадки в Мукдене я познакомился в вагоне Пекинской железной дороги с нашим консулом в Куанчэнзы Лавровым, о котором много слышал, но с которым никогда до того не встречался. Он имел репутацию одного из лучших молодых консулов на Дальнем Востоке. Я нашел в нем, однако, малообщительного человека, может быть, потому, что мы оба были несколько застенчивы. Он ехал по делам в Пекин, где на вокзале мы с ним разъехались и никогда больше не встречались. Я пожелал остановиться в отеле с названием «Zole» и уже дал нужные распоряжения носильщикам, когда был остановлен молодым человеком, оказавшимся студентом миссии Х., пришедшим на станцию по поручению второго секретаря миссии И.И. Десницкого, приглашавшего меня остановиться у него. Таков был обычай у нас в старой Персии: не только русские (без сослуживцев, но имевшие рекомендации), но и иностранцы останавливались в русском консульстве, пользуясь

гостеприимством хозяина. Подобный режим несколько сильней проявлялся и в старой Корее, но в Пекине и Токио, при существовании там хороших отелей, в нем не встречалось надобности, и я был приятно поражен приглашением Десницкого, дававшего мне возможность быть среди своих и пользоваться их указаниями в чужом городе. И.И. Десницкого я знал по министерству. Многообещающий молодой дипломат, он, кроме того, был известен своим родством с сиамским королевским домом, так как его сестра была замужем за воспитывавшимся в России сиамским принцем, бывшим даже одно время наследником престола. Брак, кажется, не был вполне удачен, так как через несколько лет супружества последовал развод и молодая принцесса вышла замуж за некоего англичанина. У радушного Ивана Ивановича я пробыл с неделю и, благодаря ему, хорошо ориентировался в Пекине и его окрестностях. Главной приманкой туристов был там только что открытый дворец и сад Закрытого города. Я теперь не помню названий того, что я видел, и только хорошо врезалась в мою память блестящая золотом на солнце черепица дворцовых крыш и какая-то отдельная, довольно длинная невысокая стенка-памятник, выложенная изразцами с изображением китайских драконов. В поездке за город мне сопутствовал сам Десницкий с кем-то из миссийских, и помню громадную мраморную не то лодку, не то корабль, построенную на берегу озера. Тогдашний Пекин мне напомнил Тегеран с одной лишь улицей более или менее европейского типа, на которой находилось несколько небольших, но дорогих магазинов.

Посланник пребывал тогда в отпуску, и миссией управлял поверенный в делах Владимир Владимирович Граве, бывший старшим причисленным в Персидском столе при моем поступлении в министерство. Он скончался несколько лет тому назад от сердечной болезни в Мукдене, где был агентом страховой компании.

Из посольского персонала помню первого драгомана Колесова, человека средних лет с перекошенным на сторону ртом от револьверной пули при попытке покончить с собой, как говорили, под влиянием винных паров. Колесова считали большим знатоком китайского языка и китайцев, и он был очень интересным собеседником. Он любил вкусно поесть и выпить и был большим хлебосолом. Я попал на один из его обедов, на который были приглашены все холостяки миссии и бывший в Пекине агент министерства Филимон Коновалов. Наконец, припоминается студент миссии Самонолевич, бывший лет десять тому назад польским

консулом в Харбине. Мое пребывание в Пекине закончилось большим обедом у Коновалова, поддерживавшего такой обычай в миссии, при участии тех же лиц. Я видел все доступное для туриста, побывал даже на скачках, где скакали также и пони кое-кого из русских, включая миссийских.

За осмотром города и обедами неделя прошла незаметно. Я распрощался с моим любезным хозяином, с которым уже больше не встречался. Из Пекина я проехал в Тяньцзинь — второй европейский город на Дальнем Востоке, маленький Шанхай. Тут нечего было смотреть, и, побывав у нашего консула Кристи и сделав кое-какие покупки в английском магазине Jane & Crawfrol, я, проведя ночь в каком-то отеле, на другой день утром выехал на маленьком японском пароходике в Дайрен, благополучно доставившем меня туда через сутки при полном штиле. В Дайрене я не задержался, нанес лишь визит консулу Максимову, у которого завтракал, и моему будущему заместителю в Сеуле Тирбаху.

Из Дайрена я проехал в Порт-Артур, где провел полдня, посвятив их осмотру нашей бывшей твердыни на Дальнем Востоке и японского музея войны. Помню, с тяжелым сердцем смотрел я теперь на панораму считавшихся неприступными скал, окаймлявших бухту, но какой незначительный эпизод — наш конфликт с Японией по сравнению с тем, что пришлось перенести нашей родине после той неожиданно неудачно закончившейся войны и большевистского переворота! Из Дайрена тем же путем по железной дороге через Мукден я вернулся в Сеул.

* * *

За трехлетнее пребывание в Корее мне раз случайно удалось побывать в России на нашей далекой азиатской окраине — во Владивостоке. Консул в Сейсине[40] А.С. Троицкий строил там в свое время дом для консульства и имел недоразумение с подрядчиком, которое я был послан расследовать. Единственное удобное сообщение с Сейсином проложено окольным путем через Фузан, на японском пароходе, совершавшем еженедельные рейсы между Нагасаки и Владивостоком с заходом в попутные корейские порты, которым я и воспользовался. Мой план был пробыть в Сейсине день, разрешить пререкания между Троицким и подрядчиком и выехать с тем же пароходом во Владивосток. Должен оговориться, что существовал и другой прямой путь, из Сеула в Гензан. Это,

однако, был долгий и нудный путь, и им пользовались в крайности в промежутке между пароходными рейсами, и большей частью корейцы — шли пешком или ехали на быках верхом. Впрочем, наш консульский агент в Гензане Н.Н. Бирюков часто приезжал к нам на рикшах, избегая морского пути и пренебрегая неудобствами остановок в корейских постоялых дворах. Это был тяжелый путь, особенно зимой, проходящий между перевалами в Самбо, куда теперь с прокладкой железнодорожного полотна собираются из Сеула и окрестных городов любители лыжного спорта.

Один человек, конечно, не мог втаскивать коляску-рикшу с седоком и багажом на подъеме и спускать под гору, и для помощи тащившему нанимали подталкивальщиков с экипажем или «двойной тягой».

Прибыв в Сейсин и попав в гостеприимные руки А.С. Троицкого и его жены, я узнал, что мне не удастся уйти с тем же пароходом, несмотря на то, что разбор недоразумения занял не более двух часов. Троицкий настаивал на том, чтобы я переночевал у них и воспользовался на следующий вечер пароходиком каботажной линии до Юки[50], откуда я мог легко добраться до Посьета, между которым и Владивостоком существовало регулярное сообщение. В проводники до границы А.С.Т. обещал дать мне своего корейского переводчика, носившего корейскую фамилию У. Я особенно не упирался, так как поездка не носила срочного характера, и остался. Консульство временно помещалось в сараеобразном деревянном здании пустовавшей гостиницы. Улегшись спать после хорошо проведенного дня с солидным возлиянием в хорошо натопленной железной печуркой комнате, я проснулся в леднике: продувная железная печка уже не топилась, а сейсинская зима не уступает владивостокской. Однако внизу, где топилось почти безостановочно, я быстро отогрелся.

День прошел в обозревании Сейсина — тогда еще совсем молодого, но многообещающего порта. Утром я познакомился с моим спутником и переводчиком У — серьезным, немного даже угрюмым на вид молодым человеком. Он был одним из «плеяды» молодых корейцев хороших фамилий, посланных на правительственный счет в Россию для получения образования во время нашего влияния в стране. У учился в Курском реальном училище, но из-за войны курс не окончил, служил в нашей армии в качестве переводчика и по заключении мира вернулся на родину. Его брат, с которым я познакомился позднее, был корейским дипломатом, со-

стоял некоторое время при миссии в Берлине. Во избежание недоразумений у нас он был известен под именем «немецкого У».

Вечером я и «русский У» погрузились на утлый пароходик и вышли в море. Погода была ясная и безветренная, море спокойно, но нас качало боковой качкой вовсю, хотя мы шли вблизи самого берега. Наутро после бессонной ночи, совершенно измотавшей непривычного к морским поездкам У, мы бросили якорь в бухте Юки. Юки в то время был крошечной рыбацкой деревушкой, примечательной только потому, что от нее пролегало важное шоссе на городок Кейко[51], расположенный на берегу Тумангана, до которого нам нужно было добраться, чтобы пересечь речку на русскую сторону. Тянулось это шоссе миль на 20, и в нашем распоряжении, казалось, было достаточно времени, чтобы добраться до Кейко засветло. Мы нашли корейскую деревенскую одноколку без рессор, запряженную местной крошечной лошадкой, и зашагали за ней. Было уже не по-сеульски холодно, и особенно мерзли ноги в летней обуви. Двигались мы, однако, медленно в гору, задерживаемые дувшим нам в лицо ветром и отстававшей тележкой. Смеркалось, а до Кейко оставалось еще 1/3 пути, когда У объявил мне, что нам необходимо заночевать в попутной деревне, так как нам не добраться засветло до Кейко. Стоял мороз, и мы с возницей нашим совершенно продрогли; дальнейшее движение было связано с риском основательно промерзнуть.

Я согласился на остановку. Деревня была очень маленькая, но, к счастью, с постоялым двором. Его комнаты были похожи на клетки. Я расположился в одной из них, и когда на меня набросили ворох какой-то ватной рухляди, в низенькой прокопченной дымом комнатушке нельзя было подвинуться, но было тепло от нагреваемого, подобно китайским фанзам, пола, а это было главное. Я опасался обычных для корейских харчевен и постоялых дворов всякого рода паразитных насекомых, но каким-то чудом клетка оказалась чистой, и я проспал до рассвета, не тревожимый ничем.

Зато утром мы сразу собрались в путь, даже не подкрепившись пищей на дорогу ввиду еще большей неприглядности нашего помещения. Впрочем, путь был недалекий. Часа через два мы уже были в Кейко, где и остановились в японской гостинице почти на самом берегу реки. Здесь мы узнали, что река, довольно широкая в этом месте, только что стала и переправа по льду рискованна. Как прислуга в гостинице, так и жандарм, пришедший опросить нас, уговаривали нас отказаться от перехода на другой берег и вер-

нуться в Юки. Стал колебаться и мой У. Но мне очень не хотелось возвращаться, будучи уже почти у самой цели, тем более и мороз крепчал, улучшая возможность переправы, и я обещал хорошее вознаграждение тому, кто переправил бы нас на ту сторону и доставил в пограничный пункт Заречье в нескольких верстах от берега. Скоро в гостиницу пришел один кореец, предложивший доставить нас в Заречье, если мы согласимся нанять у него две парные одноколки и перейти речку пешком по льду. Тележки с нашим багажом он тоже собирался перевезти по льду. После переправы мы должны были, разделив багаж поровну, расположиться по одному с возницей на каждой тележке. Предприниматель предупреждал, что ввиду опасности наткнуться на бродячих хунхузов на том берегу, лошадям придется все время идти вскачь, дабы добраться до Заречья как можно скорее, и что по грунтовой дороге в безрессорных одноколках нам придется вытерпеть сильную тряску. Не возвращаться же обратно из-за этого, казавшегося небольшим, неудобства! Я согласился и, переночевав в гостинице, мы наутро пустились в путь.

Переход на другую сторону прошел вполне благополучно: возница-проводник, видимо, знал свое дело и вел и нас, и наши экипажи уверенно по тонкому льду, и скоро мы были на той стороне. Здесь, немедленно приступив к укреплению разделенного на две части багажа, возница, осмотрев и подтянув упряжь, предложил нам садиться. Одноколка — типичная корейская низенькая повозка со спинками, идущими по платформе-полу вдоль колес, открытая с двух других сторон. Мы уселись на наших чемоданах, а возница на полу. В каждую тележку была впряжена пара крошечных, но сильных и скорых корейских пони: одна — в корене, другая — на пристяжке. Возницы одновременно взмахнули длинными бичами, и мы с места понеслись вскачь. Сразу же выяснилось, что сидеть не представлялось никакой возможности, так как одноколку все время подбрасывало на ухабах грунтовой дороги, и единственной возможностью держаться в повозке было сидя на корточках на полу и упираясь руками на ее боковые стенки, держа тело на весу, как будто на пружинах.

До Заречья было не больше 10 верст, и мы их сделали очень быстро, не встретив по дороге ни одного хунхуза, но когда мы подскакали к таможне, то еле выбрались из тележки — так болело и ныло все тело от напряжения и тряски. Заречье представляло собой очень небольшой таможенный пост, на котором не было даже

чиновников и таможенные функции несли два надзирателя из ротных солдат. Мы для них были неожиданными гостями, так как они имели дело только с пограничными корейцами. Когда я предъявил свой открытый лист, старший из них отказался его визировать, сказав, что он не рискует накладывать почтовые штампы и печати на никогда им не виданный документ, выданный по Указу Его Императорского Величества, и что он боится ответственности. Я успокоил его и сам выполнил все оформление. Нас накормили и отогрели, и, отдохнув, мы взгромоздились на прочную русскую телегу, нанятую у местного крестьянина, и тронулись в далекий путь на Посьет, где должны были сесть на пароход. Был ясный морозный день, и старший надзиратель поста, осмотрев мои элегантные ботинки, дал мне на дорогу свои высокие до колен валенки, державшие в тепле мои ноги во время медленного перехода по равнине до Посьета, но мои спутники замерзли и просили остановиться на полчаса у одной из придорожных харчевен. Я и сам был не прочь попасть в тепло.

Но какое это оказалось тепло! Было воскресенье, и харчевня-кабак была полна народу, исключительно корейцев. Атмосфера в большой комнате от людских испарений, грязных полушубков и спиртового духа стояла едва выносимая. У заявил, что единственная возможность скоро согреться и продолжать путь было распить бутылку водки; мы потребовали наилучшей, но и она была низкокачественна. Выпив по большому стакану скверной на вкус, но крепкой влаги, мы сразу почувствовали себя лучше, и мой угрюмый У даже повеселел. С облегчением попав на свежий воздух, двинулись черепашьим шагом дальше и часа в три были у нового таможенного поста на берегу Посьетской бухты. К моему разочарованию, однако, пароходная пристань лежала на другой стороне, и для того чтобы попасть на пароход, необходимо было перерезать край бухты на лодке, так как обход вдоль берега занял бы слишком много времени и мы упустили бы пароход. Я просил надзирателя поста нанять для нас лодку, но он ответил, что в это морозное и бурное время рыбаки не выходят в море и не рискнут перевезти нас даже за высокую плату. Что оставалось делать в виду парохода, собирающегося сняться с якоря? Близок локоть да не укусишь.

Гостеприимный надзиратель посоветовал остаться ночевать на посту, а утром выехать сразу на Новокиевск, не огибая бухты, так как на другой день не было парохода, провести ночь в Новокиевске и на следующий день проехать в Посьет к пароходу в удобных

санях. Задержка была велика, но ничего другого не оставалось делать, да и устали мы. Кое-как переспав на лавках в домике надзирателя, утром продолжили путешествие на телеге же. Опять ясный морозный день, не было уже благодатных валенок, оставленных на контрольном посту. Медленное движение изводит — соскакиваем с телеги и идем пешком. К полудню доплетаемся до постоялого двора высшего класса. Здесь уже есть чиновник, живущий в много лучших условиях, чем надзиратель. Он и его молодая жена приветливо встречают нас и сразу же ведут к столу, на котором дымится борщ, куски воскресного пирога, множество домашних закусок и графинчик с водкой и разными настойками. Всему отдается должная дань. Два часа пролетели незаметно, мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и снова к нашей телеге.

В сумерки дотаскиваемся мы до Новокиевска, не зная, где пристроиться на ночь. Консульство находилось в деловой переписке с так называемым «пограничным комиссаром» полковником Кузьминым, жившим в Новокиевске, но просить ночлега у незнакомого лица, да еще вечером, при вероятном наличии гостиниц в местечке, казалось неудобным. Было уже темно, ночью мы остановились у почтово-телеграфной конторы, чтобы справиться о гостинице. Чтобы несколько обогреться, мы пошли в контору вдвоем, но это оказалось большой оплошностью. Получив от дежурного телеграфиста сведения, что в Новокиевске только одна гостиница «Париж», и узнав, где она находится, мы вышли на улицу к нашей телеге.

Не прошло и 10 минут, но этого оказалось вполне достаточным для недреманного ока воришки, которого даже не заметил зазевавшийся возница: осмотрев наши вещи, я увидел, что с телеги пропал великолепный английский купленный мной еще в Бомбее плед, которым я и У укрывались от холода и ветра. Обидно было: проехали без сучка и задоринки по Корее, миновали хунхузов, но попали на родную сторону и «попались». Ничего, однако, нельзя было сделать: вблизи не было и следа полиции, да и помогли ли бы они! Нам ничего не оставалось, как разыскать «Париж» и устроиться на ночлег.

Я, разумеется, не ожидал найти в «Париже» комфортабельного отеля, но то, что я нашел, превзошло все мои ожидания, и жалкий трактир, в котором я принужден был останавливаться когда-то в Старой Руссе, находясь в долговременном отпуске в России, казался мне по сравнению образцом уюта и комфорта. «Париж» представлял собой довольно большое одноэтажное здание с грязным входом-столовой, откуда проходили в номера. Нам отвели длинную большую комнату с двумя кроватями, которые мы покрыли своим бельем для придания хотя бы какой-то опрятности. О пище в этой грязной харчевне не хотелось и думать, и мы легли спать в ожидании атак всякой нечисти. О так называемых удобствах, о которых вообще не принято говорить, хочу упомянуть только потому, что невообразимая грязь, с которой мне пришлось столкнуться, могла равняться, пожалуй, только с грязью уборных, насажденных революционным пролетариатом в дни «великой бескровной»…

Сверх ожидания мы, благодаря усталости ли, непонятному ли отсутствию паразитов, проспали крепко.

Пароход снимался вечером, и в нашем распоряжении был целый день. Собираясь в полдень навестить пограничного комиссара, я утром прошелся по главной улице местечка. Новокиевск был военным городком: тут стоял Приморский драгунский полк и конная артиллерия, и военные бараки были наиболее видными зданиями местечка. Побывал я в местном отделении фирмы «Кунст и Альбер», надеясь пополнить пропажу покупкой нового пледа, но выбор был слишком плох и я ограничился покупкой какой-то безделицы. Вернувшись в гостиницу и попросив У распорядиться к вечеру о санях для поездки в Посьет, я отправился к комиссару. Полковник Кузьмин и жена его приняли меня очень радушно и пошутили над церемониями, помешавшими остановиться у них. По их словам, публика избегала «Париж», обычно пользуясь гостеприимством знакомых; что «Париж» — не больше как притон, посещаемый прожигателями жизни низкого разбора и разным подозрительным сбродом. У Кузьмина я обедал и провел несколько часов в симпатичной семейной обстановке. Уже смеркалось, когда я вернулся в «Париж». Сани были готовы, вещи уложены, и я, уплатив традиционный рубль за «номер», выехал в Посьет. В Новокиевске я расстался с моим верным спутником У. Презентовал ему на память свой американский fountain pen*. Мне пришлось встретиться с У в Сеуле спустя 25 лет, когда я еле узнал своего бывшего проводника в почтенном корейце, служившем переводчиком при одной русско-швейцарской фирме. Мы вспоминали нашу поездку, но, видимо, годы выветрили из его памяти многие дета-

* Авторучка (*англ.*).

ли: он старался уверить меня, что из нас двоих при боковой качке между Сейсином и Юки я оказался худшим моряком, забыв, что его вывертывало наизнанку. Тройка сытых коней быстро донесла мои сани до Посьета по только что установившемуся санному пути. Пароход уже грузили и принимали пассажиров, в кают-компании был накрыт стол, уставленный по нашему обычаю разными закусками, на которые с вожделением поглядывала уже устроившаяся часть публики.

Пассажиры первого класса были почти исключительно представители местного чиновного и военного мира и их дамы. Все были знакомы между собой и не обращали на меня никакого внимания, занятые своими разговорами и легким флиртом. Усталый, я дождался конца сильно затянувшегося и сопровождавшегося основательной выпивкой обеда, ушел в свою каюту, поместившись на отведенной мне верхней койке, разделся и лег спать. Я был разбужен около полуночи стуком двери и звоном шпор. Моим товарищем по каюте оказался молодой артиллерийский поручик, бросившийся на нижнюю койку не раздеваясь. Когда я рано утром оставлял каюту, мой ночной спутник храпел вовсю, чувствуя себя прекрасно в туго затянутом мундире и высоких лакированных сапогах со шпорами.

Мы пришли во Владивосток рано утром, и на пароходе немедленно очутился жандармский офицер для осмотра паспортов. Формальности заняли несколько минут, и я одним из первых очутился на берегу, где взял извозчика и проехал в «Гранд-отель» на Алеутской улице. Типичная провинциальная гостиница показалась мне дворцом по сравнению с новокиевским «Парижем», но ощущался большой, впрочем, свойственный всему Владивостоку, дефицит воды и затруднение в получении за особую плату ванны. Впрочем, комната была хороша — большая, чистая и прилично меблированная. Я пробыл во Владивостоке дня три, и он произвел на меня впечатление города одной улицы — Светланской, окаймлявшей лучшую часть бухты. На ней были расположены все заслуживавшие внимания и имеющие значение магазины, банки, правительственные учреждения, учебные заведения. Продолжение Светланской и поднимавшиеся от нее в гору улицы и переулки были грязные, немощеные, на которых и ютились в массе жалкие деревянные домишки. Вся жизнь сосредоточилась на нарядной Светланской, дававшей Владивостоку вид благоустроенного приморского города. Она была главным портовым районом для прогулок. На ней

помещался ресторан-кабаре «Золотой Рог» и так называемый иллюзион-кинематограф. В то время гремела фильма «Ключи счастья» по роману Вербицкой, шедшая в нескольких сериях, и ее рекламировали расклеенные повсюду громадные афиши.

Во Владивостоке я провел дня три: посетил собор, где служил мой знакомый бывший архимандрит, а ныне епископ Никольск-Уссурийский Павел, викарий Владивостокской епархии. После службы я пил чай на его квартире, помещавшейся неподалеку от собора. Был он у меня в гостинице, придя пешком и похожий по внешнему облику на обыкновенного батюшку: никаких, помню, выездов, известных мне по столице, во Владивостоке высшая иерархия не знала. Присутствовал я также, не помню, по какому случаю, на параде местных войск перед памятником адмиралу Завойко[52] и помню, как проходил с «ружьями на руку» какой-то сибирский стрелковый полк, получивший это отличие в русско-японской войне. Посетил я Восточный институт, где виделся с профессором Г.В. Подставиным[53], к которому у меня было какое-то деловое поручение от офицера-корееведа, жившего на практике в Сеуле. Подставина я помнил еще старшим студентом в Санкт-Петербургском университете. Наконец, я провел вечер в «Золотом Роге» кое с кем из моих знакомых, бывших проездом в Нагасаки. Программа кабаре напомнила мне мои былые молодые годы в Тифлисе. Было у меня, впрочем, и деловое поручение Торговому дому «Бринер и Кузнецов», имевшему намерение купить у нашего консульского агента в Гензане Н.Н. Бирюкова золотой рудник в Корее, не оправдавший надежды владельца, рассчитывавшего на золотые горы. В одном руднике покоилась и часть моих сбережений и кое-кого из моих сослуживцев, поддержавших частным образом Бирюкова, нуждавшегося в деньгах. Продажа была выгодна для всех, но она провалилась, благодаря отзыву приглашенного для ознакомления с рудником специалиста, горного инженера Б., брата известного романиста. Оказывается, вместо того чтобы сразу добывать золото плохими дешевыми машинами при неопытном молодом инженере русском немце Бреннере, надо было открыть рудники, проложив глубокие шахты и найдя золотую руду.

Инженер Бреннер, слывший среди нас под именем «Васи», приносил немало хлопот последнему генконсулу в Сеуле милейшему Я.Я. Лютшу, привлекши его к уголовной ответственности как секретного компаньона покойного Бирюкова, скончавшегося, не произведя с ним расчета. Претензии «Васи» чуть ли не в 30 тысяч были

чистейшим шантажом, тем не менее, им был дан ход: Лютш был несколько раз опрошен прокурором. И мне по прибытии в Сеул в качестве очевидца пришлось давать свидетельские показания. За отсутствием состава преступления дело не получило хода. «Вася», признанный не совсем нормальным, был отозван на родину.

Я оставлял так тянувший и разочаровавший меня Владивосток без особого сожаления. В Харбине я провел несколько часов от поезда до поезда и почти его не помню. Остался в моей памяти лишь трескучий мороз и желание как можно скорее пуститься в дальнейший путь. В Мукдене по плану я провел два дня, посвятив их поездке на рикше в Пейлин, сияющий золотой черепицей, и посещению консульства, где я радушно был принят в семье генконсула Колотникова. Тогдашний Мукден был громадный грязный город — полный контраста с современным благоустроенным центром, который я посетил всего два года тому назад. Я помню только оригинальный храм-шлем, воздвигнутый в воспоминание о русско-японской войне на окраине города. Экспресс Ю.М.Ж.Д. быстро доставил нас по давно уже объезженной широкой колее, открытой в 1911 году, в Харбин. Через сутки я был опять в Сеуле.

Незаметно пролетели мои три года в Корее. За это время в Сеуле появились несколько общественных зданий и было улучшено транспортное сообщение, а в Корее значительно расширилась железнодорожная сеть и улучшились железнодорожные службы.

ГЛАВА 6

Туркестан. Приезд в Ташкент, обустройство на месте. Генерал-губернатор Мартсон. Начало Великой войны. Военнопленные в Ташкенте

В мае 1914 года я и Я.Я. Лютш с сестрой, распрощавшись с друзьями, покинули Сеул: Лютш — на короткое сравнительно время, я же, чтобы с маленьким перерывом в Петербурге направиться к месту своей службы в Ташкент. Поездка до Харбина по вполне оборудованной широкой колее Ю.М.Ж.Д. с хорошим вагоном-рестораном прошла незаметно. В Харбине, где мы пересели в поезд В.К.Ж.Д., на вокзале нам встретился генерал Хорват[54], старый знакомый Лютша, и с ним генерал К., которого я запомнил лишь случайно, сын известного артиста Имп. Александринского театра. Остановка была непродолжительной, и мы сразу двинулись дальше. С нашим поездом возвращался в Россию молодой владивостокский вице-губернатор Ладыженский, жена которого была очень расстроена, смыв в умывальник дорогое бриллиантовое кольцо. Другим, уже хорошо знакомым спутником оказался Бенуа со своим братом генерал-майором Бенуа[55], командиром одной из кавалерийских бригад, с которыми мы пересеклись в Сеуле, где они провели за год перед тем два дня.

В такой компании все весело путешествовали и между чтением, беседами и отдыхом и не заметили, как очутились в Петербурге. Ели тоже неплохо, так как вагон-ресторан на дальневосточной линии был прекрасно оборудован как в смысле пищи, так и обстановки и службы.

В Петербурге, несмотря на спешку, мне удалось задержаться более двух недель, хотя меня и очень «выпирали», рекомендуя попасть на место до отъезда генерала Самсонова[56]. Но ехал я в Ташкент, по меньшей мере, на три года, был хорошо знаком с министерским составом, хотелось повидаться с родными и знакомыми и несколько поразвлечься в родной обстановке.

Всякими правдами и неправдами я тянул свой отъезд и выехал в начале июня, когда генерал Самсонов с семьей уже покинул край. Петербург был соединен с Ташкентом беспересадочным экспресс-сообщением через Оренбург, доставлявшим путешественников за четверо суток на место. Вагон, благодаря принятой в России особой ширине колес, был очень просторен и удобен, но вагон-ресторан занимал лишь 1/2 вагона и был много хуже оборудован, чем на Дальневосточной линии.

При приближении к Ташкенту уже стала чувствоваться жара, и, когда поезд подъехал к станции, город и окрестности казались погруженными в полуденную спячку. Даже на перроне было немного народу, и мне пришлось прождать на платформе среди моего багажа несколько минут, прежде чем ко мне подошел невысокого роста молодой человек, справившийся, не я ли новый дипломатический чиновник, и, получив утвердительный ответ, [он] назвал себя Григорием Кирилловичем Зайко, местным письмоводителем. Он извинился, что запоздал, так как по обыкновению искал путешественника в форменном платье и, лишь не найдя такого, решился обратиться ко мне. С его помощью мое продвижение в город произошло очень быстро: для багажа была найдена тележка. Сам я и Зайко двинулись в считавшуюся лучшей гостиницу в городе «Россия», где я, к ужасу Зайко, занял двойной номер из спальни и гос-

тиной, так как мне казалось неудобным принимать посетителей и визитеров в одной и той же комнате, заваленной багажом. Зайко настаивал, что это неслыханная роскошь, но я успокоил его, сказав, что мы, вероятно, скоро найдем квартиру. Надо заметить, что по тогдашним ценам помещение не казалось мне очень дорогим (5 долларов в день). За границей приходилось платить много дороже. «Россия» оказалась типичной провинциальной русской гостиницей, «номера» которой помещались незаметно, чуть ли не под самой лестницей; на звонок появлялись одетые в белые куртки слуги; никаких претензий, но чисто.

Сам Ташкент и бульвары тополей вдоль широких немощеных улиц с журчащими, параллельно линии тополей, арыками производили впечатление большого тенистого сада, так как с тополем перемешивались плющ, карагач и другие породы. Было уже жарко — начало июня, и улица была покрыта густым слоем пыли. Решив посвятить конец дня отдыху, я условился с Зайко, что на другой день, по представлении и.о. командующего войсками генерал-губернатору края генерал-лейтенанту Лешу[57] и повидавшись с временно исполняющим обязанности дипломатического чиновника помощником начальника канцелярии генерал-губернатором Семеновым, так как Н.В. Ефремов, начальник канцелярии, был со своей семьей в заграничном отпуске, я озабочусь поисками квартиры.

Ранним утром я был у Ал. Ал. Семенова. Он был отчасти свой собрат, получивший образование в Лазаревском институте, считался мастером своего дела и знатоком всякой канцелярской премудрости. Семенов был видным мужчиной лет 38 с длинными черными усами, военного склада ввиду того, что все чиновники канцелярии генерал-губернатора всегда на службе носят военную форму, даже почему-то при шпорах, усвоили военные манеры вытягиваться, щелкать шпорами и т.д. Он, видимо, был удивлен, что я, нанося ему официальный визит, был одет в обыкновенный «тропический» белый костюм при шлеме, и с усмешкой сказал мне, что еще не так жарко и что «урючники» (родившиеся в Туркестанском крае, от «урюк», что значит «абрикос») понятия не имеют о шлеме, нося чуть ли не круглый год соломенные шляпы. Побывав в Ташкенте, я сам убедился, что соломенная шляпа в жарком Туркестане является вполне достаточной защитой от солнца. Мы условились с А.А. Семеновым о перевозке моего архива в мою квартиру, как только я найду ее. После полудня, часа в четыре, как мне сказал знакомый с порядком дня генерал-лейтенанта Семенов, я,

облекшись в штатную форму, отправился в генерал-губернаторский дом представиться временному начальнику края. Адьютант его где-то запропастился, и мне пришлось вручить дежурному бравому казаку мою карточку для передачи генералу. Через несколько минут казак вернулся и сказал мне, что Его Превосходительство просят. Он провел меня на веранду, где я нашел высокого статного седого генерала в поношенной старой форменной куртке и форменных синих брюках даже без генеральских лампас, только погоны свидетельствовали о его чине. Он, видимо, отдыхал после полуденного сна. При виде меня он встал, пожал мне руку и попросил садиться.

Это был бодрый человек лет 60, о котором вся Россия знала как об одном из истинных героев русско-японской войны, в которую он вступил в чине полковника, командуя одним из восточно-сибирских стрелковых полков. Он был чужд всякой формальности и просил извинить его расстегнутую на воротнике куртку, ссылаясь на жару, и пожалел, что под мундиром ничего не было. Он был до сего времени начальником Закаспийской области и Ташкента почти не знал. Зашел разговор о нашей будущей работе. Выяснив, что мой докладной день приходится на субботу, я начал откланиваться. Но, справившись, занят ли я (генерал, должно быть, порядочно скучал на новом месте и в одиночестве или, найдя во мне необычного собеседника без всяких: «так точно» и т.п.) просил меня остаться провести с ним вечер и обещал мне показать генерал-губернаторский сад. В это время подошел какой-то молодой офицер Генштаба, с рукой на перевязи, мы познакомились, и меня поразило простое обращение генерал-лейтенанта с капитаном. Скоро зашел общий разговор, и генерал, вызвав дежурного казака, приказал ему принести корзину только что созревших яблок. Обтерев яблоко полотенцем, генерал принялся есть его, не очищая, предложив нам следовать его примеру.

После этого незатейливого угощения генерал повел нас смотреть громадный сад, примыкавший к дому. Сад был хорош, полон всяких фруктовых деревьев, но, как мне показалось, несколько запущен. В одном из его углов меня заинтересовала большая, глубокая, начавшая осыпаться по краям яма. Как оказалось, в ней в давние годы держали ручных медведей. Из современных садовых оборудований я заметил хорошую теннисную площадку. Говорили мы о всякой всячине и, между прочим, о проектируемой в самом недалеком будущем русско-афганской разграничительной ко-

миссии, состав которой был уже сформирован. Вернувшись с прогулки по саду, я уже окончательно раскланялся. Мой будущий шеф мне очень понравился, и мне казалось, что не трудно будет с ним согласоваться и проводить в пограничных странах политику министерства, часто расходившуюся с политикой генерал-губернатора, совмещавшего в своих руках и должность командующего войсками. При моем отъезде в Ташкент меня предупредили, что, если работа и будет на вид не обременительной, то характер ее подчас может быть очень неприятен из-за сопротивления со стороны краевой власти, и обычный чиновник при Туркестанском генерал-губернаторе редко был в фаворе у своего местного главы.

Однако мои первые шаги в совершенно новой для меня области при генерал-губернаторе оказались очень [удачными]. Ввиду какого-то, не помню, недоразумения необходимо было отправить телеграфом инструкции начальнику Закаспийской области. Вызвав меня и начальника штаба, генерал, обрисовав нам положение, приказал составить отдельно каждому по телеграмме. Я порядком струхнул; но когда Леш через четверть часа прочел наши проекты, то откровенно заявил, что дипломатией составлено лучше, на что был дан обычный ответ: «Так точно». Я впоследствии пользовался расположением начальника штаба генерала Б., который вскоре, впрочем, уехал на фронт.

К ужасу Зайко, который не мог мне простить израсходование 5 долларов в сутки за помещение, я не мог найти квартиру очень скоро. Ташкент, к стыду нашему, несмотря на более чем 60-летнее наше владение, скажем прямо, выглядел очень провинциально. Утопая в садах, он не имел водопровода; протекавшая на окраине города река Салар была мелкой, с грязным глинистым дном. Только при немногих домах был домашний водопровод, где ручной помпой накачивали воду из колодцев для хозяйственных надобностей, причем трубы часто засорялись и насосы не действовали. Наконец, мне приглянулась квартира из четырех комнат с кухней в отдельном домике с садом. Он был прекрасно расположен на К. улице, в одном из участков, выходивших из Казарменного сквера. Это был домик вдовы одного из пионеров Ташкента Михаила Севастьянова, дошедшего до чина действительного статского советника. При доме не было водопровода, и воду для умывания приходилось приносить в кувшине из колодца. Но нравился мне домик: комнаты были просторные, хорошо расположенные, светлые, плата сравнительно недорогая.

Итак, квартира была снята, но нужно было ее меблировать. Для канцелярии нашлась кое-какая убогая мебелишка и пишущая машинка, а несгораемый шкаф-сейф я привез с собой, купив его у Сан-Галли на Невском. Напуганный рассказами, что Ташкент — город воровской, я выбрал небольшой сейф, железный снаружи, на деревянном шкапике.

Сам не понимаю, почему я это сделал, несмотря на то, что у меня был хороший опыт в Бомбее: В.О. фон Клемм, наш генконсул в Индии, все время пользовался сейфом местной работы — очень вместительным и очень дешевым. Это был железный ящик с тонкой огненепроницаемой прокладкой, и исполнял он свою службу, по-видимому, хорошо, если только никто не залезал в него во время частых отъездов хозяина из Бомбея. Однажды, в период моего временного управления генконсульством, с сейфом что-то случилось и он перестал открываться. Пришлось послать в магазин, где сейф был куплен, с просьбой открыть его. Прислали какого-то старичка-индуса, который, загнув концы проволоки в виде «козьей ножки», начал ею манипулировать, передвигая внутри через ключевое отверстие какую-то пластинку. Сейф был очень скоро открыт и стал открываться и закрываться, как и раньше. А.А. Половцов[59] привез с собой из Англии великолепный ящик, который также открывался без всякого секрета ключами. Однако, кажется, замки его не поддавались действию «козьей ножки».

Для столовой и кабинета быстро появился с предложением некто, очень почтенного вида еврей, с которым мы скоро сошлись, несмотря на то, что цены оказались много выше петербургских. С гостиной, составлявшей часть моего кабинета, мне повезло: какой-то артиллерийский капитан, уезжавший на фронт и отправивший свою семью в Россию, недорого продал мне набор кавказского типа мебели, крытой коврами. Пробелы обстановки были дополнены моим запасом ковров.

Особенностью каждого старого ташкентского дома были находившиеся на дворе купальни, снабжаемые проточной водой из городских оросительных каналов (арыков): купальня представляла собой расширенную среди арыка яму. В ней можно было мыться, но не плавать: места было далеко не достаточно. Такая купальня имелась в заднем саду моего дома для общего пользования. Но я еще в Петербурге был предупрежден против этих купален как рассадников всяких болезней. Текущая вдоль обеих сторон улицы вода загрязнялась самым разнообразным способом и более всего —

мытьем грязного белья, что побуждало меня пользоваться вместо купален горячей баней, находившейся неподалеку от меня через городской сад. Обычно, возвращаясь после бани, я садился на несколько минут за столик одного из киосков прохладительных напитков и требовал себе безалкогольного напитка, вкуснее которого я никогда не пивал. Итак, я неплохо устроился, но когда появился из Железноводска лечившийся там мой Мирза-Махмуд, возник вопрос и о помещении для него.

Я предложил ему часть громадной кухни, но, со свойственной персам наклонностью к интимности в жилом помещении, он попросил у меня разрешения поселиться в довольно большой кладовой, в которой было прорезано небольшое оконце. Так как у нас не было надобности хранить что-либо впрок и в большом доме было достаточно помещения для всяких потребностей, я предоставил кладовую в его распоряжение, где он и расположился довольно комфортно, развешав по полочкам свои ценные вещи.

Все было хорошо до зимы, когда мы стали перед необходимостью отопления. Несмотря на жаркий климат, зима в Ташкенте все же тянулась не менее трех месяцев, и тут оказалось, что наша кирпичная печь, несмотря на хорошую топку саксаулом (эти растущие в Ташкенте корявые и почти лишенные листвы и коры деревья считались лучшим топливом в русском Туркестане), от старости плохо обогревала. Ввиду этих зимних неудобств, я решил с весной просить свою скаредную хозяйку о ремонте и самой квартиры. Но Махмуд в своей нетопленой клетушке оказался в еще худшем положении. Я рассказал моим новым знакомым о своих квартирных приключениях, и вот одна любезная дама, жена Т., погибшего во время белого восстания[59], предложила мне купить ее лампу-грелку для комнаты. Есть такие лампы, которые, как я убедился в дальнейшем, только дымят, хотя все их покупают как грелки и затем стараются от них избавиться, перепродавая хорошим знакомым под тем или иным удовлетворительным предлогом. На другое утро я увидел превращенного в негра Махмуда. Он еле двигался от слабости.

Оказывается, грелка, несмотря на соблюдение всех условий ее зажигания, так дымила, что спасение Махмуда от угара казалось чудом. Все внутри комнаты было черно. Пришлось вынести и вычистить все вещи, перекрасить комнату, а грелку выбросить. А Махмуд предпочел получше укрываться, обходясь без этой лампы. Лето и осень прошли великолепно. У меня завелось много знакомых, и я проводил свободное от работы время то на вечерах у генерал-губернатора, то в кружках, работающих на оборону. Коротко говоря, не скучал, благодаря своему состоянию холостяка и известному положению по службе.

Я беззаботно устраивался на новом месте, когда надвинулась туча грозящей войны. Помню, я стоял на балконе в «России» часов около четырех дня, поглядывая на старика, сидящего среди дынь самых разных размеров и сортов, как вдруг раздались крики малолетних продавцов газет с отдельным листком в руках, возвещавших о сараевском убийстве. Вскоре тихий город весь преобразился. Заговорили о неизбежности войны, что вскоре и подтвердилось: объявлена была мобилизация Туркестанского военного округа, начинали уже приходить бюллетени с описанием хода военных действий. Вскоре тронулись и туркестанские части. Генерал Леш, как боевой генерал, покинул Ташкент в первые дни войны, будучи назначен начальником одной из армий. Его по очереди заменяли несколько не подлежащих службе на фронте генералов, пока не прислали из Петербурга в качестве временно командующего войсками Туркестанского военного округа и генерал-губернатора генерала от инфантерии Ф. Мартсона[60]. Военная карьера его не была, насколько я помню, примечательной как во время японской, так и в начале Великой войны. При болезни сердца ему трудно было служить на фронте, это и вызвало его временное назначение в Ташкент, на место генерала Самсонова, получившего в свое командование корпус, с которым он и погиб в Мазурских озерах (но не напрасно было это поражение, таившее в себе зачатки победы). Наше наступление в Восточной Пруссии было вызвано требованием французского командования, несмотря на недостаточную подготовку наших сил — армии Самсонова. Самсонов протестовал против наступления, обреченного на неудачу ввиду превосходства германских сил и крайне неподходящую для наступления местность.

Много лет спустя, в Корее, японский офицер, которому я преподавал в течение нескольких дней русский язык на курсах иностранных языков для чинов сеульского гарнизона, желая отметить превосходство немецкого солдата над русским, говорил: «Где же русским идти на немца!» Позже я показал ему выдержку из передовицы одной из издававшихся в Японии английских газет, в которой говорилось, что битва при Танненберге[61] была началом победы союзников в Великой войне, поскольку в результате ее нем-

цы не смогли продвинуться за Марну, вследствие отвлечения больших сил против русских в Восточной Пруссии.

Генерал Мартсон был старый холостяк и приехал в Ташкент со своей старшей сестрой, которую он там и потерял. Как администратор он был новичок, но у него был хороший помощник по управлению краем в лице управляющего канцелярией Н.В. Ефремова, все время работавшего при генерале Самсонове. Жил генерал крайне уединенно и нигде не бывал из-за больного сердца. В субботу по утрам я обычно ему докладывал. На докладе присутствовал Н.В. Ефремов, так как часто вопросы моего доклада имели связь с делами, проходившими через канцелярию генерал-губернатора. Генерал Мартсон был человек очень приветливый, но упрямый, и, кроме того, не любил МИД, не знаю почему, так как связи у него ни с нашим центральным ведомством, ни с нашим заграничным представительством не было. Невзлюбил и невзлюбил, хотя лично ко мне относился мило и доброжелательно. Бывало, на докладе, однако, генерал не упускал случая позвить: «Ну, уж вы, дипломаты, все портите...» или «От МИД добра не жди...» Я почтительно улыбался в ответ, но все же в громадном большинстве случаев добивался резолюции, предложенной мной. Но был случай, когда с ним ничего нельзя было сделать, хотя и министерство, и союзники рвали и метали.

Однажды вечером меня вызвали к генерал-губернатору. Это означало спешное, неотложное дело. Я был дома и живо собрался, переодевшись в форменное платье. Я застал генерала Мартсона в обществе начальника штаба, начальника канцелярии, нескольких неизвестных и молодого ротмистра Закаспийского округа пограничной стражи с какой-то двойной восточной фамилией, вторая часть которой была Эдигей[62]. С нашей стороны никто, кроме меня, не говорил на английском языке, и мне пришлось служить переводчиком. Этот офицер, прибывший с Кушки, доложил, что у них на посту, но на афганской территории, находятся два индуса под охраной афганских солдат, прибывших от какого-то раджи с военным поручением к генерал-губернатору, и что они везут с собой «Золотое письмо» самому Государю. Однако посланцы не соглашались перейти нашу границу и последовать в Петербург до тех пор, пока генерал-губернатор не даст им своего честного слова отпустить их с миром, если миссия не заслужит внимания. Недолго думая, генерал Мартсон дал это слово, и двое индусов появились вскоре в Ташкенте.

Я увидел перед собой двух измученных путешественников — молодых сравнительно людей: один из них был сикх с великолепной бородой, разделенной пробором и зачесанной кверху, другой — индус с давно не бритым лицом. Генерал Мартсон, видимо, рассчитывал на добрые вести, и по туркестанскому обычаю гостям был предложен «достархан» с разными горячими и холодными неалкогольными напитками, фрукты, конфеты и пр. Слегка прикоснувшись к «достархану», начали беседу. Оказалось, что послы пришли от некого раджи Пражана, владельца восставшей против Великобритании маленькой территории, возбуждавшего народ Индии к свержению британского ига. Этот Пражан, в случае успеха их миссии, намеревался сам немедленно прибыть в Туркестан. Между прочим, посланцы говорили, что с непобедимой Германией не имеет смысла воевать, что необходимо скорее заключить с нею союз, что русский император, которому сам раджа шлет «Золотое письмо», поймет выгоды единения с немцами и прикажет своим туркестанским войскам вторгнуться в Индию и в союзе с индийцами отнять ее от Великобритании. Не ясно только было, в чью пользу: в пользу ли самого раджи или отдельных владетелей, или России. Генерал подумал и ответил, что Россия верна своим союзникам, что она не верит в непобедимость Германии и не имеет никаких видов на Индию. Ввиду чего их миссия неприемлема, и он должен был бы их арестовать как врагов европейского союза, но что ввиду данного им слова отпустит их без вреда домой, но не сразу, так как может встретиться нужда в дальнейших беседах. Посланцы, видимо, были сконфужены, но, видя, что их по-прежнему отвозят на постой в отель «Регина», успокоились.

Обо всем этом было сообщено по телеграфу министру иностранных дел, а «Золотое письмо» по прочтении послано почтой в Петербург. Оно было выгравировано на обеих сторонах довольно толстой чисто золотой пластины величиной с большую визитную карточку. Содержание ее было кратким выражением словесного предложения посланцев. Из министерства я немедленно получил телеграмму с указанием, что британское командование хорошо знает этого мелкого раджу и, считая, что он может быть вреден своей антибританской пропагандой, требует арестовать посланцев, а если удастся, то и самого Пражана.

Иду со срочным докладом к генерал-губернатору, предварительно сговорившись по телефону. Генерал спокойно выслушивает меня и замечает, что ради кого бы то ни было он своего слова нарушить

не намерен и, конечно, отпустит посланцев, хотя бы ему грозили отставкой. Было ясно, что ничего другого от него не добиться, хотя МИД, да и военные, вряд ли одобряли упрямство Мартсона. Индусы же, ввиду того что выпуск их из-за телеграммных переговоров стал оттягиваться, начали беспокоиться и просить меня о скорейшем отпуске их ввиду того что климат и пища плохо отзываются на их здоровье. В конце концов, их отправили под конвоем в Кушку и перевели через границу. В такое трудное для союзников время генерал Мартсон поступил, по-моему, очень опрометчиво. Он должен был немедленно арестовать их и выдать англичанам, стоявшим в Мешхеде. Но по-человечески нельзя было не удивляться благородству характера генерала Мартсона, не только рисковавшего своей карьерой, но, может быть, и вредившего общему делу и, однако же, не нарушившего честного слова!

В связи с требованием англичан выдать посланцев мятежного раджи Пражана в руки их военных властей я должен упомянуть, что афгано-персидская граница охранялась соединенными русско-английскими отрядами. В нашем ведении была половина пограничной линии от русской границы до, не помню теперь какого, пункта; англо-индийские войска наблюдали за своей половиной. Наш отряд состоял из двух полков семиреченских казаков под командой полковника Гущина[63], английским отрядом командовал, насколько помню, генерал-майор Маллисон. Задачей соединенных отрядов было недопущение прохода в Афганистан германских и австрийских лазутчиков для поднятия Афганистана против Великобритании и вовлечения его в войну на стороне Германии. Граница была растянутая, и без прорывов не обошлось, но немецкая пропаганда в Афганистане не имела сколько-нибудь значительного успеха.

Вторым вопросом, по которому генерал Мартсон пошел вразрез с МИД, был хивинский. Я помню речь генерала Мартсона после молебна и большого парада на соборной площади, обращенную к туземным старейшинам. Я не скажу, чтобы речь эта мне понравилась, да она совершенно и не шла добродушному Мартсону. Напомнив аксакалам об их присяге на верность Белому царю, он сказал, что всякая попытка и работа во вред русским интересам будет не только строго наказываться, но и весь Туркестан будет залит кровью. Аксакалы (старшины), украшенные медалями, стояли мрачно понурив головы, и старый переводчик полковник Исфендиаров чувствовал себя не особенно ловко. Такая речь, конечно,

могла быть вызвана уже обнаружившимся выступлением Турции на стороне Германии и общим тяготением всех мусульман суннитского толка к халифу в Константинополе. Но, думается, таких сильных выражений, как «залить кровью», следовало бы избежать. Речь, конечно, разнеслась по всему мусульманскому Туркестану и, конечно, комментировалась не в нашу пользу.

Так или иначе, во время войны Туркестан жил довольно мирной жизнью. Особенно спокойно было в Бухаре, где влияние эмира и близость к Ташкенту могли поддерживать спокойствие. Не то в отношении Хивы: это была отдаленная окраина. Местным русским центром был Петроалександровск, где резидировал начальник Аму-Дарьинского округа, под контролем которого было все ханство. Там же и в других городах, вроде Ургенча, были расположены какие-то дружины, части, состоявшие из совсем забывших военное дело пожилых людей.

Никто, как водится, и не думал о возможности восстания в Хиве, и оно произошло совершенно неожиданно на глазах у местных властей. Причины его можно установить лишь предположительно: пропаганда германских агентов о слабости России и грозящем ей поражении, неудачный подход и злоупотребления властей на местах, выжимание продовольствия для нужд войск и т.п. Слабый, полубольной хан ничего не мог поделать и был, конечно, на нашей стороне. Кажется, и чуть ли не на него был заговор. Наши дружинники в типичном старом арабском городе с лабиринтом улиц отсиживались в крепости. Единственным преимуществом хивинцев были лабиринты улиц, затруднявшие стрельбу и действие артиллерии. Из Петроалександровска требовали немедленной помощи как людьми, так и продовольствием. Доставить и то, и другое было, однако, нелегко: единственное сообщение из Бухары по Аму-Дарье производилось на старых тихоходных пароходах, и то не до самой Хивы, до которой приходилось идти караваном.

Генерал Мартсон, обсудив положение, немедленно решил послать в Хиву соответственной силы отряд, поставленный под начальство генерал-лейтенанта А.С. Галкина[64], Сыр-Дарьинского губернатора. Генерал Галкин был туркестанский старожил, офицер Генерального штаба и вообще умный и высококультурный человек. Но он был алкоголик и в состоянии запоя часто манкировал делами, и, кроме того, как начальник военной экспедиции, он, будучи долгое время администратором, оказался далеко не на высоте. Возможно, это была случайность, но отряду, посылавшемуся

против хивинцев, было оказано недостаточное внимание в смысле боевой силы и вооружения. Несмотря, однако, на все эти затруднения, хивинцы были подавлены, и возник вопрос о реформах в хивинском комитете в смысле полного поставления его под наш военный контроль. Мне придется упомянуть об этом в дальнейшем, когда туркестанским генерал-губернатором был уже генерал-адъютант Куропаткин[65].

Генерал Мартсон, видимо, уже тяготился службой в Туркестане, да и его болезнь сердца прогрессировала, и он возбудил вопрос о пересмотре в Петербурге всего положения Хивы, имея в виду также и последствия, но, в общем, ходили слухи, что он в Туркестан не вернется. Планы генерала в отношении Хивинского ханства не нравились МИД, желавшему более мягких путей к умиротворению края, и было решено собрать в Петербурге конференцию с участием представителей обоих министерств: МИД и военного, а также туркестанского генерал-губернатора.

Не помню я теперь многих имен в связи с этой конференцией. Председательствовал генерал Мартсон, имея при себе помощником Н.В. Ефремова. Со стороны МИД были: начальник 3-го политического отдела В.О. фон Клемм, один из делопроизводителей отдела Б.Н. Андреев и я. Секретарем конференции был известная в Петербурге личность, член Государственной Думы, носивший теперь странную форму прапорщика запаса, Набоков, погибший в первые дни революции. Я его помню гимназистом, будучи сам еще в одном из младших классов. Конференция шла довольно вяло, так как МИД знал, что Мартсон был на уходе, и, видимо, там были уже осведомлены о том, кто будет назначен ему в преемники. Кажется, конференция даже была отложена, не придя ни к какому основательному результату. Перед конференцией и во время перерыва начальник Азиатской части Главного Штаба, облюбовав меня, рассказывал нам очень много о своей монографии «Белые скифы», которую он готовил к печати. Андреев, порядочный зубоскал, сильно потешал в чайной комнате смущенное рассказом о белых скифах общество, высмеивая добродушного генерала.

Вскоре после конференции фон Клемм сообщил мне, что в Туркестан назначен командующим войсками и генерал-губернатором генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин, и попросил меня приготовить записку о взаимоотношениях между начальником экспедиционного отряда и генеральным консулом в Мешхеде Никольским. Оба они никак не могли ужиться, как два медведя в

одной берлоге, и оба слали жалобы друг на друга в то или другое министерства и генералу Мартсону. Оба претендовали на первенство, и мне пришлось пережить немало непростых минут, отстаивая Н.П. Никольского, которого я знал как одного из самых добродушных и миролюбивых коллег. (В действительности оказалось, что конфликт создан не столько генконсулом и начальником, сколько их прекрасными половинами — властными дамами, претендовавшими на первенство.) Но в данном случае мне казалось, что и он мог быть не прав, претендуя на принятие парадов, тогда как вообще в русском официальном обиходе гражданские чины и даже большие государственные люди военных парадов никогда не принимали. И МИД чувствовал, что Н.П. Никольский где-то перехватил, так как Клемм предлагал мне назначение на его место для установления добрых отношений с военными, столь желательными ввиду присутствия англичан. Никольского же предлагали перевести в открывшееся в Тегеране генконсульство, где при наличии миссии возможность ссор исключалась.

Мне не хотелось ехать, так как я мечтал об Индии и даже уклонился от почти одновременного мне предложения поехать дипломатическим чиновником в Тифлис, то есть состоять при главнокомандующем нашими силами на Кавказе Великом Князе Николае Николаевиче. Клемм со мной согласился, считая, что Мешхед малоинтересен, Тифлис же рискован, ввиду того что бессилен перед Великим Князем: понравишься ему — пойдешь в гору от МИД в большое офицерство, не понравишься — под горку.

Говоря о временном управлении Туркестанским краем генералом Мартсоном, я должен сказать несколько слов о военнопленных, игравших немалую роль в жизни края в это и, особенно, в последующее время. Туркестан сразу после падения Перемышля[66] принял до 50 тысяч военнопленных разных национальностей, наибольшая часть которых была размещена в Ташкенте. Расквартирование их не представляло особых затруднений, так как для них были отведены казармы ушедших на фронт туркестанских стрелковых и иных частей, но вопрос продовольствия этой громадной армии в то время, когда уже начали ощущаться трудности снабжения населения пищевыми продуктами, оказался очень острым. Особенно резко чувствовался недостаток муки и невозможность кормить военнопленных привычным для них чистым пшеничным хлебом. Приходилось выпекать для них хлеб из кукурузной муки с небольшой лишь примесью пшеничной. Быстро черствевший и

ложившийся камнем на желудок этот неудобоваримый хлеб в связи с вообще непривычной пищей вызывал упорные желудочные заболевания, и ташкентское кладбище является главным свидетелем плачевной участи массы этих невольных гостей Туркестана от дизентерии и сыпного тифа.

В лучшем положении оказались те из них, кто попал на частные работы в качестве ремесленников и музыкантов. Первые были на довольствии у хозяев, а вторые прирабатывали на улучшение своего пайка. Из музыкантов, по инициативе состоявшего по распоряжению генерал-губернатора при Великом князе Николае Константиновиче полковника Д.В. Белова[67], был составлен великолепный симфонический оркестр. Оркестранты играли два раза в неделю по вечерам летом в саду, а зимой в помещении местного Военного собрания и заполняли огромный пробел в духовной жизни Туркестана, лишенного возможности слушать хорошую музыку.

В общем, положение пленных австрийцев, особенно славян, было сравнительно сносно, а офицеры пользовались даже свободой: прогуливались по Кауфманской улице, делали покупки и собирали толпу праздных зевак. Гораздо суровее был режим для нескольких сот военнопленных германской армии в отместку за притеснения пленных русских в Германии. Немцы помещались в тесном и неудобном помещении дисциплинарной роты, где они находились на положении заключенных и получали худший паек. Приезжавший в то время в Туркестан для инспекции австро-германских военнопленных по просьбе воюющих с нами держав представитель еще нейтральных Соединенных Штатов Северной Америки нашел положение австрийцев более или менее удовлетворительным, в отношении же принятого для немцев режима высказался резко отрицательно, настаивая на необходимости немедленного его изменения. Не помню, однако, чтобы его предложения имели какой-либо успех и чтобы в быт немцев были внесены изменения к лучшему. Обычным возражением была необходимость репрессий за невозможное отношение к пленным русским в Германии.

Лицом, находившимся на особо привилегированном положении, был попавший в числе военнопленных немцев в Ташкент какой-то приближенный к кайзеру большой сановник, захваченный случайно при отступлении немцев где-то в Польше, когда он пытался ускользнуть от преследовавших его казаков в автомобиле. Он был помещен в одной из комнат гостиницы «Регина», где его проживание было обставлено возможными удобствами как в смысле помещения, так и пищи. Свободой, однако, он не пользовался и сносился с властями при посредстве уже упомянутого мною полковника Белова. По словам последнего, сановник был вполне доволен своим положением и неоднократно просил засвидетельствовать перед генерал-губернатором его благодарность за гуманное отношение. Ему не суждено было, однако, покинуть пределы Туркестана, так как вскоре после водворения в Ташкент он заболел дизентерией и, несмотря на усилия нескольких врачей, скоропостижно скончался.

Я упоминал выше, что полковник Белов состоял при Великом князе Николае Константиновиче. Я думаю, что современный читатель, возможно, и не слышал об этом представителе нашей императорской фамилии, и для полноты моего рассказа хочу сказать несколько слов об этой интересной личности, тесно связанной с историей и жизнью русского Туркестана. Великий князь Николай Константинович был братом поэта и заведующего военным образованием в России Великого князя Константина Константиновича. Еще молодым человеком он был замешан в каком-то серьезном семейном проступке в связи, как мне рассказывали, с пропажей фамильных драгоценностей его матери Великой княгини Александры Иосифовны. Об этом узнал строгий император Александр III, и молодой Великий князь был удален от двора и выслан на жительство во вновь присоединенный Туркестанский край. Опальный Великий князь быстро освоился со своим новым положением, проявив нелюжинную деловитость и коммерческую жилку в самых разнообразных сферах. Он интересовался работами по орошению Голодной Степи, в которых принял участие своими средствами, построил кинотеатры, служившие главным местом развлечений ташкентцев, собрал у себя во дворце музей туркестанских редкостей и имел несколько мелких первых предприятий. Недвижимую собственность Великого князя в Ташкенте можно было узнать по излюбленной им окраске оранжево-красного цвета — в нее были окрашены и его дворец, и оба кинотеатра. Женитьба его там была не совсем обычна для отпрыска царской фамилии — он был женат морганатическим браком на дочери ташкентского полицмейстера, получившей в браке фамилию Искандер.

Я лично не встречался ни в Великим князем, ни с его женой, так как при отъезде в Ташкент мне было сказано, что Великий князь не имеет никакого официального положения и я не должен ему представляться; в частных же кругах местного общества ни

он, ни она никогда не появлялись. Я чаще всего видел князя на улице проезжающим в экипаже в сопутствии какого-то мужичка, одного или с женой. Он всегда носил шапку белого цвета и николаевский китель. По внешности он был бодрый высокий худощавый старик. Мне приходилось, однако, довольно часто встречаться в Ташкенте уже во время большевиков с его сыном Александром Николаевичем Искандером[68], офицером лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка в Гатчине. Это был застенчивый, еще очень молодой, хотя уже и женатый человек. Он был одним из участников неудачного белого восстания в Ташкенте в январе 1918 года[69], после которого пропал без вести.

Сам Великий князь был одним из первых туркестанцев, поднявших красный флаг над своим жилищем при начале революции и пославшим соответственное приветствие Временному правительству. При приходе к власти большевиков он серьезно заболел и вскоре умер. Он похоронен около ташкентского кафедрального собора. Его жена Елизавета Александровна Искандер осталась хранительницей музея во дворце, при котором она получила разрешение новых властей и жить.

О том впечатлении, которое произвела на наших союзников замена обаятельного человека и толкового дипломата С.Д. Сазонова[70] Штюрмером, много писалось и говорилось, и я не считаю себя достаточно компетентным, дабы судить о размере вреда, нанесенного нашему общему с союзниками делу. Я напомню только о визите Штюрмера в министерство, когда всем чинам министерства, находящимся в Петрограде, было рекомендовано собраться в известное время для представления новому министру. Он никому не понравился, хотя видимо старался произвести благоприятное впечатление своей осведомленностью и разносторонностью.

ГЛАВА 7
Генерал-губернатор А.Н. Куропаткин. Февральский переворот 1917 года. Смена власти в Ташкенте. Командировка в Бухару

В Туркестане же при новом начальнике края генерал-адъютанте Куропаткине, назначенном с большими полномочиями и не предубежденного против МИД, открывалась перспектива интересной работы и надежного будущего.

Ввиду предстоящего приезда в Петроград бухарского эмира, возвращавшегося из Крыма, мне было предложено сопровождать Его Высочество в Бухару, что задерживало на несколько дней мой приезд в Ташкент, и я был представлен генералу Куропаткину в качестве состоящего при нем дипломатического чиновника на вокзале, при отбытии генерала со своей свитой в поступивший под его управление край. Генерал Куропаткин был очень приветлив и просил поторопиться возвращением к месту служения ввиду предстоящей сложной и большой работы.

Во время непродолжительного пребывания эмира в Петрограде только что сменивший С.Д. Сазонова в МИД Штюрмер дал в честь Его Высочества завтрак, на котором должен был присутствовать и я. Со мной, однако, не было надевавшегося в подобных случаях вицмундира, и В.О. фон Клемм предложил мне облечься в полный мундир, но и его со мной не оказалось, так как я поехал в Петроград, не подозревая о возможности проезда эмира и связанных с ним приемов. Меня выручил Р., одолжив мне свой мундир.

Меж тем моему временному заместителю (по моей же рекомендации) в Ташкенте П.П.С., бывшему моему товарищу по гимназии и университету, роль дипломатического чиновника, видимо, пришлась по вкусу, и он уговаривал меня искать нового назначения. Мой же письмоводитель Зайко умолял меня скорее возвращаться и избавить всех оставшихся у меня на квартире от неистовства «Атиллы». Оказывается, П.П., славный малый, но, к сожалению, привычный алкоголик, произвел такой сумбур в моей домашней обстановке и ввел такой своеобразный режим в моем доме, не воздержавшись даже от водворения в нем представительницы прекрасного пола, что моя прислуга указывала на необходимость молитвы с водосвятием для очищения оскверненного вакханалиями моего скромного жилища.

К счастью, эмир уже делал прощальные визиты, и скоро мы двинулись в его собственном поезде в Бухару. Поезд этот состоял из обычного состава вагонов за исключением еще одного, подаренного Государем покойному отцу Его Высочества. Это был большой темно-красного цвета вагон, весь усыпанный по наружным стенам звездами по образцу бухарского ордена Золотой звезды. Внутри были салон, спальня, кабинет. На стоянках эмир обычно выходил с сопровождавшими его русскими в обыкновенный вагон столовой. После завтрака и обеда часто предлагали сыграть партию в шахматы, а иногда, чтобы занять всех, в какую-нибудь

несложную игру в карты. Эмир в то время был человеком лет 35, среднего роста, с наклонностью к тучности. Он хорошо говорил по-русски, пройдя специальный курс Николаевского кадетского корпуса. Он был крайне приветлив в обращении с окружающими и импонировал приветливостью и прекрасными, полными достоинства манерами.

Четырехдневная поездка прошла незаметно, но за это время, особенно при остановках на больших станциях, меня осаждали просьбами о докладе Его Высочеству их заслут чающие награждения бухарскими звездами, которые кое-кому из причастных к обслуживанию поездки эмира лиц и жаловались. Так, я помню, на одной из больших станций к поезду присоединился начальник движения, железнодорожный инженер В.Щ., которого я хорошо знал еще студентом. Он получил Золотую звезду 2-й степени, были выданы звезды и еще нескольким лицам. Вообще эмир был щедр на награды.

В Ташкенте эмиру была оказана соответственная встреча с почетным караулом генералом Куропаткиным, после чего Его Высочество немедленно проследовал в Бухару. На память о нашем совместном путешествии эмир подарил мне золотые часы, служащие мне верой и правдой по сие время.

П.П.С. моих дел не славал, оставив всю канцелярию моему письмоводителю, и мы с ним встретились за несколько станций до Ташкента, куда он выехал для встречи эмира. Он очень жалел, что мне не удалось «повыситься», а ему занять мое место, на котором он обсиделся. Мы с ним расстались в Ташкенте на станции, так как он сопровождал эмира до места своей службы — Бухары.

А.Н. Куропаткин произвел на меня впечатление доброго, сильного, еще не старого человека-крепыша. Каждый день между завтраком и поздним обедом он принимал доклады и работал в своем кабинете, ложась спать по возможности рано. Он был гостеприимным хозяином и обычно собирал у себя по воскресеньям к обеду небольшой круг более или менее близко к нему стоящих людей. По военному времени обед был невелик — всего два блюда и без вин, которые, однако, появлялись на столе при его жене — очень милой, любезной и словоохотливой даме, которая не разделяла отвращения своего супруга к вину.

Он умел ладить с туземцами, которые относились к нему с большим уважением, и во всех запутанных туземных делах искал содействия влиятельных туземцев, успешно насаждая порядок в крае. Он привлекал к себе в сотрудники многих влиятельных туземцев из разных частей края, но привезенный им с собою русский антураж поражал своей слабостью и ничтожеством: так, например, его адъютант, поручик С., был рядовой армейский офицер, видимо, очень невысокого класса, недалекий и лишенный всякого лоска и манер. Несколько более воспитанным представлялся дежурный штаб-офицер поручик У., личность совершенно незаметная. Все старое он заменял своей креатурой. Так, по его желанию был смещен сыр-дарьинский губернатор генерал-лейтенант Галкин, замененный известным во время русско-японской войны налетами в Корею генералом Мадритовым[71], не имевшим никакого административного стажа. По его же настоянию был смещен начальник Ферганской области генерал Гиппиус[72], правда, как говорили, не лишенный странностей. Каким-то чудом удержался и.д. начальника Закаспийской области генерал-майор Колмаков[73], человек несколько низших дарований и образования, чем Галкин и Гиппиус. Казалось, Куропаткин не терпел близ себя людей, которые чем-нибудь могли с ним равняться. Говорили, что он даже вез с собой на место управляющего своей канцелярией одного из генералов Азиатской части Главного штаба Д. Н.В. Ефремов уже готовился к отставке или перемещению, но его деловитость и независимый характер превозмогли, и Куропаткин не только оставил его на месте, но сделал одним из ближайших своих советников.

Единственным приятным исключением из импортированных А.Н. Куропаткиным сотрудников был генерал-лейтенант Сиверс[74], заменивший генерал-лейтенанта Воронца[75], которого Куропаткин не терпел еще по Дальнему Востоку, когда генерал Воронец был начальником Владивостокской крепости. Последний был всесторонне образованный и интересный человек, но пригодный только на посту вдали от фронта. Он был забывчив и неуверен в себе и на доклады возил обычно с собою всех офицеров, заведовавших отдельными частями штаба. Сиверс был довольно молодой, сдержанный, видимо, знающий свое дело и крайне симпатичный человек, не любивший шума от разных мелких мероприятий вроде обедов, приемов и пр. Жена его, молодящаяся веселая живая женщина, была ему полной противоположностью, бывая везде и принимая у себя. За ней обычно волочился хвост военной молодежи, любящей потанцевать, выпить и закусить. После большевистской революции Сиверс, высланный из Ташкента большевиками вместе с Куропаткиным, принужден был служить в Красной Армии и

умер в вагоне от сыпного тифа, возвращаясь в Ташкент на побывку для свидания с семьей после более чем годичного отсутствия.

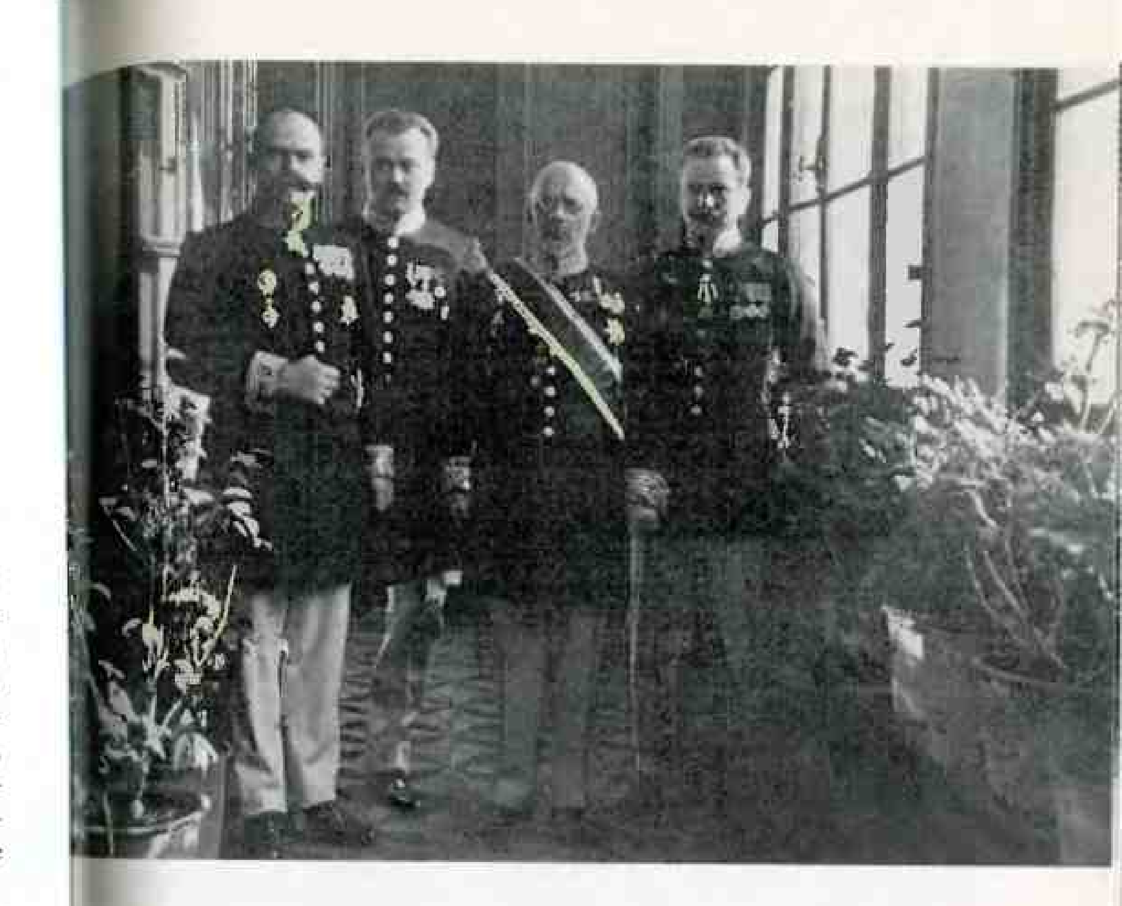
Генерал-адъютант А.Н. Куропаткин был последним генерал-губернатором в Туркестане.

* * *

Революция 1917 года застала меня в Ташкенте, где я с самого начала Великой войны занимал должность дипломатического чиновника при туркестанском генерал-губернаторе. Генерал-губернатором был генерал-адъютант А.Н. Куропаткин. Это назначение осенью 1916 года, когда испытанное этой забытой за время войны отдаленной окраиной потрясение заставило вспомнить о ней правящие круги и послать в Ташкент администратора на смену временным и случайным лицам.

Я имею в виду восстание туземцев края, вызванное решением из Петрограда о призыве на тыловые работы туземного населения Туркестана. Освобожденные со времени занятия русскими края от военной службы туземцы, подстрекаемые духовенством, не усвоив сущности принимаемых правительством ввиду тяжелых условий войны чрезвычайных мер и отстаивая свои, казалось им, незыблемые привилегии, подняли бунт в тех местах, где или непродуманность и крутость администрации и влияние мулл оказались особенно чувствительны, или местные условия, вследствие недостатка путей сообщения, были особенно благоприятны.

Беспорядки с исключительной силой проявились в отдаленных уездах Семиречья, где киргизы неистовствовали над беззащитными русскими поселенцами. Дома их сжигались, имущество расхищалось, мужское население беспощадно вырезалось, а женщины и дети уводились в горы, где подвергались всяческим надругательствам со стороны потерявших голову полудикарей. Обширные материалы по киргизскому восстанию были собраны в нашем консульстве в Кашгаре, куда устремилась волна русских беженцев, ускользнувших от неистовства киргизов, перекочевавших со своими пленниками на китайскую территорию после разгрома русских поселений. Уже после революции, в мае 1917 года, мне пришлось присутствовать на обстоятельном докладе по этому поводу, сделанном драгоманом консульства в Кашгаре Т.Ф. Стефановичем Туркестанскому комитету Временного правительства, изыскивавшему способы к возвращению перебежчиков на свои кочевья.



Единственное сохранившееся фото С.В. Чиркина (крайний слева) в парадном мундире. Крайний справа — предположительно российский консул в Чхонджине (Сейсине) А.С. Троцкий; второй справа — генеральный консул России в Сеуле А.С. Сомов. Сеул. Российское консульство в Корее. 1912



Сергей Виссарионович и Наталья Николаевна Чиркины. 1922



Сергей Виссарионович и Наталья Николаевна Чиркины с сыновьями
Около 1930



Православная община в Сеуле. Приезд из Японии архиепископа Сергия.
Слева направо. Дети внизу: Кирилл и Владимир Чиркины (5-й и 6-й), Лёка Тюлькин (7-й). *Сидят:* Владыко Сергий (3-й), о. Феодосий (4-й).
Стоят, 1-й ряд: дьякон Лука Ким (1-й); швейцарский консул Гефлер (5-й); Н.Н. Чиркина (7-я).
Выше ее: слева — С.В. Чиркин; справа, с бабочкой — кузен Н.Н. Чиркиной Борис Ставровский.
Снимок сделан перед зданием православной церкви (квартал Чондон)
6 мая 1928





С.В. и Н.Н. Чиркины. Корея, 1920-е годы
Снимки сделаны В.А. Скородумовым



Н.Н. Чиркина (справа)
и супруга В.А. Скородумова
Корея, 1920-е годы



Владыко Сергий (Тихомиров) и семья Скородумовых
Конец 1920-х годов (?)



Рождественский маскарад в русской общине.
Лежит справа Василий Николаевич Ефремов, брат Н.Н. Чиркиной.
Во 2-м ряду 3-я слева Н.Н. Чиркина; от нее чуть влево и вверх — ее кузен Борис Ставровский («цыганка»).
2-й справа в верхнем ряду — С.В. Чиркин.
Сеул, 1930-е годы

Справа:
Иностранная община в Сеуле. В 1-м ряду 4-й слева С.В. Чиркин.
1930-е годы



Русская община. *Слева направо,* 1-й ряд: Кирилл Чиркин (4-й).
3-й ряд: о. Поликарп (Приймак, 1912–1989), глава Русской православной миссии в Сеуле в 1936–1948 годах (4-й),
Н.Н. Чиркина (5-я) С.В. Чиркин (9-й), дьякон Алексей Ким (10-й).
Сеул, 1937–1938





«Ханская орда». С.В. Чиркин с сыновьями и Н. Белоголовой (сидит 2-я слева) в ресторане, куда его пригласила группа учеников-корейцев, которых он обучал английскому языку. Студент по имени Хан (стоит справа, в очках) был старшим в группе, поэтому С.В. Чиркин в шутку называл ее «ханской ордой». Сеул, середина 1930-х годов

Возвращаясь к кратковременному пребыванию на посту генерал-губернатора А.Н. Куропаткина, я должен сказать, что военная карьера его в то время уже была, видимо, бесповоротно закончена. Он командовал где-то на германском фронте армией или корпусом, и деятельность его как стратега протекала совершенно незаметно. Высших назначений в действующей армии он не искал, а возможно, и не мог на них рассчитывать как не выдержавший «экзамена» в русско-японскую войну и не оправдавший возлагавшихся на него надежд «на переэкзаменовку» при европейском конфликте. Так, по крайней мере, болтали досужие умы в Ташкенте, со слов якобы самого Алексея Николаевича.

Во всяком случае, назначение в Туркестан в переживаемый краем трудный момент было, несомненно, почетным и наиболее соответствующим природным склонностям, дарованиям и предыдущему опыту по Туркестану Алексея Николаевича, оставившего о себе память как о выдающемся деятеле по должности начальника Закаспийской области. Говорили, что генерал едет в Ташкент с большими полномочиями и крупными задачами по оживлению несколько заснувшего в своем развитии богатейшего края.

Назначение А.Н. Куропаткина главным начальником Туркестанского края нельзя было не признать крайне своевременным и удачным. Он был уже по прежней своей деятельности очень популярен среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он любил туземцев, был доступен для них и внимательно входил во все их нужды, зная хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в Ташкент рядом мягких мер при посредстве преданных ему влиятельных туземцев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными распоряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже своевременно без ропота формировались этапные тыловые рабочие отряды и отправлялись на фронт. Вообще же делам туземцев он уделял много времени и заботы, и приходилось даже слышать мнение, что А.Н. Куропаткин благоволит туркменам, сартам и киргизам в ущерб русскому населению.

В области пограничной политики генерал-губернатор успел провести два больших дела по своей собственной инициативе и, так сказать, за свой страх предполагал представить их на одобрение в Петроград уже в законченном виде. Первое — перенесение нашей государственной границы с Персией за Аракс на Хорасанский хребет явочным порядком, не входя в какие-либо по этому вопросу переговоры с персидским правительством. Для осуществ-

ления этого плана представлялись широкие возможности ввиду введения наших войск в Хорасанскую и Астрабадскую провинции для обслуживания пограничной полосы с целью недопущения проникновения в наши, а особенно афганские, пределы эмиссаров находившихся с нами в войне государств. Желательность перенесения границы за Аракс объяснялась, главным образом, двумя причинами: 1) необходимостью упрочить положение наших колонистов в Гюргиском районе, терпевших большие неудобства от произвола персидских властей и своеволия кочевников-туркмен и 2) желательностью уничтожить крайне неудобное «двуданничество» туркмен, перекочевывавших, смотря по сезону, с русской на персидскую территорию и наоборот.

Сознавая, что изменение границы есть акт международный, Алексей Николаевич хотел придать задуманной им операции характер карательной экспедиции для наказания разбойников-туркмен, а затем передвинуть для охраны безопасности района наши пограничные посты к Хорасанскому хребту, предоставив впоследствии дипломатии зафиксировать существующее положение. Начальствование над этой и без того рискованной экспедицией попало, к сожалению, в сомнительные руки одного из любимцев и ставленников Куропаткина — генерала Мадритова. Человек, несомненно, неглупый и энергичный, но неразборчивый в средствах и хищный по наклонностям, он быстро разгромил мятежников-туркмен, взяв с них немалую контрибуцию. Подвигам его положила предел революция, когда он принужден был покинуть отряд и бежать в Россию.

Заключение нового договора с хивинским ханом было другим крупным делом. Поводом к нему послужили не прекращавшиеся беспорядки в Хиве, вызванные новыми раздорами между коренным узбекским населением и кочевыми туркменами, особенно усилившиеся во время войны и потребовавшие введения русского отряда для охраны русских подданных и поддержки ханского правительства. Договор имел целью поставить ханство под больший русский контроль путем создания в Хиве должности нашего представителя, которому вменялось в обязанность быть советником и руководителем хана во всех его действиях и начинаниях. С этой целью хан был вызван в конце 1916 года в Ташкент, обласкан Алексеем Николаевичем и подписал представленный ему уже в готовом виде договор, ставивший его в еще более тесную связь с Россией. Договор этот был отправлен при докладе на Высочайшее

имя в Петроград в конце января 1917 года и не получил осуществления ввиду февральской революции.

Сведения о происшедшем в Петрограде перевороте пришли в Ташкент с некоторым опозданием. В среду вечером я был в Военном Собрании на концерте симфонического оркестра, составленного из военнопленных австрийцев, водворенных в Туркестане после падения Перемышля. Против обыкновения начало концерта затянулось, так как ожидали прибытия генерал-губернатора, аккуратно посещавшего эти концерты, происходившие два раза в неделю по средам и субботам. Бродя по залам Собрания, я столкнулся с начальником Туркестанского почтово-телеграфного округа Орловым, который, отведя меня в сторону, сказал, что, вероятно, генерала не будет на концерте, так как имеются странные тревожные телеграммы из Петрограда о будто бы происшедшем там аресте правительства. Слухи эти понемногу начали распространяться среди публики.

А.Н. Куропаткин прибыл на концерт только после первого отделения. Он выглядел несколько озабоченным и не был так приветлив с окружающими, как обычно. Вероятно, он и на концерт прибыл лишь для того, чтобы своим присутствием показать, что не произошло ничего такого, что могло бы нарушить обычное течение жизни. Тем не менее, он не мог избежать расспросов со стороны бывших на концерте представителей ташкентского официального мира, и вскоре слухи о происшедшем перевороте получили подтверждение. В разговоре со своими собеседниками генерал сохранял наружное полное спокойствие, говорил, что следует терпеливо выжидать дальнейшего развития событий, высказывая свои предположения о возможных политических комбинациях.

На следующий день телеграмма сообщила об отречении Государя за себя и наследника-цесаревича и передаче престола Великому князю Михаилу. Сообщение это при всей своей неожиданности не возбуждало еще особой тревоги за будущее. Однако распространившиеся затем известия об обстоятельствах переворота, отказе Великого князя принять корону, образовании Временного правительства и об организации в Петрограде Совета солдатских и рабочих депутатов заставляли думать, что и Туркестану не миновать потрясений от катящейся волны революции.

Вначале местный правительственный аппарат работал, как будто, по-прежнему. Немедленно сорганизовавшиеся Исполнительный комитет и Совет солдатских и рабочих депутатов, вошедшие

сразу же в контакт с генерал-губернатором, считали, что все идет нормально и ничто не угрожает благополучию края. Мне приходилось неоднократно встречаться с ним в это время как на обычных докладах, так и во внеслужебное время. Генерал был бодр и оптимистично настроен, особенно после получения телеграммы Временного правительства о подтверждении всех его полномочий. Он рассказывал мне о своей первой встрече с представителями Исполнительного комитета, когда он очаровал депутатов своей обходительностью, облобызавшись с председателем комитета стариком Наливкиным, членом I Государственной Думы от Туркестана. По его словам, он мирно побеседовал с ним на животрепещущие темы, удачно обходя вопрос о своей работе впредь при новых условиях указаниями на необходимость неуклонного следования распоряжениям Временного правительства в переживаемое время, когда все должны быть на местах и работать не за страх, а за совесть, и отпустил представителей новой революционной власти так, как он отпускал различные общественные депутации в старое время.

В это время была получена телеграмма военного министра Гучкова с подтверждением прав Куропаткина как командующего войсками с указанием на скорое прибытие в Ташкент члена Государственной Думы князя Васильчикова для облегчения работы по управлению краем в новых условиях. Телеграмма эта чрезвычайно ободрила генерала. Он в интимном кружке выражал уверенность, что при известном умении власти примениться к моменту (и ее энергии) переходное время пройдет благополучно для Туркестана, масса населения которого — туземцы, живущие своей особенной жизнью, не готовые к восприятию социалистических идей и не способные к поднятию каких-либо волнений на этой почве. Несмотря на справедливость этих соображений, генерал ошибался, предполагая, что мирное течение жизни в крае не будет нарушено. Опасность пришла, но с другой стороны.

В ближайшее за государственным переворотом воскресенье в Ташкенте на соборной площади в ознаменование петроградских событий состоялось народное празднество с парадом войск гарнизона. С раннего утра на площадь начали стекаться громадные толпы народа и депутации от разных слоев населения, правительственных и общественных учреждений, учебных заведений и т.д. Депутации несли революционные флаги, все участники празднества были украшены красными знаменами и бантиками, военные

и гражданские чины имели на фуражках обтянутые красной материей кокарды.

Генерал Куропаткин прибыл на парад в сопровождении своего помощника генерала Ерофеева, начальника штаба генерала Сиверса и большой свиты, но порядок на площади поддерживался уже не полицией, устраненной от исполнения обязанностей в первые дни революции, а народной милицией под начальством еврея-выкреста Бройдо, впоследствии при большевиках игравшего большую роль в составе так называемой Туркомиссии. Бройдо, по профессии присяжный поверенный, был юрисконсультом Чуйской ирригационной организации в Ташкенте, удачно уклоняясь от призыва на военную службу. Привлеченный все же в конце концов в ряды, он попал в запасный батальон одного из расквартированных в Ташкенте стрелковых полков. Прекрасный оратор и ловкий человек, он сразу же занял место в ряду вожаков революционного гарнизона и был в первую голову выбран начальником милиции города Ташкента. Странно было видеть эту неумело сидящую на лошади фигуру в солдатской форме, разъезжавшую по площади и отдававшую распоряжения наравне с высшими представителями власти.

Настроение толпы было приподнятое, но спокойное, порядок соблюдался образцовый. После молебствия тут же на площади о благоденствии державы Российской и панихиды по жертвам революции генерал обратился с речью к народу, обрисовывая важность переживаемых событий и призывая народ к спокойствию и поддержке Временного правительства, ведущего Россию к Учредительному Собранию, которое установит образ правления по воле народа. Речь Алексея Николаевича была встречена очень сочувственно, при многочисленных знаках одобрения. После его выступления начались речи рядовых ораторов, осуждавших какой бы то ни было режим, кроме демократической республики. Речи эти вызвали возражения генерала, говорившего, что на собрании отдельных групп граждан недопустимо предрешать тот или иной образ правления и таким образом сеять беспокойство в умах и подрывать веру во Временное правительство. И на этот раз поле сражения осталось за генералом, имевшим на своей стороне сочувствие всех присутствовавших на празднике, за исключением рабочих организаций.

Для того чтобы положить конец митинговым выступлениям, генерал немедленно после своих последних слов отдал распоря-

жение к началу парада. Прохождение войск под звуки марша происходило в полном порядке. Не распропагандированные еще солдаты стройно ответили на приветствие Алексея Николаевича, титулуя его по-новому господином генералом. Затем началось прохождение депутаций. Порядок ничем не был нарушен до самого конца празднества. После парада бодрое настроение генерала еще более окрепло. Видимо, и он сам, и многие верили, что, благодаря большому административному опыту и знакомству с краем, ему удастся путем умеренно-либеральной политики избавить Туркестан от потрясений революции и благополучно довести край до времени общего усиления страны.

Приблизительно в это время была получена телеграмма о возвращении хана Хивинского из поездки с лечебной целью в Крым, куда он выехал сразу после подписания договора, о котором я говорил выше. Признавая какую-либо помпу при проезде хана через Ташкент не соответствующей переживаемым обстоятельствам и способной вызвать не только нежелательные толки среди некоторых классов населения, но даже и активное противодействие встрече генерал-губернатора, хотя и с незначительным, но все же монархом, Алексей Николаевич вызвал меня к себе в день получения телеграммы и поручил мне встретить хана на вокзале от его имени совместно с начальником штаба генералом Сиверсом как представителем командующего войсками. Он поручил мне разъяснить хану, почему, по изменившимся политическим условиям, никак не возможна встреча по обычному церемониалу, и просить его проехать в генерал-губернаторский дом для личного свидания с генералом. В самый последний момент Алексей Николаевич отменил свое распоряжение о поездке на вокзал генерала Сиверса и дал мне в спутники лишь молодого прапорщика-ординарца.

Встретив экстренный хивинский поезд, я вошел в вагон хана, где застал последнего и его спутника генерал-майора Асфендиарова, служившего хану переводчиком во время поездки. Передав Его Высочеству приветствие генерал-губернатора и объяснив причины, по которым не могла состояться обычная торжественная встреча, я передал ему приглашение генерал-губернатора. Хан ответил мне через переводчика, что за время своего пребывания на Кавказе и пути оттуда он вполне ознакомился с переживаемыми Россией событиями и прекрасно понимает, что остановку его в Ташкенте и дальнейшую поездку надлежит сделать возможно более незаметными. После этого мы оставили вагон и вчетвером, то

есть хан, генерал Асфендиаров, ординарец и я, отправились на автомобиле в генерал-губернаторский дом.

Алексей Николаевич принял нас немедленно в своем большом рабочем кабинете. Он вышел на середину комнаты навстречу хану и после обмена приветствиями занял свое обычное место за письменным столом, предложив Его Высочеству кресло напротив себя. Переводчик Асфендиаров сел по правую руку хана, я — по левую. После кратковременной беседы о поездке хана разговор перешел к событиям революции. Хан сообщил, между прочим, что на Кавказе в дни революции он лично не испытал никаких неудобств и на свою приветственную телеграмму Временному правительству получил очень любезный и теплый ответ. После этого генерал-губернатор счел необходимым ближе ознакомить собеседника со значением и смыслом революции и особенно положением Туркестана и ханства, а равным образом и успокоить хотя и старавшегося владеть собой, но заметно растерянного хана, для чего обратился к нему с краткой соответствующей речью.

Тут произошел курьезный случай, который я не могу обойти молчанием. Алексей Николаевич, стараясь говорить как можно проще и понятнее для хана, сказал, между прочим, что февральская революция, кажущаяся обывательскому глазу большой катастрофой, кроет в себе семена блестящего будущего для России и населяющих ее народов. Мы любили нашего Государя, говорил генерал, и он был отцом для своих подданных, но, увы, его окружали недостойные люди, ведшие государство к разрухе и унижению. Нам всем, верным подданным Государя, тяжело слышать о страданиях его, но мы не можем не признать ошибок самодержавия и должны верить, что очень скоро под покровом свободы, равенства и братства всем в России будет легче, а страна достигнет величия и могущества. «Переведите эти слова Его Высочеству», — обратился А.Н. к генералу Асфендиарову. Старый переводчик склонился к уху хана и начал нашептывать ему по-узбекски. Хан лишь покачивал от времени до времени головой. «Ну что же говорит Его Высочество?» — спросил Алексей Николаевич генерала Асфендиарова после наступившего краткого молчания. Переводчик передал хану вопрос генерал-губернатора. Со своим непроницаемым безучастным выражением лица хан ответил несколькими словами по-узбекски. И тут можно было видеть, как старый дисциплинированный солдат, дослужившийся до генеральского чина из юнкеров былого времени, забыв, что он сидит перед главным на-

чальником края, не удержался, прыснув от смеха, и, указывая пальцем на хана, мог только сказать, захлебываясь: «Он говорит — раньше лючше было».

Генерал не любил возражений в тех случаях, когда он того не предлагал собеседникам, а развязности в своем присутствии не терпел, но времена переменчивы, а он, видимо, умел применяться к обстоятельствам. Быстро справившись с собой, он добродушно рассмеялся и сказал, что время покажет хану справедливость его слов. После этого он распрощался со своим гостем, который в этот же день уехал из Ташкента. Недалекое будущее показало, что хан был бóльшим провидцем, чем А.Н. Куропаткин. Сеид-Асфендиар, хан Хивинский, спустя приблизительно год был убит при восстании туркмен, взявших в свои руки власть в ханстве.

Обстоятельства вскоре показали, как ошибался Алексей Николаевич, считая свое положение прочным и благополучие Туркестана обеспеченным. Революционная действительность со сломом всей старой административной машины и упадком дисциплины в армии не могла миновать Туркестана. В первые же дни революции в Ташкенте образовался краевой Совет солдатских и рабочих депутатов, и если Алексей Николаевич успешно мог бороться с вмешательством в его работу различных политико-общественных организаций, более чем наполовину составленных из буржуазного элемента, то борьба с крепнущим Советом, упорно разлагавшим войска и бунтовавшим рабочих, оказалась ему не под силу. Провинциальные отделы Совета начали открываться повсюду не только в областных городах, но и уездных. Результаты их деятельности начали сказываться очень скоро, главным образом, в смещении представителей местной администрации. О каком-либо противодействии этому явлению нечего было и думать ввиду абсолютного отсутствия средств к этому, и А.Н. Куропаткину приходилось лишь считаться с совершившимися фактами, признавая вновь выбранные власти и осуждая отрешенных от должностей лиц как не сумевших заслужить доверие народа.

В это же приблизительно время состоялся близ Чимкента арест генерала Селиванова[76], начальника поезда-выставки трофеев войны, прибывшего незадолго до революции в край для демонстрирования своего подвижного музея. Не помню, чем раздражил герой Перемышля революционных чимкентцев, но только для освобождения его пришлось отправиться в Чимкент помощнику А.Н. Куропаткина генералу Ерофееву[77]. Последний был очень не-

популярен в Туркестане, имея репутацию недалекого, взбалмошного человека еще по своей прежней должности командира 1-го Туркестанского стрелкового корпуса. Отправься он один на освобождение генерала Селиванова, он, вероятно, не избежал бы и сам ареста, но ему сопутствовали представители новой власти, и это обстоятельство помогло ему успешно выполнить задачу.

Параллельно с этими событиями шла работа Совета СРД среди войск гарнизона против генерала Куропаткина. Прибыв с обычным докладом в генерал-губернаторский дом, я был удивлен, найдя в так называемой дежурной комнате необычное тревожное оживление. Я справился у занимавшего должность штаб-офицера при генерал-губернаторе поручика Ульянина, одного из привезенных Куропаткиным с собой при назначении в Туркестан приближенных лиц, в чем дело. Ульянин ответил мне, что он занят спешной работой — перепиской телеграммы его шефа с прошением об отставке военному министру. Встречаясь незадолго перед тем с оптимистически настроенным Алексеем Николаевичем, я заинтересовался, чем вызвана подобная телеграмма. Тогда Ульянин пояснил мне, что во время поездки командующего войсками в расположение одного из полков, он был дерзко встречен солдатами и принужден был, не покидая автомобиля, вернуться в Ташкент, сопровождаемый угрозами и ругательствами солдат. Я ознакомился с текстом телеграммы. Не излагая фактов, побуждающих его покинуть пост, генерал пространно сообщал Временному правительству о том, что он благополучно провел Туркестан через первое, наиболее острое время революции и, считая свою роль законченной, подает настоящей телеграммой в отставку, прося озаботиться скорейшей присылкой заместителя. Одновременно поручик Ульянин сказал мне, что солдаты держат себя вызывающе в отношении командующего войсками и уже ходят слухи о предстоящем его аресте.

Генерал все же принимал доклады, и мне удалось его увидеть на короткое время. Он бодрился и при мне принимал доклад и.д. инспектора инженерной части подполковника Э.М. Бека[78], который подтвердил слухи об агитации против командующего войсками среди солдат со стороны Бройдо, упоминая о надежности подчиненных ему инженерных частей. Генерал пробовал шутить, говорил, что было бы хорошо арестовать Бройдо, но, видимо, ему было не по себе. Выйдя из губернаторского дома, я встретил около собора одного из адъютантов командующего войсками, бывшего

кандидата на судебные должности прапорщика М., который сообщил мне, что вечером на заседании Совета СРД будет обсуждаться вопрос об аресте генерала Куропаткина.

Однако в этот вечер — это было, кажется, в пятницу на Вербной неделе — никакого постановления не было вынесено, но на следующий день под влиянием двух агитаторов, Бройдо и солдата из рабочих Анфирова, было решено арестовать генерала Куропаткина, его помощника генерала Ерофеева и начальника штаба генерала Сиверса. Последнего пристегнули за компанию как правую руку Куропаткина. Против него не выставлялось обвинений, напротив того, он был даже популярен в штабе как среди офицеров, так и среди нижних чинов как умелый и просвещенный начальник. Аресты эти, видимо, были предрешены, и речи ораторов, выступавших против крайних решений, особенно ввиду уже ставшего известным решения А.Н. Куропаткина об отставке, срывались, так как целью Совета было скомпрометировать главного начальника края и насильственно удалить его таким образом из Туркестана как главную помеху углублению революции.

Были лица, которые могли бы, думается, повлиять на собрание в смысле более мягкого отношения к Алексею Николаевичу, например, подполковник хан Иомудский. Но этот умный и хитрый человек, несмотря на то, что пользовался особым расположением Алексея Николаевича, в своем выступлении перед собранием, как говорят, пальцем не пошевелил в пользу генерал-губернатора, хотя он и пользовался влиянием среди кучки революционеров-туземцев и солдат, умея хорошо и ловко говорить, учитывая момент и настроения толпы. Родом из туркменских ханов, он в детстве принял православие и был помещен в один из кадетских корпусов. Окончив курс военного училища, он вышел в офицеры и состоял вольнослушателем в университете по юридическому факультету. Выдержав экзамен, он вышел в запас и был присяжным поверенным в Асхабаде. Говорили, что его прошлое было не совсем безупречным не только в политическом, но и в нравственном отношении. Вступив вновь на военную службу при начале мировой войны, он находился на Кавказском фронте, где получил золотое оружие и дослужился до чина подполковника. Решив опереться на туземцев в своей политике по управлению краем, А.Н. Куропаткин приблизил к себе многих забытых туземцев вроде, правда, ничем не выдающегося потомка кокандских ханов Худояр-хана с семьей и полковника Джурабека[79]. Но если приближение к себе

указанных лиц было не более как тактическим шагом со стороны Алексея Николаевича, отношение его к хану Иомудскому было иное. Последний играл роль советника при нем по многим касающимся туземцев вопросам, жил в Ташкенте, и его всегда можно было видеть у генерал-губернатора. Не сыграв, впрочем, большой роли в Ташкенте в первое время революции, он выехал в Закаспийскую область для политической работы среди родных ему иомудов.

Возвращаюсь к аресту А.Н. Куропаткина и его ближайших сотрудников. Добившись желательного им направления, вожаки Совета в оправдание своих действий в глазах населения и правительства политично удерживали собрание от каких-либо резких мер по приведению решения в исполнение и настояли на домашнем аресте всех трех лиц до решения их судьбы Петроградом. На этом же заседании Совета состоялись выборы новых командующего войсками, его помощника и начальника штаба. На первую должность был избран ташкентский воинский начальник полковник Черкес[80], на вторую — командир 2-го Туркестанского полка Георгиевский кавалер полковник Рыжиков и на третью — один из наиболее способных и знающих офицеров штаба округа полковник Маккавеев.

Выбор, по счастью, пал на людей достойных хотя бы только по своим нравственным качествам: полковник Черкес был уважаемый ташкентский старожил, о полковнике Рыжикове знавшие его люди давали самые лучшие отзывы, полковник Маккавеев тоже хорошо был известен Ташкенту как старый штабной служака. Все они были люди без высшего военного образования, что, впрочем, и понятно, так как все офицеры Генерального штаба были призваны в действующую армию, и если кого-либо из них и можно было считать соответствующим для исполнения возложенных на них обязанностей, то только полковника Маккавеева, знавшего штабное дело и бывшего правой рукой генерала Воронца, занимавшего должность начальника штаба до прихода генерала Сиверса.

Заседание Совета в эту ночь (Вербная суббота) было очень бурное. За вновь избранными представителями высшей военной власти были немедленно посланы автомобили на их квартиры, и, поднятые с постелей, едва успев одеться, они были доставлены в Совдеп, где им было объявлено об их избрании. Не знаю, с охотой ли приняли они возложенные на них революционной властью высшие должности, но, думается, они были подготовлены к избра-

нию, так как о кандидатуре их говорили еще накануне в городе. Так или иначе, они приняли должности, благодарили за избрание и под звуки «Марсельезы» военного оркестра были вынесены из зала заседания и водворены по домам. Церемония эта происходила поздно ночью, так как, помню, около 3 часов ночи я был разбужен звуками «Марсельезы». На другой день, в Вербное воскресенье, генералам Куропаткину, Ерофееву и Сиверсу было объявлено об отрешении их от должностей и домашнем аресте впредь до распоряжений из Петрограда. Одновременно вновь избранные военные власти вступили в исполнение своих обязанностей. Что же касается до функций генерал-губернатора, то таковые временно были возложены на трех членов Туркестанского исполнительного комитета: Поливанова, Беликова и одного поляка — горного инженера, фамилии которого не помню.

Поливанов был очень почтенный старик лет 65, человек образованный, служивший ранее в туркестанской администрации. Он был, кроме того, знаток местных туземных наречий, и известен его труд по сартскому и персидскому языкам. Это была личность исключительной порядочности, идейный социалист-теоретик, плохо разбиравшийся в текущей действительности и еще хуже — в делах по управлению краем. Это был типичный интеллигент, близость которого с народом выражалась, главным образом, в его либеральном образе мыслей и простом костюме: рубашке-косоворотке и брюках в сапоги. При таком его внешнем облике смешно было слышать, как он иногда «французил», что, вероятно, ему казалось необходимым при приеме докладов по дипломатической части. Наиболее заметной страницей его прошлого была кратковременная его деятельность в качестве члена I Государственной Думы от Туркестана. Во всяком случае, Поливанов был уважаемый всеми честный и просто хороший человек. Другим участником этого комитета трех был техник Беликов, человек с революционным прошлым. Производил он впечатление личности вполне порядочной, из трио он казался наиболее деловитым, влиятельным и страстным. Наконец, последний из трех китов, на которых легло управление краем, инженер Ф., был ничем не замечательный типичный средний интеллигент. В общем, эта коллегия случайных людей была совершенно не подготовлена к той роли, которую, к счастью, им пришлось исполнять очень недолго.

Верившее в опыт, а может быть, попросту забывшее о Туркестане в заботах об укреплении своей власти, Временное правительство спохватилось и, утвердив в должности Черкеса, Рыжикова и Маккавеева, немедленно отправило в Ташкент особую комиссию для управления краем. Добившийся ареста казавшихся ему наиболее опасными лиц Совдеп успокоился. Арестованные находились в обстановке привычного домашнего комфорта, и с особого разрешения с ними допускались даже свидания. Пребывание в Ташкенте генералов Куропаткина и Сиверса длилось недолго, и на Святой неделе по распоряжению Временного правительства они были отправлены в Петроград в сопровождении небольшого конвоя под начальством офицера.

На вокзале в день их отъезда собралась большая толпа праздной публики, знакомых и представителей ташкентских официальных лиц проводить их. А.Н. Куропаткин держался очень бодро и, казалось, был в хорошем настроении, приветливо обменивался рукопожатиями с провожающими и даже шутил. Генерал Сиверс был смущен и взволнован, может быть, от обстановки, а вероятнее, от того, что оставлял в Ташкенте свою семью. Отъезд их состоялся при громких пожеланиях счастливого пути со стороны собравшихся на перроне. Генералу Куропаткину было предоставлено общее с генералом Сиверсом купе 1-го класса. С этим же поездом уезжал из Ташкента назначенный на место генерала Мадритова сыр-дарьинским губернатором генерал Корульский[81], так и не успевший вступить в должность.

ГЛАВА 8
Туркестанский комитет Временного правительства, резидентство в Бухаре и революция в ханстве

В это время Туркестан уже жил по всем законам революционной жизни. Во всех областях создавались областные, а в уездах — уездные советы, являвшиеся фактически главной властью на местах, опираясь на вооруженную силу. Во главе гражданской администрации стали вместо старых властей областные и уездные комиссары, работавшие в зависимости от местных исполнительных комитетов. Что касается правительственных учреждений, то они оставались в прежнем составе, работая на старых основаниях.

Нелишне здесь упомянуть о том, как сказалась революция на настроении населения Туркестана — как туземного, так и русского. Для туземных масс всех народностей Туркестана государствен-

ный переворот был явлением совершенно непонятным. Соприкасаясь с русской жизнью чисто внешним образом и живя патриархальным укладом, мало поколебленным присоединением края к России, видя в имени Белого Царя что-то недоступно священное, они могли только удивляться проявлениям новых форм жизни, так несогласных с их мировоззрением, оставаясь лишь безучастными созерцателями происходящей на их глазах ломки.

Но, говоря о туземной массе Туркестана, нельзя забывать того хотя и незначительного, но все же заметного для русских класса туземцев, который по материальному достатку и образованию — от высшего до полученного в русско-туземных школах — был не менее русских способен к восприятию выдвинутых революцией требований и лозунгов. Этот класс, о котором только и можно говорить как об участнике революционной жизни Туркестана, я подразделил бы на два разряда. К первому надо причислить туземных богатеев, имевших большие торговые связи с Россией, и немногочисленную интеллигенцию. Они составили группу умеренных националистов. Ко второму относилось большинство полуобразованных по-русски туземцев, как-то: приказчиков и мелких служащих разного рода, сторожей при конторах, рассыльных и т.п. Они примкнули к Совдепам, и кое-кто из них даже попал в члены этих организаций.

Русская интеллигенция в крае, включавшая служащих в правительственных и частных учреждениях, преподавательский персонал учебных заведений, офицерство, людей свободных профессий и купечество, составляла инертное, умеренно настроенное ядро, за немногими исключениями относившееся пассивно к новым проявлениям жизни, вызванным революцией. Наконец, наиболее активную группу представляли рабочие, рядовой персонал русских учреждений, прислуга и, главным образом, солдаты, руководимые опытными политическими агитаторами, составлявшие, как и везде, крайнюю оппозицию правительству. В первую очередь из этой группы составлялся и пополнялся Совдеп, в который, как исключение, вошло незначительное число ищущих популярности и легкого успеха офицеров и военных врачей. В нее же вошло несколько интеллигентов из евреев, бывших главными руководителями и политическими просветителями темных рабочих и солдат. Эта группа оказалась наиболее спаянной и наиболее активной в борьбе за, как было принято говорить, дарованные революцией свободы. Из воинских частей, сохранявших дисциплину и примыкавших к умеренной ин-

теллигенции, были только Ташкентское военное училище и школа прапорщиков, по составу малочисленные, а по военному опыту — совершенно сырой материал.

Все, что ни пыталось организоваться и противостоять усиливавшемуся разрушительному влиянию Совдепа, было непрочно и, главным образом, не имело силы. Наибольшие надежды возлагались на начавший формироваться союз офицеров, но попытка эта не пошла дальше нескольких, правда, очень многочисленных собраний — было произнесено много прекрасных речей, учрежден союз и произведены выборы председателя, но вспыхнувший яркой искрой, союз если не погас, то тлел умирающим пламенем. Офицерство, выдвинув отдельных отличных офицеров, не имело, видимо, хороших организаторов, да и было слишком малочисленно по сравнению с красными. По крайней мере, если союз и существовал, то только по имени, и в дальнейшем его деятельность ни в чем не проявилась.

Конец происходившему в Ташкенте междуцарствию положил приезд Туркестанского комитета Временного правительства во главе с Н.Н. Щепкиным через несколько дней после отъезда генерала Куропаткина.

Встреча Туркестанского комитета Временного правительства была организована по примеру встречи генерал-губернатора. В парадных комнатах вокзала собрались все высшие представители администрации и главы учреждений; различные же депутатские комиссии и общественные организации расположились на перроне. Поезд комитета был встречен звуками «Марсельезы» и приветственными криками собравшейся многочисленной публики. Обойдя депутации, члены комитета прошли в парадные комнаты, где Н.Н. Щепкин познакомился с присутствовавшими. В состав комитета входило 8 человек, из которых я помню председателя — кадета, члена Государственной Думы Н.Н. Щепкина, а также членов: горного инженера, кажется, профессора Петроградского политехнического института В. Преображенского, присяжного поверенного, народного социалиста В.С. Елпатьевского, одного из видных деятелей петроградского политического мира Липовского, инженера путей сообщения киргиза Таксенбаева, члена Государственной Думы Максудова, делопроизводителя Азиатской части Главного штаба генерал-майора Давлетшина[82] и шлиссельбуржца Иванова. Как говорили, комитет прибыл не в полном составе и приезд прочих членов его ожидался в недалеком будущем. К со-

жалению, мое знакомство с комитетом, за исключением В.С. Елпатьевского, было очень непродолжительно, так как не более чем через неделю после прибытия комитета в Ташкент мне пришлось выехать в Бухару для управления нашим там резидентством после ареста резидента А.Я. Миллера[83] и секретаря агентства Шульги, которые были отправлены в Петроград.

С Н.Н. Щепкиным я встречался, не считая представления на вокзале, не более двух раз. Это был полный, небольшого роста человек лет 55. В обращении он был очень прост и обходителен, производя очень симпатичное впечатление. Одевался он очень просто, при всяких обстоятельствах нося коричневый английский френч и черные брюки, заправленные в высокие сапоги. Из членов комитета В. Преображенский казался наиболее активным и применяющимся к моменту. Главным образом его можно было видеть при даче всевозможных объяснений представителям разных политических и общественных организаций по наиболее острым вопросам. Он, казалось, никогда не терял присутствия духа, хорошо и основательно говорил. В.С. Елпатьевский в первоначальный период деятельности комитета не играл в нем выдающейся роли. С ним я познакомился впоследствии в Ташкенте и Бухаре и буду иметь случай поговорить о нем подробнее в дальнейшем. С Давлетшиным я встречался ранее — в Петрограде в 1916 году во время поездки туда временного генерал-губернатора по делам края и, главным образом, Хивы и позднее — в Ташкенте, куда он прибыл в свите генерала Куропаткина. Это был человек лет 55. Почти вся служба его прошла в Азиатской части Главного штаба. Он считался знатоком Туркестанского края и в качестве такового вошел в состав комитета, не предполагая, однако, в нем долго оставаться, поскольку не чувствовал, как он сам говорил, в себе призвания к политической работе. Липовского, Таксенбаева, Максудова и Иванова я почти не знал.

Надеждам населения Туркестана на установление нормальной жизни в крае с прибытием Туркестанского комитета Временного правительства не суждено было осуществиться, так как местный Совдеп сразу же встал в резкую оппозицию к Комитету, тормозя его деятельность на каждом шагу. К сожалению, я не могу коснуться деталей этого антагонизма вследствие моего отъезда в Бухару. Думаю, что это было повторением в миниатюре того, что происходило в Петрограде. Перейду теперь к бухарским событиям, касаясь Ташкента постольку, поскольку я мог наблюдать за ним из Бухары.

* * *

Государственный переворот в России не мог немедленно же не отозваться на Бухаре, прочно связанной с Россией железнодорожным путем. Эмир обменялся с Временным правительством приветственными телеграммами, но был, видимо, сильно встревожен. Человек от природы мягкого характера, считавшийся главой всего туркестанского мусульманского мира как владетель ханства, бывшего рассадником мусульманского просвещения в Туркестане, и пользовавшийся, кроме того, расположением Государя, он жил спокойной жизнью, управляя своей страной по заветам старины, не чувствуя русского вмешательства во внутреннее управление своей страны. Правда, в 90 верстах от его резиденции в Старой Бухаре, на территории, отведенной еще его отцом для русского поселения, развившегося в чахлый городок Новую Бухару, пребывал русский политический агент. Но он был, главным образом, дипломатическим представителем русского правительства, посредником между эмиром и Петроградом и Туркестанским генерал-губернатором по делам ханства и русских поселений в Бухаре, а также представителем и защитником интересов России и русских подданных.

Революция сразу внесла крупные изменения во взаимоотношения Бухары и Туркестана. В ханстве находилось несколько русских поселений, из них наиболее важные — Чарджуй, Новая Бухара, Керки и Термез. Первые два примыкали к станциям Каган и Чарджуй Среднеазиатской железной дороги, а вторые были расположены при станциях тех же наименований Бухарской железной дороги по эту сторону Аму-Дарьи, служащей границей между Бухарой и Афганистаном. Поселения эти по своему административному устройству являлись как бы отдельными ячейками одной области, в отношении коих политический агент пользовался правами губернатора, подчиненного Туркестанскому генерал-губернатору. Во всех этих пунктах были размещены русские гарнизоны, довольно многочисленные в Керки и Термезе как в пограничных с Афганистаном пунктах.

Гражданское население этих мест составляли служащие некоторых наших правительственных учреждений и частных предприятий, главным образом — хлопкоочистительных, и персонал банков, а также железнодорожные служащие, торговцы, ремесленники. Среди последних двух категорий было много евреев. Таким

образом, поселения эти, в сущности, являлись чем-то вроде русских уездных городов с вполне достаточным элементом для приобщения к революционному движению, охватившему Россию. Прежде всего, во всех поселениях в первые же дни революции были созданы исполнительные комитеты и совдепы, немедленно ставшие в оппозицию политическому агенту как ставленнику царского правительства.

Наш политический агент А.Я. Миллер — человек очень умный и тактичный, с большим опытом работы в Средней Азии и, в частности, в Бухаре — сумел скоро найти общий язык и наладить отношения с революционными исполнительными комитетами. Это было даже не особенно трудно, так как состояли они в основном из представителей местной буржуазии со значительным еврейским элементом. Основным требованием бухарской революционной демократии была передача агентом своих административных функций исполнительному комитету, на что А.Я. Миллер пошел с охотой, оставив за собой лишь дипломатическую часть. В это же время политическое агентство МИД было переименовано в резидентство, так как старая терминология в представлении революционной демократии связывалась с функцией политической агентуры, то есть «охранки», разведки и т.д.

Затем возник вопрос о необходимости приобщения ханства к «благам революции». Его выдвинула небольшая группа бухарцев, прошедших русскую школу и часто бывавших не только в Туркестане, но и в центральной России по своим торговым делам и по поручениям разных фирм. Они сорганизовались в так называемую «младобухарскую партию» и имели свой комитет. Организация эта не была многочисленной и вряд ли насчитывала больше 200 человек, в среде коих было немало сомнительного элемента — людей без определенных занятий, искавших легких способов существования под покровом политической работы. Партия эта немедленно вошла в контакт с соответствующими русскими политическими организациями в Бухаре и указывала на необходимость самых широких демократических реформ в ханстве, погрязшем в невежестве и изнемогавшем под бременем административного произвола.

Положение это в значительной степени соответствовало действительности, и А.Я. Миллер сознавал, что происходящие в России и нашедшие немедленный отголосок в русских поселениях ханства события не могут не сказаться болезненно на последнем, если бы правительство эмира, игнорируя русскую революционную действительность, продолжало держаться рутины в деле управления. Указывая министру иностранных дел на то, что формальное выражение эмиром лояльности Временному правительству и подтверждение им прежних обязательств Бухары перед Россией никоим образом при новой политической обстановке не могут гарантировать спокойной жизни ханства, А.Я. Миллер настаивал на необходимости проведения в Бухаре постепенных реформ во всех сферах жизни страны, то есть не только административных, но и в области народного хозяйства и просвещения на современных культурных основах. По его мнению, на первое время можно было бы ограничиться объявлением эмиром либерального манифеста с обещанием провести в жизнь реформы на благо страны и народа в соответствии с предписаниями мусульманской веры и законоучения. Текст манифеста, как полагал А.Я. Миллер, мог бы внести успокоение в настроение умов как русской революционной демократии в Бухаре, так и младобухарцев.

Введение преобразований в ханстве, по плану А.Я. Милера, должно было бы происходить постепенно при посредстве опытных русских специалистов под руководством резидентства. После одобрения этого предложения МИДом, Миллер имел несколько совещаний с эмиром и убедил его в необходимости издания манифеста. Манифест этот был выработан, видимо, самим Александром Яковлевичем. Я не помню в точности его содержания. Он был составлен в выражениях, соответствовавших происходящим в России событиям, подтверждал необходимость вывода ханства из вековой отсталости и обещал введение преобразований в стране с целью приобщения ее к благам современной культуры на началах провозглашенных революцией свобод, но в строгом единении с предписаниями ислама.

Однако страна хотя и жила под русской опекой в течение 50 лет царского строя, ее уклад русскими никак не был нарушен. Руководимая во всех проявлениях своего существования влиятельным фанатичным духовенством, она была совершенно неспособна к молниеносному восприятию долженствующих ее облагодетельствовать представлений. Если бы еще духовенство было призвано к сотрудничеству при выработке манифеста и поддержало последний в нужную минуту своими воззваниями, можно было бы, пожалуй, рассчитывать на то, что хотя бы лишь одно издание этого акта пройдет безболезненно. Но обойденное духовенство молча-

ло, а под сурдинку вело даже агитацию против манифеста, и обнародование манифеста почти немедленно вызвало волнения в столице ханства, Старой Бухаре, как протест против грядущих противных исламу новшеств.

Не имея никаких документов и записок и восстанавливая события исключительно по памяти, я охотно допускаю, что в моем настоящем труде могут быть некоторые неточности, особенно в той части его, которая касается событий в Бухаре до моего туда приезда, тем не менее я думаю, что не слишком отступлю от истины, очертив положение вслед за изданием манифеста в следующем виде: подстрекаемая духовенством толпа старобухарцев напала на лавки так называемых «джедидов» — младобухарцев, к которым относились русские подданные мусульмане-ремесленники и небольшая группа бухарских подданных; лавки были разбиты и разграблены, а владельцы избиты. Небезынтересно все же оговорить, что человеческая жертва была всего одна — один из наиболее ярых «джедидов», бухарец, имени которого не помню. Несмотря, однако, на то, что протест оказался почти бескровным, страсти разгорались, и встревоженный эмир сообщал через своих посланцев резиденту о крайне опасном положении, готовом каждый момент вылиться в эксцессы даже против русского населения.

Тут А.Я. Миллер, кажется, впервые растерялся и сделал шаг, который, по мнению близко стоявших к нему людей, привел, прежде всего, к падению его самого и его ближайшего помощника первого секретаря резидентства Н.А. Шульги. Преувеличив опасность, которую, по мнению местных старожилов, можно было бы устранить путем сближения с духовенством и успокоения при его посредстве раздраженных старобухарцев, он немедленно снесся по телеграфу с Самаркандским областным комиссаром, требуя безотлагательной присылки войск. Опасность казалась А.Я. Миллеру настолько серьезной, что он счел необходимым прибегнуть к вооруженной демонстрации, не находя для этого достаточными силы у расположенного в Новой Бухаре гарнизона — роты ополченцев.

Результаты не замедлили сказаться: старобухарцы при виде русских штыков сразу же успокоились, а вновь прибывшие революционные части сочли своим долгом стать на сторону притесняемых — немедленно поднявших голову джедидов. Как борцу за свободу были устроены торжественные гражданские похороны единственной жертвы — убитого джедида, и к месту похорон на большой проезжей дороге из Хивы в Старую Бухару была организована большая процессия с красными флагами и революционными плакатами. Во главе процессии выступал резидент с чинами резидентства, а за ними тянулись нескончаемые депутации и войска. На могиле многочисленными ораторами были сказаны речи в честь первой жертвы бухарской революции.

И резидентство, и бухарское правительство скоро убедились, что принятые ими меры были поспешны и что угрозой общему спокойствию и порядку были не мирные разогретые духовенством старобухарцы, а нахлынувшая из Самарканда военная часть с группой политических агитаторов. Среди них выделялись некий Чернявский, как говорили, подполковник в отставке, и пользовавшийся незавидной репутацией в Самарканде типичный авантюрист присяжный поверенный Чертов, который выдавал себя за друга Керенского. Эти господа, которых поддерживали кое-кто из молодых прапорщиков пришедших на выручку Новой Бухаре частей, немедленно повели агитацию против личного состава резидентства, обвиняя его в контрреволюционности. Вопрос этот послужил главным предметом обсуждения на ближайших митингах с преобладающим участием рабочих и солдат, вынесших, несмотря на несочувствие стушевавшихся местных властей, решение арестовать резидента Миллера и секретаря Шульгу с возложением исполнения обязанностей резидента на Чертова. Постановление это было приведено в исполнение.

Новобухарский исполнительный комитет, фактически совершенно устраненный от власти приезжими демагогами, немедленно снесся с Туркестанским комитетом Временного правительства, прося его содействия в восстановлении нормального положения и вывода самаркандских войск из Бухары на том основании, что пребывание их в Новой Бухаре совершенно не вызывается обстоятельствами, содержание их ложится бременем на бухарское правительство, а разнузданность может действительно вызвать волнения среди населения. В ответ на это ходатайство Туркестанский комитет немедленно командировал в Бухару одного из наиболее активных своих членов Преображенского, с которым, для более усиленного воздействия на распущенных самаркандских солдат, выехал также представитель Туркестанского Совдепа присяжный поверенный солдат-еврей Бройдо, о котором я упоминал выше.

Прибыв в Бухару, Преображенский застал там такую обстановку. Местный исполнительный комитет совершенно устранен от своих прямых административных обязанностей самаркандцами,

резидент Миллер и секретарь Шульга — под домашним арестом в ожидании дальнейшего решения их участи, солдаты бесчинствуют, вызывая недовольство не только бухарцев, но и русского населения. Появление в Бухаре двух авторитетных людей в лице представителей Туркестанского комитета и Туркестанского Совдепа сразу оказало сдерживающее влияние на самаркандских демагогов. На первом же митинге Преображенский указал им на их самоуправство и вероятные тяжкие последствия их образа действий как для Бухары, так и для русского населения. Ташкентским делегатам, особенно благодаря решительности Преображенского, скоро удалось восстановить положение.

Первой их мерой было дать возможность без шума выехать из Бухары в Петроград арестованным Миллеру и Шульге. Затем была восстановлена власть местного исполнительного комитета и состоялась отправка в Самарканд части войск, уехавших вместе со своими руководителями Чернявским и резидентом-на-час Чертовым. Одновременно Преображенский телеграфировал Туркестанскому комитету о необходимости срочного командирования для временного управления резидентством впредь до назначения МИД нового резидента дипломатического чиновника в Ташкенте как старшего и наиболее старого представителя МИД в Туркестане, находившегося в курсе бухарских дел по своей работе. Выдворение из Бухары самаркандских военных частей не удалось, ввиду представленных ими самими доводов о возможности возникновения по их отъезде новых беспорядков. На самом же деле состояние на бухарском кормлении при полном отсутствии дела казалось слишком заманчивым для разнузданных солдат, для того чтобы расстаться с ним, не насладившись вдоволь благами оккупации.

Немедленно по получении телеграммы Преображенского в Ташкенте я был вызван Н.Н. Щепкиным, который предложил мне в кратчайший срок выехать в Бухару и вступить в управление резидентством. На мои возражения, что я чувствую себя неподготовленным для работы в обстановке, создавшейся вмешательством в дела резидентства со стороны местных общественных и военных организаций, Н.Н. Щепкин выразил уверенность, что, осмотревшись на месте, я отлично справлюсь с делом, действуя согласно инструкциям из Ташкента при поддержке Туркестанского комитета. Я указывал также на неудобство оставления мною на продолжительный срок дипломатической части в Ташкенте, приобретшей за время войны значительную важность ввиду постоянных

сношений по пограничным вопросам с нашими консулами в Китае и Персии, поручений по тем же вопросам МИД и начавшим приобретать исключительное значение бухарским и хивинским делам. Между прочим, я указывал на возможность передачи управления резидентством прикомандированному к резидентству П.П. Введенскому, имевшему уже значительный опыт по Бухаре и пользовавшемуся расположением местных революционных организаций. Н.Н. Щепкин возразил мне, что весь состав резидентства ввиду минувших событий приходится считать скомпрометированным. Относительно Введенского он заметил, что тот обременен работой по продовольствию. Подтвердив мне, что поездка моя в Бухару носит временный характер и что на время моего отсутствия дипломатическая часть может быть поручена моему единственному помощнику, канцелярскому чиновнику Г.К. Зайко, Н.Н. Щепкин просил меня спешно выехать к месту моей командировки.

Я не помню теперь точных дат описываемых мной событий. Припоминаю, однако, первомайский праздник в Ташкенте с его грандиозными манифестациями, во время которых Н.Н. Щепкин и его спутники были центральными фигурами. Припоминаю, что это время было расцветом популярности Туркестанского комитета, который, как казалось, давал надежду на возобновление нормальной жизни в крае, когда ничего еще не было слышно о трениях между Комитетом и Совдепом, и Бухара, видимо, жила еще спокойной жизнью. Думаю, что события в Бухаре разразились в промежутке между 10 и 15 мая 1917 года, и мой приезд туда состоялся в двадцатых числах этого месяца.

Уезжая из Ташкента, я оставлял его далеко не спокойным: стоявшие в городе военные части находились в сильном брожении, которое не могли погасить усилия ни Туркестанского комитета, ни более умеренных членов Совдепа. Недовольство среди солдат развивалось на продовольственной почве. Один из запасных полков решил взять на учет все проходящие через ташкентскую товарную станцию грузы. Около вокзала я застал группы вооруженных солдат, и ими же были забиты пассажирские залы и коридоры. По перрону ходили патрули, не допускавшие остановок на главной платформе.

Не без хлопот, несмотря на то, что Туркестанский комитет обещал сделать распоряжение о моей поездке, удалось мне получить отдельное купе 1-го класса как едущему по поручению Туркестанского комитета. Лично мне знакомый начальник станции старал-

ся, видимо, сделать все возможное для обеспечения мне удобного проезда, но не решался гарантировать его при начавшем уже проявляться своеволии солдат. Так или иначе, мне удалось благополучно отстоять свое купе. В то время движение по туркестанским линиям происходило еще с относительным комфортом, то есть существовали вагоны всех трех классов, продавались плацкарты, и вообще спокойствие проезжающих не нарушалось в такой степени, как на линиях европейской России, что объяснялось отсутствием фронтов в Туркестане.

Во время этой поездки я впервые познакомился с новым учреждением — военным контролем, созданным для задержания укрывающихся от военной службы и дезертиров. Военный контроль, как я имел случай убедиться за мою поездку по делам службы в Ташкент и обратно, состоял обыкновенно из 4–5 солдат, включая начальника — обыкновенно полуинтеллигента из писарей. Днем и ночью они обходили вагоны, опрашивая проезжающих и проверяя документы. Отношение их к пассажирам, по крайней мере 1-го и 2-го классов, было вполне удовлетворительное, а со стороны начальника контроля — даже корректное. Контроль занимал обычно купе 1-го класса и держал себя очень непринужденно, распевая в свободное время (то есть почти всегда) песни, шумно беседуя, играя в карты, загаживая купе плевками, семечками, остатками пищи и самогонки. Я не имел случая убедиться, в какой степени контроль этот способствовал искоренению дезертирства и уклонения от призыва. Наряду с другими пассажирами, несмотря на поздний час ночи, я подвергся опросу контроля очень формально, после моего заявления о нахождении в командировке по поручению Туркестанского комитета.

С продовольствием пассажиров на закаспийской линии дело также обстояло довольно благополучно: кажется, ходили даже вагоны-рестораны, на мелких станциях существовали обычные лотки с провизией, в Самарканде же был сносный по времени буфет с супом, котлетами, можно было легко иметь за 3 рубля целого жареного цыпленка.

На следующий день к вечеру я был в Бухаре. На станции Каган (Новая Бухара) меня встретили чины резидентства П.П. Введенский и И.И. Умняков, сообщившие мне об отъезде накануне в сторону Асхабада А.Я. Миллера и Н.А. Шульги и в Ташкент — Преображенского и Бройдо, с которыми я разъехался. На вокзале же меня приветствовал проживающий в Новой Бухаре представитель

бухарского правительства при резидентстве Ата-ходжа, предоставивший в мое распоряжение экипаж бухарского правительства. Перед вокзалом был выстроен взвод казаков-семиреченцев от конвоя резидента, дружно ответивший на мое приветствие и эскортировавший мой экипаж до построек резидентства.

Резидентство занимало один из самых больших и лучших участков в лишенной каких бы то ни было красот природы Новой Бухаре. Его главное здание было обнесено выкрашенной в белый цвет красивой высокой железной решеткой с железными же воротами посередине главного фасада, которые гармонировали с оградой. Оно представляло по своей простой, но изящной архитектуре резкий контраст с типичными туркестанскими приземистыми неуклюжими постройками поселения. Одноэтажное, но достаточно вместительное, с двумя подъездами, расположенными симметрично по краям главного фасада, оно состояло из квартир резидента и первого секретаря, но по соглашению с Н.А. Шульгой, занимавшим отдельный флигель, в квартире этой помещалась семья П.П. Введенского. Внутри, несмотря на обилие комнат, оно не представляло по расположению больших удобств. Квартира резидента была скромно меблирована на казенный счет. Лишь одна передняя комната — приемная зала, которую арка делила как бы на две части: главную залу и гостиную — отличалась богатством обстановки. Раньше в ней помещались писанные масляными красками во весь рост портреты Государя и Государыни, но они были сняты в первые же дни революции. Большая часть участка была занята обширным, но чахлым, как и все новобухарские сады из-за соленых почв и недостатка орошения, садом, в котором находилась небольшая гранитная часовенка-поминальник на могиле похороненного здесь бывшего политического агента. К правому крылу главного здания почти примыкала небольшая церковь, входившая всей своей постройкой в сад, но с выходом прямо на улицу. К церкви примыкал домик — канцелярия резидентства. За оградой сада стоял отдельный флигель, вмещавший две квартиры драгоманов. Затем, через широкий двор, были расположены постройки для конвоя, низших служащих и прислуги и службы — конюшни и пр.

Поселение Новая Бухара при станции Каган Закаспийской железной дороги по внешнему виду ничем не отличалось от захолустных городишек Закаспийской области. Из зданий, кроме резидентства и государственного банка, глазу не на чем было остановиться. Расположенная по соседству с резидентством временная

церковь, обслуживавшая все религиозные нужды населения, не блистала красотой архитектуры. Это простое каменное оштукатуренное здание было лишено всякого стиля как, видимо, временная постройка. Напротив одиноко стояла невысокая деревянная колокольня. Раскинулось поселение на большом пространстве. Улицы широкие немощеные, со скверными тротуарами. Имелись торговые ряды, чахлый городской сад, больница, общественное собрание — словом, все, что полагается по штату в городишках такого типа.

Высшая административная власть как в Новой Бухаре, так и в прочих русских поселениях ханства, принадлежала резиденту (политическому агенту), зависевшему в этом отношении непосредственно от Туркестанского генерал-губернатора. Исполнительная власть на местах принадлежала начальникам полицейской части, назначаемым с подведомственным им штатом Туркестанским генерал-губернатором из чинов краевой администрации. Революция с передачей административных функций исполнительным комитетам смела эти полицейские учреждения во всех русских поселениях ханства. Вместо них были назначены начальники милиции со штатом милиционеров. Незадолго до революции была учреждена должность начальника полиции Старой Бухары, в обязанности которого входило следить за подозрительным русским и иностранным элементом в пределах ханства. Учреждение этой должности было встречено молчаливым несочувствием со стороны бухарского правительства, воспринявшего это как первый этап вмешательства во внутренние дела Бухары.

Первым и последним начальником старобухарской полиции был некий Вельман, мелкий чиновник туркестанской администрации. Это был ловкий и расторопный человек, искавший крамолу там, где ее и не было. Он работал в контакте с Туркестанским охранным отделением, которое было занято изысканием нитей панисламистской пропаганды в ханстве. Несмотря на сравнительно скромное содержание, он благоденствовал в Старой Бухаре, пользуясь прекрасной казенной квартирой, которую он вскоре обставил с не соответствующим, казалось бы, его средствам комфортом. В то время как все начальники полиции в русских поселениях были отставлены от своих должностей в первые же дни русской революции без применения лично к ним каких-либо репрессивных мер, Вельману предполагалось предъявить обвинения в ряде злоупотреблений по службе, ввиду чего он заблаговременно скрылся из

бухарских пределов в Ташкент, где до поры до времени незаметно проживал в качестве частного обывателя.

Прежде чем перейти к дальнейшему описанию событий в Бухаре в первый период российской революции, позволю себе сказать несколько слов о том, как создалось русское поселение Новой Бухары. Н.В. Чарыков, в позднейшее время товарищ министра иностранных дел, закончивший свою дипломатическую карьеру на посту российского посла в Константинополе, был первым нашим политическим агентом в Бухаре. До этого времени он был дипломатическим чиновником при Туркестанском генерал-губернаторе. Эта должность, с уходом его на новый пост в Бухару, была временно упразднена, так как функции дипломатического чиновника в Ташкенте в то время почти исчерпывались делами ханства; для пограничных же сношений по закаспийской границе были созданы должности чиновников МИД для пограничных сношений при начальнике Закаспийской области.

По плану Н.В. Чарыкова, резиденция русского представителя должна была находиться не в Старой Бухаре а в недалеком соседстве вне ее. Предполагалось, что она станет центром имеющего создаться около него русского поселения. Более или менее развивающиеся русские экономические интересы в ханстве вызывали наплыв в бухарские пределы русского торгового и рабочего элемента, пребывание которого на бухарской территории создавало много неудобств вследствие особенного уклада патриархальной по исламу жизни бухарцев, исключавшей возможность спокойной жизни бок о бок с пришлыми неверными.

Эмир, отец низложенного большевиками эмира Сеид-Алима, пошел навстречу желанию русского представителя и предложил отвести в дар русскому правительству участок земли под русское поселение. По выбору Н.В. Чарыкова была отмежевана большая площадь земли, прилегающая к будущей станции Каган Закаспийской железной дороги. Участок этот представлял собой солончаковую пустыню, на которой постепенно раскинулось главное русское поселение в ханстве — Новая Бухара. Но русская колонизация не могла победить неблагоприятных природных условий местности, и поселение производило впечатление захолустного городишки, полного солончаковой едкой пыли в зной и вязкой грязи в нежаркое время. Другие временные русские поселения создались в Чарджуе, ввиду его выгодного положения на Аму-Дарье и наличия здесь бухарского города того же имени, а также в Керки и

Термезе на той же реке, ввиду выгодного их стратегического значения как пограничных с Афганистаном пунктов. В сравнительно недавнее время Новая Бухара была связана с Керки и Термезом полотном Бухарской железной дороги, строителем которой был В.В. Остроумов, в последнее время управляющий ВКЖД.

Возвращаюсь к плану реформ в Бухарском ханстве, предложенному бывшим резидентом А.Я. Миллером. Он не содержал в себе ничего оригинального ввиду крайней сомнительности вопроса при растущем младобухарском движении в ханстве. А.Я. Миллер в основу реформ взял систему управления Тунисом, введенную французами и изложенную в книге финансово-таможенного деятеля Губаревича-Радобыльского, экземпляр коей оказался у него под рукой. Пожалуй, на первое время большего и не требовалось. Необходимо было как можно скорее показать, что ханство параллельно со своей покровительницей Россией идет по пути либеральных реформ. Детали были не так существенны, и время указало бы необходимые добавления и исключения. План А.Я. Миллера получил одобрение в Петрограде, и была назначена комиссия под руководством резидента, состоящая из ряда специалистов по предложению резидента. Состава этой комиссии я в точности не знал. Помню лишь, что одним из ее семи членов по административной части был известный мне по Ташкенту помощник управляющего канцелярией Туркестанского генерал-губернатора А.А. Семенов, впоследствии — помощник военного губернатора Самаркандской области, уволенный от должности в начале революции и прибывший в Бухару в распоряжение резидентства незадолго до большевистского переворота.

Мое шестимесячное управление резидентством в Бухаре было тяжелым периодом моей в общем простой и интересной службы по МИД. Приходилось показываться везде, бороться с нажимом местных общественных и политических организаций, лавировать между теми и другими, так как каждый опрометчивый шаг грозил арестом на месте, что, не говоря уже о личной неприятности, создало бы новые затруднения Туркестанскому комитету, переживавшему тоже нелегкое время из-за постоянных трений с Совдепом. Вдобавок неблагополучно было и в резидентстве, где заведующий продовольственной частью Бухары со стороны резидентства драгоман В. открыто вел сношения с эмиром, прикрываясь продовольственным вопросом, а на самом деле давал эмиру советы и указания как в отношении резидента, так и общественных организаций. Человек очень способный и деловой, но совершенно без предрассудков и корыстный, В. мог быть очень опасным как самостоятельный деятель, парализуя работу резидента или направляя ее в соответствии со своими планами. Я скоро раскусил его и старался обуздать, но это было нелегкой задачей ввиду покровительства ему местных политических организаций.

О спокойной работе нечего было и думать. Приходилось то присутствовать на заседаниях местных политических организаций, давая объяснения по тем или другим вопросам и излагая позицию МИД, или объясняться с образовавшимися в резидентстве общественными представителями. Одновременно надо было следить за хотя и рутинной, но большой работой канцелярии резидентства и особенно ее запутанной судебной части. В то же время я бывал по меньшей мере раз в неделю у эмира для беседы в связи с происходящими реформами и текущими делами. Эмир не казался слишком смущенным, веря в устойчивость Временного правительства. Верили в нее и мы, плохо осведомленные за нашим отдалением от центра (которому пока было не до Бухары). Эмир, со свойственной ему мягкостью, просил только не торопиться с публикацией разных нововведений. Походы мои к эмиру тоже возбуждали толки и требовали подробных объяснений.

Я сообщал в МИД об усиливавшихся трудностях в работе, с которыми официальному представителю МИД, как чиновнику царского режима, в дальнейшем невозможно было бы справиться. Как показало время, был момент, когда и моя участь висела на волоске. Это было во время корниловского выступления в Петрограде. Утром меня посетила группа наиболее активных членов местного Совдепа. Она состояла из рабочих Полторацкого и Козлитина, солдата Преображенского и военного врача еврея Городецкого. Осведомив меня о контрреволюционных действиях Корнилова, они потребовали от меня передачи им всех шифров резидентства. «Почему?» — спрашиваю я. «Вы можете получать от Корнилова секретные телеграммы и причинить вред трудящимся». Отвечаю, что это невозможно, так как не имеет никакого смысла и Бухара в настоящее переживаемое государством критическое время вряд ли кого-либо интересует а, кроме того, шифров МИД никто не имеет, кроме учреждений этого министерства.

Тем не менее, мои посетители настаивали на выдаче им шифров. Я сказал, что добровольно выдать им шифры не могу и что они могут овладеть ими силою путем моего ареста и отобрания ключей от не-

сторвемого шкафа, что вряд ли встретит одобрение Временного правительства. Одновременно я пробую последнюю карту на авось и предлагаю депутатам, оставив шифры у меня, приносить ко мне все шифрованные телеграммы для расшифровывания мною в их присутствии, зная, что МИД давно уже перестал сноситься со мною шифром, о чем я просил частным письмом моего друга, заведующего 3-м политическим отделением министерства В.И. Некрасова. Клюнуло! На мою сторону встал Козлитин, сумевший убедить товарищей, что этот путь совершенно приемлем, не вызывая резких мер.

И действительно, за все последнее время моего управления резидентством была лишь одна шифрованная телеграмма, которую та же группа «товарищей» принесла мне для расшифровки, с жаром ожидая сенсационных сообщений и разоблачений. Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что министерство назначает драгомана резидентства в Бухаре Введенского вице-консулом в Коломбо. Министерство было уже осведомлено о двойной роли Введенского в Бухаре, его самостоятельных сношениях с эмиром, попытке контролировать всю деятельность резидентства и сочло нужным пресечь его связь с резидентством. Разумеется, никто не думал, что Введенский, человек с большим самомнением, амбициями и без предрассудков в сфере создания своего материального благополучия, удовлетворится скромным постом на Цейлоне и передаст в другие руки продовольственное дело в русских поселениях в Бухаре. В этом же и разочаровались «товарищи», которым Введенский объяснил свое новое назначение интригой резидентства, побуждающей его подать в отставку.

Как трудно было работать в обстановке вмешательства и угроз, видно хотя бы из следующего факта. В связи с младобухарским движением и связанными с ним волнениями в ханстве один предприниматель-ювелир «джедид» предъявил эмиру претензии на возмещение ему убытков ввиду разграбления его лавки. По выяснении ему было отказано в удовлетворении его ни на чем не основанных требований, и тогда он передал дело в руки самаркандского адвоката сомнительной репутации, резидента-на-час Чертова. Последний явился ко мне и с апломбом выразил уверенность, что, конечно, резидентство не оставит без авторитетной поддержки справедливых претензий его клиента к косному бухарскому правительству. Я пояснил Чертову, что дело «джедида» было всесторонне рассмотрено бухарскими властями, при которых резидентство и находится, и лучше всего может быть охарактеризовано как «ловля рыбы в мутной воде». Чертов пришел в негодование, намекнул на контрреволюционные тенденции резидентства и обещал доложить Совдепу. Я выразил удивление такому необычному ходу обычного судебного дела и предупредил его, что бухарское правительство будет оспаривать претензии, так как у меня уже была беседа с эмиром по этому вопросу и мы пришли к убеждению, что наилучшим выходом из затруднения будет передача интересов эмира по претензии жулика-«джедида» лучшему ташкентскому адвокату Рейсеру, приезда которого по делам вскоре ожидали в Бухаре. Через некоторое время Рейсер посетил меня и с удовольствием взялся за дело. Он не сомневался в успехе, зная темную репутацию Чертова, известного приемами запугивания и угроз со ссылкой на поддержку Совдепа.

Были и другие дела. Помню, например, как один статский советник, Попов, пытался при помощи Чертова путем угроз добиться получения горной концессии, которая была уже закреплена за другой, даже неизвестной резидентству, группой, едва-едва, впрочем, не пропустившей срок заявки.

Но работать было все труднее и труднее, и не было никакой уверенности, что в один прекрасный день по какому-либо непредвиденному поводу местные революционные силы не арестуют весь состав резидентства, что поставило бы эмира лицом к лицу с Совдепом и могло бы создать крупные затруднения как для Туркестанского комитета, так и для центральной власти. Я рекомендовал министру назначить на эту вакантную должность непременно какого-нибудь авторитетного общественного деятеля, совершенно не причастного к МИД. Просьба моя была уважена, и по истечении шести месяцев моего управления резидентством в Бухаре был назначен резидентом член Туркестанского комитета В.С. Елпатьевский, хорошо мне известный по Ташкенту. Итак, я благополучно дотянул до приезда Елпатьевского, но не торопился с отъездом в Ташкент, так как приходилось постепенно вводить нового резидента в курс местных дел. Зайко же, видимо, справлялся со значительно сократившейся работой по дипломатической части.

В это время я получил официальное письмо от А.А. Назарова, одобрившего мою работу в Бухаре и выразившего мне благодарность. Почти одновременно мною была получена телеграмма начальника 3-го политического отделения МИД В.И. Некрасова с предложением выставления моей кандидатуры на должность генерального консула в Калькутте. Это совершенно совпадало с моими долголетними желаниями, и я немедленно ответил согласием.

Приблизительно в это же время прибыл в резидентство из Петрограда С.В. Жуковский, сын нашего профессора персидского языка в Петроградском университете. Он был назначен в Асхабад на должность чиновника для пограничных сношений при начальнике Закаспийской области.

Но гроза надвигалась, хотя мы в Бухаре за отдаленностью и не так остро чувствовали ее. Шли вести о ленинской работе во дворце Кшесинской, об оппозиционном настроении по отношении к Временному правительству рабочих, армии и флота, распропагандированных Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в то время когда Временное правительство было занято подготовкой к Учредительному Собранию. Я помню, что с этой целью были командированы в Туркестан из центра несколько общественных деятелей и депутатов Государственной Думы. Один из них, личный друг Елпатьевского, посетил нас в Бухаре, проведя в резидентстве целый день. Он привез крайне тревожные вести о неустойчивости Временного правительства, стремящегося лишь спешно дотянуть страну до Учредительного Собрания, и о том, что каждый день можно ожидать левого переворота со всеми его разрушительными последствиями. Мы слушали и как-то не верили в возможность такой катастрофы.

На другой день он проехал дальше, а дня через два-три телеграф принес нам известие о свержении Временного правительства и переходе власти в руки большевиков. Наиболее ярким именем в то время был Троцкий, за подписью которого летели воззвания всем и всюду с предложениями следовать за новым правительством. Русские поселения в Бухаре, младобухарцы, немедленно приветствовали новый режим, и резидентству приходилось так или иначе реагировать на события. Для решения, как поступить: уйти ли в отставку in corpore* или продолжать работу до поры до времени путем компромисса с новой властью в чаянии ее неминуемого провала, Елпатьевский собрал совещание, на котором присутствовали все чины МИД, кроме Введенского, который уже откололся от резидентства, Жуковский и я. К персоналу резидентства принадлежали, кроме Елпатьевского, драгоман И.И. Умняков и прикомандированные К.С. Раздольский и М. Баранов. Большинством голосов было решено просить Елпатьевского остаться во главе резидентства и продолжать работу до тех пор, пока это окажется возможным. Елпатьевский долго не соглашался, говоря, что по убеждениям не может идти рука об руку с большевиками, и просил кого-нибудь из нас, чиновников, принять от него дела. Мы настаивали на своем, считая, что ему, как не чиновнику, легче будет сноситься с представителями Совдепа и местных общественных организаций. Со слезами на глазах Елпатьевский согласился. На другой день я уехал из Бухары в Ташкент, а С.В. Жуковский предусмотрительно решил махнуть рукой на Асхабад и собирался выехать с женой в Тегеран. Прочие оставались при резидентстве. Все мы, не исключая и Елпатьевского, верили в недолговечность нового режима. Наиболее пессимистично настроен был Жуковский, только что прибывший из Петрограда и лучше нас осведомленный об истинном положении вещей.

* В полном составе (*лат.*).

Моя обратная поездка в Ташкент прошла без всяких приключений и неприятностей, так как железнодорожное сообщение еще функционировало более или менее правильно, а на станциях можно было получить пищу и чай, но вагоны-рестораны уже были изъяты из составов. Помню, за несколько рублей я овладел хорошей жирной курицей, которая с успехом поддержала мои силы до Ташкента.

Дома меня встретил крайне довольный моим возвращением, но растерянный Махмуд, сообщивший, что у меня было несколько обысков с изъятием, однако, не дел, а ценностей вроде золотых запонок, булавок и т.п.

ГЛАВА 9
Мое бегство в Персию

О дальнейших событиях в Туркестане и Бухаре вплоть до моего бегства с женой из Асхабада в Персию свидетельствует нижеследующий пересказ моего рапорта из Мешхеда на имя нашего поверенного в делах в Тегеране, написанного под свежим впечатлением пережитого и поэтому более точно его отражающего*.

Накануне побега мы должны были провести ночь и часть следующего дня на квартире какого-то богатого татарина, намеревавшегося проскользнуть в Персию по торговым делам. По его плану,

* Мы не располагаем упомянутым пересказом рапорта, поэтому события 1918–1919 годов остались за рамками повествования.

В 1920 году С.В. Чиркин женился на Н.Н. Ефремовой и бежал с нею за границу. С описания побега начинается рассказ о жизни автора в изгнании. — *Прим. ред.*

мы должны были выйти к вечеру на прогулку в определенном направлении к туркменской деревне в окрестностях города, куда заранее отправлялся наш багаж, состоявший из нескольких чемоданов с платьем и тюков со спальными принадлежностями. Предполагалось, что в деревне нас будут ожидать верховые и багажные лошади с погонщиком и проводником, который тайными тропами перевел бы нас ночью через границу с тем, чтобы наутро доставить в ближайшее пограничное селение Баджгирон, где был расположен передовой английский отряд.

Однако вышло не совсем так, как мы предполагали. Ночь мы плохо спали от волнения. День выдался ясный и теплый, что благоприятствовало ночной поездке ранней весной. На закате мы вышли на прогулку, не имея ничего на руках во избежание подозрений при возможных встречах. Почти у самой деревни мы были встречены молодым туркменом из белой «Дикой дивизии» в красных форменных рейтузах, в сапогах, белой рубахе и необъятной папахе из бараньей шкуры. Он знаками предложил следовать за собой и довел до «сборного пункта», где мы нашли свои вещи в полной сохранности. Нашего спутника-татарина еще не было на месте, равно как не было никаких следов и нашего будущего каравана, что нас несколько беспокоило, но наш проводник старался дать нам понять, что все благополучно и опасаться нечего. Мы уселись отдыхать на камни у какой-то сакли, и, к нашему удивлению и удовольствию, деревенские жители не проявляли в отношении нас обычного любопытства. Видно было, что они уже привыкли к подобным визитам бегущих из Сов. России и даже содействовали побегам, получая за это вознаграждение.

После довольно продолжительного ожидания, когда уже смеркалось, появился, наконец, наш татарин на великолепном сером коне. Его появление нас подбодрило, но на наш вопрос о караване он не давал определенного ответа, говоря, что проводник с лошадьми еще не пришел. Опять ожидание, казавшееся бесконечным, опасение, что придется провести ночь и следующий день в деревне и быть открытыми большевистскими патрулями или просто выданными кем-нибудь из туркмен. Татарин успокаивал нас, но тоже был смущен — наступала уже ночь. Было часов 11, когда ушедший на разведку татарин пришел с определенными сведениями. Оказалось, что ожидавшийся из Баджгирона (ближайшее к границе персидское селение) проводник с лошадьми не пришел, но что есть возможность пройти в другом направлении к западу от Баджгирона на селение З., откуда

только что приехал погонщик с двумя лошадьми, берущийся перевести нас через границу ночью и на другой день доставить в З. У нас как гора с плеч свалилась — немедленно ехать, куда — все равно, лишь бы за границу. Смущало то обстоятельство, что было только две лошади, но проводник ручался, что этого будет достаточно — лошади сильные и выдержат и вещи, и нас. Я, впрочем, по персидскому опыту знал, что это хотя и медленный, но вполне удовлетворительный способ передвижения в стране, где не привыкли торопиться, и, изъявив согласие, мы стали немедленно грузиться.

Проводник, лет 25, мне очень понравился своей симпатичной физиономией и уверенностью. Он сказал, что путь на З. хотя и длиннее, но безопаснее, чем на Баджгирон, где легче наткнуться на советские патрули, уверив, что уже не раз переводил беглецов в Персию и не сомневается в успехе и на этот раз.

Было уже за полночь, когда мы тронулись в путь, заплатив туркменам 3 тысячи царских бумажных рублей за помощь. Ночь была звездная, мы уселись на наши вьюки и тронулись в путь; татарин замыкал караван на своем красавце-коне. Кругом все было тихо, кое-где в отдалении мерцали огоньки, по объяснению проводника, советских патрулей. От деревни до предгорья дорога была каменистая, ровная, без подъемов, кони шли очень бодро, и мы, часа через два пути по равнине, вошли в горы, и сразу же началась цепь подчас небезопасных перевалов по узкой, вьющейся по карнизу скалистых обрывов тропе. При особо крутых подъемах и спусках мы сползали с вьюков и шли пешком. Мы двигались почти безостановочно, торопясь перейти скорее границу, не встретив никого на горной части пути, и сделали сравнительно продолжительный привал после спуска в одну долину, когда проводник указал нам на сверкавший неподалеку огонь костров.

Мы заволновались — неужели красноармейские патрули зашли так далеко в горы? Из расспросов проводника, однако, выяснилось, что это группа персидских бродяг, промышляющих разбоем и грабежами, что он пойдет с ними переговорить и просить о пропуске неимущих австрийцев, бывших в плену в России и ищущих спасения в Персии по пути на родину. Он надеялся на пропуск, так как шайка эта чуть ли не накануне хорошо пограбила и, видимо, «не нуждалась». Не знаю, втирал ли нам очки проводник или нет, но только через полчаса он вернулся и объявил, что главарь шайки разрешает нам беспрепятственный пропуск, и вскоре мы прошли неподалеку от костров, у которых сидела группа вооруженных ру-

жьями туземцев. Я склонен верить, что проводник не лгал, так как мы не заплатили ни копейки за пропуск, за который если не разбойники, то сам проводник могли сорвать с нас последние наши истаявшие ресурсы в персидском серебре. Кроме того, уже в Баджгироне мы узнали, что многие из пришедших перед нами беженцев были пограблены именно в этом месте.

Было раннее утро, когда мы подъехали к границе, которая была обозначена большими кусками нетесаного гранита, тянущимися, как лента, уходящая в обе стороны вдаль — насколько позволяло видеть зрение. Какое облегчение — мы на иностранной территории, вне враждебной досягаемости. Но испытание этим не кончилось — тягчайшее лежало впереди. Неподалеку от границы, при спуске в расстилавшуюся перед нами, казалось, бесконечную, покрытую снегом долину, мы встретили нескольких еле двигавшихся на усталых конях путешественников-персов. Начались взаимные расспросы.

Узнав, что мы едем в З., да еще на усталых, перегруженных лошадях, они настойчиво убеждали нас или вернуться, или пережидать, пока стает в долине снег глубиной в 2–3 фута. Им удалось с трудом проложить колею — ночью, когда снег был тверже; днем же, по их мнению, мы застрянем в рыхлых снегах и пропадем без пищи и фуража. Для нас, однако, не было другого исхода, как двинуться вперед, так как о возвращении в Асхабад не могло быть и речи. Пережидать, пока стает глубокий снег, без палатки и пищи было бы абсурдно. Покачав головами и сказав: «Иншалла», они распрощались с нами, и мы начали спускаться.

Иншалла — если Богу будет угодно! Обычное выражение фаталиста-перса при всех жизненных начинаниях, планах, желаниях на всякий случай повседневной жизни. И они полагались на волю Божию. Спуск был нетруден, но когда мы вошли в снег, сначала не очень глубокий, и лошади стали вязнуть в мягком грунте, пришлось спешиться. Это сразу облегчило лошадей, и они пошли увереннее… Но каким шагом! По нетронутому снегу было невозможно идти из-за опасения попасть в яму или, наткнувшись на какое-нибудь препятствие, покалечить лошадей и потерять груз. Лошади инстинктивно чувствовали опасность и шли исключительно по следам, оставленным шедшими перед нами караванами в глубоком снегу на вязком грунте. Наш погонщик энергично бодрил лошадей, которые шли «гусиным шагом», высоко поднимая ноги и раскачиваясь, таким же шагом плелись и мы, тогда как татарин, почти не имея груза, так и не слезал со своего коня, боясь промок-

нуть почти до пояса. Но нам не оставалось ничего другого, и мы мокли, вязли и медленно двигались вперед за нашими лошадьми, ставя ноги в глубокие следы и чуть не падая от изнеможения.

К счастью, снежное поле оказалось не таким длинным, как это представлялось перед спуском. Оно тянулось не более, как на милю, но каких усилий стоило нам справиться с этим коротким расстоянием! Чтобы пересечь это глубокое поле, нам потребовалось не менее трех часов и, не будь у нас выносливых крепких лошадей и опытного надежного проводника, мы не справились бы с этим последним препятствием почти у цели… Иншалла! Богу было так угодно.

Вот мы на твердом, хотя и чуть тряском грунте, усталые, но радостные и бодрящиеся. Лошади идут уверенным шагом, и мы, пренебрегая жалостью к выручившим нас животным, взбираемся вновь на вьюки. Еще часа 3–4 медленной езды под знойным солнцем, и мы, изнемогающие, добираемся до З. — большого селения с таможенным пунктом. На нас выбегает глядеть праздная толпа, но мы безразличны ко всему окружающему и хотим только спать, спать и спать… Но не тут-то было: знающий порядки наш погонщик ведет нас прямо к домику таможни и сдает со всем багажом молодому таможенному чиновнику, который вежливо, но формально начинает нас расспрашивать на ломаном французском языке, усиленно добиваясь, не имеется ли «double fond»* в наших чемоданах. Я сейчас же, к его радости, перехожу на персидский язык и уверяю, что у нас нет почти ничего, кроме платья. Тем не менее, невзирая на персидский язык и упоминание о моем прошлом в Персии, чемоданы не только осматриваются, но и выстукиваются с целью обнаружения двойного дна для провоза ценностей… Пропал былой престиж России в Персии, когда консульское звание «великой Российской державы» было магическим для оказания его носителю со стороны власти всяческого внимания и предупредительности. Видимо, и персидские чиновники понабрались дешевой смелости для того, чтобы дразнить израненного русского медведя!

Молодой чиновник насладился своим новым положением всласть, подвергая нас, изнемогающих от усталости, разным неприятным и глупым вопросам. Наконец, мы были отпущены, и в наше распоряжение была предоставлена довольно чистая комната в домике около таможни, владелец которого взял с нас, как за ноч-

* Двойное дно (*фр.*).

лет. Мы немедленно расположились спать на циновке, не распаковывая наших спальных принадлежностей, лишь переодевшись в сухое белье и платье. Увы, наш переход по снежной долине по колено в талом снегу не прошел нам даром, и по сие время и я, и жена пользуемся от времени до времени разными целебными источниками то в Японии, то в Корее, борясь с приступами ревматизма.

На другое утро, подкрепившись тем, что можно было достать в деревне: яйца, овечий сыр, кислое молоко вроде нашей простокваши, лепешки, — мы распрощались с нашими спасителем-проводником и стали готовиться к составлению нового каравана для дальнейшего пути в Баджгирон в сопровождении примкнувшего к нам опять татарина.

Из разговора с таможенником и местным полицейским начальником, говорившими о нас по телеграфу с Баджгироном, мы поняли, что ввиду нашего нелегального приезда без паспортов и виз, мы находимся если не под арестом, то под наблюдением; что, строго говоря, нас нужно было бы отправить обратно, но что нам все же дают разрешение проехать до Баджгирона в сопровождении двух конных туфенччи (вооруженных ружьями), где власти распорядятся, как с нами поступить. Слова эти, однако, не произвели на нас большого впечатления: мы знали, что в Баджгироне стояли англичане, которых мы считали теперь всемогущими в Иране и стремились под их защиту и покровительство. Это было нашей ошибкой: надеясь на англичан, не следовало игнорировать персов, набравшихся смелости в отношении пострадавших от войн людей.

Перед выступлением из З. нас предупреждали, что, хотя дорога до Баджгирона и торная, нам придется преодолеть еще одно препятствие. «Что такое? — спрашиваем. — Опять снежная долина или разбойники? Но последние нам не страшны — мы едем под правительственной охраной двух туфенччи». Отмахиваются: «Туфенччи вам не помогут, вам придется иметь дело не с разбойниками, а разбойницами». Мы думали, что над нами смеются, пугают, однако и наш татарин подтверждает, что на полпути каравану придется идти через «цыганскую» деревню, где мужчины работают, а женщины властвуют, собирая дорожный выкуп с проходящих через деревню путешественников. Все советуют нам запастись достаточным количеством мелкой серебряной монеты и не иметь на виду ничего такого вроде колец, часов и т.п. Нам просто не верилось, чтобы караван из четырех мужчин и одной отважной женщины, так как жена моя не из робкого десятка, мог

опасаться кучки деревенских баб! На всякий случай я приготовил горсточку мелкого русского серебра, нам уже не нужного, расходовать же небольшой остаток персидских денег нам очень не хотелось, а в отношении колец и часов мы не приняли никаких предосторожностей.

От З. до Баджгирона, насколько помнится, около 10 миль. Дорога легкая, и мы прошли первую часть пути довольно быстро. Не доезжая деревни, раскинувшейся по крутому берегу реки, вдоль которой мы шли, мы получили от нашего проводника инструкции: ни в каком случае не спешиваться и двигаться как можно быстрее, понукая и погоняя лошадей, для чего он вручил нам по гибкому длинному хлысту. Хлысты, впрочем, нам пригодились не столько для лошадей, сколько как оружие против нападающих. Впереди пока все было спокойно, деревня как будто вымерла. Но вот залаяли повсюду собаки и, откуда ни возьмись, высыпала пестрая шайка из 25–30 женщин. Это были здешние пешие амазонки! Они не имели ничего общего с общеизвестным типом закутанной в чадру пугливой персидской женщины. Лица их были открыты и головы повязаны платками на манер нашего повойника; одеты они были в разноцветные ситцевые юбки и белые не то рубахи, не то кофточки; на ногах у них не было никакой обуви; грудь и шея были покрыты разными дешевыми ожерельями, монистами. По внешнему виду они напоминали курдских женщин и цыганок… Завидя нашу кавалькаду, толпа эта вышла на дорогу нам наперерез. В то же время мы обнаружили, что наша конная охрана, отделившись от нас, стала объезжать деревню по косогору, бросив нас троих на произвол судьбы. Проводник наш тоже куда-то скрылся. Как мы потом узнали, охрана — по договору ли с амазонками, по трусости ли — обычно придерживается такого образа действий, оставляя путешественников на произвол судьбы и предоставляя им самим расправляться с бандитками.

Мы подстегиваем лошадей и рысцой идем на банду. Нам подают знаки остановиться, но нет — мы продолжаем трусить и врезываемся в толпу. Татарин на своем иноходце быстро забирает вперед, но он не интересует исступленных баб. Главное внимание их обращено на нас. Все же он служит нам клином, расчищая дорогу. Бабы — одни хватают лошадей за поводки, другие стараются стащить нас с вьюков и сорвать кольца с пальцев. Чтобы ослабить пыл атакующих, я бросаю за спину горсточку русского серебра. Маневр удачен — бабы оставляют нас и бросаются собирать деньги. Мы

пользуемся моментом и быстро продвигаемся вперед. Но обман обнаружен, русские мелкие деньги и им не нужны. С криками они бросаются вновь за нами, но, не давая им достигнуть нас, я бросаю еще несколько мелких монет. Нахлестываем лошадей, и вот мы вне деревни. Вслед нам летят камни, куски застывшей грязи, проклятия... Но мы скачем и присоединяемся к татарину.

Скоро как бы из-под земли появляется проводник, а за ним и туфенччи. Я разражаюсь упреками по их адресу, на которые они плохо реагируют, оправдывая свое поведение нашим удачным прорывом: будь они с нами, неминуемо пришлось бы остановиться, платить денежный выкуп и, может быть, распрощаться с кое-какими ценностями, так как «сбор» с путешественников освящен обычаем и им не было бы житья в будущем, если бы они помешали бандиткам сорвать с нас приличный выкуп. Мне пришлось, однако, слышать, что сами туфенччи заинтересованы в этом сборе, получая известную часть его. На этот раз они воздержались, может быть, потому, что видели во мне человека, хорошо знакомого с Персией и ее обычаями и говорящего с ними на их родном языке, а может, и потому, что действительно мы производили впечатление неимущих.

Дальше все идет как по маслу, и через один-два часа пути мы в Баджгироне. Проводник хочет вести нас к представителю местной власти, но я настаиваю на том, чтобы идти прямо в расположение английского отряда.

Капитан Бленор, не выпуская из глаза монокля, приветливо встретил нас и, узнав во мне старого знакомого по Ташкенту, немедленно предлагает остановиться у них в лагере.

Нам отвели пустующую палату лазарета, где были примитивные, сколоченные из досок кровати с набитыми ватой подушками. На лучшее помещение в лагерной обстановке мы и не рассчитывали, да и пользовались мы им только ночью, столуясь с группой офицеров и проводя день большей частью на воздухе.

Экспедиция Центросоюза, перешедшая границу легально, с персидскими визами на паспортах, пришла в Баджгирон дня за два-три до нашего приезда, но общения с нею мы избегали, дабы не встречаться с Фуксом и не навлечь на Центросоюз обвинения в содействии нашему побегу.

Несмотря, однако, на исправные, визированные персидским консулом в Асхабаде паспорта, центросоюзцы не могли двигаться далее в Мешхед до получения разрешения на проезд от английского военного командования. Вскоре пришел благоприятный ответ для начальника экспедиции Б. и его помощника В., Фуксу же было отказано в разрешении под предлогом немецкой фамилии, и он немедленно вернулся в Асхабад. Его отъезд был нам очень на руку, так как мы могли воспользоваться свободными местами в экипажах Центросоюза.

Местные персидские власти были очень настроены против нас за то, что мы уклонились от свидания с ними и дачи сведений о себе общего характера. Наши английские хозяева считали это излишним, принимая нас как бы под свое покровительство, силу которого мы несколько переоценили и испытали в пути до Мешхеда немало неудобств, не говоря уже о том, что мы опять шли до Кучана под персидским конвоем.

В Кучане местный губернатор, еще очень молодой человек, долго ломался над нами, грозил вернуть на персидскую границу и подчеркивал как нелегальность нашей поездки, так и желание проникнуть в страну без ведома ее хозяев. Но как ни напускал он на нас страху, английское покровительство было все же нашим козырем и, прожив дня два в кучанском отделении Центросоюза, мы получили разрешение следовать далее в Мешхед с поджидавшей нас экспедицией Центросоюза.

Еще в Кучане я получил телеграмму от нашего генконсула в Мешхеде Н.П. Никольского с предложением гостеприимства. Прибыв в Мешхед и остановившись в громадном загородном помещении Центросоюза, мы решили, что до выяснения нашей дальнейшей судьбы нам предпочтительнее проживать в Центросоюзе, чем беспокоить семью Н.П. Никольского, считавшего, что консульство стоит перед перспективой неминуемой скорой ликвидации. Неудобством Центросоюза была его удаленность от центра города, но при Центросоюзе остался один из экипажей в две-три лошади, что давало возможность постоянного сообщения с городом.

В один из ближайших по прибытии в Мешхед дней я посетил начальника великобританского экспедиционного отряда в Персии генерала Маллисона. Он расспрашивал меня о Туркестане и высказывал сожаление, что из-за неорганизованности белых сил, переоценивших размер помощи сравнительно небольшого, состоявшего исключительно из туземных войск английского отряда, не удалось освободить Туркестан от советской власти. Из его слов видно было, что англичане считали свою роль в северо-восточной Персии законченной, и сам генерал Маллисон уезжал вскоре в Англию, передавая командование отрядом генералу Андре.

В Мешхеде мы встретили старого знакомого по Ташкенту полковника Савицкого, бывшего воспитателя Алексеевского кадетского корпуса и с начала войны начальника Ташкентской школы прапорщиков, подготовлявшей офицеров в четыре месяца. Савицкий был ловкий человек авантюрного типа. В начале революции он бежал в Асхабад, где тогда было белое правительство, а оттуда перебрался в Мешхед, где предложил английскому командованию проект сформирования офицерской роты, во главе которой он становился. Мне передавали, что рота, на содержание которой были отпущены средства, обмундирование и продовольствие, не оправдала возлагавшихся на нее надежд и скоро распалась, а Савицкий остался без дел в Мешхеде, имея кое-какие деньги, не рассчитывая на заработок, да и не добиваясь его. Недолюбливаемый англичанами, он стремился уехать в Европу и перейти в ближайшее беженское отделение, надеясь, что его вывезут вместе с другими беженцами на счет англичан. Вместе с нами он попал в Индию, где уже после нашего отъезда на Дальний Восток умер от какой-то болезни.

В Мешхеде же я встретился с бывшим начальником русского отряда из двух семиреченских казачьих полков полковником Гущиным, не вернувшимся в Россию вместе со своими «красными» казаками, основательно ожидая репрессий с их стороны. С одним из своих офицеров, есаулом Янцыным[84], он, приобретя несколько лошадей и фургонов, организовал небольшой транспорт и обслуживал по подряду английский отряд. Познакомившись с ним, я был поражен его совершенной глухотой. Как он мог командовать казачьей бригадой с таким резко выраженным физическим недостатком?

Я говорил уже, что наше генеральное консульство доживало последние если не дни, то месяцы. В таком же положении находилось и местное отделение Учетно-ссудного банка Персии, находившееся в периоде ликвидации. Видно было, что мне нечего было делать ни в Мешхеде, ни вообще в Персии. Между тем, приходилось думать об изыскании средств к существованию, так как на свой подробный рапорт Б., поверенному в делах в Тегеране, я, несмотря на наше личное довольно близкое знакомство по Туркестану и тесное сотрудничество, не получил никакого ответа, и лишь Н.П. Никольский сообщил мне, что он внесет предложение Б. выдать мне небольшое пособие. Видно было, что до нас никому не было дела (каждый думал лишь о себе, спасая свою шкуру) и что

мы являлись скорее обузой для своих бывших товарищей — более счастливых сослуживцев, избежавших ужаса революции, террора и лишений. Я, впрочем, далек от обвинения кого бы то ни было, понимая, что и им приходилось переживать необычные обстоятельства и стать лицом к лицу с неопределенным тревожным будущим.

В это трудное время мне предложил работу представитель фирмы братьев Нобель в Туркестане П., которого я знал в Ташкенте. Он тоже бежал из Туркестана, но деловых связей не потерял и собирался ехать для восстановления их в Лондон. Я должен был состоять при нем в качестве переводчика. Предложение казалось вполне удовлетворительным, давая мне и жене бесплатный проезд в Европу, полное содержание до Лондона и небольшое вознаграждение. В Лондоне моих услуг уже не требовалось, и я должен был получить там расчет и искать новую работу. Правда, мешхедский опыт уже научил меня, что на чье-либо содействие рассчитывать не приходится, но, оптимист по натуре, я надеялся, что хуже не будет и удастся как-нибудь устроиться.

Отъезд в Индию, где я должен был ожидать П., предстоял не ранее как через месяц, и в ожидании, не имея уже ни копейки и только пользуясь столом и помещением в Центросоюзе как бывший служащий, я для карманных денег взялся, по рекомендации бывшего персидского консула в Туркестане, за уроки по всем предметам в семье богатого персиянина, жившего до революции в Асхабаде, где его два сына обучались в гимназии, а теперь бездельничали в Мешхеде, забывая, что знали. Нелегкая была это работа, ежедневно из-за нескольких монет вбивать всякие науки в головы двух, к счастью, послушных и неглупых мальчуганов. Приходилось скакать на одной из центросоюзных лошадей в город к 9 часам утра, проводить за уроками три часа и в полдень скакать обратно. Уроки продолжались до самого нашего отъезда в Индию.

Я должен оговориться, что мое условие с П. не предусматривало путешествия на его счет из Мешхеда до Кветты — пункт, где мы должны были встретиться и где заранее наши английские друзья и доброжелатели нам обещали пропуск в Индию с одним из транспортов, связывавших по английскому военному шоссе Мешхед с Дуздабом, конечной станцией проложенной во время войны линии Кветта — Нушки.

ГЛАВА 10

Отъезд в Индию. Путь Мешхед — Дуздаб, Кветта, Бельчаун, Бомбей

Нам пришлось прожить в Мешхеде сверх ожидания довольно долго — не менее двух месяцев, прежде чем мы получили уведомление от английских военных властей, что нам оставлено два места на ближайшем транспорте, выезжавшем из Мешхеда в конце июня. Транспорт состоял из нескольких однотонных грузовиков «Форд» в сопровождении автомобиля-мастерской на случай поломок и неисправностей в дороге. Пассажиры помещались по одному на каждом грузовике на сидении рядом с шофером. Мы не были единственными пассажирами: кроме нас ехала в Индию для дальнейшего следования в Польшу известная нам по Ташкенту семья инженера Качоры, состоявшая из мужа, жены и двух мальчиков, причем для отца с сыновьями был приспособлен кузов грузовика, и, наконец, последней нашей спутницей была молодая беженка из Москвы некая г-жа С.

Путешествие шло довольно медленно, так как приходилось часто останавливаться, проводить ночи на станции и иногда дневать, а Бирджанде, на полпути, мы даже провели два-три дня. Везде мы пользовались широким гостеприимством английских офицеров, относившихся к нам очень тепло и предупредительно.

Поразило меня обилие среди них военной молодежи, в числе которой было немало офицеров военного времени, майоров. Это обстоятельство обратило мое внимание еще в Мешхеде, когда я познакомился с прекрасно говорившим по-русски, не то родившимся, не то проживавшим долгое время в России майором Г., который не задумался объяснить свой сравнительно высокий не по годам чин «отличием». Такое объяснение меня несколько удивило, так как майор Г. участвовал в только, так сказать, «персидской кампании», неся исключительно штабную службу. Ларчик, однако, открывался просто. Вся эта носящая военную форму молодежь: бывшие банковские клерки, учителя, приказчики и пр., — фактически в лучшем случае были поручиками. Майорские должности они занимали временно, и это в английской армии давало им право титуловаться майорами и получать содержание по должности, пока они исполняли соответствующие обязанности. По оставлении ими временных высоких постов они возвращались в первобытное состояние субалтернов.

До Дуздаба наш транспорт шел не менее десяти-двенадцати дней. Шоссе было вполне удовлетворительное, вполне достаточное для разъезда встречных автомобилей, но почти на всем своем протяжении оно носило крайне безотрадный характер, ибо тянулось по серой безводной, лишенной всякой растительности равнине, особенно в центральной его части от Бирджанда на юг. Здесь была уже прямо своего рода Сахара с многочисленными следами участи злополучных караванов, усыпавших путь непрерывной цепью костяков павших от безводья и отсутствия корма верблюдов, мулов, лошадей, ишаков.

Приятно было услышать при приближении к Дуздабу свисток паровоза, так как, несмотря на сравнительные удобства и частые остановки, поездка на грузовиках была утомительной. В Дуздабе мы тоже провели день, пользуясь гостеприимством юного «майора» Б., который снабдил нас провиантом на дорогу и устроил в вагон 1-го класса до Кветты.

В вагоне мы неожиданно встретили нашего старого знакомого по Ташкенту инженера М., в национализированном доме которого мы жили до нашей эскапады. Он ехал в Индию с особыми рекомендациями ввиду содействия его упоминавшемуся полковнику Б. М. исчез из Ташкента еще до нашего отъезда.

В Кветту — утонувшую в садах столицу британского Белуджистана — мы прибыли через сутки и были встречены на вокзале чинами местной полиции, которые опросили нас, можем ли мы остановиться на свои средства или как неимущие поступаем на иждивение великобританского правительства. Ввиду того что я состоял на службе у П., приезд которого ожидался вскоре вслед за нами, я сказал, что предпочитаю остановиться в отеле; к нам присоединилась и С., что же касается М. и Качора, то их отвезли в старые военные бараки. Увидев барачную обстановку, М. хотел было перебраться в гостиницу, ссылаясь на свои рекомендации, но сержанты, под охрану которых он попал вместе с Качорой, усмотрели в его первоначальном показании обман и были крайне грубы с ним, грозили тюрьмой. Видимо, они совершенно не разбирали, с кем имели дело, и не проводили никакой разницы между интернированными в Индию немцами и русскими беженцами.

Кветта — военный городок, где приезжие офицеры всегда могли устроиться при военных клубах или в домиках товарищей, не нуждался в большой гостинице, и лучший отель был средней руки. Туда мы и направились и устроились очень недорого на полном пансио-

не. Вскоре нас посетил в гостинице начальник военной полиции полковник (военного времени) Бити. Это была личность, заслуживающая того, чтобы на ней остановиться. Кветта была сборным и распределительным пунктом направляемых через Индию беженцев и возвращающихся на родину из Туркестана военнопленных разных национальностей, и если бы не отеческая заботливость, предупредительность и даже защита полковника Бити, вся эта пестрая, смешанная масса как ищущих убежища от большевиков, так и стремящихся на родину, большею частью обездоленных и лишенных необходимого людей перенесла бы во много раз больше огорчений от окружающего ничем не ограниченного снобизма, презрения и подчас грубости. За угол и кусок хлеба приходилось расплачиваться самолюбием. Полковник Бити был удивительный человек! Вечно в хорошем настроении, смеющийся, ласковый, сочувствующий, он приносил с собою всюду бодрое настроение и заставлял забывать обиды как нечто временное и случайное.

В гостинице, познакомившись с нами и узнав о моем прошлом, он прежде всего принял меры к тому, чтобы по возможности создать для нас обстановку, соответствующую нашему прошлому общественному положению. Как пожизненный член Королевского Бомбейского яхт-клуба он, несмотря на мои протесты, ввел меня в Кветтский Клуб, говоря, что жене и мне нужны общество, развлечения и спорт, дабы рассеяться после пережитых лишений. Мало того, когда приехал П. и объявил мне, что мои услуги ему больше, якобы, не нужны под тем предлогом, что я не выполнил данных им мне заданий, а фактически же потому, что он нашел себе переводчицу, Бити перевел нас на положение привилегированных беженцев, что давало нам возможность оставаться в гостинице гостями английского короля до водворения в беженский лагерь в Бельчауне.

Я позволю себе сказать, что мы пользовались нашей привилегией не совсем незаслуженно. В бытность нашу в Ташкенте во время гонений на иностранцев, когда были арестованы американский консул Трэдуэлл, а также Брунс, на которого было возложено какое-то попечение о военнопленных, а полковник Бэм принужден был скрываться под камуфляжем военнопленного, моя теща пристроила в нашей общей квартире англичанку г-жу Эдвардс, жившую и кормившуюся в течение 2–3 недель, конечно, совершенно безвозмездно. У нее, правда, был какой-то документ, но в случае обнаруженного укрывательства нами «врагов революции и

пролетариата» нам всем грозили самые суровые репрессии. К счастью, все сошло благополучно. Но г-жу Эдвардс все же постигла вскоре печальная участь. Получив условленное уведомление от мужа, подготовлявшего их совместный побег в Кашгар, она оставила наш дом и скрылась из Ташкента. Вскоре мы услышали, что они оба погибли от рук мятежных киргизов. Много, однако, ложных слухов ходило в то время, и я не удивлюсь, если придется узнать о благополучном существовании г-жи Эдвардс по сие время. В бытность свою в Кветте я говорил о них заведовавшему контрразведкой офицеру, который интересовался их участью.

Встречи с другими представителями чиновного и военного мира в Кветте были крайне безотрадны. Я помню чиновника административно-политического департамента г-на Стюарта Хорнеза, к которому меня отвез полковник Бити. Бити представил меня как бывшего русского дипломата, служившего в Индии. Хорнез, довольно невзрачный белобрысый молодой чиновник, но с манерами сноба, встретил меня холодно, но вежливо; но как изменился он, когда мы перешли на беженское положение и мне приходилось иногда бывать у него в канцелярии не по своим даже делам, а в качестве переводчика по проблемам других беженцев. Раз он попросту выпроводил меня за дверь с одной из просительниц, говоря, что мы ему надоели и что власти без наших просьб поступят с нами так, как найдут нужным. Встречаясь со мной, он никогда меня не узнавал. В противоположность ему я не могу не упомянуть о корректном помощнике commondor'а г-не Лоу, который принимал меня как равного и никогда не отказывал в исполнении небольших просьб беженцев. Дабы выделить меня из общей довольно серой массы, он даже пытался представить меня commondor'у, зашедшему по делу в его канцелярию. Но г-н Д. притворился, что не расслышал слов своего подчиненного и даже не ответил на мой поклон, как бы не замечая. Для него я, бывший управляющий генеральным консульством Российской империи в Бомбее, был уже пустым местом.

Я, помню, жаловался полковнику Бити на грубость в отношении меня одного капитана, а может быть, даже и «майора» Т., который накричал на меня на вокзале во время приезда в Бельчаун группы поляков, ожидавших отправки на родину. Уезжали и наши спутники от Мешхеда до Дуздаба — семья Качора. Они потерялись на вокзале, не говоря по-английски, и метались от вагона к вагону, не зная, где им отведены места. Я старался им помочь, об-

ращаясь за разъяснениями и указаниями к станционным и почтовым служащим, и тут я нарвался на Т. Он грубо остановил меня и спросил в резком тоне, почему я вмешиваюсь не в свое дело, под угрозой указать мне мое место. Я возразил ему, что я только помогаю своим знакомым, не могущим устроиться в перегруженный поезд из-за незнания английского языка. Продолжая говорить в том же грубом тоне, Т. продолжал грозить мне. Возмущенный, но беспомощный, я отошел от него.

Вечером в Клубе я сообщил об этом инциденте полковнику Бити. Он просил меня не принимать близко к сердцу выходок, подобных допущенной «майором» Т., и рекомендовал реагировать на них вежливо, но твердо, напоминая о возможном обращении к высшему начальству. Бити говорил, что подобные грубости и бестактности со стороны молодого офицерства в настоящее время нередки, так как военная необходимость ввела в ряды армии самый разношерстный элемент, чуждый традиций и воспитания старой армии; что большинство этих офицеров военного времени — славная молодежь, но нередки и исключения, когда недавний приказчик или мелкий клерк упивается своим новым положением, злоупотребляя им.

Восстанавливая в памяти нашу жизнь в Кветте, я все же не могу не оговориться, что, несмотря на частые удары самолюбию, нам жилось далеко не плохо гостями английского короля: мы были сыты, пользовались бесплатной медицинской помощью. Бити мне говорил, что я могу даже заказать в своем отеле в известной норме пиво или виски. Словом, если иметь в виду Хорнез Стюартов, Т. и К°, то оправдывается русская пословица: «Жалует царь, да не жалует псарь».

Второй месяц нашего пребывания в Кветте подходил к концу, когда всем русским беженцам и возвращавшимся на родину полякам, чехам и др. было объявлено решение правительства поселить всех нас в Бельчаунском лагере, где раньше содержались интернированные немцы и австрийцы. Всех подлежащих отправке было, я думаю, человек до ста, которые, за неимением места, были размещены так: женатые — в городской гостинице в центре города, а холостые — в бараке. В это время я заболел в сильной форме конъюнктивитом обоих глаз и ходил чуть ли не ежедневно на перевязки в медицинский пункт, где больных принимали два врача.

Я еще не совсем оправился, когда был объявлен день отправки в Бельчаун, и просил врача отсрочить наш отъезд до моего излечения. Не тут-то было! Не знаю, почему, он настаивал на необходимости нашего отъезда, несмотря на то, что, по словам Бити, отсрочка зависела от него. Видно, Кветта хотела во что бы то ни стало скорее избавиться от беженцев с их нескончаемыми просьбами и справками и передать их в руки искушенных опытом с интернированными немцами лагерных властей в Бельчаунском форте.

Итак, мы выехали с последним этапом. В одном с нами купе 2-го класса ехали г-жа С. и полковник Савицкий. На этот раз мы не были вольными путешественниками, как до Кветты: нас сопровождал молодой сержант, к слову сказать, державшийся прекрасно и совершенно не надоедавший нам. Мы знали, что он где-то в поезде, но не видели его до Бомбея, где была большая остановка — с полудня до вечера. Нам полагались какие-то суточные, и мы позавтракали на великолепном вокзале и израсходовали оставшиеся средства на наем автомобиля для осмотра города. Наш сержант неотлучно был с нами, сидя рядом с шофером.

Я хорошо знал Бомбей за свое трехлетнее в нем проживание и служил гидом. Объехав быстро европейскую часть города, начиная с величественного Тадж-Махала, мы переехали на другую сторону бомбейской косы и поднялись возле берега моря на Мальборо-Хилл, откуда открывается широкая панорама на бомбейскую бухту. Проезжая мимо Башен Молчания, почти скрытых разнообразной экзотической растительностью, я прочел спутникам краткую лекцию о парсах и их религиозном культе. Все захотели остановиться и посмотреть вблизи на башни, о которых свидетельствовали с дороги только группы орлов-стервятников, рассевшихся повсюду на ветвях окружающих башни деревьев и портящих своим мрачным видом окружающую картину природы. Подойдя ближе, мы увидели небольшой павильон, в котором посетители могли осмотреть точную модель башни и услышать объяснения состоящего при павильоне персонала.

До отъезжающего в Бельчаун поезда было еще много времени, и я предложил компании поездку в Victoria Gardens. Я не узнал этого прекрасного сада, совершенно изменившего физиономию за мое семилетнее отсутствие: повсюду были устроены для зверей клетки, позволявшие поблизости наблюдать крупных хищников — львов и тигров — в привычной им обстановке. Особенно удачно было устроено помещение для медведей, обведенное глубоким рвом, чтобы видеть медвежью семью совсем на воле. Каким жалким по сравнению казался наш петербургский зоологический сад, богатый зверьми, задыхавшимися в тесноте и непривычных условиях!

Из Victoria Gardens мы вернулись на вокзал того же имени и с вечерним поездом в сопровождении неотлучного сержанта выехали в Пуну, где должны были провести целый день, чтобы попасть в Бельчаун утром. Это был довольно нудный день, так как в Пуне — небольшом провинциальном городе бомбейского президентства — нет ничего, что могло бы привлечь внимание проезжающего. Мы наняли четырехместную парную коляску и начали осматривать город в сопровождении нашего сержанта, сидевшего на козлах. Помню, что по чьему-то случайному приглашению, может быть, потому, что остановились у въезда, мы попали в палаццо какого-то местного богача-индуса и осматривали его. Затем долго стояли, не зная, куда деваться в незнакомом парке, и провели остаток дня до поезда в кондитерской за мороженым и кофе. Наконец, мы в поезде, где проводим ночь, и на другое утро все в Бельчауне.

На станции наш славный сержант, недремлющего ока которого мы почти не замечали во время всего нашего путешествия, сдал нас помощнику заведующего лагерем г-ну Кингу, встретившему нас очень приветливо, распорядившись о нашей поездке в форт и отправке нашего багажа. От вокзала до форта, в котором находился лагерь, мы добрались на двухколесных крытых повозках, очень тряских, влекомых одним или парой быков. Возница-индус балансировал на оглобле или дышле, погоняя быков не бичом, а накручивая их хвосты. Это, должно быть, причиняло сильную боль, так как животные немедленно прибавляли рысью и начинали даже галопировать.

Кинг, наполовину индус, человек обязательный и симпатичный, уже знает, кто мы и знакомит нас с лагерным обиходом. Мы узнали, что для удобства управления лагерем и сношения с лагерными властями беженцы выбрали из своей среды комитет, который, между прочим, устраивает вновь прибывающих, отводит им помещение, осведомляет о них заведующего лагерем для назначения им пайка и т.п., и что нам прежде всего надлежит обратиться к членам комитета неким Павилонову и Киселеву. Сразу к ним и направляемся. Насколько помню, оба они, женатые люди, жили в одном хорошем бунгало, разделенном на две квартиры. Мы были встречены ими обоими, и ни тот, ни другой нам не понравились. Павилонов, говорливый субъект, бывший чиновник какого-то ведомства в Асхабаде, вежливо, но безапелляционно заявил нам, что, к сожалению, все бунгало уже заняты и нам придется остановиться в разгороженными циновками на комнаты бараках для холостых. Киселев, как говорили, инженер по профессии, тоже асхабадец, тщедушный человечек средних лет еврейского типа, поддакивает.

Нечего делать — идем осматривать барак, в котором осталось еще несколько не занятых холостяками комнат. Барак громадный и скорее производит впечатление склада, чем жилого помещения. Вероятно, по первоначальному назначению это и был склад, приспособленный для жилья лишь при интернировании немцев и австрийцев, так как окон в нем я не заметил, а только громадные двери. Свет, насколько я помню, проходил через вентиляционные отверстия, проходившие через весь барак между стенами и крышей. Легкими, сплетенными из тростника циновками барак был разбит на несколько комнат, из которых одна предоставлялась в наше распоряжение. Не подвергая даже помещение дальнейшему осмотру, мы заявили сопровождавшему нас Павилонову, что мы уклоняемся от занятия его и на время остановимся у наших мешхедских знакомых Ш., прибывших в лагерь раньше нас и попавших в более или менее жилое помещение, состоящее из двух комнат. Ш. сразу же по нашем прибытии предложили нам остановиться у них, но мы, не желая их стеснять, спешили устроиться в своем углу. Павилонов, видимо, был недоволен нашим решением, усмотрев в нем желание не считаться с распоряжением комитета, и, заявив, что комитет сделал все от него зависящее, предоставил нас самим себе.

На выручку пришел Кинг. Он, видимо, сочувствовал нам и был согласен с нами, что барачная клетка не приспособлена для мало-мальски продолжительного пребывания людей с культурными привычками. Он одобрил наше решение воспользоваться на время гостеприимством Ш. в расчете подыскания за несколько дней сносного помещения. Сопровождая нас к Ш., Кинг указал нам по дороге на небольшой одноэтажный старый каменный дом индусской архитектуры. Дом этот принадлежал частному лицу и сдавался, но не находил съемщика. Мы вошли через плохо пригнанную дверь осмотреть его. На нас пахнуло сыростью. Видимо, дом давно был необитаем. В нем было две мрачных грязных комнаты. Хотя помещение нам и очень не нравилось, мы решили иметь его в виду за неимением ничего лучшего. За наем его также приходилось платить 15 рупий в месяц, что было ощутительно при нашем пайке на двоих в 5 рупий в день, но мы готовы были терпеть некоторые лишения, только бы не жить в бараке.

У Ш. мы пробыли дня три и, осмотревшись, решили взять индусский дом. У меня было впечатление, что в нем в свое время жили жрецы или служители лежащего напротив заброшенного храма — так не походил он на обычное жилое помещение. В нем не было никакой мебели, но две простые деревянные кровати нам достал в лагере Кинг, нашли также стол и два-три стула, но обстановку мы предполагали пополнить мебелью, взятой напрокат в одном из бельчаунских складов. Моя жена прежде всего обратила внимание на внутреннюю неприглядность помещений и, купив разных меловых красок, вырезав из картона шаблон, расписала стол нашей гостиной и столовой рисунком в стиле модерн.

Кое-как мы устроились, но, Боже мой, сколько было с непривычки хлопот, чтобы избавиться от непрошеных жильцов нашего коттеджа! А их было немало: крысы, ящерицы, муравьи, не говоря уже о комарах и мухах, от которых нужно было спастись под пологом. Дом был очень стар и кишел крысами, которые устраивали невероятную возню по ночам, не давая нам спать. Впрочем, с крысами, как разносчиками чумы, шла борьба во всем лагере посредством расставленных в неограниченном количестве мышеловок, в которые крысы плохо шли, так как они были наполнены горохом. Крупные муравьи устроили себе жилище где-то у нас под цементным полом и стремились взад и вперед непрерывной безостановочной толстой цепью. Мы пробовали бороться с ними керосином, заливая входы и пересекая им дорогу керосиновыми канавками и лужицами, — ничто не помогало. Наиболее безобидными и выносимыми были замершие по стенам в одной позе прозрачные ящерицы, подстерегающие мух и других насекомых, но присутствие этих иногда сваливающихся с потолка пресмыкающихся претило нашей северной натуре.

Несмотря на все эти неудобства, мы предпочитали нашу руину, в которой мы ни от кого не зависели, скученному бараку, где жизнь каждого была на виду у всех соседей. По заведенному в лагере порядку, мы наняли себе за несколько рупий поваренка-индуса, который устроил себе на открытом воздухе подобие кухни с очагом из глины и кирпичей с духовкой из пятигалонной керосиновой жестянки и недурно кормил нас два раза в день.

Итак, казалось, что как будто наша жизнь в лагере налаживалась, но нас ожидала большая неприятность. Настал день выплаты пайка беженцам, и я был поражен, узнав, что наш паек был сокращен наполовину. Кинг не мог дать никаких объяснений, говоря, что он получил относительно нас соответствующие инструкции, и советовал обратиться к самому заведующему лагерем полковнику Хилларду, которому я представился в его канцелярии на другой день по нашем прибытии в лагерь и которого я решил по возможности избегать.

Вот несколько слов о нем: древний маленький сгорбленный старик, относившийся к беженцам совершенно так же, как незадолго перед их размещением к интернированным врагам союзников. Он абсолютно не считался с социальным положением и всех стриг под одну машинку: простого солдата, офицера, дипломата… Мужчин он не приветствовал, не предлагал сесть, не делал даже обычной прибавки к фамилии при обращении, но женщин иногда усаживал. Успев услышать о нем от Ш., жена моя уклонилась от обычного визита в канцелярию под предлогом усталости и нездоровья. Я пошел один в сопровождении Кинга, который представил меня не только как члена царской консульской службы, но как лицо, в течение трех лет управлявшее консульством в Бомбее. Полковник как бы пропустил это мимо ушей, промычав, что нынче во всяком беженце надо, прежде всего, усматривать a bolshevik. Чего можно было ожидать от выжившего из ума старика, да еще с предвзятым мнением? Я поспешил ретироваться.

И вот теперь приходилось идти к нему вновь за объяснениями по вопросу об урезке нашего пайка наполовину. Я нашел полковника не только неприветливым, что было его нормальным состоянием, но даже настроенным как бы враждебно. На сухой вопрос: «Что вам нужно?» — я ответил, что в выдаче нам пайка произошла ошибка и нам на двоих выдали ординарный паек. «Никакой ошибки нет, — слышу в ответ. — Представитель вашего комитета доложил мне, что вы состоятельный человек, отказались от предложенного вам казенного помещения и заняли на свои средства частную квартиру. Я не вижу никаких оснований в выдаче вам полного пайка. При недоразумениях я всегда стараюсь найти лазейку в пользу беженца, но для вас ее не нахожу». Я стараюсь аргументировать, говоря, что показания Павилонова произвольны, доказывая, что квартира моя — не что иное как лачуга и мы взяли ее только ради создания некоторой интимности, именно в расчете на полный паек, будучи готовы урезать себя в пище. Хиллард был непреклонен: «Я не могу считаться со словами каждого отдельного беженца. Вы выбрали комитет, и его председатель является для меня официальным авторитетом, который вы пытаетесь оспари-

вать. Единственная лазейка для вас для получения полного пайка — это переехать в казенное помещение». Вижу, что Павилонов сознательно, без всякой нужды, подвел меня только из-за того, что я не подчинился его распоряжению. Этот инцидент определил мое дальнейшее отношение к нему и комитету в смысле полного их игнорирования. Считая, что продолжение моих прений с Хиллардом бесцельно, я покинул канцелярию с решением не обременять ее, по возможности, посещениями.

Вскоре, однако, судьба нам улыбнулась. В Бельчауне мы нашли известную нам по Ташкенту польскую чету Радус-Зенковичей, проехавшую легально через персидскую границу вскоре после нас. Они, без остановки в Кветте, сразу были отправлены в Бельчаун и как одни из первых прибывших получили большую комнату с частью веранды в громадном помещении, кажется, бывшего военного собрания, разбитого на 5–6 отдельных удобных жилищ. С ними и Ш. мы общались больше, чем с другими, как уже знакомыми людьми нашего круга. В стенах бельчаунского форта было несколько частных бунгало, занятых английскими семьями. Радус-Зенковичи познакомились с одной из них и получили предложение переехать из казенного помещения к ним. Заручившись разрешением полковника Хилларда, Радус-Зенковичи немедленно переехали, нам же было позволено занять их комнату с переводом на полный паек.

Таким образом, наше квартирно-финансовое затруднение благополучно разрешилось, и мы могли устроиться даже с комфортом, взяв мебель напрокат в Бельчауне, что практиковалось почти всеми семейными беженцами, и разделив нашу громадную комнату ширмами на две части: спальню и гостиную-столовую. В комнате было очень прохладно, так как кругом всего громадного здания шла широкая крытая веранда, отводящая жар от внутреннего помещения. Итак, мы получали на двоих 150 рупий в месяц, из которых 100 рупий уходили на стол, а остаток на наем мебели, уплату жалованья поваренку, фрукты, табак, мелкие расходы и развлечения. К этой скромной сумме я еще прирабатывал уроками английского языка около 30 рупий в месяц, что, спасая от гнетущего всеобщего безделья, давало нам возможность улучшения нашего быта.

Пространство, занимаемое бельчаунским фортом, было не очень велико — его можно было объехать на велосипеде по великолепной круговой аллее минут за десять среднего хода. Вся эта площадь была прорезана хорошими дорожками и аллеями, вдоль которых были разбросаны бараки и частные и правительственные бунгало. Почти в центре ее стояла невысокая постройка — старый индусский храм причудливой архитектуры, около которого находилась служившая жилищем лачуга, оставшаяся от владычества маратхов в Западной Индии. Форт был очень стар. Вокруг него шла вполне сохранившаяся высокая каменная стена, служившая, вероятно, во времена примитивных осадных орудий солидным оплотом от неприятеля. Широкий и глубокий, всегда наполненный водой ров окаймлял всю стену, в которой было несколько ворот с переброшенными через ров мостами. Была в форте также построенная англичанами церковь, но служб в ней не происходило и желающим предлагалось бывать по воскресеньям в городской церкви в полукилометре ходьбы от форта. Полковник Хиллард жил в городе и бывал в лагере даже не каждый день, но Кинг жил в форте. Он оказался очень обязательным и милым человеком, не создававшим беженцам каких-либо затруднений, хотя имел полную возможность показать свою власть над ними, стесняя их свободу.

В пределах форта мы пользовались свободой, но при отлучках в город необходимо было сказываться и возвращаться вовремя, так как ворота на ночь запирались. Режим в отношении нас, как говорили, нисколько не отличался от того, который применялся к интернированным врагам. Жизнь в лагере шла монотонно, и, кроме меня и двух-трех других преподавателей английского языка, никто ничего не делал. Часов до пяти беженцы сидели по своим норам, читая, отдыхая и занимаясь мелкими хозяйственными делами. После пяти лагерь оживлялся: пили чай дома или у знакомых, шли к соседям посплетничать или просто на прогулку. Никаких игр, спорта не было и в помине. Странно, что беженцы не ввели в лагере излюбленных русских игр лапты и городков. Нашлось несколько любителей тенниса, но не было теннисной площадки.

Утопающий в растительности форт был полон обезьян — мартышек и гиббонов, прыгавших по деревьям вблизи наших жилищ, не стесняясь присутствием людей. Большие гиббоны изредка попадались гуляющим в уединении по дорожкам, и мою жену напугал один из них на прогулке около церкви. В редкой семье не было прирученной мартышки. Кое-кто пытался держать на привязи и гиббонов, но это порода обезьян с печальными серьезными лицами старичков и белыми бакенбардами как-то не уживалась в нево-

ле и владельцы, безуспешно провозившись с ними несколько дней, обычно отпускали их на волю. В некоторых семьях были ручные мангусты — симпатичные зверьки, скоро привыкавшие к людям, будучи пойманы детенышами, но злые и не поддававшиеся никакой дрессировке и ласке, если попадали в плен взрослыми. Мангуст — враг змей, выходящий всегда победителем из схватки с коброй, не подвергаясь, будто бы, действию ее яда. Нам, однако, приходилось наблюдать их борьбу лишь с кобрами странствующих фокусников, лишенными ядовитых зубов.

Так наша жизнь, в ожидании отправки куда-то — в те места, о которых, кроме поляков, большинство не имело никакого понятия, протекала в монотонном ритме. Почему-то, однако, во всех царила уверенность, что бежавшим от большевиков дадут возможность жить вне сферы их досягаемости.

Незадолго до Рождества меня как-то посетили несколько человек лагерных интеллигентов с полковником Гущиным во главе в связи с предстоящими перевыборами комитета ввиду истечения срока, на который он был избран. Посетители сказали мне, что русские беженцы (поляки держались своей организацией) крайне недовольны произволом Павилонова и Киселева, играющих роль наушников при полковнике Хилларде, и предложили мне выставить мою кандидатуру в председатели нового комитета. Я отказывался, указывая на то, что было бы более целесообразным выставить кандидатуру кого-нибудь из ранее прибывших в лагерь как более знакомому с лагерной обстановкой и на то, что у меня, занятого уроками, свободное время только по вечерам, которые я посвящаю отдыху, прогулкам, чтению. Однако гости мои настаивали, говоря, что вся беженская колония хочет видеть меня во главе комитета. Пришлось согласиться, хотя мне и очень не улыбалась перспектива разборки разных мелких ссор между русскими обитателями лагеря и более частого общения с полковником Хиллардом. Как и следовало ожидать, на выборах старый комитет был с треском провален, причем Павилонов со своими друзьями, наговорив по адресу нового комитета и вообще всей беженской колонии немало грубостей, покинул заседание при общем шипении. Я был избран единогласно председателем нового комитета.

Одновременно, твердо решив ехать с женой на Дальний Восток и не зная правительственных планов в отношении дальнейшего направления русских беженцев, я принял самостоятельные меры к обеспечению для нас обоих проезда в Корею. И здесь нам улыбнулась судьба: по наведению справки оказалось, что личным секретарем бомбейского губернатора состоит майор Грейг, которого я знал капитаном в той же должности при сэре Джордже Кларке. Я немедленно написал ему письмо с просьбой поспособствовать устройству нам проезда в Корею. Вскоре не замедлил прийти ответ: майор Грейг писал, что хорошо меня помнит, сочувствует нашему положению, сообщал одновременно, что мне и жене будет предоставлена возможность поездки за казенный счет в Корею при условии получения мною самостоятельно визы от японского генерального консульства в Калькутте. Я немедленно списался с нашим представителем в Калькутте, управляющим генеральным консульством Р. Лисовским, который не без хлопот, ввиду усиления паспортных формальностей после войны, добился нужной нам визы; помогло исключительно то обстоятельство, что я служил до войны в Корее, о чем в японском императорском консульстве могли быть данные.

Свой визированный паспорт я представил с письмом майора Грейга полковнику Хилларду, который выразил сомнение результату моего решения ехать в Японию, где, по его сведениям, жизненные условия после войны были хуже, чем где бы то ни было. Хорошо уже к тому времени знакомый с натурой полковника и его критическим отношением ко всем начинаниям беженцев, я, не входя с ним в аргументацию, просил только уведомить бомбейский секретариат о получении мною японской визы. Оставалось только терпеливо ждать уведомления о времени нашего отъезда, названии парохода и пр.

Насколько помню, переписка моя с майором Грейгом произошла уже после Рождества, которое в лагере было отмечено елкой для маленьких детей в главном большом бараке, где нас чуть было не поселили, и tea party* для взрослых. Елку почтили своим присутствием полковник Хиллард со своей супругой. Я встретил их уже в качестве председателя комитета и удостоился на этот раз рукопожатия престарелой четы.

После Рождества прошел слух, очень встревоживший русских беженцев, об отправке их весною во Владивосток, бывший еще в руках белых. Все, однако, знали, что белое правительство держится только благодаря японскому оккупационному отряду, с эвакуацией которого приход большевиков был несомненен, и все рус-

* Чаепитие (*англ.*).

ское население лагеря решило обратиться с петицией к вице-королю и в Лондон об оставлении их в Индии или отправке куда угодно, но только не во Владивосток. Петиция эта, как я уже узнал потом, успеха не имела, и вся русская беженская масса, за исключением единичных семей вроде секретаря генконсульства в Мешхеде И.К. Антипова и ташкентского врача еврея Шварца, ехавших в Америку, где у Антипова были связи по прежней службе, а у Шварца — в еврейской колонии, поплыла во Владивосток. Обозревая беженскую жизнь за короткое время, проведенное в Кветте, и полгода в Бельчауне, я должен все же сказать, что, несмотря на унизительный для многих режим и подчас тяжелые удары по самолюбию для лучшей части беженцев, они не испытывали никаких лишений: были сыты, имели кров и постоянную бесплатную медицинскую и зубоврачебную помощь.

Повторяю, однако, что были люди, подобные кветтскому полицмейстеру, о котором я упоминал выше, понимавшие психологию беженцев и судившие о них по достоинству. Мне припоминается мой визит как председателя комитета с делегацией от беженцев к бельчаунскому начальнику с просьбой об ассигновании денег на устройство теннисной площадки, что выходило из компетенции полковника Хилларда. Мы были приятно поражены не только вежливой, но и сердечной встречей. М-р В., пожав всем руки, усадил нас, внимательно выслушал нашу просьбу, пожалел, что раньше не знал об отсутствии спортивных развлечений в лагере и, порасспросив о лагерном быте вообще, обещал немедленно исполнить нашу просьбу. Через два-три дня мы уже имели великолепную теннисную площадку.

Вскоре я получил уведомление из лагерной канцелярии, что мне и жене предоставлен проезд 2-го класса из Бомбея до Шанхая на пароходе «Дунера». Пароход ожидался дней через десять, и, хотя сборы наши были невелики, приходилось все же собираться в дорогу: укладываться, расплачиваться в открывавших беженцам кредит лавках, наносить прощальные визиты. Кроме того, мы хотели провести несколько дней в Бомбее, где необходимо было увидеться с секретарем английского правительства г-ном Монтгомери и выяснить условия нашей дальнейшей поездки от Шанхая до Сеула.

На прощание полковник Хиллард хоть и подал мне руку, не потрудившись, однако, привстать, все же не удержался и вместо напутствия сравнил нашу поездку в Корею с прыжком в неизвестное пространство, не сулящим ничего хорошего. Я позволил себе

выразить мнение, что поездка в Корею кажется мне менее рискованной, чем предстоящая отправка русских беженцев в висящий на волоске белый Владивосток, на что полковник Хиллард пробурчал, что Владивосток для русских своя, а не чужая страна. О вкусах не спорят, и я не аргументировал. Неожиданно полковник вспомнил, что ни разу не встречался с моей женой. Я замялся, так как ни я, ни жена не видели никакой необходимости в представлении ее полковнику Хилларду. Неожиданно опять выручил Кинг, сказав, что он только что заходил к нам и не застал никого дома. Вечером мы уезжали в Бомбей и, несмотря на видимое недовольство полковника, ворчавшего себе под нос, что нарушаются порядки, вопрос о представлении ему моей жены отпал.

В Бомбее у меня был знакомый по моей консульской службе голландец van W., которого я уведомил о нашем предстоящем приезде, но побоялся просить о нахождении нам на несколько дней помещения, не зная, позволят ли нам средства остановиться в гостинице лучшего калибра. Приезжавшие в Бомбей по делам беженцы обыкновенно останавливались в «Oriental Hotel» и указывали нам на него как на приличный и дешевый.

В середине февраля 1922 года мы выехали из Бельчауна с вечерним поездом на этот раз свободными людьми, без эскорта, и наутро были в Бомбее. От станции до «Oriental Hotel» я ехал минут пять на автомобиле. Мы не ожидали большого комфорта, но то, что мы нашли, совершенно обмануло самые скромные ожидания. Гостиница представляла собой узкое пятиэтажное здание фасадом на улицу, вклинившееся между двумя зданиями под торговыми помещениями почти напротив строений рынка. Что поражало в этом учреждении — это тяжелая атмосфера, происходящая, как оказалось, оттого, что уборные без водопровода, устроенные очень примитивно, находились за перегородкой, не доходящей даже до потолка. В комнате мы нашли две кровати, стол, два стула и умывальник. Грязный слуга-гоандец сказал, что где-то есть и ванны, но, судя по внутренности отеля, пользоваться ими нам и в голову не приходило; белье оказалось несвежим, и слуги переменили его лишь после неоднократных указаний. Но что было делать? По крайней мере, здесь было дешево, а наши ресурсы были слабы, и мы решили перетерпеть несколько дней, проводя время вне отеля и только пользуясь им для ночлега. Но, увы, и для спанья такое убежище оказалось непригодным, не говоря уже об атмосфере — кровати оказались клоповниками.

На другой день утром я был в секретариате и просил доложить о себе секретарю г. Монтгомери. Войдя в его кабинет, я увидел сидящим за письменным столом полного средних лет человека, приветствовавшего меня кивком головы, предложившего мне, правда, сесть, но не подавшего руки. Ни слова сочувствия, ободрения человеку, три года проведшему в Бомбее на императорской консульской службе и известному местному миру, члену Бомбейского яхт-клуба! Он сообщил мне, однако, что расход по нашему пребыванию в Бомбее будет принят на счет казны. Услышав, что мы остановились в «клоповнике», не предложил переселиться в более приличную гостиницу. От него я узнал, что о нашем дальнейшем путешествии от Шанхая до Сеула позаботится шанхайское отделение фирмы Th.Cook, к которому мы будем снабжены официальным письмом. Это, конечно, было для нас большим облегчением, так как иначе мы могли бы сесть в Шанхае на мель. Этим и кончилась помощь со стороны англичан.

Зато какой теплый прием нашел я у моего старого знакомого голландца: предложение займа, кредита, переезда в лучшую гостиницу! Он считал недопустимым, чтобы люди культурных привычек могли жить в грязном полупритоне. Я объяснил ему, что мы находимся не на своем иждивении и не можем ни требовать, ни жаловаться, что мы должны, наоборот, благодарить за то, что для нас делается, что мы жили по приезде в Индию в лучших условиях и что «Oriental Hotel» — лишь печальный эпизод. Тем не менее, мой голландец волновался и предлагал свое содействие и помощь. Я, конечно, отказался от его предложений: как занимать или кредитоваться без уверенности, что сможешь выполнить свои обязательства? Он настоял, однако, чтобы моя жена выбрала несколько летних платьев из только что полученной им из Голландии для продажи партии, отдавая их по себестоимости. Нечего и говорить, какое удовольствие испытала моя жена, не выходившая за два года советского режима из переделок и перелицовок, купив два-три модных элегантных летних платья. Благодаря ему же, моей жене удалось ознакомиться и с более привлекательными условиями жизни европейцев в Бомбее: накануне нашего отъезда он чествовал нас обедом в Тадж-Махале, пожелав нам счастливого пути с бокалом шампанского в руках.

Я очень любил Бомбей, где провел три интересных и приятных года. Особенно мне нравилось приморское положение города и близость его ко многим горным местностям, где можно было отводить душу во время жаркого сезона. А в прохладный сезон хороши были прогулки по заливу на парусной лодке, поездки на остров, знаменитый своими древними пещерными храмами, называвшимися Elephants Caves*!

Поездку в эти пещеры нам удалось осуществить в сопутствии недавно прибывшего и уже устроившегося в Бомбее тоже беженца, инженера путей сообщения Григорьева, специалиста по ирригации, работавшего, как и я, в управлении водного хозяйства в Ташкенте. Пещеры Элефанта и доступны, и интересны, и их стоит посмотреть. Туда, кажется, ходили и пароходы, но ими мало кто пользовался, кроме туземцев, и то больше в штиль, когда нельзя было идти на парусах и тяжелая лодка медленно двигалась на веслах. Другое дело хотя бы при легком ветерке: лодка быстро неслась по барашкам изумрудных, сияющих на солнце волн, чуть ли не черпая воду одним бортом, и быстро доносила до острова. В глубоких пещерах сохранились выточенные в камне колонны и изображения индусских божеств. К сожалению, они не вполне уцелели, так как португальские завоеватели сильно покалечили их в религиозном фанатизме, подвергнув пещеру, как мне говорили, пушечному огню.

Элефант — совсем маленький островок-скала, на вершине которого находятся пещерные храмы, но подъем к ним невысок и нетруден. Недалеко от храмов, почти у самого обрыва к морю, в описываемое время за длинным столом желающие могли получить за дешевую плату чай, прохладительные напитки, пирожные.

Ходившие к Элефанту лодки стояли почти у самого яхт-клуба, где я в былое время проводил почти ежедневно часть дня, столуясь там, пользуясь читальней, посещая музыкальные tea parties, на которых два раза в неделю играли оркестры какого-то шотландского полка и полка волонтеров, состоявшего исключительно из туземцев. Оба оркестра были далеко не плохи, и за неимением другой музыки в Бомбее служили большим развлечением для бомбейского общества.

Я зашел с женой в яхт-клуб как полноправный член его с целью повидаться с майором Грейгом, поблагодарить его и выпить что-нибудь на площадке перед морем, где было проведено когда-то столько праздных вечеров. К нам как новым лицам подошел старший бой в безукоризненно чистой форме — белые брюки при

* Пещеры Элефанта (*англ.*).

синей открытой куртке с металлическими пуговицами, показывающей крахмальную грудь и красный галстук, но, по вкоренившемуся для слуг обычаю, босиком. Это был гоанец Ребелло, которого я помнил помощником старшего боя. Он сразу узнал меня: «Г-н русский консул! Не угодно ли столик, что прикажете подать?»

И вдруг мне сразу пришло в голову, что ничего нам здесь не нужно, что мы здесь не у места, что, обратившись к скоро уезжавшему и занятому своими друзьями майору Грейгу, я только приведу его в смущение и что, может быть, чай будет сопряжен с некоторыми расходами вроде членского взноса и т.д., могущими внести брешь в наш более чем скромный бюджет. Жена моя без слов поняла меня: «Здесь очень мило, но как-то безлюдно (было еще рановато для публики), пойдем лучше в город». Мы поблагодарили Ребелло, сказав, что заняты и пришли только взглянуть на клуб, и незаметно удалились.

ГЛАВА 11
На «Дунере»: от Коломбо до Шанхая. Вновь в Нагасаки

На другое утро мы были на пристани. «Дунера» оказалась старым пароходом в 3500 тонн водоизмещения, делавшим свой последний рейс, после которого она продавалась на слом. По соседству с рядом стоящим 7000-тонником она представлялась пигмеем, и моя жена, впервые совершавшая большой морской переход и не подозревавшая еще в себе стойкого моряка, боялась, что сулившее столько удовольствия путешествие на этом утлом, по сравнению с соседом, судне протянется лишь сильной морской болезнью. Но и мы, и старушка «Дунера» выдержали марку, хотя в одну бурную ночь между Хайфоном и Шанхаем и казалось, что подбрасываемый волнами и вновь бросаемый в пучину пароход раскалывается надвое. На пристани из рук полицейского офицера мы получили наши билеты и отряхнули индийский прах со своих ног, очутившись на борту «Дунеры».

Второй класс помещался на корме и состоял из большого салона-столовой в трюме, к которому с боков примыкали каюты. Палуба над этим помещением была отведена для пассажиров 2-го класса. Почему-то мужчин, даже семейных, отделили от женщин, и мы с женой попали в разные каюты. Многие были недовольны и просили об отмене этого разделения, особенно сильно волновалась семья одного купца, которая отправлялась в Японию. Неудобство все же уладилось, и публика была размещена более или менее удовлетворительно, но нам досталась двухместная каюта, примыкавшая к машинному отделению, в которой мы страдали до Сингапура, где явилась возможность перебраться в лучшую каюту.

На палубе было несколько общих деревянных скамеек, и мы были очень благодарны чьему-то доброму совету — при посадке приобрести пару продававшихся тут же на пристани складных кресел с парусиновым сидением-спинкой. Они весьма облегчили нам продолжительное путешествие, и, заслуженные ветераны, эти кресла до сих пор в исправленном и дополненном виде служат нам на нашей даче в Северной Корее. «Второклассный» стол был обилен и, в общем, съедобен, за исключением масла, имевшего вид вазелиновой массы, отдававшей салом.

Публика была самая разнообразная: несколько английских солдат в форме, державшихся очень шумно и непринужденно и злоупотреблявших стареньким, жалобно дребезжавшим пианино, пытаясь воспроизвести на нем популярные песенки и входившие в моду фокстроты; люди среднего достатка: купцы, жены офицеров и чиновников, несколько молодых офицеров не в форме. Все держались как-то особняком.

В Коломбо «Дунера» пришла днем и должна была простоять сутки, и мы воспользовались остановкой, чтобы сойти на берег, побывать в агентстве Добровольного флота, побродить по городу. Агент Добровольного флота торговец Рысаков сообщил нам, что «добровольцы» давно уже прекратили свои рейсы. От него же мы узнали, что на «Дунере» с пассажирами первого класса поплывут до Шанхая молодые Молчановы, члены семьи известных в Ханькоу торговцев: муж, жена и маленький сын. Рысаков пригласил нас вечером в местный лучший отель познакомиться с ними, и, к моему удивлению, в группе русских, знакомых Молчановых, я узнал своего старого спутника по Нижнему Новгороду Н.И. Шевалдышева, представителя бездействовавшей, как и все «чайники», фирмы Губкина. Вспомнили мы с ним добрую старину и незавидное настоящее. Молчановы оказались очень милыми людьми, и, хотя нас разделяли «классы», мы надеялись часто встречаться и сокращать вместе часы долгого морского перехода. Остаток вечера мы провели в кинематографе, все еще бывшем для нас после трех бесцветных лет советского режима в Туркестане аттракционом, и часов в 11 вечера вернулись на «Дунеру».

На следующий день, воспользовавшись ранними утренними часами, я один побывал на базаре, чтобы запастись фруктами, которыми нас на пароходе совсем не баловали. На базаре мое внимание привлекли громадные ананасы, величиной со среднюю туркестанскую дыню, подобные которым я нигде никогда не видел, даже в прославленном ананасами Сингапуре. Я купил за безделицу целый мешок их и на рикше доставил на пристань. «Дунера», стоявшая на открытом рейде, уже набиралась паров к отплытию. Мои покупки произвели сенсацию — мало кто видел ананасы такого размера! Но что они сделали с нашей крошечной и жаркой каютой? Скоро в ней стало тяжело дышать от сильного сладкого запаха. Приходилось возможно скорее ликвидировать наши ананасы, и тут помогли нам кое-кто из спутников и Молчановы, но все же часть нежных спелых фруктов испортилась и оказалась за бортом.

У нас скоро завязались самые дружественные отношения с Молчановыми, укреплению которых способствовал любезный капитан «Дунеры», разрешивший нам пользоваться палубой 1-го класса по нашему усмотрению. Единственно тяготила нас наша каюта, но и с ней мы расстались в Сингапуре.

В Сингапуре была опять продолжительная остановка, и мы с Молчановыми после завтрака сходили на берег в какой-то большой универсальный магазин, осмотрели местный музей. Я надеялся повидаться с моим бывшим бельгийским коллегой по Сеулу генеральным консулом Брибозиа, но он оказался в отпуску, так что мы с женой и чета Молчановых проехали на автомобиле среди плантаций резиновых деревьев за город, где, по полученным мною в городе сведениям, проживал наш бывший консул, мой старый знакомый по Нагасаки, Роспопов, работавший после октябрьской революции на какое-то английское правительственное учреждение. Как мог раздражительный Ксенофонт Роспопов состоять на какой-либо службе, кроме русской, было непонятно. Видно, нужда учит. Ведь был же я приказчиком и кассиром в кооперативном учреждении.

Роспопова мы дома не застали — он был на дежурстве. Как это не вязалось с личностью Роспопова! Поговорив с час с его женой, известной мне еще по Нагасаки, мы вернулись в город и перед возвращением на пароход объехали с Молчановыми на автомобиле весь остров.

Из Сингапура, отступив от обычного маршрута, «Дунера» пошла в индокитайский порт Хайфон, имея туда и принимая оттуда

какие-то грузы. Затяжка путешествия не нарушала наших планов, и побывать во французском Индокитае представлялось даже заманчивым. Но мы были разочарованы, едва «Дунера» устало причалила к пристани, так как пассажирам было объявлено, что спуск на берег свободен для всех, кроме русских, болгар и представителей других враждебных союзникам национальностей. Итак, и мы, русские беженцы, попали, по психологии французов, в число их врагов. Как шире мыслили в этом отношении англичане, не чинившие нам в своих портах никаких препятствий! По чьему-то совету я написал заявление местной полиции, указав свое бывшее положение и состояние кавалером Почетного Легиона и просил исключения для себя, жены и семьи Молчановых. Не тут-то было: пришел категорический отрицательный ответ! Мы были очень огорчены, так как стоянка была продолжительная, с ночевкою, и на пустовавшем пароходе царили и духота, и тоска.

Но тут на выручку к нам пришел молодой француз, служащий агентства пароходной компании. Заметив наше смущение, он посоветовал нам игнорировать распоряжение полиции и сойти на берег с другими пассажирами. Мы ухватились за эту мысль, и я с женой и жена Молчанова, быстро вмешавшись в толпу, покинули пароход. Сам Молчанов пытался отговорить нас, опасаясь неприятностей, но жажда берега была такова, что мы предпочли некоторый риск и оставили Молчанова в одиночестве. Как и предупреждал француз, никто не стеснил нашей свободы и мы провели весь вечер в Хайфоне, гуляя по городу и побывав в кинематографе после легкого ужина в кафе на бульваре. Тут я впервые ознакомился с манерой подводить счет съеденному и выпитому по посуде, на которой изображена стоимость заказанного, таким образом тарелки и бокалы не уносятся со стола, а составляются друг на друга и при расчете подсчитываются. Хайфон не производил впечатления большого кипящего жизнью порта. Город казался погруженным в спячку. Несмотря на то, что было еще только начало весны и совсем не жарко, я не заметил сколько-нибудь значительного движения на улицах и бойкой торговли в не блещущих ни размерами, ни выбором товаров магазинах. На другой день мы втроем опять были на берегу, делая кое-какие покупки и толкаясь по базару до отхода «Дунеры» в Гонконг. Я не скажу, чтобы мы вынесли много впечатлений от нашего посещения Хайфона. Для этого было мало времени, и наши наблюдения слишком ограниченны. Единственное, что врезалось в память, — это исключительно непривлекательные

физиономии аннамиток, портящих свои зубы. Какой контраст с хорошо сложенными и в большинстве приятными лицами представительниц прекрасного пола Индии!

При переходе из Хайфона в Гонконг нас трясло вовсю, и мы были в числе немногих пассажиров, державшихся на ногах и бывавших регулярно за столом. Бедная «Дунера» трещала и, что называется, «ходила ходуном»: мы попали в край тайфуна. Был момент, когда нам казалось, что наш корабль ломался надвое, но все обошлось благополучно и мы прибыли в Гонконг без всякой аварии. В Гонконге опять целый день на берегу с Молчановыми, с которыми мы завтракали по приглашению одного из офицеров «Дунеры» в грандиозном отеле под звуки филиппинского джаза. После завтрака мы поднялись по фуникулеру на пик, откуда спустились по отлогой дороге, пересекаемой ступенями-улицами в город. Это расположение города ступенями по горе вызвало особый род уличного передвижения, который я наблюдал в Индии только в горных местностях: кресла-носилки, несомые специально тренированными для этой цели кули.

Наконец, наш последний этап на «Дунере» — Гонконг—Шанхай. Я помню только, как мы вошли в мутную широкую реку с низкими берегами, лишенными какой бы то ни было привлекательности. Долго и нудно тащились мы по этой извилистой серо-грязной ленте, пока дошли до шанхайского рейда. Спускаемся на берег и проходим через обычные формальности в таможне. Молчановы направляются в «Астор Хауз», мы же не рискуем злоупотребить гостеприимством английского короля, берем конный экипаж и направляем нашего возницу в «Континенталь», найденный нами по путеводителю как учреждение with moderate charges centrally located*.

Почему мы не направились прямо в контору Th.Cook с нашим письмом бомбейского секретариата и не предоставили ему устраивать нас, сам не знаю. Должно быть, просто не пришло в голову. Помню только, что по данному адресу мы никак не могли разыскать наш «Continental Hotel», представляя его себе внушительным зданием. Мы кружили на извозчике по крайней мере час и были в отчаянии, не находя отеля; попытки справок у прохожих не приводили ни к чему. Наконец, недалеко от Нанкин-роад, на улице, на которой, по нашим сведениям, должен был находиться «Continental

* Со средними ценами, расположено в центре (*англ.*).

Hotel», я заметил вывеску дантиста на английском и русском языках. Я позвонил и попал в приемную меланхолического вида еврейчика, оживившегося при виде пациента. Мне пришлось разочаровать его, обратившись за справкой о нашем неуловимом отеле. Оказалось, мы кружились поблизости и были от него только через улицу.

Носящая звучное, известное во всех больших центрах имя гостиница оказалась небольшим двухэтажным домом, терявшимся между соседними домами, напротив универсального магазина известной мне еще по Индии фирмы. Наружность не привлекала, но я надеялся, что наше новое пристанище не будет хуже клоаки бомбейского «Oriental Hotel». В крошечном вестибюле нам сказали, что за 6 шанхайских долларов в день за двоих нам могут предоставить комнату с полным пансионом. Дешевизна нас поразила, а отведенная нам большая хорошо меблированная комната с двумя чистыми кроватями вызвала полное удовлетворение. Скоро мы ознакомились со столом, превзошедшим всякие ожидания: он был прост, но вкусен и обилен. Почти полный контраст с «Oriental Hotel». Говорю «почти», так как в кулуарах «Континенталя» царил тот же тошнотворный душок: санитарная часть его очень страдала. Заглянув в ванную, мы увидели грязные, выкрашенные масляной краской железные лохани, отнимавшие всякую охоту пользоваться ими; плохи были и лишенные водопровода «удобства». Мы решили переночевать в «Континентале» и отдаться на другой день в руки Th.Cook.

Следующий день мы начали визитами, побывав в нашем бывшем генеральном консульстве, продолжавшем существовать, по соглашению с китайцами, как учреждение, занятое делами многочисленной русской колонии. Здесь я встретил знакомого мне по министерству А. Иванова — он временно заменял отсутствовавшего Троссе — и познакомился с К.Э. Мешулером, трагически погибшим несколько месяцев тому назад от руки корейского террориста. Я пытался выяснить с ними возможность нахождения работы в Шанхае, но ответ был один — nothing doing*.

Из консульства мы отправились к Куку. Я предъявил наш credentials**, не произведшие особого впечатления. Видимо, «Куку с сыном» было некогда заботиться о бедных нахлебниках Его Бри-

* Работы нет (*англ.*).

** Верительные грамоты (*англ.*).

танского Величества, так как уделивший нам самое малое внимание клерк сказал, что, конечно, на момент разговора нет помещения, но что, если мы не довольны «Континенталем», то можем сами подыскать себе лучшую гостиницу, представив им счет для оплаты. Это было уже кое-что: мы, по крайней мере, не были связаны цифрой расхода. Кук также справился о нашем маршруте, указав три направления: на Дайрен, Симоносеки и Нагасаки. Я выбрал последнее, желая ознакомить жену с хорошо известным мне уголком Японии, и выяснил, что мы можем отплыть дней через пять.

Днем мы пили чай у Ивановых, занимавших квартиру при консульстве, а вечером обедали у Молчановых в «Астор Хауз», найдя кухню его не лучше нашей, несмотря на громадную разницу в цене; остаток же вечера провели в зале отеля.

На другой день я отправился во французскую концессию на поиски менее пахучего обиталища, чем наш «Континенталь», и тут мне помог случай: я шел по Avenue Joffre, когда кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел китайского извозчика, седок которого махал мне шляпой. Подойдя ближе, я узнал хорошо знакомого мне по Ташкенту бельгийца Бирнбаума, служившего в ташкентской электрической компании, бывшей бельгийским предприятием. Бирнбаум был женат на русской и покинул Ташкент с другими подлежащими призыву соотечественниками в первые дни войны. Я очень обрадовался этой встрече, так как Бирнбаум принадлежал к нашему кругу знакомых в Ташкенте и мы встречались очень часто. Начались взаимные расспросы. Оказалось, что Бирнбаум по демобилизации служил в Шанхае в какой-то доживавшей последние дни голландской компании, торговавшей разными машинами в Китае, и скоро собирался возвращаться на родину. Он дал мне свой адрес, и мы условились, что, съездив за женой, я вернусь с ней прямо к ним. Тут же был немедленно разрешен вопрос о новом отеле. Бирнбаум отправился со мной в находившейся поблизости «Hotel de France», где я занял большую комнату с ванной по 6 иен с человека на полном пансионе.

Жена ушам своим не верила, когда я рассказал ей о встрече с Бирнбаумом в чужом большом городе, где мы никого не знали и никому, даже Фоме Куку с сыном, не было дела до нас. Мы провели целый день с Бирнбаумом, обедали у них, после обеда отправились в небольшое кафе на улице Эдуарда VII, где мы впервые познакомились с новым жанром развлечения — фокстротом при притушенном свете и коктейлями. Кафе было учреждением второго

разряда, со смешанной и разнокалиберной по достатку и платью публикой. Тут было тесно, пьяно и шумно. Вечер мы закончили в фешенебельном «Carlton»'е, где был тот же жанр и та же программа развлечений, но только в лучшей обстановке и среди исключительно элегантной публики.

На другой день мы переехали в «Hotel de France». Какое облегчение — чистый воздух и возможность без опасения пользоваться ванной в уже начинавшем нагреваться городе. Это была небольшая гостиница, теперь уже не существующая, находившаяся в руках греков, прославивших ее великолепной кухней, равной которой я не ел даже в бомбейском «Тадж Махале». Стол был изысканный, разнообразный, и приходилось только удивляться скромной плате.

В тот же день к вечеру Молчановы отправлялись в Ханькоу, и мы распрощались на борту парохода с нашими симпатичными спутниками от Коломбо до Шанхая, с которыми до сих пор нам не пришлось вновь встретиться.

Остававшиеся последние дни до нашего отъезда в Нагасаки мы проводили вместе с Бирнбаумом, делая кое-какие покупки, бывая в кино и дансингах. Помню, мы подивились доверчивости китайцев в больших магазинах, отпускавших товар случайным посетителям, подобным нам, в кредит, с получкой по счету по адресу в отеле или на частной квартире, тогда как покупки при желании уносились покупателями. Или тут было чутье опытного коммерсанта, кому можно отпустить, а кому нет, так как очевидно, что при злоупотреблениях и похищениях такой способ не продержался бы. Китайские магазины — как мелкие, так и громадные универсальные, — поражали добросовестностью, но в русском модном магазине Бобкова нас обобрали, собрав по 30 долларов за два простых летних платья, выданных за модели. Уже после покупки узнали от Бирнбаума, что этот русский магазинчик пользуется неопытностью проезжающих, особенно русских, но было уже поздно исправлять нашу оплошность.

В Шанхае, несмотря на его громадность, как-то нечего было смотреть, и, кроме центра города и Avenue Joffre мы ничего не видели и нигде не были. Наконец, настал день нашего отъезда. Мы представили Куку наши скромные отельные счета и получили билеты на проезд от Шанхая до Сеула — это был последний расход на нас казны английского короля. Скороходы-рикши быстро домчали нас и наш багаж из отеля на пристань, где мы нашли на-

ших друзей Бирнбаумов. После обычных пожеланий успеха и обещаний не порывать так чудесно найденной связи мы поднялись на борт не помню какого парохода и вскоре опять тянулись по грязной реке к выходу в море.

Пароход был малюткой даже по сравнению с «Дунерой». 2-й класс помещался внизу, и каюты вдоль столовой-салона с койками в два этажа были тесны и душны, а женщины были опять отделены от своих мужей, но все это было несущественно, так как переход занимал не более суток. Дул свежий ветер, и море было неспокойно, раскачивая нас сильной килевой качкой. Пассажиры были в отчаянии и проводили время или на койках или у бортов, отказываясь от пищи. Тут опять мы с женой оказались истинными моряками, отлично позавтракав на палубе, куда предупредительный слуга доставил наши порции. За завтраком мы впервые познакомились с морским лобстером, ставшим впоследствии одним из наших любимых блюд.

Волнение стихло при входе в глубокую нагасакскую бухту, мы тихо идем посредине ее и скоро бросаем якорь на рейде. Сверх ожидания паспортные формальности оказываются очень несложными: нас не опрашивают, не требуют предъявления установленных для въезда денежных сумм, довольствуясь данными наших паспортов. На берегу в таможне досмотр быстр и формален, и, нагрузив наш багаж на рикшу, мы двигаемся к дорогому мне по воспоминаниям службы консульскому дому, находящемуся на берегу. Все осталось по-старому: тот же небольшой, выкрашенный в зеленую краску домик консульской канцелярии, выходящий на улицу, с мостиками через ров, ведущими вверх по холму к консульскому, тоже зеленому, дому.

Нас радушно встречает узнавший меня пожилой японец, один из канцелярских служителей, и проводит наверх, в квартиру консула. Тут другая встреча — консул М., видимо, чем-то озабочен и ему не до нас: после взаимных приветствий мы разговариваем стоя, осведомляемся, где мы могли бы недорого остановиться на ночь, и просим разрешения оставить в консульской канцелярии до утра наш багаж. На прощание М., дальний родственник по первой жене моего старого начальника и друга, предложившего нам в Корее свое гостеприимство, огорошивает нас сообщением, что старый 70-летний вдовец Я.Я. Лютш только что женился на молодой особе, беженке, обратившейся к нему в поисках работы. Это было неприятное известие, так как одно — пользоваться гостеприимством испытанного друга, и другое — его совершенно неизвестной нам новой жены.

Мы, несколько удрученные и холодным приемом в консульстве, и известием о женитьбе Лютша, прощаемся с М. и, по новой фразеологии, «сматываемся в два счета», сопровождаемые смущенным служителем-японцем, на попечение которого оставляем наши громоздкие чемоданы. Прежде всего, встает перед нами вопрос, где остановиться. Старых знакомцев-отелей уже нет и в помине, но через пахучий не то канал, не то речонку я вижу вывеску старого «Kaida Hotel», которого в прошлом обычно сторонилась более или менее состоятельная публика. Но то было в богатом, изобиловавшем всеми земными благами прошлом, для нас же, переживавших плачевное настоящее, вывеска «Кайды» была желанным маяком. Цены уже были послевоенные, и за комнату без стола нам пришлось заплатить 4 иены в сутки. Слуга с большой неохотой взялся по нашей просьбе за перемену постельного белья. Не ев ничего с утра, мы были очень голодны и, отправив наш ручной багаж в «Кайду», пошли в город на поиски пищи. Как я жалел, что за три года службы в Корее не усвоил даже ходовых японских фраз и не ознакомился ни с одним блюдом вкусной японской кухни. Пришлось удовольствоваться сандвичами с ветчиной и кофе.

Подкрепив немного падающие силы, мы пошли осматривать магазины. В городе же не было ничего, заслуживающего внимания, кроме Суве — парка на горе с храмами; тут мы провели остаток вечера, любуясь панорамой города и залива. Вернувшись в сумерки в гостиницу, мы, усталые, легли спать, чтобы наутро осуществить поездку в живописную деревушку Моги по не менее живописной дороге в гости к моей старой знакомой Оня-сан. Я не знал тогда, что в Моги уже ходили из Нагасаки омнибусы в виде снабженных тремя дополнительными сиденьями форов, и воспользовался старым, значительно более дорогим способом сообщения — рикшей, но раскаиваться не приходилось, так как дорога, спускающаяся спиралью к морю, много выигрывает при медленном движении и остановках.

Задержавшись почему-то в городе, мы попали в Моги только после полудня и, к нашему удовольствию, нашли Оня-сан (Мичинага) на месте и в добром здоровьи. Она, видимо, искренне обрадовалась, увидев меня за чаем, и забросала вопросами о нашей жизни в России, революции, путешествии. В свою очередь, она рассказала о местных переменах, жалуясь на дороговизну и возра-

стающие тяжелые условия жизни. А мы-то ехали сюда как в землю обетованную, в страну, не знавшую испытаний войны и, казалось, богатевшую во время всеобщего разрушения и упадка.

Моги — маленькая рыбачья деревушка при впадении какой-то речонки в море. Деревянные постройки Оня-сан — двухэтажный домик с комнатами европейского типа и другой, японский, были расположены среди небольшого сада. Он примыкал к каменистому пляжу с пристанью пароходиков, совершавших регулярные рейсы через залив между Моги и морским курортом Обама, на перепутьи в горный, знаменитый горячими серными источниками курорт Унзен. У Оня-сан обычно останавливалась ехавшая в эти курорты публика или случайные посетители Нагасаки, проводившие здесь уик-энды вдали от городских запахов и духоты.

Мы провели остаток дня и вечер на пляже и вернулись в гостиницу к ужину, к которому Оня-сан распорядилась приготовить для нас местный деликатес — жареного лобстера. На другое утро красавец-сын ее, отцом которого называли самого генерал-адмирала, невзирая на выраженное накануне его матерью сочувствие всем русским беженцам и, в частности, нам, продал с перебором моей жене ожерелье из искусственного жемчуга, стоившие безделицу в Нагасаки. Да и счетик Оня-сан далеко не поддерживал ее словесного нам сочувствия.

ГЛАВА 12
Возвращение в Корею. У Троицких в Сейсине. Курорт Шицу

Мы вернулись в Нагасаки на омнибусе, забрали наш багаж в консульстве и проехали на вокзал к отходящему поезду. Вечером мы были в Симоносеки, как раз вовремя к отходящему в Фузан пароходу «Шираги-мару». «Шираги-мару» был большая посудина по сравнению с ходившим до войны «Цусима-мару», но 2-й класс на нем был в трюме с общим полом для спанья, за исключением немногих, получаемых за отдельную плату коек, уже занятых. Моя жена категорически отказалась спать в такой обстановке, предпочитая провести ночь на палубе. К счастью, войдя в пустую столовую на палубе, мы нашли, что мягкие скамейки вдоль стен могли сносно устроить нас на ночь, и расположились на них. Я думаю, это было против пароходных правил, так как я не заметил никого, кто последовал бы нашему примеру, и попросту пароходная прислуга сжалилась над нами как над не знающими, куда пристроиться на ночь, иностранцами и сделала вид, что не заметила нашего своеволия. Из Симоносеки я телеграфировал консулу в Фузане В.А. Скородумову[85], которого с сердечным облегчением мы заметили утром среди ожидающих на пристани.

Здесь нас ожидала иная встреча, чем в Нагасаки, хотя знакомство мое со Скородумовым было только мимолетным в Токио. Он пригласил нас к себе и слышать не хотел о нашем немедленном отъезде, уговорив остаться у него на день. Мы очутились в очень симпатичной обстановке. Скородумов был женат на японке и имел трех славных дочурок. Все они наперерыв старались ухаживать за нами, и полтора проведенных у Скородумова дня были самым приятным воспоминанием на нашем пути от Бомбея до Сеула. В.А. Скородумов был крайне интересным и разносторонним человеком и большим знатоком Японии, и под его рассказы, иллюстрируемые мастерскими фотографическими снимками, мы незаметно провели весь день. На следующее утро мы вскарабкались по склонам окаймлявшей Фузанскую бухту возвышенности, снялись в местном парке и посетили расположенный высоко над городом консульский участок. Он представлял собой большую площадь-выемку, уже готовую для возведения на ней построек, но им не суждено было парить над фузанским портом, так как участок был продан новыми руководителями судеб России. В.А. Скородумов был последним представителем царского режима в Фузане. По признании Японией советского правительства он удалился с семьей на покой в Кобе, где и скончался лет десять тому назад. Недавно в приложении к харбинскому «Времени» стали появляться его переводы с его же комментариями рассказов М. Хети, творчеством которого он особенно увлекался.

В этот же день вечером мы покинули Фузан и наутро были в Сеуле, где на вокзале нас встретили «молодые» Лютши и старушка-сестра Якова Яковлевича. Одновременно они провожали отъезжавшую с нашим поездом в Пекин семью моего бывшего начальника по МИДу В.О. фон Клемма, бывшего министром иностранных дел при правительстве генерала Хорвата во Владивостоке. Клеммы находились в дальнем родстве с Лютшами и по оставлении генералом Хорватом поста верховного правителя прибыли в Корею и в течение долгого времени были гостями в консульстве, покинув Сеул ввиду изменившегося семейного положения Лютша и назначения В.О. Клемма работать в Пекине.

В консульстве мы нашли неприятную атмосферу, созданную случайной женитьбой Якова Яковлевича, которую не одобряли его молодые сослуживцы. Все были между собою в ссоре, и мы очутились меж двух огней. Приглашенные в Корею Я.Я. Лютшем, мы стали его гостями, но скоро и на нас сказалась тяжесть «нового режима», и нас угнетало наше положение безработных нахлебников. Несмотря на ободрившую меня в Индии телеграмму Я.Я. Лютша о возможности нахождения работы в Сеуле, все мои поиски были тщетны. Пытался я устроиться в какой-нибудь из местных иностранных фирм, но везде под тем или иным благовидным предлогом был отказ, несмотря на то, что среди местных деловых шишек были и мои старые знакомые. Чувствовалось недоверие к бывшему чиновнику, привыкшему к легкой работе и привольной жизни, от которого в случае неудачи опять трудно будет избавиться.

Положение было незавидное, и в эту трудную минуту временно выручило нас приглашение моего бывшего сослуживца — консула в Сейсине Троицкого — провести у него лето. Мы быстро собрались. Железнодорожное сообщение с Гензаном уже существовало, а между Гензаном и Сейсином ходили регулярные пароходы. В ожидании парохода мы провели сутки в Гензане у нашего консульского агента Х.Я. Зеллиса. Дом агентства стоял почти на самом берегу моря, и мы воспользовались пребыванием у гостеприимного Христофора Яковлевича, чтобы покупаться в море. Через день утром мы выехали в Сейсин.

Наш пароходик «Сейсин-мару» оказался совершенно новым, только что начавшим плавание судном, но был почему-то полон тараканов-пруссаков, мучивших нас и днем, и ночью. Где «Сейсин-мару» обзавелся этими отвратительными насекомыми, я не мог понять, так как никогда на суше в Корее с ними не встречался. Каюты кишели ими, отравляя пребывание в них и выгоняя на палубу даже тогда, когда хотелось отдохнуть. Мы облегченно вздохнули, когда на вторые сутки утром были в Сейсине, и покинули пароход, оставив за ним название «Таракани-мару».

Прогостив с неделю у Троицких, жена моя выехала в лежащее милях в 50 к югу от Сейсина селение Шицу, начинавшее тогда приобретать известность своим местоположением и горячими ключами, надеясь излечиться от приобретенного в персидских снегах ревматизма. Я же остался на некоторое время в городе. Сейсин, тогда наиболее важный порт в северной Корее, сильно разросся со времен моего посещения 8 лет тому назад. Консульское здание

представляло собой доминировавшее над бухтой внушительное строение с анфиладой громадных комнат, окаймленное садом и цветником. Как и все наши консульские учреждения в Корее, консульство в Сейсине существовало как таковое до поры до времени, обслуживая интересы разных белых правительств во Владивостоке.

Пыльный застраивающийся Сейсин скоро наскучил мне, тем более что А.С. Троицкий выехал по делам во Владивосток. Кроме того, я получил письмо жены, обрисовавшей Шицу как очаровательное местечко и советовавшей мне приехать туда. Однако в то время железнодорожная линия, связывавшая ныне Гензан с Сейсином, только еще строилась, и моя жена воспользовалась случайным автомобилем, отправлявшимся в Шицу. Наем специального автомобиля был мне не под силу, и я избрал сложный, но дешевый путь, возможный в стоявшую тогда ясную погоду.

Добравшись до станции железной дороги, проходившей вдоль моря через весь город и перевозившей строительные материалы, я сделал по железной дороге миль 15 до конца строящейся линии, откуда шел вновь миль на 10 путь, обслуживавший работы по сооружению линии. Здесь не было приспособленных для пассажиров вагонов, и я водрузился с багажом на платформе, на которой и дотащился до какой-то деревушки. Я забыл сказать, что до этого пункта со мной был проводник, переводчик консульства, без которого я в то время, не понимая ни по-корейски, ни по-японски, был бы совсем беспомощен. На этом пути осталась у меня в памяти лишь кабельная передача громадных не то корзин, не то ведер с каменным углем из расположенных поблизости копей. В деревне мой спутник нанял запряженную миниатюрной лошадкой одноколку и, сказав мне, что возница знает, куда меня доставить, бросил меня на произвол судьбы.

Экипаж напомнил мне мою поездку девять лет тому назад из Юки через Туманган в Заречье. Для перевозки багажа он, конечно, годился. Постарался устроиться в нем и я сам. Но медленное движение в одноколке оказалось очень скоро невыносимым, и я, последовав примеру шагавшего около повозки корейца, соскочил со своего импровизированного сиденья на чемодане и зашагал за одноколкой. Я сразу почувствовал облегчение — я был в то время хорошим и выносливым ходоком и 20–25 миль по хорошей дороге казались мне пустяком, да и движение как-то сразу ускорилось. Быстро прошли первые 10 верст, и я не заметил, как мы очутились

около небольшой деревни. В стороне находилось довольно большое деревянное здание. Возница старался дать мне понять, что мы приехали. Я недоумевал, не ожидая добраться до Шицу так скоро. Смущало меня и то, что меня не встретила жена, да и местность и постройка не соответствовали ее описанию. У здания стояло несколько лошадей, оседланных по-военному, а около здания бродило человек пять солдат в больничных халатах. Кто-то подошел к нам и на мой вопрос: «Шицу?» отрицательно закачал головой.

Оказалось, что это было попутное селение Канеша, в настоящее время известное не только горячими источниками, но и целебными песочными ваннами. Мой возница, который знал, куда меня доставить, почесал в голове, но решительно свернул опять свою тележку на дорогу, и мы вновь зашагали. Я не устал и был доволен, что мы еще далеко от Шицу. Чем дальше мы двигались, тем красивее становилась местность. Дорога шла вдоль причудливо извивающейся горной речки, и между поворотом берега ее сжимались теснее, образуя непрерывно-бурливый водоскат среди разбросанных по руслу в диком беспорядке каменных глыб, через которые в некоторых местах вода сбрасывалась каскадами. Обрывистый берег, по которому вилась дорога, и более отлогий противоположный, вопреки обычному корейскому голому горному пейзажу, были оба покрыты обильной растительностью, придававшей ландшафту живой радостный вид, напоминавший природу Японии.

Солнце уже закатывалось, когда я, перейдя речку по трепещущему мостику из связанных вместе и переброшенных с камня на камень досок и жердей, увидел за крутым поворотом реки постройки Шицу. Вскоре пришлось переправиться еще раз по такому же мостику, и на другой стороне я был встречен женой. Гостиница, где она остановилась, была типичной одноэтажной постройкой легкого японского типа — чистенькая, с рядом небольших комнат, отделявшихся одна от другой раздвижными перегородками. Через коридор были ванны — два квадратных бассейна, в которые горячая вода из источников подавалась по бамбуковым трубам. Здесь мы прожили более двух недель, платя за комнату с двумя расстилавшимися на полу футатами (ватными матрацами) вместо кроватей, со столом два раза в день по обычаю японских гостиниц 3 иены в день с человека. Кормили нас сытно смесью японской и европейской пищи, которую мы сдабривали лишь своим кофе, покупая японское печенье и сгущенное молоко в местной лавочке.

Шицу не было даже деревней или поселком, так как в ней я не заметил, кроме двух гостиниц и лавочки, ни одного крестьянского дома. Сюда заезжала малозажиточная публика из Сейсина и Нанама полечиться и отдохнуть. Здесь же был лечебный пункт для больных солдат, которых присылали сюда на поправку и которые пользовались ваннами в тех же гостиницах. Мы были первыми европейцами — посетителями этого местечка, которое теперь стало большим, известным под именем Омпо курортом, в миле от которого расположен поселок Ю.М. Янковского, где летом собирается немало гостей из Шанхая и Харбина, ищущих красивой природы, прохлады и отдыха.

Но в описываемое время это была дикая, тянущаяся вверх по реке долина, и лишь отдельные домишки корейцев там и сям по реке свидетельствовали о присутствии здесь человека. Мы совершали ежедневно большие прогулки вверх по реке, открывая водоскаты и водопады и давая им оставшиеся за ними и теперь длинные имена. Помню «Малиновый» водопад, берега которого густо заросли малиной, малосъедобной, к нашему огорчению, из-за массы твердых косточек. Мы узнали впоследствии, что американские миссионеры делали из дикой малины великолепное желе, служившее отличной приправой к дичи. Погода стояла прекрасная, и жилось бы привольно, если бы не точило душу беспокойство за будущее.

Жена моя обзавелась в Сеуле маленькой учебной камерой, и мы наделали немало снимков. Один из них немало нас позабавил. Помню, накануне отъезда мы хотели запечатлеть на фотографии свою гостиницу с ее обитателями. Особенно интересовались снимками две молодые служанки, хотевшие сняться вместе с моей женой. Они уселись втроем на полу в нашей комнате, и я снял их несколько раз. К нашему удивлению, на другой день мы нашли одну из служанок всю в слезах. Спрашиваем, в чем дело. «Пожалуйста, уничтожьте снимок, на который мы вчера снимались». — «Почему?» Отвечает, всхлипывая: «Я сидела в середине и скоро умру». Мы принялись ее успокаивать, говоря, что она сидела на самом счастливом месте. Ничего не помогало: «Это верная примета, и помочь можно только уничтожением снимка». Пришлось дать ей обещание, что снимок будет разорван. Нечего и говорить, что снимок фигурирует в нашем альбоме, а суеверная Джочу-сан благополучно здравствует по сие время.

Как ни хорошо жилось в Шицу, но приходилось думать о возвращении в Сеул и поисках работы, приберегая наш единственный ре-

сурс — полученное из Индии от м-ра Ф. Миллера пособие, часть которого была уже израсходована на платье, необходимейшие предметы обстановки и поездку. А.С. Троицкий вернулся к тому времени из Владивостока в Сейсин и обещал за нами приехать на своей мотоциклетке с боковой коляской. Экипаж этот при езде по грунтовой дороге оказался орудием пытки и для меня, и для жены, и, если бы знать, какую брешь сделает он в нашем скромном бюджете, было бы предпочтительнее нанять дорогой автомобиль. А.С. Троицкий любил быструю езду и красовался на удобном рессорном глубоком сиденье, я же поместился на особом сиденье без рессор, приспособленном на заднем колесе и принимавшем все толчки. На нем возможно было держаться только полусидя, пружиня ногами, стоявшими на выступах оси, и хватаясь руками за неудобную низкую перекладину перед сиденьем. Троицкий не чувствовал наших прыжков и толчков и летел сломя голову, желая щегольнуть своим умением править машиной. Он побил какой-то свой рекорд, доставив нас в Сейсин часа за два с одной лишь остановкой на 5 минут у какой-то лавочки, чтобы утолить мучившую нас жажду. Но для нас обоих результаты были плачевные.

В ожидании поезда, который должен был доставить нас в Гензан, мы проводили последние дни в Сейсине, гуляя по городу и окрестностям. Гуляя как-то по берегу северной бухты, где обрывистые, заросшие кустарниками и травой склоны подходили почти к самому пляжу, мы заметили наверху одного из них отверстие пещеры. Жена предложила мне подняться и осмотреть ее. Снизу подъем казался отлогим и небольшим, и я имел неосторожность согласиться, несмотря на то, что уже чувствовал стеснение в левом колене. Глазомер мой оказался обманчивым: скоро пришлось ползти вверх, притягиваясь руками и ища надежного упора для ног. До пещеры было еще далеко, а подъем делался все круче. Я взглянул вниз и увидел себя почти висящим над голубым морем. Спуск был бы тяжелее подъема, и я снова принялся карабкаться, следуя за женой. Ценой большого напряжения мы дотянулись до пещеры и облегченно вздохнули, усевшись у входа. Взгляд вниз убедил нас, что мы взобрались на большую высоту по почти отвесному скату и при малейшей неосторожности могли сильно покалечить себя. Все, однако, обошлось благополучно, если не считать того, что на другой день я не мог согнуть колена и принужден был в течение месяца лечиться в Сеуле. Жена тоже поплатилась истощением и пролежала две недели в постели.

В Гензан нас доставил наш старый тараканный «Сейсин-мару». Поезда в Сеул не было, и мы остались переночевать у нашего консульского агента Х.Я. Зеллиса. Христофор Яковлевич, по национальности латыш, был офицером русской армии и участником Великой войны, где он получил серьезное ранение, вследствие которого слегка прихрамывал. Это был очень образованный для среднего армейского офицера человек: говорил свободно на трех европейских языках, кроме русского и своего родного, латвийского. Небольшого роста, коренастый, он, говорят, обладал незаурядной физической силой и был хорошим охотником. Человек с большим характером и настойчивостью, он так выдрессировал своего красавца шоколадного сеттера Сасима, что его выучке мог позавидовать такой дрессировщик животных, как известный цирковой артист Анатолий Дуров. Нельзя было не любоваться прекрасной собакой, отлично понимавшей своего хозяина, исполнявшей его приказания и делавшей замечательные трюки. Установление Версальским трактатом независимой Латвии побудило Зеллиса покинуть Корею и уехать на родину, где он вступил в ряды дипломатов и занимал несколько заграничных постов. Недавнее насильственное включение Латвии в Советский Союз, вероятно, вновь выбило его из колеи и заставило осесть где-нибудь за границей. У Христофора Яковлевича было уютно и хорошо, так как уклад его жизни был чужд холостяцкой богеме, и мы с удовольствием провели у него целые сутки.

ГЛАВА 13
Вновь в Сеуле. В поисках средств к существованию. Рождение сыновей. Я — преподаватель

В Сеуле, как я уже говорил, мне пришлось долго лечиться у известного, поныне здравствующего, вечно бодрого и до сих пор рьяного охотника д-ра Воде, имевшего свою частную лечебницу и больницу. Он был участником русско-японской войны и имел русский орден за заслуги по уходу за больными русскими военнопленными. Говорил он по-английски, французски и немецки, что крайне облегчало пользование его услугами. Живой, маленький человечек со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, он и теперь примечательная личность в Сеуле — известный врач, охотник, аккуратнейший член Ротари-клуба...

В консульстве я застал Я.Я. Лютша. Он был на отлете, так как наше посольство, сокращая расходы, решило оставить в качестве управляющего генеральным консульством секретаря М.Ф.Т., уволив в отставку Лютша и моего старого сослуживца Л.А. Богословского. Мы по-прежнему занимали пустующий, заброшенный и почти лишенный обстановки домик драгомана, и перспектива зимования в нем на положении безработного, пользующегося поддержкой то одного, то другого из бывших сослуживцев, крайне удручала.

В это время судьба мне неожиданно улыбнулась. Мой старший коллега по консульской службе в Сеуле американский генеральный консул Р.С. Миллер, который был единственным из иностранцев, кого искренне заботило бедственное положение одного из старейших членов колонии в Сеуле, пришел ко мне на помощь. Он рекомендовал меня главному директору Корейского банка г-ну Минобе в качестве корреспондента и переводчика, знающего несколько иностранных языков. Не прошло и недели, как Миллер уведомил меня, что мое дело налажено и что меня ожидает один из секретарей банка г-н Хосино. Я не заставил себя долго ждать и на другой же день был в банке и виделся с Хосино. Он прекрасно говорил по-английски и оказался очень симпатичным и словоохотливым человеком. Мы разговорились. Я узнал, что мне предстоит работать под его руководством, занимаясь, главным образом, чтением русских газет и переводом из них статей и заметок, могущих интересовать банк, и переписывать при необходимости иностранную корреспонденцию на пишущей машинке. Г-н Хосино справился о моей биографии и просил представить в секретариат мой прошлый corriculum vitae*. Жалованье мне было положено 200 иен в месяц. Это было не блестяще, но, считаясь с несложностью работы и скромностью окладов вообще на японской как государственной, так и частной службе, вполне удовлетворительно, особенно ввиду нашего тяжелого положения без определенного дохода на жизнь.

Г-н Хосино представил меня г-ну Минобе — приветливому, красивому и статному человеку с седой шевелюрой, но очень бодрому. Он свободно говорил по-английски. Беседуя, он выразил удовольствие по поводу моего поступления в банк, справился о моем семейном положении и пожелал успехов по службе. Скоро познакомился я и с его помощником на месте, симпатичным г-ном Кано, директорами и занимавшими наиболее выдающиеся места служащими банка. Я попал в комнату секретарей, где мне были отведены особый стол с креслом, что полагалось только служащим высшего ранга; низшие, по японской практике, сидели на стульях. Таким образом, я попал в привилегированное положение, которым пользовался во время моей двухлетней службы в банке.

Приблизительно в это время к нам прибыл из Пекина мой шурин, сотник л.-гв. Казачьего Его Величества полка В.Н. Ефремов[86], о котором я давно уже наводил справки через В.О. Клемма. Еще в бытность нашу в Ташкенте он служил техником в Управлении водного хозяйства, где работал и я, вошел в изыскательскую партию, отправлявшуюся в Семиречье. Посланный на работы вблизи китайской границы, он, сговорившись с работавшим с ним вместе полковником техником К., перешел границу и пробрался в Кульджу. Там, после распада местных белых военных организаций, он с группой русских пустился в опасный и долгий путь через пустыню Гоби и после ряда лишений и мытарств, двигаясь то пешком, то в повозке, а последний этап по реке на плоту, добрался до Пекина, где узнал о нашем нахождении в Сеуле и вскоре присоединился к нам. Его крайне интересные рассказы о виденном и пережитом в пути заняли бы целый томик, но вряд ли ему суждено когда-либо увидеть свет, хотя до сих пор у меня хранятся его путевые заметки. Виною: непривычка писать много и обстоятельно, текущая работа на самых разнообразных поприщах и, отчасти, леность. Последняя — наш общий грех! Ведь и мне потребовалось 20 лет чистого времени, чтобы взяться за перо для восстановления легко забываемого былого по памяти.

Я с удовольствием вспоминаю свою службу в Чосен-банке. Бывшие враги оказались самыми сердечными друзьями. От старших, равных и младших по положению я видел исключительно сочувствие и внимание; я чувствовал себя полноправным членом тесно между собой связанной одной семьи. Тут я впервые ознакомился с домашней жизнью японцев, так разнящейся от нашей. В то время как у нас в любой среде дом является средоточием как личной жизни, так и общения с внешним миром, в японской жизни дом существует почти исключительно для семьи. Общение с друзьями обычно сводится к кратковременным визитам, и приглашения к себе на обеды по случаю какого-либо семейного торжества или даже без всякой причины, как это практикуется у нас, у

* Жизнеописание (*лат.*).

японцев ограничиваются лишь очень частным и небольшим кругом. Если же японец желает вас угостить, чествовать, то обычно, по достатку, приглашает вас в один из местных ресторанов. Ресторан — любимое развлечение японца: тут он всласть поест и попьет, а иногда и посмеется под шуточки и песенки гейш. В ресторанах дают и маленькие обеды, и большие банкеты. Ресторанная жизнь культивируется и процветает. Имеются целые улицы, где рестораны тянутся чуть ли не непрерывной лентой. Но женщины почти исключены из ресторанной жизни и если собираются в ресторане по какому-либо случаю, то отдельно от мужчин. Я остановился на этой особенности японской жизни потому, что пишу, что вспомнилось, и воспоминания о банкетах оставили во мне наиболее яркие воспоминания.

Опишу один из них — новогодний банкет, данный банком для служащих высшего ранга, «сидящих на креслах». Попал на него и я. Гостей было до 100 человек, одетых большей частью по-европейски. Громадная зала одного из лучших ресторанов на Асахи была уставлена вдоль трех стен маленькими столиками, перед которыми были подушки для сидения — по столику на человека. Гости рассаживались по важности положения — чем выше, тем ближе к центру покоя, где сидел г-н Кано, заменяя отсутствовавшего в Токио г-на Минобе. Я пытался скромно устроиться вместе с моим новым сослуживцем, получившим высшее образование в Америке г-ном Морехира. Не тут-то было: я оказался почетным гостем и меня усадили среди банковской аристократии. Трудно было сидеть на полу — плохо подвертывались ноги, но одна из гейш, заметив мое смущение, пришла на выручку и, положив на мою подушку еще две, устроила мне удобное сидение. Затем начался бесконечный обед из разных своеобразных блюд, из которых многие были очень вкусны, особенно супы. Я не мог и до сих пор не могу есть только одного японского деликатеса — порезанной ломтиками сырой рыбы, напоминающей, как говорят, по тонкости вкуса, нашу лучшую семгу. Пища сопровождалась непрерывным потоком подогретого саке, наливаемого из фарфоровых бутылочек в плоские фарфоровые чашечки зорко следящими за этим гейшами. Саке сравнительно легкий напиток, содержащий лишь 12% алкоголя, но он пьется так же безостановочно, как и наливается, и к половине обеда большинство слегка хмелеет. Тогда начинается обход столиков отдельными гостями, предлагающими выпить в знак дружбы или расположения из их чашек; сидящий, принимая тост, вручает гостю свою чашечку и наполняет ее саке. Таким взаимным тостам тоже нет конца, и они способствуют общему оживлению и опьянению, не переходящему, однако, границ. Обычно тот, кто чувствует, что он дошел до точки, незаметно возвращается восвояси. Во время особенно больших банкетов на эстраде часто бывает дивертисмент: поющие песни гейши, рассказчики, фокусники и т.п.

Иногда, как было и в данном случае, с половины обеда начинается забавная игра «фукубики». Она состоит в следующем: всем присутствующим предлагается вытянуть из пучка палочку из тонкой бумаги, билетик. Владелец палочки раскручивает ее и читает заключающуюся в ней надпись, представляющую собой часть какого-нибудь популярного стиха, изречения и т.п. У одного из распорядителей находится в руках список, по которому он прочитывает вслух написанное на том или ином билетике. Тогда владелец соответствующей надписи встает со своего места и подходит к эстраде, где распорядитель прочитывает по своему списку пояснение этой надписи и дает предъявителю записки соответствующий надписи подарок. Обычно вся игра сопровождается несмолкаемым хохотом присутствующих, так как надписи и подарки к ним подбираются очень остроумно. На моей записке стоял иероглиф, обозначающий одно слово «Онисики». По объяснению моего соседа — имя известного японского борца. Когда я услышал вызов «Онисики» и очутился перед распорядителем, последний произнес лишь одно слово «сумо» (по-японски — борьба) и по созвучию с английским «smoke» подал мне сотню папирос «Three Corttes». Это был хороший подарок, так как я тогда много курил, а иностранные папиросы были не по карману. Но обычно надписи были длинные. Комбинировались они с подарками очень забавно, но, конечно, для того чтобы понять шутки, надо было хорошо знать язык. Подарки были разнообразные и далеко не все ценные и полезные, рассчитанные, главным образом, на то, чтобы посмешить присутствующих; я помню выдачу картофеля и других овощей, спичек и разных мелочей.

Казалось, нам начало улыбаться счастье, так как, прослужив в банке полтора года, я получил предложение перевода в Токио на 300 иен в месяц с месячным окладом и наградами к Новому Году. Мы были очень обрадованы, так как жизнь под консульским флагом, вопреки ожиданию, оказалась полной самых неожиданных огорчений. Я говорил уже о разладе с моим старым начальником и

другом Я.Я. Лютшем на почве его неожиданной женитьбы. Расстались мы, однако, с ним дружески, но отношения с его заместителем, жившим в безопасности, не испытавшим никаких ударов революции и совершенно не понимавшим нашей психологии человеком, скоро стали натянутыми, и мы жили в постоянной атмосфере ударов самолюбию и упреков. Для переезда же на частную квартиру у нас не было достаточно средств. В такой обстановке отъезд в Токио представлялся нам выходом на волю. Но землетрясение 1923 года, разрушившее Токио и Иокогаму, разрушило наши планы и надежды; пришлось продолжать тянуть прежнюю лямку в Сеуле. В довершение того, к концу года определилось, что банк, потерпев большие убытки от неудачных земельных операций в Маньчжурии, вызвавших уход г-на Минобе, предполагал коренным образом сократить большой личный состав. Участь многих висела на волоске.

Наступил 1924 год, и 26 января, в день бракосочетания наследника престола как благополучно царствующего императора, семья наша увеличилась двумя близнецами Владимиром и Кириллом. Через несколько дней в газете появилась заметка о счастливом событии в нашей семье, говорившая, что близнецы родились под счастливой звездой — в знаменательный для многих день. Однако на первых порах как будто это предсказание не оправдывалось: через какой-нибудь месяц Чосен-банк провел предполагаемое сокращение личного состава и я со многими другими остался за штатом.

Это было для нас тяжелым ударом в то время, когда нам особенно был необходим постоянный заработок, но вскоре выяснилось, что банк щедро рассчитывает уволенных, выплачивая им жалованье до конца года. Таким образом, на мою долю пришлось 1800 иен, дававших возможность существовать и подыскивать новую работу в течение нескольких месяцев.

Последняя пришла в скором времени из совершенно неожиданного источника. Известному мне еще до войны местному немецкому коммерсанту П. Бауману, на долю которого как подданного побежденной Германии выпало тоже немало послевоенных мытарств, посчастливилось получить представительство большой токийской американской фирмы Andreas George, торговавшей американскими и английскими машинами, инструментами и пр. Он открыл свою контору на Korans Maru с небольшим составом служащих японцев и корейцев. Я предложил ему свои услуги, но получил отказ под предлогом того, что дело только что начато и что, хотя перспективы по его развитию благоприятны, он связан фирмой в своих расходах. Бауман обещал, однако, иметь меня в виду в будущем. Наученный опытом, я знал цену подобным обещаниям; попытки же мои устроиться в других иностранных предприятиях в Сеуле окончились неудачно, приходилось думать об отъезде. В таких незавидных обстоятельствах для меня явилось приятной неожиданностью спустя дня два после посещения Баумана приглашение заглянуть к нему в контору. На нашем новом свидании я, к моей радости, узнал, что Бауман, в предвидении расширения дела и его возможных отлучек в провинциальные центры, решил взять меня на пробу на три месяца с тем, чтобы по испытании моей пригодности или пригласить меня на постоянную службу, или дружески распрощаться со мной. В течение испытательного периода мне было положено жалованье 250 иен в месяц. Скоро прошли эти три месяца, в течение которых я усвоил составление предварительных смет, справок, объявлений, циркуляров, восхвалявших наши товары, принятие к исполнению обусловленных сроком заказов и прочую торговую премудрость, и одновременно в свободную минуту ознакомился с торговыми книгами, постиг двойную бухгалтерию, которую до того времени знал только по имени.

Старания и труды мои увенчались успехом, и через три месяца Бауман, снесясь с новой конторой в Токио, уведомил меня о зачислении на службу с жалованьем 350 иен в месяц. Потрясающий успех, но… случилось то, к чему каждый в нашей чистенькой уютной конторе не был подготовлен. С самого начала дела Бауман был очень оптимистически настроен, ожидая наплыва заказов, «хвостов», как он говорил, заказчиков. Объяснялось это разумное ожидание громадным успехом фирмы Andreas George в Японии, развившейся в большое предприятие. Но Бауман не учел двух больших факторов: нужды растущей в период великих реформ эпохи Мейдзи Японии в иностранных машинах и инструментах и работы фирмы в центрах развивающейся индустрии Токио и Осака. Но теперь были уже не те времена: страна сама научилась строить неплохие машины и начавшееся национальное движение рекомендовало пользоваться иностранными машинами и инструментами только при неизбежной необходимости. Это было одно. С другой же стороны, Сеул и другие города Кореи не были центрами кипучей заводско-промышленной деятельности, и потребность их в дорогих сложных машинах была очень ограничена. Также Бауман

очень рассчитывал на широкий сбыт американских земледельческих орудий, нашедших спрос в Маньчжурии, но корейский крестьянин, должно быть, оказался более косным, чем китайский, и предпочитал свои дешевые примитивные сохи дорогим заграничным плугам, а о тракторах, по крайней мере, в то время, и слыхом не слыхивал.

В результате вместо ожидаемых «хвостов» заказчиков мы начали замечать уменьшение заказов, справок, посещений — словом, всего того, что так радует сердце купца. Вся наша работа начала сводиться к случайной продаже самых разрекламированных дорогих несгораемых шкафов, так называемых safe cabinet'ов, изготовляемых в неизвестном мне городке Соединенных Штатов.

В такой тревожной обстановке подошло Рождество, когда в один, далеко не прекрасный день, мы получили телеграмму главной конторы о необходимости сокращения расходов ввиду нашего большого перерасхода, не определяемого продажей и заказами. Праздники прошли невесело, а в начале февраля к нам был послан ревизор — представитель нашей компании в Дайрене какой-то г-н Райфспайдер. При посещении нашей конторы я имел несчастье попасться ему на глаза за перепиской на пишущей машинке составленного мною циркуляра. Печатание было всегда моим слабым пунктом, так как со времен моих первых шагов в МИД я пользовался пишущей машинкой редко и манипулировал на ней очень посредственно, выстукивая двумя, в лучшем случае — четырьмя пальцами и никогда не пользуясь обеими пятернями. Райфспайдер посмотрел на меня холодно и неодобрительно. Как я потом узнал от Баумана, он высказал мысль, что никакого толка от бывшего члена консульской службы, пишущего на машинке двумя пальцами, ожидать нельзя и рекомендовал мое немедленное увольнение. Мой шеф этого взгляда не разделял и, видимо, все еще надеялся вывернуться и продолжить дело. Тем не менее, мое жалованье было урезано на 150 иен, а кое-кто из низшего состава конторы уволен. Но мы катились по наклонной плоскости, и, несмотря на все усилия Баумана, мы получили в мае предписание ликвидировать дело, и я вновь очутился на воле. Оставшиеся непроданные товары были переданы купившей их с уступкой фирме, а сам Бауман незаметно выехал на Манилу, куда уже ранее отправилась его семья и где он нашел перспективных рабочих.

Но наше положение становилось критическим, так как по прежним попыткам уже было ясно, что рассчитывать на службу в каком-либо иностранном торговом предприятии бесполезно, а расходы увеличились, так как с признанием Японией советского правительства и ожидавшимся открытием советского консульства нам пришлось покинуть наше хотя и убогое, но бесплатное помещение и поселиться на частной квартире. Кроме того, и семья наша разрослась, так как в чаянии лучших дней мы выписали из России мою тещу, которая приехала с маленькой внучкой и жила с нами уже полгода. Последнее прибавление семьи, однако, компенсировалось помощью моего шурина, которому удалось устроиться на французском золотом руднике в Северной Корее. Тем не менее, не имея регулярного дохода, я принужден был расходовать деньги, выданные мне Чосен-банком. Так грустно тянулось время до осени, и не оставалось ничего другого, как искать частных уроков языков.

Но, видимо, небезосновательна пословица: «Все приходит к тому, кто умеет ждать», и при посредстве того же испытанного друга американского генерального консула Р.С. Миллера Сеульская иностранная школа, основанная после войны американскими миссионерами для дачи начального и среднего образования своим детям, пригласила меня в качестве преподавателя французского языка. Почти одновременно, познакомившись с инженером Управления корейских железных дорог г-ном К., я по его рекомендации получил несколько уроков английского языка в японских семействах и в общей сложности начал зарабатывать до 200 иен в месяц, что, при поддержке шурина, давало нам возможность спокойного существования.

Так прошел год, и теща моя начала подумывать о возвращении в Россию, куда вызывали ее дети и отец внучки, скучавший по дочери. Наши попытки отговорить ее от возвращения не имели успеха, и, несмотря на то, что материальное наше положение улучшилось, они с внучкой покинули нас весной.

Очутившись вновь на японской службе, я скоро приобрел много друзей, а слава моя как преподавателя английского языка стала возрастать. Уходя в Управление в обусловленное время после полудня, я почти ежедневно возвращался домой поздно вечером, переходя из одного дома в другой в качестве приходящего учителя. Возвращался я домой не ранее 9 часов вечера, крайне утомленный, но частные уроки эти давали мне иногда до 100 иен в месяц, являясь большим пособием в наших повседневных расходах. Вскоре по прибытии нашем в Корею жена для поднятия наших скромных ресурсов по-

пробовала начать шить платья по заказам местной иностранной колонии. Она никогда не изучала шитье как ремесло, но нужда и опыт открыли в ней большие способности закройщицы и модистки. Скоро она стала известна на своем поприще, как я на учебном. Но и тут заработок был невелик, и о сбережениях при повышенном по сравнению с японцами и, особенно, корейцами уровне жизни думать было нечего, но мы не лишали себя привычного комфорта, нанимая для работы прислугу.

Постепенно мои связи в японской среде укреплялись и развивались, и «Чиркин-сенсей» стал заметной фигурой в эмигрантской и иностранной среде. Во время маньчжурского инцидента Корейское генерал-губернаторство открыло курс китайского и русского языков при местной школе для подготовки и тренировки чинов полиции, и я был приглашен преподавать на них разговорный русский язык в помощь японцу, преподававшему теорию. Русский курс просуществовал три года, выпустив человек 25 специалистов для службы на границе и в Маньчжурии. За год до его закрытия прекратилась и моя работа в Сеульской иностранной школе, сократившей расходы по преподаванию французского языка наймом учительницы-американки, совмещавшей преподавание нескольких предметов, в том числе и французского языка. Потеря заработка в иностранной школе компенсировалась, однако, приглашением преподавать русский язык в местном Императорском университете, где я и по сие время знакомлю с элементами русской грамматики и речи и перлами нашей литературы небольшие группы японской и корейской молодежи.

ЭПИЛОГ

Обозревая нашу жизнь за 20 лет пребывания в Корее, я не могу не сказать, что направление на Дальний Восток было правильным и счастливым решением. Корея — родина наших близнецов, стала и нашим вторым отечеством, и хоть жизнь эмигранта — среднего интеллигента без специальной профессии и не привыкшего к физическому труду — оказалась наиболее трудной в новой обстановке, благожелательное и доверчивое отношение как властей, так и частных лиц, с которыми приходилось входить в общение, создавали благоприятную атмосферу, в которой проявлялись и развивались те или иные никогда и не подозреваемые способности, которые дают почти всем без исключения, кто желает и может работать, возможность если и не блестящего, то вполне удовлетворительного существования. За мою эмигрантскую жизнь мне приходилось слышать отзывы как моих бывших сослуживцев, так и знакомых об условиях жизни в тех или иных странах. Общий голос был, что наиболее гостеприимной страной в Европе для русских была Югославия, где эмигрант мог жить, работать, служить и учиться в исключительно счастливой обстановке, среди народа, любящего Россию и помнившего старые благодеяния и пролитую за нее русскую кровь.

По моей переписке, крайне тяжелые условия для русских, как это ни странно, создались в фашистской, почти коммунистической Италии, откуда немало русских эмигрантов уехали ввиду недоброжелательного к ним отношения властей и тяжелой жизни. Не сладко, судя по газетам, жизнь шла и в когда-то союзной Франции. Мне припоминается письмо одного из моих старых сослуживцев по Дальнему Востоку в ответ на мою справку по одному делу. «Простите, — пишет он, — что я так медлил ответом. Вы не поверите, но не было лишних денег на марку. Я проклинаю тот час, когда

приехал в эту страну, где никому нет до нас никакого дела, где, кроме физической, не найти никакой работы. Я не живу, а прозябаю, и то только благодаря поддержке моей старой прислуги, ходящей на поденную работу». Может быть, это вопль неудачника, может быть, краски сгущены, но об общем незавидном положении русской эмиграции во Франции приходилось часто читать и слышать.

Я не знаю, как живется им в других странах Европы и Америки, но думаю, не ошибусь, если скажу, что вряд ли им живется гделибо свободнее и в массе обеспеченнее, чем нам под японским флагом, несмотря на былую войну и отсутствие расовых связей. Текущая война в Европе и затянувшийся конфликт на Дальнем Востоке не могли не отразиться и здесь на жизни русского эмигранта, но он привык к борьбе, заслужил к себе доверие приютившего его гостеприимного и доброжелательного народа, научился приспосабливаться и воспитал здоровое молодое поколение, будущую надежду нашей, Бог даст, свободной родины.

Примечания

[1] Стихи принадлежат перу Елены Владимировны Мартыновой, тети автора настоящих записок.

[2] *Чиркин К.С.* Люди и судьбы. Записки русского эмигранта в Корее // Российское корееведение. Альманах № 3. М.: Муравей, 2003. С. 208–214.

[3] Учебное отделение восточных языков существовало при Азиатском департаменте МИД в 1882–1918 гг.

[4] Курсы восточных языков для офицеров были открыты при Учебном отделении в 1883 г. и просуществовали до 1910 г.

[5] Иванов Иван Александрович (1835–1908) — начальник Учебного отделения в 1894–1905 гг., выпускник Петербургского университета, в 1858 г. поступил в Учебное отделение восточных языков, в 1860 г. получил назначение на должность студента-стажера российской миссии в Стамбуле; позже служил секретарем и драгоманом в ряде консульств, консулом в Адрианополе (с 1868 г.); во время русско-турецкой войны состоял при канцелярии заведующего гражданскими делами при главнокомандующем действующей армии, а также при Императорской Главной квартире («История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года». М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 128).

[6] Казем-Бек А.К. (Мирза Мухаммед Али) — профессор, первый декан факультета восточных языков (1855–1858, 1866–1870) Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук.

[7] В совр. чтении — Тебриз.

[8] Прав. Кэйдзё — яп. название Сеула.

[9] Риттих П.А. — автор трудов «Железнодорожный путь через Персию» (1900) и «Отчет о поездке в Персию и Персидский Белуджистан в 1901 г.» (1902).

[10] Совр. Исфахан.

[11] Т.е. офицера лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, чины которого назывались так в отличие от «синих кирасир» (лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка).

[12] Это восстание произошло в январе 1919 г.

[13] Граве Владимир Владимирович. Окончил Александровский лицей (1901). Камер-юнкер, 1-й секретарь миссии в Пекине. В эмиграции в Китае (Мукден). Умер после 1929.

[14] Совр. Улан-Батор.

[15] Устар. назв. Совр. — Мешхед.

[16] Фарсах (фарсанг, парасанг) — старинная персидская мера расстояния, от 6 до 7 км. Справочник «Современный Иран» (М., 1975, с. 549) определяет ее равной 6,24 км. Ксенофонт с 10-тысячным отрядом греческой пехоты совершил длительный, тяжелый переход через высокогорные районы Малой Азии, который он описал в своем произведении «Анабасис». В нем, в частности, отмечается: «От Тигра они прошли в четыре перехода 20 парасангов до реки Фуска» (*Ксенофонт*. Анабасис. Пер., ст. и прим. М.И. Максимовой, под ред. академика И.И. Толстого. Кн. II, гл. IV ст. 25. Л., 1951). Об отом, очевидно, и вспомнил С.В. Чиркин. *Пояснение О.И. Жигалиной.*

[17] В совр. чтении Зайендеруд — река в центральной части Ирана.

[18] Мин Георгий Александрович, р. 9 дек. 1855. Сын генерал-лейтенанта. Образование: Санкт-Петербургская гимназия 1874, Константиновское военное училище 1876. Офицер л.-гв. Семеновского полка. Капитан гвардии с 1893, полковник с 1898, генерал-майор с 1906. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878. С 1903 командир 12-го гренадерского полка, с 1904 — л.-гв. Семеновского полка. Убит террористом 13 авг. 1906 в Петергофе.

[19] Совр. написание — Махабалешвара, курортное место близ Бомбея.

[20] Совр. написание — Хайдарабад, город на территории совр. Пакистана.

[21] В совр. чтении — Лакхнау.

[22] То есть шахом Джаханом.

[23] Дэли — Дели. Джума-Месджид — прав.: Джама Масджид, т.е. Пятничная, или Соборная Мечеть.

[24] Речь идет, видимо, о том, что, коснувшись иноверца, гирлянда цветов стала, согласно индусским представлениям, ритуально нечистой. Вернув жрецу гирлянду, путешественник совершил и святотатство, и просто невежливый поступок. Возможно, возвращая гирлянду, он дотронулсяею до цветов, которые жрец держал в руке, и осквернил их тоже, потому жрецу пришлось бросить и эти цветы.

[25] В совр. чтении — Сарнатх.

[26] В совр. чтении — Джайпур.

[27] В совр. чтении — Удайпур.

[28] В совр. чтении — Панаджи.

[29] Некоторые сведения о Якове Яковлевиче Лютше в 1919 – начале 1920-х гг. см. в кн.: *Пак Б.Д., Пак Тхэ Гын.* Первомартовское движение 1919 года в Корее глазами российского дипломата. М. – Иркутск, 1998.

[30] Добровольный флот — российское частное предприятие, основанное в 1878 г. Осуществляло товарно-пассажирские перевозки между Владивостоком и черноморскими портами, а впоследствии — и портами Японии.

[31] Фузан — кор. Пусан, крупнейший порт на южном побережье Кореи.

[32] Чемульпхо — совр. Инчхон, порт на побережье Желтого моря недалеко от Сеула в провинции Кёнгидо (совр. Республика Корея).

[33] Большинство корейских географических названий автор приводит в японском чтении. Нандаймон, Сайдаймон — примеры тому. По-корейски: Намдэмун, Содэмун.

[34] Кэйдзё — японское название Сеула.

[35] Бирюков Николай Николаевич — преподаватель правительственной школы русского языка в Сеуле с 1896 по 1903 г. За заслуги на ниве просвещения был награжден российским правительством орденом Св. Анны 3-й степени.

[36] Гензан — кор. Вонсан, город в провинции Канвон (совр. КНДР).

[37] Середин-Сабатин Афанасий Иванович — первый русский на корейской государственной службе (1883–1895). Построенное им в 1888 г. здание русской дипломатической миссии было первым зданием европейского типа в Корее. До наших дней не сохранилось. В 1890-х гг. принимал участие в строительстве Мендонского собора и Арки независимости в Сеуле.

[38] Сомов А.С. — действительный тайный советник, генеральный консул Российской империи в Корее в 1908–1911 гг. Первым генконсулом был Г.А. Плансон — в 1908–1911 гг.

[39] Самойлов Владимир Константинович, р. 7 сен. 1866. Образование: Полтавский кадетский корпус 1884, Николаевское инженерное училище 1887, академия Генштаба. Офицер 4-го понтонного батальона, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Подполковник с 1899, полковник с 1903, генерал-майор с 1909. Участник китайской кампании 1900–1901 и Русско-японской войны. С 1902 военный агент в Японии, с 1905 в распоряжении начальника Главного штаба, с 1906 снова военный агент в Японии. Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1902). Ум. 1 фев.1916 на пути из Кобе в Шанхай. См. в кн.: *Подалко П.Э.* Япония в судьбах россиян. Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. С. 81–98, 100–107, 109–116, 133.

[40] Имеется в виду Русско-японская война 1904–1905 гг.

[41] Нихон-баси — старинный мост в Токио, давший название целому окрестному району.

[42] Прав.: Тюдзэндзи.

[43] Речь идет о национальных японских праздниках мацури. Восходящие к древним земледельческим культам, они своеобразны в каждой префектуре и весьма различны.

[44] О. Павел (Ивановский, 1874–1919 или 1920) — с 1912 г. епископ Никольск-Уссурийский, викарий Владивостокской епархии. С 1918 г. работал в Москве, откуда бежал на Кавказ, получил назначение на кафедру епископа Аксайского Донской епархии, но, не добравшись до места назначения, заболел тифом и скончался в Екатерино-Лебяжьем монастыре Кубанской области. Подробно о нем см. в кн.: Архимандрит Феодосий (Перевалов). Российская духовная миссия в Корее (1900–1925) // История Российской духовной миссии в Корее. М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1999. С. 276.

[45] Некоторые подробности об о. Кирилле см. в кн.: Архимандрит Феодосий (Перевалов). Указ. соч. С. 250.

[46] О. Иринарх, в миру Иван Симонович Шемановский, был руководителем духовной миссии в Корее в 1912–1914 гг. См. о нем в кн.: Архимандрит Феодосий (Перевалов). Указ. соч. С. 251–259.

[47] Иеромонах о. Феодосий был возведен в сан архимандрита 5 марта 1923 г.

[48] Тондаймон — кор. Тондэмун. Сейриори — это, видимо, Чоныын — погребальный комплекс королей династии Чосон Чунджона и Сонджона у подножья гор Пукхансан в Сеуле.

[49] Сейсин — кор. Чхонджин, город в провинции Сев. Хамгён (совр. КНДР).

[50] Юки — кор. Унги, город в провинции Сев. Хамгён (совр. КНДР).

[51] Кейко (Кэйко) — кор. Кёнхын, город на границе с Россией, провинция Сев. Хамгён (совр. НДР).

[52] Завойко Василий Степанович — военный губернатор Камчатки и командир Петропавловского гарнизона, генерал-майор (с 1854 — контр-адмирал), возглавлявший героическую оборону Петропавловска при нападении на него объединенной англо-французской армады во время Крымской войны в августе 1854 г.

[53] Подставин Григорий Владимирович (1875, Рыбинск — 1924, Харбин) — крупнейший востоковед, зачинатель научного и практического изучения корейского языка в России. В 1898 г. окончил факультет восточных языков СПб университета, где изучал монгольский, китайский, маньчжурский языки. С 1899 по 1922 г. — зав. кафедрой корейской словесности, профессор Восточного института во Владивостоке, в 1920–1922 гг. первый ректор Гос. Дальневосточного университета. Автор многих учебных пособий по корейскому языку. Много сил отдал постановке школьного образования в корейских селениях на российском Дальнем Востоке. В 1922 г. эмигрировал в Корею, а затем в Китай. — *Прим. Л.Р. Концевича*

[54] Хорват Дмитрий Леонидович, р. 25 июля 1858. Образование: Николаевское инженерное училище 1878. Офицер л.-гв. Саперного батальона. Капитан гвардии с 1894, полковник с 1898, генерал-майор с 1904, генерал-лейтенант с 1911. С 1895 командир 1-го Уссурийского железнодорожного батальона, с 1899 начальник Закаспийской железной дороги, с 1902 управляющий и глава военной администрации КВЖД. Во время Гражданской войны — в белых войсках Восточного фронта; 10 июля – 14 нояб.1918 возглавлял «Деловой кабинет» в Харбине и Владивостоке, Временный верховный правитель России. 28 окт.1918 — 18 авг.1919 Верховный уполномоченный Всероссийского правительства на Дальнем Востоке, 11 мая – 18 июля 1919 командующий войсками Приамурского военного округа, с 15 июля 1919 также сенатор и главноначальствующий над русскими учреждениями в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги. В эмиграции в Китае. Умер 16 мая 1937 в Пекине.

[55] Бенуа Александр Михайлович, р. 9 авг. 1862. Сын подполковника Михаила Леонтьевича. Образование: 2-я Санкт-Петербургская военная гимназия 1879, Павловское военное училище 1881. Офицер 23-й артиллерийской бригады. Подполковник с 1904, полковник с 1910, генерал-майор с 1916. С 1910 командир 2-го дивизиона 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, с 1914 — 1-го дивизиона 5-й артиллерийской бригады, с 19 апр. 1915 командир 42-й артиллерийской бригады, с 28 апр. 1917 инспектор артиллерии 19-го армейского корпуса. Георгиевское оружие (1915), орд. Св. Георгия 4-й ст. (1915). Во время Гражданской войны — в гетманской армии; с 7 сен. 1918 командир 13-й легкой артиллерийской бригады. В эмиграции с дек.1919 в Германии. Умер 21 мая 1944 в Вернигероде (Германия).

[56] Самсонов Александр Васильевич, р. 2 фев. 1859. Из дворян Екатеринославской губ. Образование: Киевская военная гимназия 1875, Николаевское кавалерийское училище 1877, академия Генштаба 1884. Офицер 12-го гусарского полка, по окончании академии — на должностях Генерального

штаба. Капитан с 1885, подполковник с 1890, полковник с 1894, генерал-майор с 1902, генерал-лейтенант с 1905, генерал от кавалерии с 1910. Участник Русско-турецкой 1877–1878, Русско-японской и Первой мировой войн. С 1896 — начальник Елисаветградского кавалерийского училища, с 1904 — начальник Уссурийской конной бригады и Сибирской казачьей дивизии, с 1905 начальник штаба Варшавского военного округа, с 1907 — наказной атаман Донского казачьего войска, с 1909 — Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа и наказной атаман Семиреченского казачьего войска, с 19 июля 1914 — командующий 2-й армией. Орд. Св. Георгия 4-й ст. (1907), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1906). Застрелился 17 авг.1914 в окружении под Сольдау (Восточная Пруссия).

[57] Леш Леонид Вильгельмович, р. 9 янв. 1862. Из дворян Смоленской губ. Образование: частное учебное заведение 1881, Михайловское артиллерийское училище 1884, академия Генштаба 1892. Офицер 39-й артиллерийской бригады л.-гв. 2-го стрелкового полка. Подполковник с 1900, полковник с 1903, генерал-майор с 1905, генерал-лейтенант с 1910, генерал от инфантерии с 1915. Участник китайской кампании 1900–1901, Русско-японской и Первой мировой войн. С 1901 командир 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, с 1905 — 2-й бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, с 1906 — 2-й бригады 28-й пехотной дивизии, с 1907 — начальник 2-й Финляндской стрелковой дивизии, с 1908 — начальник Гвардейской стрелковой бригады, с 1910 — командир 1-го, а с 1913 — 2-го Туркестанского армейского корпуса и начальник Закаспийской области, с 1914 командир 12-го армейского корпуса, с 3 июня 1915 командующий 3-й армией, с 3 апр. 1917 в резерве чинов при штабе Минского военного округа, затем в отставке. Орд. Св. Георгия 4-й (1905) и 3 ст. (1915). Во время Гражданской войны — в Добровольческой армии и ВСЮР; с 1 дек.1918, на 22 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего. Эвакуирован 25 янв.1920 из Одессы. На май 1920 — в Югославии. В эмиграции к 1930 на о. Шитан близ Дубровника. Умер 28 авг. 1934 в Дубровнике.

[58] Половцов Александр Александрович, р. 1869. Окончил училище правоведения 1888, офицером с 1889. Офицер л.-гв. Конного полка. Статский советник, товарищ министра иностранных дел, шталмейстер. В эмиграции во Франции. Умер 12 фев. 1944.

[59] Имеется в виду антибольшевистское восстание в Ташкенте в январе 1919 г.

[60] Мартсон Федор Владимирович, р. 16 сен. 1853. Образование: Нижегородская военная гимназия 1870, Павловское военное училище 1873, академия Генштаба. Офицер л.-гв. Волынского полка, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Капитан с 1881, подполковник с 1885, полковник с 1889, генерал-майор с 1899, генерал-лейтенант с 1904, генерал от инфантерии с 1910. Участник Русско-турецкой 1877–1878, Русско-японской и Первой мировой войн. С 1887 — заведующий передвижением войск Нижегородско-Брестского района, с 1894 — начальник военных сообщений Киевского военного округа, с 1899 — генерал-квартирмейстер Варшавского военного округа, с 1904 — начальник штаба 3-й Маньчжурской армии, с 1906 — начальник 42-й пехотной дивизии, с июня 1906 — командир 15-го

армейского корпуса., с 1909 — помощник командующего, с 1910 — командую-
ющий войсками Виленского военного округа, с 1913 — член Военного Сове-
та, с 4 окт. 1914 — командующий войсками Туркестанского военного округа
и наказной атаман Семиреченского казачьего войска, с июля 1916 — член
Военного Совета. Ум. в окт. 1916 в Петрограде.

[61] Имеется в виду заключительный эпизод Восточно-Прусской операции —
сражение 28–30 августа 1914 г., закончившееся окружением и гибелью боль-
шей части (13-й и 15-й армейские корпуса и 2-я пехотная дивизия 23-го ар-
мейского корпуса) 2-й русской армии ген. Самсонова. Срочная переброска на
русский фронт двух армейских корпусов и кавалерийской дивизии стала од-
ной из главной причин поражения немцев в битве на Марне во Франции.

[62] Это был Сергей Сергеевич Али-Бей-Эдигей; р. 1877, окончил Ярослав-
ский кадетский корпус (1895) и Тверское кавалерийское училище (1898).

[63] Гущин Сергей Ефимович, р. 1872. В службе с 1890, офицером с 1892.
Окончил академию Генштаба (1902). Полковник, командир 1-го Семиречен-
ского казачьего полка. В эмиграции к 1921 в Персии, затем в Индии, после
1922 — в Китае, к 1941 — в Шанхае.

[64] Галкин Александр Семенович, р. 23 авг. 1855. Образование: Киевская
военная гимназия 1871, Михайловское артиллерийское училище 1874, Ми-
хайловская артиллерийская академия, академия Генштаба. Офицер 6-й кон-
но-артиллерийской бригады, по окончании академии — на должностях Гене-
рального штаба. Капитан с 1884, подполковник с 1888, полковник с 1892,
генерал-майор с 1902, генерал-лейтенант с 1908. С 1893 начальник штаба
войск Самаркандской области, с 1893 делопроизводитель Азиатской части
Главного штаба, с 1896 начальник Аму-Дарьинского отдела, с 1903 дежур-
ный генерал Туркестанского военного округа, с июня 1903 военный губерна-
тор Семипалатинской, с 1908 — Самаркандской, а с 1911 по 1917 — Сыр-
Дарьинской областей.

[65] Куропаткин Алексей Николаевич, р. 17 мар. 1848. Образование: 1-й ка-
детский корпус 1864, Павловское военное училище 1866, академия Генштаба
1874. Офицер 1-го Туркестанского стрелкового батальона, по окончании ака-
демии на должностях Генерального штаба. Капитан с 1876, подполковник с
1877, полковник с 1878, генерал-майор с 1882, генерал-лейтенант с 1890, ге-
нерал от инфантерии с 1900. Участник кампаний 1867–1868, 1875–1876, 1880–
1881 в Средней Азии, Русско-турецкой войны 1877–1878, Русско-японской и
Первой мировой войн. С 1877 начальник штаба 16-й пехотной дивизии, с
1878 заведующий Азиатской частью Главного штаба, с 1879 командующий
Туркестанской стрелковой бригадой, в 1880–1881 начальник авангарда Куль-
чинского отряда, начальник отряда, действовавшего в Ахал-Текинском оази-
се, с 1883 в прикомандировании к Главному штабу, с 1890 начальник и коман-
дующий войсками Закаспийской области, с 1898 управляющий Военным ми-
нистерством, с июля 1898 военный министр и председатель Военного совета,
с 1904 командующий Маньчжурской армией и всеми вооруженными силами,
действующими против Японии, с мая 1905 командующий 1-й Маньчжурской
армией, с 1906 в Свите Его Величества, с 12 сен.1915 командир Гренадерско-
го корпуса, с янв.1916 командующий 5-й армией, с 6 фев.1916 главнокоман-
дующий армиями Северного фронта, с 22 июля 1916 Туркестанский генерал-
губернатор и атаман Семиреченского казачьего войска, с 5 июня 1917 член

Александровского комитета о раненых. Орд. Св. Георгия 4-й ст. (1876), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1877), Орд. Св. Георгия 3-й ст. (1881). Генерал-адъютант (1902). Остался в СССР, жил в с.Шешурино Псковской губ. Убит 16 янв. 1925.

[66] Перемышль был взят русскими войсками в ходе Галицийской битвы (6 августа – 13 сентября 1914 г.), завершившейся разгромом австро-венгерских войск и потерей ими Галиции.

[67] Белов Дмитрий Васильевич, р. в 1862. В службе с 1880, офицером с 1883, полковник с 1903, генерал-майор с 1906. С мая 1907 в запасе, с 1915 на службе — штаб-офицер для поручений при туркестанском генерал-губернаторе.

[68] Князь Искандер Александр Николаевич. Окончил Александровский лицей (1911). Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 1915. Поручик л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Участник ташкентского восстания в янв. 1919, затем в ташкентском офицерском партизанском отряде, совершил переход в Фергану. С мар. 1920 в Русской Армии в Крыму, командир взвода в эскадроне своего полка до эвакуации Крыма. Ротмистр. В эмиграции в Греции, затем в Париже. Умер 16 (26) янв.1957 в Грассе (Франция).

[69] Антибольшевистское восстание в Ташкенте произошло в январе не 1918, а 1919 года.

[70] Сазонов Сергей Дмитриевич, р. 29 июля 1860. Окончил Александровский лицей (1883). Министр иностранных дел. Представитель правительства адм. Колчака, член Особого Совещания при главкоме Вооруженных Сил на Юге России. В эмиграции во Франции. Умер 24 дек.1927 в Ницце.

[71] Мадритов Александр Семенович, р. 26 авг. 1868. Образование: 3-й Московский кадетский корпус 1885, Александровское военное училище 1887, академия Генштаба 1898. Офицер 10-й артиллерийской бригады, по окончании академии на должностях Генерального штаба. Капитан с 1898, подполковник с 1901, полковник с 1904, генерал-майор с 1913, генерал-лейтенант с 1915. Участник китайской кампании 1900–1901, Русско-японской и Первой мировой войн. С 1906 начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии, с 1908 командир 30-го пехотного полка, с 1913 — 1-й бригады 5-й Сибирской стрелковой дивизии, с 6 июня 1916 в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, с 29 авг. 1916 вице-губернатор Сыр-Дарьинской области, с янв. 1917 военный губернатор Семиреченской области. Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1903). Весной 1918 привлечен большевиками для формирования армии.

[72] Гиппиус Александр Иванович, р. 27 сен. 1855. Образование: Михайловское артиллерийское училище 1877, Михайловская артиллерийская академия, Курсы восточных языков. Офицер 34-й артиллерийской бригады. 1886–1897 на гражданской службе — вице-консул в Риге. Переименован в полковники 1897, генерал-майор с 1906, генерал-лейтенант с 1912. С 1900 в распоряжении начальника Главного штаба, с 1906 помощник военного губернатора Самаркандской, а с 1907 — Ферганской области, с 1911 по 1917 военный губернатор той же области.

[73] Колмаков Николай Клавдиевич, р. 16 нояб. 1858. Образование: Александровское военное училище 1879. Офицер 6-го Туркестанского линейного батальона. Капитан с 1895, подполковник с 1903, полковник с 1907, генерал-

майор с 1915. С 1903 Аулиэтинский уездный начальник, с 1907 начальник Ташкента, с 1911 помощник военного губернатора Ферганской области, с 1913 по 1917 помощник начальника Закаспийской области.

[74] Сиверс Николай Николаевич, р. 29 сен. 1869. Образование: 1-й кадетский корпус 1886, Михайловское артиллерийское училище 1889, академия Генштаба 1895. Офицер 34-й и л.-гв. 2-й артиллерийских бригад, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Капитан с 1895, подполковник с 1900, полковник с 1904, генерал-майор с 1913. Участник Русско-японской (контужен) и Первой мировой войн. С 1903 — в распоряжении начальника Главного штаба, с 1904 — генерал для поручений при командующем 1-й Маньчжурской армии, с 1906 — член военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны, с 1910 — командир 119-го пехотного полка., с 1913 — дежурный генерал Московского военного округа, с 25 фев. 1916 — начальник штаба Северного фронта, с 11 авг. 1916 по 1917 — начальник штаба Туркестанского военного округа. Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1907). В 1918 мобилизован большевиками. Ум. 1919 от тифа по пути в Ташкент.

[75] Воронец Дмитрий Николаевич, р. 20 окт. 1952. Из дворян Смоленской губ. Сын офицера. Образование: частная гимназия 1869, Михайловское артиллерийское училище 1872, академия Генштаба 1878. Офицер 14-й артиллерийской бригады, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Подполковник с 1882, полковник с 1885, генерал-майор с 1898, генерал-лейтенант с 1904. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1889 — начальник штаба 2-й казачьей сводной дивизии, с 1891 — начальник Одесского пехотного юнкерского училища, с 1896 — командир 56-го пехотного полка, с 1898 — начальник штаба Новогеоргиевской крепости, с 1899 — помощник командующего войсками Варшавского военного округа, с 1900 — начальник 6-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, с 1902 — комендант Владивостокской крепости, с 1905 — в распоряжении военного министра, с мая 1905 — начальник 33-й пехотной дивизии, с 1909 — генерал для поручений при начальнике Генерального штаба, с 19 окт. 1914 — начальник штаба Туркестанского военного округа, с 11 авг. 1916 — генерал для поручений при начальнике Генерального штаба. С 27 апр. 1917 — в отставке с чином генерала от инфантерии. Во время Гражданской войны — в Вооруженных силах Юга России. На май 1920 — в Югославии. В эмиграции во Франции. Умер в 1934 г. в Шарантоне.

[76] Селиванов Иван Иванович, р. 1872. В службе с 1892, офицером с 1896. Полковник с 1915, генерал-майор с 1917. К 1 авг. 1916 — помощник командира 174-го пехотного полка. Умер в эмиграции после 1921.

[77] Ерофеев Михаил Родионович, р. 1 нояб. 1857. Образование: Псковская военная прогимназия 1874, Константиновское военное училище 1876, академия Генштаба 1882. Офицер л.-гв. Московского полка, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Подполковник с 1888, полковник с 1892, генерал-майор с 1903, генерал-лейтенант с 1907, генерал от инфантерии с 1913. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1895 — начальник штаба 21-й пехотной дивизии, с 1900 — командир 84-го пехотного полка, с 1903 — начальник военных сообщений Киевского военного округа, с 1904 — 3-й Маньчжурской армии, с 1905 — командир 2-й бригады 39-й пехотной дивизии, с 1906 — 1-й бригады 21-й пехотной дивизии, с 1907 — комендант Карсской крепости, с 1909 — начальник Кавказской гренадерской дивизии, с 1913 — командир 1-го Туркестанского армейского корпуса, с 5 дек. 1914 — в резерве чинов при штабе Двинского военного округа, с 17 июня 1915 — командир 7-го Сибирского армейского корпуса, с 12 июля — снова в резерве чинов при штабе Двинского военного округа, с 1916 — помощник командующего войсками Туркестанского военного округа, с 5 мая 1917 — в резерве чинов при штабе Киевского военного округа. Во время Гражданской войны — в Вооруженных силах Юга России (с 29 янв.1919 из отставки); начальник Минераловодческого района. В эмиграции во Франции. Умер 1941 в Ницце (Франция).

[78] Бек Эдуард Максимович. Полковник, инспектор инженеров Туркестанского военного округа. Участник сопротивления большевикам в Ташкенте в сен. — окт. 1917. Взят в плен и убит 13 дек. 1917 в Ташкенте.

[79] Джурабеков Алла-Кулы-Бек Джара-Бекович, р. 1859. В службе с 1876, офицером с 1879. Служил по армейской кавалерии. Подполковник с 1911, полковник с 1916.

[80] Черкес Леонтий Николаевич, р. 5 мая 1865. В службе с 1882, офицером с 1885. Генерал-майор, командующий войсками Туркестанского военного округа. Участник сопротивления большевикам в Ташкенте в сен. 1917. В Вооруженных силах Юга России в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 4 авг. 1919 — в войсках Закаспийской области, затем — в войсках Новороссийской области, с лета-осени и на 8 нояб. 1919 — Одесский уездный воинский начальник. В эмиграции в Чехословакии. Умер 14 марта 1945 г. в Праге.

[81] Корульский Александр Николаевич, р. 21 авг. 1863. Образование: Санкт-Петербургский университет 1886, офицерский экзамен при Константиновском военном училище 1886, академия Генштаба 1894. Офицер 117-го пехотного полка, по окончании академии — на должностях Генерального штаба. Капитан с 1896, подполковник с 1900, полковник с 1904, генерал-майор с 1910, генерал-лейтенант с 1915. Участник китайской кампании 1900–1901, Русско-японской и Первой мировой войн. С 1904 — начальник штаба 2-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, с 1906 — делопроизводитель канцелярии Военного министерства, с 1911 — заведующий законодательным отделением той же канцелярии, с 12 авг. 1914 — генерал для поручений при главном начальнике снабжений Северо-Западного фронта, с 7 янв. 1915 — на прежней должности, с 9 июля 1916 — в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, с янв.1917 — военный губернатор Сыр-Дарьинской области. Мобилизован большевиками. Умер после 1923.

[82] Давлетшин Абдель-Азис Абдулович, р. 20 июля 1861. Сын майора. Образование: Павловское военное училище 1882, Курс восточных языков. Офицер 2-й резервной артиллерийской бригады. Капитан с 1899, подполковник с 1904, полковник с 1907, генерал-майор с 1913. С 1907 — помощник делопроизводителя, с 1910 по 1917 — делопроизводитель Азиатской части Главного штаба. В 1918 мобилизован большевиками, начальник Азиатского отдела Главного штаба. Умер в фев. 1920.

[83] Миллер Александр Яковлевич. Вольноопределяющийся л.-гв. Егерского полка. Действительный статский советник, чиновник МИД. Во ВСЮР и

Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Вел. Князь Александр Михайлович». В эмиграции во Франции, переводчик Афганского посольства. Член объединения л.-гв. Егерского полка. Умер 13 мар.1940 в Леваллуа-Перре, под Парижем.

[84] Янцын Николай Николаевич. Сын полковника. Николаевское кавалерийское училище (1906). Офицер Семиреченского казачьего войска. Есаул. В эмиграции в Персии и Индии, затем в США. Умер 29 мар. 1962 в Сиэтле (США).

[85] Скородумов Виталий Александрович, р. в 1880; российский дипломат, атташе посольства в Пекине (1906–1907), переводчик посольства в Токио (1908–1915), консул в Кобе (1914), Нагасаки (1915), Пусане (1916–1925). В последние годы жизни жил в Кобе, где активно участвовал в деятельности Общества русских эмигрантов. Был женат на японке, имел троих дочерей: Ирину, Екатерину и Марию, которые впоследствии вышли замуж за граждан США, Италии и Германии. Умер в 1932 г. См. о нем в кн.: *Подалко П.Э.* Япония в судьбах россиян. Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. С. 145, 147, 219, 266, 271.

[86] Ефремов Василий Николаевич, р. 30 мар.1895. Из дворян Области Войска Донского, ст. Старочеркасской Области Войска Донского. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1915). Сотник л.-гв. Казачьего полка. В белых войсках Восточного фронта в конных частях атамана Анненкова. В эмиграции в Китае и Корее, к 1941 член Офицерского собрания в Шанхае.





Города Персии и Индии, где побывал С.В. Чиркин в годы работы (1903–1910). Схемы Л.В. Кудрявцева



Города Кореи, Китая и России, где побывал С.В. Чиркин в годы работы в Корее (1911–1914). Схема Л.В. Кудрявцева



Указатель имен

Оглавление

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сергей Виссарионович Чиркин

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ НА ВОСТОКЕ

Записки царского дипломата

Указатель имен, корректура *Т. Шестаковой*

Компьютерная верстка *Л.А. Фирсовой*

Подписано в печать 19.01.06. Формат 60x90/16. Бумага писчая.
Гарнитура таймс. Усл. печ. л. 17,8. Тираж 2000 экз. Заказ № 663



ЗАО «Издательство "Русский путь"»
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

ISBN 5-85887-231-X

9 785858 872313 >